



VICTOR
CHERNOV

■
*The Great
Russian Revolution*



ВИКТОР
ЧЕРНОВ

■
*Великая
русская революция*

Воспоминания председателя
Учредительного собрания

1905–1920

Охраняется Законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

*Разработка серийного оформления
художника И.А. Озерова*

Великая русская революция

Воспоминания председателя
Учредительного собрания

1905—1920

Чернов В.

Ч49 Великая русская революция. Воспоминания пред-
седателя Учредительного собрания. 1905—1920 /
Пер. с англ. Е.А. Каца. — М.: ЗАО Центрполиграф,
2007. — 430 с.

ISBN 978-5-9524-2710-5

Виктор Михайлович Чернов (1873—1952) — автор трудов по социологии и аграрному вопросу, один из основателей и главный теоретик партии эсеров, министр Временного правительства. В 1918 году избран председателем Учредительного собрания. В своей книге он вспоминает революционные дни потрясенной России, те события, в формировании которых он принимал непосредственное участие. Резко обвиняет царскую власть, а затем и «демократию» за болтливость и разрушительство, упрекает во властibility, а блок с кадетами, которые диктуют свои условия, называет нереальным и вредным. Высказывается об Октябрьской революции 1917 года, которую категорически не принял.

ББК 63.3(2)5

© Перевод, ЗАО «Центрполиграф»,
2007

© Художественное оформление серии,
ЗАО «Центрполиграф», 2007

ISBN 978-5-9524-2710-5

Глава 1

КРАХ ДИНАСТИИ

Кажется, что эта трагическая пара — Николай II и Александра Федоровна — была создана историей специально для того, чтобы завершить династию.

Этого человека и его семью с самого начала преследовал злой рок. Когда в разгар мировой войны царю пришлось в голову сместить великого князя Николая Николаевича и самому стать главнокомандующим, почти все его приближенные пришли в ужас. Они понимали полную неспособность царя выполнять эту миссию и его абсолютную некомпетентность в военных делах. Кроме того, они опасались негативной реакции солдат и всей страны. Все шептались, что присутствие невезучего императора на фронте не сулит войскам ничего хорошего.

Характер Николая II сформировался под беспощадным влиянием судьбы, а не случая. Поэт Александр Блок писал о нем: «Упрямый, но безвольный, нервный, но равнодушный ко всему, не верящий в народ, тревожный и осторожный в словах, он не был хозяином самому себе». Распутин говорил: «У него чего-то не хватает внутри».

Он воспринимал чужие советы с упрямой пассивностью, словно желая бежать от жизни. Его реакция на события была замедленной и, если так можно выразиться, машинальной. Казалось, это не человек, а его плохая копия. В критические моменты власть в его руках была «не властью, а ее бледной тенью».

Видимо, апатичность и нерешительность Николая II объясняются его детством, на которое оказал влияние суровый отец. Александр III был суровым и деспотичным человеком, способным сломить волю любого. Слабая, почти женственная натура Николая заставила его быстро приспособиться к тирании отца. Он стал послушным и раболепным. В семье ему дали кличку Ники Чего Изволите.

В императорской семье была жива память об Александре II, убитом бомбой террориста; Александр III, огражденный от мира концентрическими кругами тайной полиции, жил как затворник, как затравленный волк, рычащий на своих преследователей. Маркс называл его «военнопленным русской революции, сидящим под домашним арестом в своем гатчинском дворце». Этот узкий круг с его душевной атмосферой оказывал угнетающее влияние на молодого цесаревича. Даже временное бегство, которым стало для Николая путешествие на Дальний Восток и в Японию, не принесло ему счастья. По иронии судьбы он попал в замок, куда был воспрещен вход иностранцам, и был тяжело ранен в голову мечом простого самурая; эта рана стала предвестием еще более тяжелой раны, которую крошечная Япония нанесла позднее военному престижу России не только на Дальнем Востоке, но и во всем мире.

После этого Николая подвергли второму «домашнему аресту». Среди «человеческих документов» того трудного времени есть наивная короткая записка, отправленная одним из дворцовых гвардейцев своим родным после убийства царского министра Сипягина: «Министра похоронили в четверг, но бедный император посетил только церковь, а на кладбище не был. Его жизнь хуже нашей. Император боится всего на свете и большей частью сидит в Зимнем дворце, как под арестом. Его единственное развлечение — игра с собаками. Он спускает с поводка штук пять—восемь и носится с ними по саду, а они прыгают на него; иногда он бежит по крыше или играет в мяч с братом; такова их несчастная судьба».

Ясно, что приятной такую жизнь не назовешь. В своем крымском имении Ливадия он жил как в осажденной крепости. Местным жителям было строго-настроено запрещено при-

ближаться к резиденции императора; кордоны и пикеты из солдат и чинов полиции, как обычной, так и тайной, были повсюду. Во время путешествий Николая по России вдоль всей железнодорожной колеи стояла цепочка солдат. Регулярно проводились досмотры и облавы. В городах, которые посещал император, по маршруту его следования прочесывались все чердаки и подвалы. Водопровод и канализация проверялись на наличие мин. Подходить к окнам и выходить на балконы можно было только по специальному разрешению. Стоять на тротуарах могли только те, кто получил пригласительный билет. Все это было так утомительно!

В беспросветном существовании Николая был только один светлый момент. После смерти своего отца, мрачного тирана, Николай, которого Лев Толстой однажды назвал «бедным, запуганным молодым человеком», внезапно стал всемогущим повелителем одной пятой земного шара. От такого закружилась бы голова у каждого. Он стал царем. Подданные, уставшие от хмурого царствования Александра III, ждали от его преемника перемен к лучшему. Неужели сам Николай не чувствовал тяжелой руки отца? Все, кто еще сумел сохранить живую душу, жадно искали намека на такие перемены.

Порадовать тогдашнее русское общество было легко. Две-три августейшие («благожелательные и утешительные») пометки, сделанные на полях отчетов губернаторов напротив пунктов о расширении школьной сети; два-три выхода из дворца без сопровождения тайных агентов; указ о выделении пятидесяти тысяч рублей на помощь нуждавшимся авторам — всего этого было достаточно, чтобы зажечь в сердцах надежду. Но выходы из дворца без охраны тут же вызвали тревогу, и «беспечного молодого человека» моментально окружили двойным кордоном. Деньги, выделенные для неимущих авторов, тут же передали в так называемый «рептильный фонд», предназначенный для подкупа. А что касается императорских заметок на полях, то цензура хотя и не посмела их скрыть, но запретила комментировать.

Чувствуя приветливые и ожидающие взгляды подданных, Николай мог считать себя счастливым, а счастливые люди стремятся сделать счастливыми и других. Это подтверждает

граф Витте. «Когда император Николай II унаследовал престол, он, если так можно выразиться, излучал добрую волю. Он искренне и от души желал мира и счастья всей России, всем ее народам, всем подданным, потому что у императора действительно было доброе сердце, и если в последние годы возобладали другие черты его характера, то лишь потому, что императору пришлось очень многое пережить». Даже оппозиционные газеты, выходившие за пределами России, не были настроены против молодого царя. После семи лет тщетных ожиданий перемен к лучшему французская газета «Либерасьон» все еще не хотела расставаться с надеждой. «Сам по себе царь — человек хороший и страстно стремится сделать Россию счастливой», — писала она. Верить в такое стремление приятно, и когда-то возникший слух о мягкости и «доброй воле» молодого царя дальше поддерживался по инерции. Например, террорист Евгений Шауман, убийца генерал-губернатора Финляндии, писал: «Ваше Величество! Я приношу в жертву свою жизнь, пытаясь убедить вас, что дела в России обстоят хуже некуда. Зная доброе сердце и благородные намерения вашего величества, я умоляю Ваше Величество тщательно изучить ситуацию... С глубочайшим и преданным уважением остаюсь верным подданным Вашего Императорского величества, самого могущественного и милосердного императора. *Евгений Шауман*».

Момент восшествия на престол стал лучшим в жизни Николая. Но даже тогда в бочке меда оказалась ложка дегтя. Московская коронация, во время которой населению должны были раздавать царское угощение и подарки, была организована с азиатской беспечностью и привлекла на Ходынское поле несметные толпы народа. На этом поле было полно старых ям и траншей. Началась давка, а когда она закончилась, эти ямы наполнились телами затоптанных насмерть людей.

«Где стол был яств, там гроб стоит...»

Суеверный народ воспринял случившееся как недоброе предзнаменование. И тут молодой царь впервые проявил удивительную бесчувственность, которая так часто изумляла людей впоследствии. Не пожелав прервать коронацию, Николай

продемонстрировал полную невозмутимость. Хотя тела многочисленных жертв (их общее количество так и не было предано гласности) еще не были погребены, он почтил своим присутствием бал, устроенный неким иностранным посольством.

Восшествие молодого царя на престол было омрачено еще одним происшествием. Принимая делегацию земств, которая в своем приветственном адресе намекнула на необходимость либеральных реформ в управлении, царь отклонился от текста заранее заготовленной речи, в которой говорилось о невозможности удовлетворить «беспочвенные мечтания» о конституции. Вместо этого он оговорился и употребил куда более резкое и даже просто оскорбительное выражение «*бессмысленные мечтания*», после чего смутился и быстро покинул зал. Присутствовавшие при этом иностранные корреспонденты отметили его «мальчишескую неловкость, шаркающую походку и смущенный вид»; для них он был «царем-манекеном, производившим жалкое и в то же время сильно впечатлительное своей склонностью к истерии и автоматизму».

Было ясно, что «шапка Мономаха» слишком тяжела для головы, на которую она легла. Николай согнулся под ее бременем; он всю жизнь пытался выпрямиться и не дать людям заметить, что эта шапка ему не по размеру. Царь старался подбодрить себя мыслью о том, что он не простой смертный, а помазанник Божий, что на нем лежит благословение небес и ведет его по незримой тропе жизни без всяких усилий с его стороны. Николай шел по этой тропе с непостижимой (многие называли ее «таинственной») полуулыбкой на губах; он никогда не смотрел посетителю в глаза, но бродил взглядом по его лицу или устремлял взор куда-то в пространство.

Со временем эти черты характера только усиливались. Увидев царя в январе 1917 г., граф Коковцев вздрогнул. «Его лицо было ужасно худым, осунувшимся и изборожденным мелкими морщинами. Глаза... полностью утратили цвет и беспомощно блуждали с одного предмета на другой». В важные моменты беседы царь «впадал в абсолютно непостижимое, беспомощное состояние. Его лицо не покидала странная улыбка, лишённая выражения и даже болезненная — я бы сказал, почти бессоз-

нательная; он смотрел на меня растерянно, словно искал помощи и хотел, чтобы я напомнил ему, что абсолютно исчезло из его памяти». После аудиенции граф Коковцев осмелился сказать доктору Боткину: «Разве вы не видите, в каком состоянии находится император? Он на грани душевной болезни, если уже не переступил эту грань». Ответом Боткина было красноречивое молчание.

Конечно, оговорка молодого царя при его первой встрече с делегацией подданных была случайной. Возможно, он страдал из-за нее сильнее всех. Он не любил неприятных сцен. Если кто-то из его приближенных попадал в опалу, Николай предпочитал высказывать свое неудовольствие у него за спиной, не переставая быть внешне «неизменно благорасположенным». Иными словами, он придерживался манер, которые с самого детства делали его «примерным мальчиком», олицетворением хорошего воспитания. О Николае говорили, что он напоминает Александра I, который был «grand chatpeu» [великим оболыстителем (*фр.*) — *Примеч. пер.*]. «Я не знаю никого, — говорит один министр, — кто при первом представлении не был очарован императором; он чарует своей искренностью, своим любезным обхождением, а особенно превосходным воспитанием; за всю свою жизнь я не встречал более воспитанного человека, чем император».

Николаю II следовало родиться не императором, а сельским помещиком средней руки, с состоянием, достаточным для мирной жизни вдали от общественных потрясений. Как пишет генерал Данилов, «мне кажется, последнему русскому монарху по складу его характера больше всего подошла бы жизнь без ответственности и без печалей». Однако история возложила на его хрупкие плечи огромную тяжесть и сделала главным героем трагического конца династии, насчитывавшей триста лет.

Николай унаследовал от предков стремление к завоеваниям. В фантазиях и планах на будущее он щедро вознаграждал себя за неудачи в настоящем. Его наперсник генерал Куропаткин писал в дневнике: «Я сказал Витте, что наш император вынашивает грандиозные планы: завоевать Маньчжурию и присоединить к России Корею. Он хочет взять Персию и захватить

не только Босфор, но и Дарданеллы. Он мечтает распространить свою власть на Тибет». Его взгляды на внешнюю политику были следующими: «Конфликт Сербии и Болгарии выгоден для нас». Так же выгодно «настроить тибетцев против англичан». Полезно «создать полосу дикой и почти непроходимой ничейной земли, чтобы разделить русскую и японскую сферы влияния», «принять на службу хунхузов (китайских бандитов)» и заманить японцев в Корею, потому что «лучше сражаться с ними на Корейском полуострове». Но поскольку министры такие авантюры не одобряли, царь отворачивался от них. «Император по-прежнему думает, что он прав, что он лучше нас понимает нужды и выгоды России. Поэтому он нас обманывает». Каждый случайный фаворит, готовый одобрить что угодно, «кажется царю лучше понимающим его мысли, чем мы, его министры»¹.

Самые талантливые его помощники (люди типа Витте) могли доверять свои мысли и сожаления только бумаге. «Мне жаль царя. Жаль Россию. Бедный, несчастный император. Что он получил в наследство и что оставит после себя? Конечно, он человек добрый и умный, но лишенный воли; именно эта черта является причиной всех его неудач как государственного мужа; именно ею объясняются его неудачи как правителя, тем более правителя абсолютного и ничем не ограниченного, второго после Бога»².

Эсеровская пресса однажды сыграла с царем злую шутку. Журналисты тщательно собрали из «Правительственного вестника» и других официальных источников все его речи — главным образом тосты. Они были не слишком многочисленны и чаще всего представляли собой вариации на тему банального тоста в честь военных, произнесенного 21 мая 1896 г.: «Я поднимаю этот бокал за здоровье военных. Ваше здоровье, господа» Публикация книги, наполненной этими пустыми и монотонными речами, вызвала оглушительный политический скандал. Цензор спешно конфисковал весь тираж под предлогом того, что речи императора можно публиковать только с личного разрешения «августейшего оратора».

Царь оставил после себя еще один литературный жанр: заметки на полях докладов губернаторов, генерал-губернато-

ров и министров, отзывы на общественные события, резолюции на присланных ему петициях и телеграммы в адрес отдельных лиц или учреждений. Ни один злобный политический памфлет не мог бы создать впечатление, равное тому, которое оставляют «перлы царского пера».

Государственный совет представляет на рассмотрение правителя предложение об отмене телесных наказаний в России. Тот пишет: «Рассмотреть вопрос повторно». Государственный совет повторяет предложение. Николай отвечает: «Отменю, когда захочу». Семьдесят восемь виднейших литераторов обращаются к царю с жалобой на произвол цензуры и просят «защитить литературу с помощью закона». Виза Николая: «Оставить без последствий». В 1896 г., через четыре года после голода, потрясшего до основания все сельское хозяйство страны, с царем встретились представители дворянства. Он сказал: «Я знаю, что дворянство переживает трудные времена. Вы можете быть уверены, что я не забуду о его нуждах». Отвечая на вопрос российской переписи, касающийся его классово-принадлежности или имущественного положения, царь написал: «Первый дворянин». Но его ответ на вопрос о профессии оказался еще хлеще: «Хозяин земли Русской». На полях закона об ограничении права евреев на жительство он пишет: «Евреи, покидающие черту оседлости, ежегодно наполняют города Сибири своими мерзкими физиономиями. Эту нетерпимую ситуацию необходимо изменить». На рапорте о злоупотреблениях жандармского ротмистра графа Подгоричани во время еврейского погрома в Белостоке император делает пометку: «Какое мне до этого дело?» На многочисленных докладах о пытках, применяемых по отношению к заключенным, и казнях непокорных узников он пишет: «Ура, мои славные ребята!», «Славные ребята эти конвоиры, не растерялись», «Царское спасибо этим славным ребятам». На рапорте о появлении агитаторов в казармах он начертил: «Надеюсь, их тут же расстреляли». На докладе о взятии под стражу организаторов погромов красуется его резолюция: «Объявить им прощение». Эти бесчисленные заметки на полях оказали более сильное революционизирующее действие на разные слои общества, чем десятки агитаторов.

Однако все это мелочи по сравнению с отношением царя к черносотенному Союзу русского народа, который даже граф Витте называл «хулиганами и ворами», а Столыпин — «бандой уголовников». Однако царь объявил, что этот союз находится под его покровительством, не раз выражал ему благодарность и даже носил значок его почетного члена. Граф Витте был беззаветно предан царской династии, но не мог этого вынести. В его воспоминаниях можно найти горькие слова о «нищете политической мысли и болезненном состоянии души нашего деспотичного императора».

Были опубликованы дневники императора за несколько лет. Конечно, дневник — наиболее интимный литературный жанр; человек остается наедине со своей душой и поверяет бумаге свои самые сокровенные мысли и чувства. Однако в данном случае этот «человеческий документ» производит поразительное впечатление именно тем, что в нем полностью отсутствует человеческое. И в самые обычные дни его жизни, и в дни величайших потрясений, радостей или потерь дневник одинаково монотонен, мелочен и пуст. С точностью и бесстрашием часов царь отмечает пешие прогулки, охоты, чаепития, чьи-то визиты, смерти одних близких ему людей и браки других. Это не дневник, а «официальная хроника», редкостное доказательство полного автоматизма психики. Складывается впечатление, что этого человека ничто не могло тронуть. Все скатывается с него как с гуся вода. Даже в день своего отречения от престола царь тщательно записал: «Читал биографию Юлия Цезаря и играл в домино».

Генерал Данилов был свидетелем того, как вел себя царь во время всеобщего потрясения, вызванного катастрофой на Дальнем Востоке, и в еще более трагические дни марта 1917 г., предшествовавшие отречению. Генерал был поражен его «холодным, каменным спокойствием», резко контрастировавшим с подавленностью самого Данилова. «Я спрашивал себя, что это: поразительное, почти нечеловеческое умение держать себя в руках, достигнутое благодаря воспитанию и вере в свое божественное предназначение, или недостаток ума?» В конце концов генерал объяснил это «некоторым осо-

бым фатализмом восточного толка, тем не менее от рождения свойственным всем русским людям».

Витте писал то же самое: «Император по своей природе бесстрастный оптимист. Такие люди испытывают чувство страха только тогда, когда буря бушует у них перед носом, а как только она проходит, проходит и страх. Их чувствительность к феноменам, действующая на очень коротком расстоянии, приводит в ужас... Следует прибавить, что у императора женственный характер; кто-то заметил, что перед рождением он был снабжен атрибутами, отличающими мужчину от женщины, только по недосмотру природы. Каждый, кто должен отчитаться перед ним, а особенно тот, кому император назначил встречу сам, на первых порах радуется царскому благоволению, которое иногда переходит границы умеренности, но рано или поздно это благоволение сменяется равнодушием, а иногда (и довольно часто) — горечью и разочарованием человека, когда-то любившего; ибо если чувство прошло, это значит, что его предмет того не стоил».

Витте рассказывает интересную историю о «личном соперничестве», которое всегда омрачало отношения между Николаем и кайзером Вильгельмом II. Каждого, включая министра двора графа Фредерикса, «смущало, что царю не хватало внешнего величия — главным образом благодаря небольшому росту, из-за которого он отказывался носить немецкий мундир, делавший его еще меньше... В глазах общественности (не только российской, но и мировой) Вильгельм как личность был выше Николая. И физически он тоже был больше похож на императора. Тщеславного Николая это злило. Я помню, что после его первой встречи с Вильгельмом появились почтовые открытки с изображением двух императоров. При этом рука Вильгельма лежала на плечах Николая; казалось, немец обнимал его. Император был Вильгельму по плечо. Все открытки было тут же приказано конфисковать».

Этот эпизод был символическим. Николай II не выносил рядом с собой по-настоящему больших людей. В критические моменты он не раз пользовался услугами графа Витте, который в политическом смысле был на голову выше остальных придворных подхалимов и карьеристов. Витте не раз находил выход из са-

мых безнадежных ситуаций. Но в глубине души царь никогда не мог простить графу его уникальность и незаменимость. Он постоянно подозревал Витте (причем несправедливо) в том, что тот медленно, но верно готовит себе путь к тому, чтобы стать президентом Российской республики. Николай обращался к помощи Витте крайне неохотно и только в чрезвычайных случаях, причем (если не считать внешних знаков внимания вроде орденов) неизменно отвечал ему черной неблагодарностью. Царь предпочитал министров, которых он мог менять как перчатки, не меняя при этом рутинного порядка. Характерно, что в последние годы и месяцы царского режима постоянная смена министров достигла такого уровня, что даже Пуришкевич — этот *enfant terrible* [одиозная личность (*фр.*)]. — *Примеч. пер.*] правого крыла Государственной думы — злобно и гласно протестовал против «министерской чехарды».

Поэтому неудивительно, что все, кто был предан престолу и служил ему верой и правдой, испытывали чувство глубокой горечи и недовольства своим правителем. Когда убийство министра Боголепова положило начало новому этапу террористической деятельности, потребовалось назначить сильного министра внутренних дел. Царь попросил совета у духовного вождя реакционной клики Победоносцева, кого назначить на этот пост — Сипягина или Плеве. Победоносцев ответил, что никакой разницы нет: один дурак, второй мерзавец. Царь назначил сначала первого, потом второго: оба были ликвидированы военной организацией партии социалистов-революционеров. Сипягин, ультрареакционер и аристократ до мозга костей, действительно не отличался умом, но был беззаветно предан императору. Незадолго до своей смерти Сипягин сказал Витте «искренне и с большой горечью, что императору нельзя доверять; хуже того, он лжив и неискренен. В отчаянии он [Сипягин. — *Примеч. пер.*] сказал то же самое своей жене». После смерти Сипягина в его доме появились посланцы, которым было поручено забрать дневник хозяина для царского просмотра. Когда дневник вернули вдове убитого министра, многие важные части оттуда исчезли. Согласно графу Шереметьеву, царь уничтожил их лично и даже «соизволил» в чем-то заподозрить своего посланца, генерал-адъютанта Гессе.

Благодарность была чувством недостойным положения русского царя. Во всяком случае, так считала императрица, которая сразу после смерти Столыпина прочитала графу Коковцеву нотацію: «Вы придаете Столыпину слишком большое значение. Не следует так сильно переживать из-за тех, кого больше нет. Каждый исполняет свою роль; если его уже нет среди нас, это значит, что он сыграл свою роль до конца и добавить ему было нечего».

В наиболее важном источнике последних лет — двухтомных мемуарах графа Коковцева — говорится, что даже Витте, человек, обладавший огромной энергией и уверенностью в себе, был доведен до такого состояния, что готов был покончить с собой.

Когда князь Святополк-Мирский попытался с помощью мягких методов управления примирить страну с ее правителем, он потерпел неудачу, потому что за его спиной (и к его удивлению) царь сорвал все планы князя, назначив на ответственные посты нескольких махровых реакционеров. После своей отставки князь с горечью заявил: «Нельзя верить ни одному слову императора, потому что завтра он откажется от того, что одобрил сегодня». Место Святополк-Мирского занял Трепов, прямой, грубый и самоуверенный генерал, «вызывающая внешность, устрашающий взгляд и простая солдатская речь» которого произвели на царя такое впечатление, что на некоторое время Трепов стал чуть ли не диктатором. Затем царь решил избавиться и от этого «в высшей степени лояльного и преданного слуги» с помощью некоего хитрого плана, но сам запутался в нем. Витте туманно говорит о какой-то «трагической ситуации с этим недалеким, но честным и преданным царю человеком, возникшей за несколько недель до его смерти». Сам Витте с горечью замечает: «Что касается слов императора, то я уже знал, что им нельзя верить. Он не мог доверять даже сам себе, потому что непоследовательный человек не способен управлять собой; он дрейфует по ветру, от которого, к несчастью, чаще всего разит миазмами».

Недавно генерал Мосолов, который, как заместитель министра двора, имел полную возможность наблюдать за царем вплотную, попытался реабилитировать последнего русского

монарха. Согласно его словам, царь не являлся обманщиком от природы. Он был чрезвычайно застенчив благодаря болезненному тщеславию и боязни уронить свое достоинство. Поэтому он избегал споров, в которых не мог победить, был чрезвычайно замкнут и любил слушать других, сохраняя свое мнение при себе. Царь не мешал министрам, которые пытались убедить его или оказать на него влияние. Они уходили, уверенные в успехе, но позже разочаровывались. После благосклонного приема их могли неожиданно отправить в отставку. Мосолов приписывает это чрезвычайной «воспитанности» царя. Спорить из-за слов не имело смысла. Согласно Мосолову, подростка Николая научил этому его наставник, генерал-адъютант Данилович, прозванный учениками пажеского корпуса «иезуитом».

Недавно были опубликованы записки Николая Михайловича Романова, единственного умного представителя царской династии и профессионального историка. В них содержатся поразительные (чуть ли не непечатные) высказывания об императрице и нелюбезное мнение о царе: «Что это за человек! Он мне отвратителен, и все же я люблю его, потому что он от природы неплохой человек, сын своего отца и матери. Наверно, любить его меня заставляют родственные чувства, но все же какая у него мелкая душонка!»³

Из многих документов, но главным образом из «Записок» великого князя Николая Михайловича, мы знаем, что в высших придворных кругах и даже в императорской семье считали убийцу Распутина чуть ли не героями и приветствовали их «с бурным энтузиазмом». Даже сам великий князь, в глубине души напуганный этим убийством, и особенно его подробностями (в том числе гомосексуальной связью между Распутиным и одним из его убийц), тем не менее одобрял данное убийство до такой степени, что готов был сам принять в нем участие. «То, что они совершили, — писал великий князь, — очистило воздух, но это всего лишь полумера, потому что Александру Федоровну [императрицу. — Примеч. авт.] и Протопопова следовало устранить тоже. Мысль о новых убийствах снова и снова приходит мне в голову... потому что иначе все может пойти прахом. Графиня Бобринская, Миша Шаховской пугают

меня, подбадривают и умоляют действовать: но как? с кем? В одиночку это немислимо... После бегства этих людей и Пуришкевича я не вижу и не знаю никого, кто мог бы справиться с этим». Далее, выражая свои симпатии к убийцам, он добавляет: «Я не мог выразить им ничего, кроме сердечного сочувствия и сожаления, что они не довели дело уничтожения до конца».

В высших кругах Петербурга члены миссии лорда Милнера часто слышали откровенные разговоры о возможном убийстве царя и царицы. Нынешний британский посол в Париже сэръ Джордж Клерк писал: «Каждому из нас приходилось слышать о неизбежности чрезвычайно серьезных событий. Вопрос заключался лишь в том, кого устранят: императора, императрицу, Протопопова или всех троих сразу»⁴.

Многие, даже среди крайне правых, давно лелеяли мысль о смене царя ради сохранения монархии. Профессор Никольский, один из наиболее активных лидеров реакционного Союза русского народа, еще в апреле 1905 г. записал в тайном дневнике свои впечатления от частых встреч с царем: «Посмею ли я признаться даже самому себе? Я думаю, что царь органически не способен что-то понять. Он больше чем бездарен. Прости меня, Господи, он — полное ничтожество. Если это так, его правление долго не протянется. О боже, чем мы заслужили, что наша верность так безнадежна?»

Если бы мы могли надеяться, что он покончит с собой, у нас был бы шанс. Но он этого не сделает! До чего мы дожили! Я не верю в ближайшее будущее. Теперь, чтобы очистить воздух, одного убийства будет слишком мало. Нам нужно что-то на сербский манер...*

Единственной жертвой должна была бы стать династия. Но где мы возьмем новую? Одним словом, конец, полный конец. Чудес не бывает. Конец той России, которой я служил, которую любил, в которую верил. Я не увижу ее возрождения: ночь будет долгой. Агонию можно продлить, но какой в этом толк?»

* Имеется в виду заговор, осуществленный в Белграде 29 мая 1903 г., который одним ударом устранил короля Александра I и королеву Драгу и заменил династию Обреновичей династией Карагеоргиевичей.

Если к такому выводу пришли даже крайне правые монархисты, то династии грозила опасность лишиться поддержки вообще.

Несчастный царь пожинал то, что посеял. В критический момент, когда революция уже уничтожила его трон, он ощутил вокруг себя зияющую пропасть. Николай записал в дневнике: «От меня потребовали отречься... Я согласился... В час ночи я оставил Псков с тяжелым чувством: кругом измена, трусость, обман».

Если «женские» черты в характере царя признавали почти все, то роль мужчины в этой августейшей паре играла императрица Александра Федоровна. Свидетельством этого являются ее письма.

«Дорогуша, — игриво пишет она мужу, — не смейся над своей глупой старой женошкой, но у нее есть невидимые брюки». Стремящаяся стать «ангелом-хранителем» и «верной помощницей» мужа, она поучает Николая на каждом шагу: «Будь более властным, более суровым, более решительным и уверенным в себе, демонстрируй свою непреклонность и твердую волю». Лучшей рекомендацией для ее кандидатов в министры были слова: «Он мужчина, а не юбка». Других она отвергала, характеризуя их следующим образом: «Этот Воейков — трус и дурак... Я сказала ему, что все его министры были «des poltrons» [мокрыми курицами (*фр.*)]. — *Примеч. пер.*]... Уверяю тебя, я хочу показать этим трусам свои бесмертные брюки». Ничуть не лучше она отзывалась о боевых генералах, «больших шишках» в ставке, за их стремление к полумерам: «Предложить тебе это могли только трусы... Я вижу, что мои черные брюки нужны и в ставке — все эти идиоты просто отвратительны».

«Царица никому не нравилась, — пишет поэтесса Зинаида Гиппиус, — еще в давние времена, когда она была юной невестой наследника престола. Ее резкое лицо, красивое, но мрачное и угрюмое, с тонкими поджатыми губами, не производило хорошего впечатления; ее германская угловатая надменность была неприятна». Возможно, окружавшим не нра-

вилась ее подозрительность. В письмах к мужу она дает себе волю, называя всех «слонтяями», «дураками», «трусами», «мерзавцами» и «идиотами». Никто так беспощадно не описывал людей, составлявших ближайшее окружение императора.

Когда-то российской самодержицей была одна бедная немецкая принцесса. Ее звали Екатерина II. Почему Александра не могла последовать ее примеру? Эта женщина чувствовала себя более мужчиной, чем большинство окружающих, в том числе муж, уступавший ей во всех отношениях. Она всеми силами пытается вдолбить в голову мужа мысль: «Твоими врагами являются те, кто говорит, будто я слишком вмешаюсь в государственные дела... Это показывает, что тот, кто предан тебе в истинном смысле этого слова, не станет пытаться отстранить меня». Когда Александре наконец удается достичь цели, она ликует: «Как чудесно, что ты отдал мне Верховный совет... Представь себе, я встречаюсь со всеми этими министрами... Со времен Екатерины ни у одной императрицы не было такой личной власти».

Этой гордой и властолюбивой натуре, презиравшей людей, судьба предназначила в спутники жизни человека малоспособного, нерешительного, постоянно терпевшего неудачи и в глубине души тяжело переживавшего их, человека, никому не верившего, болезненно тщеславного и в то же время лишенного веры в себя; человека, искавшего поддержки у окружающих, одновременно смертельно завидовавшего каждому, кто был способнее его, и не прощавшего другому его превосходства; человека угрюмого, двуличного, упрямого, несчастливого и по-детски жалеющего себя. Эта тщеславная и склонная к интригам женщина решила во что бы то ни стало возвысить своего мужа. Чтобы добиться этого, она пустила в ход весь свой изобретательный и беспокойный ум. Хотя на первых порах императрица была равнодушна к мужу и даже испытывала к нему едва ли не отвращение, в конце концов она страстно полюбила его как собственное неудачное создание, как взрослого ученика, словно мать, которая после тяжелых родов начинает болезненно любить своего хрупкого ребенка с физическими недостатками, видя в нем олицетворение стра-

даний, которые она пережила, производя его на свет. Эта полуматеринская любовь, усиленная супружеским чувством, превратилась в жгучую ненависть ко всем, кто мог затмить ее духовного отпрыска, уничтожить его своим превосходством или пытался водить его на помочах.

Врач, который лечит нервных больных с помощью внушения, мог бы позавидовать искусству, с которым императрица влияла на психику своего мужа с помощью писем: она присылала ему инструкции, подбадривала, льстила его тщеславию, лелеяла его подозрительность, любовно журила, умоляла и прибивала к словесным заклинаниям, упорно добываясь своего. По ее мнению, он был слишком добр и мягок, очаровательно скромен, но плохие люди злоупотребляли его добротой. Он должен заставлять их повиноваться с помощью ума и опыта; у него есть и то и другое, просто он боится продемонстрировать их. Любви окружающих недостаточно; они должны бояться его — нет, дрожать перед своим царем. Он должен демонстрировать им свою железную волю, принимая решения даже вопреки мнениям и желаниям окружающих. Он должен научиться приказывать, не задаваясь вопросом, выполним ли приказ. «Используй свою метлу... показывай им свой кулак, наказывай их, будь хозяином и правителем, ты самодержец, они не смеют забывать об этом, а если забудут, как сейчас, то горько раскаются».

Да, она хотела быть добрым гением своего мужа, но стала его злым гением, потому что беспощадно прогнала от него всех, кто обладал хотя бы намеком на независимость. Она могла терпеть и терпела только тех, кто мог и соглашался играть роль дурнушки при сомнительной «красавице». Волю императора (которую поддерживала в нем она сама) следовало чувствовать, о какой бы жизненной сфере ни шла речь. Она желала командовать даже в области религии: часто церковные вопросы решались по указке императора, что вопиюще противоречило каноническому праву. Ей хотелось участвовать даже в военных операциях; во всяком случае, она давала советы мужу. Она болезненно завидовала популярности великого князя Николая Николаевича как главнокомандующего, считая, что эта популярность «украдена» у царя, которому следовало стать главнокомандующим самому. Лихорадочная

военная активность Вильгельма II не давала ей покоя. После воззвания Николая Николаевича к полякам она заподозрила великого князя в тайном желании «после войны стать королем Польши или Галиции». Позже она подозревала его в гораздо худшем: «Он получает слишком много наград и благодарностей... Он все время забывает, что не имеет никакого права отдавать приказы без твоего позволения... Он решает все, назначает и увольняет... Министры ездят к нему с докладами, словно он уже стал императором... Он пытается играть твою роль... узурпирует твои права... хочет быть твоим министром... Он и его ставка, в которой собрались изменники, лишают тебя первенства».

Сначала она подстрекает царя за спиной главнокомандующего совершить неожиданную поездку на фронт и опубликовать обращение к армии без упоминания имени главнокомандующего. Затем она советует царю, чтобы тот сместил дядю с поста главнокомандующего и сам занял его место. Еще позже, когда Николай Николаевич был отправлен в почетную ссылку на Кавказ, царица перехватывает его письма и внушает царю, что «все неблагонадежные элементы собираются вокруг дядюшки и пытаются использовать его как знамя», что он взял с собой на Кавказ подозрительно большую свиту, что он «продолжает сеять смуту», что Синод на его стороне, что во время трех дней, когда к царю можно было обратиться с петицией, «в толпе распространяли тысячи портретов Н.», что в окружении бывшего главнокомандующего говорили о необходимости «сослать царицу в монастырь». За ними нужно следить, «нужно послать людей разносить это дело», «там собрались опасные враги», «это пахнет изменой». Пока еще не пришло время, но, «когда война закончится, тебе придется наказывать их; почему эти люди должны оставаться на свободе и занимать завидные посты, если они готовы лишить тебя престола, а меня запереть в монастырь?».

Но самые яростные громы и молнии императрица метала в Государственную думу, ее ведущие партии и все общественные организации, вмешивавшиеся в дела, которые мог и обязан был решать только самодержец, как помазанник Божий. «Не собирай Думу», «немедленно распусти Думу», «не верь

тем, кто пытается напугать тебя черными предсказаниями», «нескольких ударов недостаточно; их можно и необходимо сокрушить». Похоже, для императрицы главным врагом были не революционеры, а такие люди, как лидеры правых партий конституционных демократов (кадетов) и Союза 17 октября (октябристов) Гучков, Родзянко и Милюков, пытавшиеся стать буфером между престолом и возбужденной страной и убедить царя принять конституцию, чтобы избежать революции. Одно письмо летело вдогонку другому: «Ты должен избавиться от Гучкова, но как? Вот в чем вопрос. Сейчас время военное, нельзя ли под каким-нибудь предлогом арестовать его и посадить в тюрьму?» А то еще проще: «Почему бы не повесить Гучкова?» Или: «Почему Милюков до сих пор на свободе?» Слыша об угрозах царицы, даже председатель правой Думы Родзянко готовился отправиться в ссылку.

Все это относится к «мужской ипостаси» императрицы. Настало время перейти к ее «женской ипостаси». На сцене появляется фигура, оказавшаяся для династии роковой: Распутин.

Отношения между царицей и Распутиным долго были предметом «скандальной хроники». После падения династии их охотно мусолила «желтая пресса», не знающая жалости к побежденным — особенно тем, кто раньше был идолом.

Почву для таких слухов создал сам Распутин своими намеками, красноречивым молчанием и пьяным хвастовством. Повторять их нет нужды. Они только затемняют истинное значение трагикомедии, которая усилилась с появлением Распутина в императорских апартаментах.

Мы будем опираться лишь на тщательно проверенные факты.

Существует составленный Синодом «Отчет о деле Распутина». Еще в 1902 г., после сообщения священника села Покровское, уполномоченный по Тобольскому округу рапортовал губернатору о подозрительном поведении крестьянина указанного села Григория Распутина. Он упомянул о регулярных ночных сборищах в особом помещении без окон (види-

мо, бане). Губернатор передал этот вопрос на рассмотрение местного архиепископа Антония. Тот поручил своему представителю провести тщательное дознание, сопровождавшееся обыском избы Распутина. Отчет этого представителя был передан на рассмотрение специалисту по сектам, инспектору Тобольской духовной семинарии Березкину. Последний определил несомненную принадлежность Распутина к «хлыстам», одной из наиболее темных мистических сект, в которых религиозный экстаз доводился до невротических оргий. Для этой секты (или, по крайней мере, для некоторых ее ответвлений) характерен резкий переход от мучений и истязаний плоти к взрывам чувственности. Как руководитель хлыстовской общины, или «корабля», Распутин обладал абсолютной властью над прихожанами, особенно над их женской половиной, и видел в их подчинении любому его капризу мистическую связь с наполнявшим его «святым духом». «Некоторые из подробностей этого документа, — свидетельствует Родзянко, читавший отчет Синода, — были до того безнравственны и отвратительны, что их нельзя было читать без омерзения». Церковные власти решили провести дополнительное расследование, а потом передать дело государственному прокурору.

Тем временем Распутин, воспользовавшись задержкой в церковном расследовании, сумел привлечь к себе внимание известного агитатора «черной сотни» протоиерея Восторгова и с его помощью добрался до Санкт-Петербурга. Он вернулся оттуда с деньгами и подарками, полученными «на память» от различных высокопоставленных особ и подписанными ими лично. Среди этих подарков был и медальон императрицы. Расследованию стали тут же ставить палки в колеса. Вскоре прибыл приказ Синода, за которым скрывалось высочайшее распоряжение: архиепископа Тобольского, преподобного Антония, повысить и сделать архиепископом Тверским и Кашинским. Ему предлагалось сделать выбор: либо прекратить расследование дела Распутина и стать архиепископом Тверским, либо подать в отставку. Антоний был человеком практичным и предпочел отставке повышение.

В то время в самом центре православной церкви возникла демагогическая черносотенная группа. Она наполняла свои

проповеди политическими лозунгами наиболее реакционного толка. Среди ее руководителей помимо уже упомянутого протоиерея Восторгова были иеромонах Илиодор, страстный и умелый проповедник (горящие глаза и пламенное красноречие сделали его кумиром простонародья города Царицына, а особенно женской половины последнего); неуравновешенный авантюрист отец Гапон, начавший свое служение под покровительством тайной полиции, но затем, к изумлению многих, подавшийся в революционеры; покровитель Илиодора Гермоген, влиятельный епископ Саратовский; буйный монах Варнава, ставший из простого садовника епископом, и многие другие. В то время партия реакционеров стремилась заручиться поддержкой «простых людей» и стать «ближе к земле». Она мечтала создать «союз царя с его народом» без участия «образованных вольнодумцев и политиканов».

Хитрый Распутин, уловив дух времени, решил плыть по течению. Полуграмотный и абсолютно невежественный, он не пытался навести на себя лоск и изменить свои грубые крестьянские повадки. Он понял, что именно эти повадки помогут ему сделать карьеру. Сначала он действовал осторожно, наблюдал, ставил перед собой цель и пытался решить, какой способ позволит ему успешно проникнуть в высшее общество. Он был жадным мужиком атлетического сложения, невероятно сильным и выносливым, способным пить и блудить до бесконечности. Распутин быстро сообразил, что петербургское высшее общество состоит из смертельно скучающих самок, психопаток и истеричек. Многие женщины страдали от недостатка духовной жизни и были готовы броситься на шею любому новоявленному пророку и чудотворцу. Другим хотелось приключений и возбуждения любого рода. Дам, томившихся от безделья, могло привлечь только что-то очень извращенное. Они называли Распутина «неаппетитным мужиком», но ощущали к нему нездоровое влечение. «*Le laid, c'est le beau*» [чем хуже, тем лучше (фр.). — *Примеч. пер.*]. Распутин поступал очень умно, прикрывая их слабость пеленой мистицизма. Он примешивал к сексу религиозную истерию. Простое прикосновение к нему или хотя бы к его одежде якобы оказывало на людей магическое влияние; иногда оно

излечивало болезни, а иногда приносило счастье и успех. А самый интимный контакт с ним, естественный для брака, должен был перенести женщину в «высшие сферы» и помочь ей полностью «обновиться». Это был «духовный брак», самое высшее из «тайнств». Распутин был окружен настоящим гаремом настойчивых и любопытных женщин, буквально осаждавших его. Он умудрялся не только сохранять, но постоянно расширять этот гарем за счет новых наложниц, очарованных его гипнотическим красноречием и религиозными бреднями. Его красноречие было необычным. Оно представляло собой поток бессвязных, неожиданных, примитивных фраз. Ничего другого от него и не требовалось. Разве когда-то Христос не призвал к себе простых рыбаков, дабы те посрамили своей простотой тщеславных язычников, кичившихся своим знанием философии и прочих наук? За неуклюжими словами Распутина должна была скрываться более высокая мудрость, вдохновенная самим Господом.

Постепенно Распутин — пифия в сапогах со скрипом, молодой чудотворец из простонародья — проник в петербургские салоны. Конечно, «дамские пророки», обладавшие большими или меньшими претензиями на «святость», были и до него. Неподалеку, в Кронштадте, существовал отец Иоанн, уступавший Распутину в авантюризме, но сумевший появиться в нужный момент и разрекламированный на всю Россию как «святой человек». Он тоже был окружен толпой поклонниц, но не мог пользоваться ими на манер Распутина. Поэтесса Гиппиус описывает еще одного такого типа, «маленького отца из Чемряка», некоего Щетинина. Кроме того, она утверждает, что Варнава был «младшим братом» Распутина, «дешевым изданием» последнего. Даже Питирим, последний митрополит царского времени, принадлежал к тому же типу, хотя был более осторожным и соблюдал внешние приличия, подобавшие его высокому сану.

Подобно многим своим предшественникам, Распутин мелькнул бы на петербургском горизонте, как яркий метеор, и упал в болото, если бы не открыл для себя новые ослепительные возможности. Ему удалось найти путь в императорские покои.

У Александры Федоровны, как императрицы, была своя миссия: произвести на свет наследника престола. Но одна беременность за другой кончалась рождением очередной девочки. Для нее каждая новая беременность была трагедией ожидания, тревог, надежд, разочарований и отчаяния. У нее был один выкидыш и одна ложная беременность. Психическое равновесие императрицы было нарушено. Этим объяснялась ее истерическая религиозность, желание чуда и суеверные поиски чудотворца. Московские царицы с незапамятных времен окружали себя «святыми людьми» всех мастей: начетниками, ясновидящими, «юродивыми» и прочими шарлатанами и психопатами на религиозной почве. Императрица бросилась в объятия этих проходимцев, казавшихся ей экзотичными. Среди них были такие люди, как эпилептичка Дарья Осипова, заговаривавшая женщин от выкидышей, или гундосый юродивый Митя. К этому сброду добавлялись чудотворцы, выпитые из-за границы: например, лионский полумасон-полуспирит Филипп и его ученик, известный шарлатан Папюс.

На этот раз высшие церковные иерархи созвали тайное совещание. Они испугались возвращения времен, когда при дворе процветали сектанты и масоны, а православная вера пошла на убыль. Духовником императорской пары назначили епископа Феофана. Судя по описаниям, Феофан был человеком не от мира сего, искренне преданным христианской вере, и это похоже на правду. Но ему казалось, что побороть нездоровую склонность императрицы к женскому мистицизму легче всего с помощью незатейливой, но сильной веры в Бога, которой обладают простые люди. Ум епископа сильно уступал его святости. Именно Феофан решил, что Григорий Распутин является воплощением крестьянского религиозного примитивизма.

Распутина сделали «придворным ламповщиком», отвечавшим за поддержание огня в лампадах, всегда горевших перед иконами, и за хранение коллекции редких икон, написанных старыми мастерами. Против назначения его на эту должность возражали многие женщины, совращенные Распутиным, а затем освободившиеся от его гипнотического влияния и увязшие в политических, административных и судебных дрязгах.

Наконец царица родила сына. Но ее радость была испорчена с самого начала. Ребенок был неизлечимо болен гемофилией — болезнью, при которой малейшая царапина приводит к сильному кровотечению. Здесь медицина была бессильна; оставалось надеяться лишь на чудо. Распутин предложил сотворить такое чудо, и императрица ачно клюнула на приманку.

Распутин, как большинство подобных людей, обладал неосознанным магнетизмом. Силу его внушения испытывали на себе женщины, которые, несмотря на душевные страдания и остатки собственной воли, делали все, что он хотел. Это внушение ощущали даже такие высокопоставленные люди, обладавшие сильной волей, как Столыпин. Однажды Столыпин послали припугнуть Распутина и заставить его убраться из Петербурга. После этого Столыпин рассказывал Родзянко: «Он уставил на меня свои белесые глаза, начал бормотать таинственные и бессвязные фразы из Писания, делать странные пассы руками, и внезапно я почувствовал невыносимое отвращение к тому, что надвигалось на меня. Но я понял, что этот человек обладает мощным гипнотическим даром и сознательно внушает мне сильное психическое чувство отвращения. Поэтому я взял себя в руки и прикрикнул на него...»

Родзянко описывает свою встречу с этим грубым мужицким Калиостро очень похоже: «Распутин повернулся, и его глаза начали блуждать по мне: сначала по лицу, потом в области сердца, а потом снова по лицу. Так продолжалось несколько секунд. Я не подвержен действию гипноза (проверял это много раз), но тут ощутил влияние какой-то огромной и непостижимой силы. Я почувствовал, как во мне возник чисто звериный гнев, к сердцу прихлынула кровь, и понял, что близок к настоящему безумию. В свою очередь я посмотрел Распутину прямо в глаза и ощутил, что мои глаза буквально вылезают из орбит».

Императрица смотрела в эти белесые глаза с надеждой, на первых порах робкой, а затем все более и более исступленной. Распутин поступал очень мудро: он появлялся вскоре после того, как ребенку оказали медицинскую помощь, но ле-

карство еще не успело подействовать. Поэтому улучшение состояния цесаревича неизменно приписывали его влиянию. Однажды царский хирург Федоров пришел в ужас, увидев, что стерильные бинты и прочие материалы, которые он приготовил в операционной для больного ребенка, накрыты грязной поддевкой, которую Распутин снял со своего плеча; таким образом он призывал на предстоящую операцию благословение небес.

Распутин умел развлекать и смешить мальчика. Кроме того, при нем императрица оставалась совершенно спокойной. Сила внушения, которой обладал «придворный ламповщик», прекращала ее приступы истерии.

Вся ее жизнь заключалась в большом маленьком наследнике престола, который был не только ее сыном, но воплощением императорской власти. В каком-то смысле муж также был ее духовным сыном, за которого она постоянно переживала и болела душой. Чувства к двум созданиям, связанным друг с другом благодаря ей и находившимся перед ней в неоплатном долгу, слились в одно. Если бы эти люди умерли, у нее не осталось бы ничего. Такая любовь исключает возможность интимной связи с Распутиным, слуху о которой охотно верили и завсегда таи петербургских салонов, и подавляющее большинство населения России. Но сам Распутин так высоко не метил. Этот неутомимый распутник ограничился тем, что соблазнил в императорских покоях лишь особу своего ранга: няню детей правящей четы. Когда со временем няню тихо убрали из дворца, она продолжала ныть, что царских детей нужно вырвать «из когтей этого дьявола».

По отношению к царице Распутин вел себя так, что она могла поверить в его чистоту и святость. Для Александры Федоровны он был человеком, посланным ей Провидением, ангелом-хранителем ее обожаемого сына — того самого взрослого коронованного ребенка, к которому Распутин испытывал тревожную отцовскую любовь. Однажды царь и царица вместе читали французскую мистическую книгу, называвшуюся «Друзья Бога». Там говорилось, что иногда небеса посылают на землю «божьих людей», которые должны руководить земными владыками и служить посредниками между ними и

небесами. Именно таким человеком был спирт Филипп. Он подарил царице икону с колокольчиками, звон которых должен был предупреждать ее о приближении опасных людей, враждебно настроенных к трону. Но Распутин пошел еще дальше. Он подарил царице образ Николая Чудотворца, который следовало держать в руках перед каждой важной встречей. Еще одним его подарком стал посох из Нового Афона с изображением рыбы, держащей птицу; в одной руке нужно было держать его, а в другой — посох, освященный прикосновением спирита Филиппа. Кроме того, он подарил царице свой гребешок. Перед важными встречами император должен был несколько раз провести этим гребешком по волосам, что должно было резко повысить его проницательность. Кроме того, у императрицы была большая коллекция подаренных Распутиным образков, каждый из которых обладал магической силой, и амулетов (в их числе были засушенный букетик ландышей, хлебная корочка и пустая бутылочка из-под мадеры — естественно, «вина не обычного, а чудодейственного»).

Императрица, которую придворные называли «гениальной женщиной» и сравнивали с Екатериной II, которая получила прекрасное образование, говорила на нескольких языках, поддерживала близкие отношения со сливками современной литературы и искусства, под влиянием Филиппа и Распутина стала верить во всякую чушь вроде счастливых и несчастливых дней, предсказаний, вещих снов самого Распутина, с которым следовало обсуждать всякое действие, в том числе и наступление на фронте.

В эпизоде с Распутиным действительно было нечто роковое. Но дело заключалось не в том, что «жена Цезаря, которая должна быть выше подозрений», приблизила к себе грязного авантюриста, пользовавшегося скандальной славой. Трагедия была в том, что царь и царица, толпы министров и князей церкви, духовно бедные и обладавшие низким самосознанием, в самый решающий момент мировой истории держали в своих руках судьбу колоссальной страны, раскинувшейся от полярных льдов до выжженных солнцем степей Средней Азии и от Балтики до Тихого океана.

Глава 2

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ РАСПУТИНА
И СЕПАРАТНЫЙ МИР

Распутин обладал влиянием, не имевшим себе равных. Царица верила каждому его слову и, в свою очередь, влияла на политику мужа. Но чего хотел сам Распутин? Какой политики он ждал от правительства? Политиком в полном смысле этого слова он не был. Этот авантюрист просто стремился избавиться от тех, кто не любил его, и возвысить тех, кто заиграл его или искал его милостей. Великому князю Николаю Николаевичу претили его эскапады, и с помощью царицы Распутин добился его снятия с поста главнокомандующего и замены его самим царем. Этот шаг возмутил руководство Антанты и порадовал немцев.

Некоторые духовные лидеры церкви хотели отлучить Распутина и предать его анафеме за разврат. Но он добился «августейшего повеления», согласно которому этих людей, в нарушение всех канонов, отправили в ссылку. Для этого оказалось достаточно рапорта «серого кардинала» — прокурора Священного синода. Оставалась Государственная дума. Ее беспомощность по контрасту со всемогуществом темного авантюриста все более возбуждала общественное мнение. Распутин натравил на Думу царя, и тот беспощадно подавил последние ростки конституционализма, которые в интересах сохранения царизма посеял не кто иной, как махровый контрреволюционер Столыпин.

Когда влияние Распутина успешно прошло проверку, его дом и различные квартиры в аристократических районах Петербурга, в которых происходили его гомерические оргии, наполнились пестрой толпой просителей, интриганов, карьеристов, авантюристов, шпионов, маклеров, биржевых спекулянтов и, наконец, людей, мечтавших о министерских портфелях. Всем требовалась рекомендация Распутина, словечко, замолвленное в нужный момент, или безграмотная записка, адресованная кому-то из высокопоставленных особ. Все обдывали с его помощью свои грандиозные аферы и мелкие делишки. Однако за помощь Распутина требовалось платить. Все

пытались что-то шепнуть ему на ухо, что-то выведать у него или заставить его что-то сделать. Но этот хитрый комедиант никого не слушал. Мало-помалу он создавал свою собственную странную «теплую компанию», состоявшую наполовину из политиков, наполовину из спекулянтов. В этой банде Распутин был царем и богом. Ее члены были тесно связаны круговой порукой; они помогали друг другу карабкаться наверх и убирать все препятствия с пути своего оракула. Этой клики боялись все. Кое-кто пытался закулисно интриговать против нее, но дело обычно кончалось неким тайным соглашением.

Тем временем продолжалась веселая игра в «министерскую чехарду». Один «калиф на час» сменял другого. Ловкие акробаты карабкались по спинам других людей, предлагали друг другу поддержку, топтали тех, кто спотыкался, затем спотыкались сами и падали. Некоторые наиболее уважаемые консерваторы вроде Родзянко пытались до царя весь ужас ситуации. Но царь искренне не понимал этого. Кое-кто из великих князей начинал бояться, что Николай приближается к краю пропасти, куда потянет за собой и всех членов царской семьи. Царь злился. В Думе произносили гневные речи даже такие реакционные монархисты, как Пуришкевич. Царь напрягался и готовил указ о роспуске Думы. Последний буфер между властью и безмолвствовавшей, но возбужденной страной мог быть уничтожен в любой момент.

И в армии, и в тылу, в студенческих аудиториях и крестьянских избах звучит слово «измена». Оно становится особенно слышимым после очередного поражения. Это неизбежный спутник деморализации. Цель для подозрений существует и сама напрашивается быть атакованной. Императрица — немка, которая действует в пользу «своих», она готовится предать союзников и заключить сепаратный мир. Через царицу враги узнают самые важные военные тайны. Сторонники Распутина намеренно разваливают государственную власть. Даже много лет спустя Родзянко решительно утверждал, что «кружок Распутина находился под несомненным вражеским влиянием и служил интересам Германии».

Теперь мы знаем (во всяком случае, практически), насколько справедливы были эти подозрения¹.

16 августа 1916 г. в личном письме к царю английский король указал на высокую активность германских агентов в России. Николай не стал отрицать их существование и пообещал «заняться ими», однако добавил: «Я думаю, существует более серьезное явление, требующее постоянной борьбы: деятельность некоторых банков, которые до войны находились в руках немцев; их невидимое, но сильное влияние сказывается в медленном выполнении заказов на военную технику, боеприпасы и так далее».

Хотя российский капитализм, и в частности финансовый капитализм, был в каком-то смысле «дочерней фирмой» капитализма Антанты, однако у германского капитализма была своя сфера влияния. Участие германского капитала было особенно сильным в Петроградском международном банке (директор А.И. Вышнеградский), который принадлежал компании «Дисконтотгезельшафт»; в Русском внешнеторговом банке, зависевшем от берлинского «Дойче банка»; и, наконец, Русско-Азиатский банк (находившийся под управлением А.И. Путилова, причем в совет директоров входил и Вышнеградский) имел давние связи с немецким банкирским домом «Варбург и компания», а также с Крупном. Из этих трех банков два первых осуществляли контроль над значительной частью российской металлургии (текстильная промышленность входила в сферу влияния Антанты). Кроме того, немецкая электротехническая компания «Сименс унд Гальске» открыла в Петербурге свой филиал, называвшийся «Электрическим обществом-1886». Вместе с компанией «Альгемайне электрицитетсгезельшафт» (Ратенау), проникшей в Россию позже, они создали Русский электрический синдикат, который покрыл всю Россию линиями электропередачи, протянутыми по определенному плану. Таким образом, немецкий капитал имел в довоенной России сильные позиции. Его шупальца дотягивались до разных политических групп и людей, пользовавшихся влиянием в правительстве и обществе. Именно к ним вели многочисленные ниточки, за которые дергал тот, кто

стремился подорвать симпатии к Антанте и подтолкнуть Россию к заключению сепаратного мира с Германией.

В воспоминаниях Вильгельма II указывается, что посол Мирбах сообщил ему о меморандуме, переданном царю в 1914 г. графом Коковцевым, бывшим министром финансов, пользовавшимся большим авторитетом в российских банковских кругах. В этом меморандуме граф возражал против войны и выступал за тесные связи с Германией. Он предсказывал, что «война закончится поражением и приведет к падению династии». Гельферих, один из наиболее активных руководителей «Дойче банка», описывает шаги, предпринятые в самый канун войны русской «партией мира» во главе с Коковцевым. Стремясь заключить мирное соглашение с немецкими финансовыми кругами, эта партия отправила в Берлин своего эмиссара Л.Ф. Давыдова, занимавшего видный пост в Русском внешнеторговом банке. В случае начала войны эти круги должны были внешне хранить молчание, но ждать благоприятной возможности для приближения ее конца и нового объединения усилий.

Возможно, роль главного агента здесь сыграл известный финансист Манус. Согласно воспоминаниям бывшего французского посла в России Мориса Палеолога, Манус «поддерживал регулярную связь со Стокгольмом (иными словами, с Берлином)» и был «главным распространителем немецких субсидий в России». Каждую неделю Манус устраивал прием для Распутина и других лиц, связанных с фрейлиной Вырубовой, а через нее — с самой императрицей.

В соответствии с государственным законом о конфискации немецкой собственности Московская городская дума долго, но тщетно добивалась закрытия «Электрического общества-1886». Это общество, в то время значившееся швейцарским, защищал известный сторонник Распутина князь Андронников. Закрыть это общество так и не удалось; напротив, в конце 1916 г. оно получило гарантию правительства о предоставлении ему банковской ссуды в четыре миллиона рублей. В Думе вызвала сенсацию речь правого депутата Хвостова, направленная против «немецкого засилья» и постоянно увеличивавшегося тайного влияния германского капитала на жизнь России. Хвостов угрожал новыми разоблачениями, особенно относив-

шимися к электротехнической промышленности. Но разоблачений не последовало. Андронников через Распутина, Вырубову и императрицу сделал Хвостова министром. «Целью этого назначения, — впоследствии заявил Хвостов следственной комиссии, — было желание избежать моих речей о германском капитале и особенно об электротехнической промышленности». Затем Хвостов сделал министром финансов своего родственника Татищева. За это Татищев дал Распутину взятку в 100 000 рублей; во всяком случае, так утверждает сообщник Распутина, бывший директор департамента полиции Белецкий. Позже Татищев попал под следствие и был обвинен в «оказании помощи врагу». Но Татищев дал ставленнику Распутина Протопопову еще 100 000 рублей на покупку муки для мифических «магазинов Общества борьбы против высокой стоимости жизни», после чего Протопопов передал дело Татищева ангелу-хранителю последнего Белецкому «для наблюдения за ходом следствия».

Возможно, самой злобещей фигурой кружка Распутина был Манасевич-Мануйлов. Доклады бывшего министра иностранных дел Извольского показывают, что этот человек действовал как агент германского посла Пурталеса, совершившего неудачную попытку купить за 800 рублей ведущего журналиста газеты «Новое время». Когда Манасевича-Мануйлова привлекли к суду за шантаж и взяточничество, Николай II по просьбе царицы лично приказал закрыть дело. Под предлогом «отсутствия улик» его положили под сукно и так и не возобновили.

На фоне немецких козней и бессилия властей история дворцовой интриги и наглого шпионажа с целью заключения сепаратного мира выглядит просто фантастической.

Действия в пользу сепаратного мира осуществлялись по двум направлениям: индустриально-финансовому и династическо-дипломатическому.

Начнем с первого. В начале июня 1915 г. в Стокгольме объявился директор «Дойче банка» Монкевиц. Он встретился с российским промышленником, «одним богатым русско-

польским евреем» со связями в Берлине (видимо, Манусом). Через последнего Монкевиц довел до сведения русского посла свое пожелание, «чтобы два человека могли как можно скорее тайно встретиться в Москве или Копенгагене; при этом немецкую сторону будет представлять либо Бодельсон*, либо Варбург**, а русскую — видный финансист...» (фамилия отсутствует); целью этой встречи будут частные переговоры о мире «без ведома официальной дипломатии обеих стран». Русский посол тут же доложил об этой встрече тогдашнему министру иностранных дел Сазонову, добавив от себя, что речь идет о «прямом предложении» сепаратного мира и что это предложение достаточно серьезно, потому что «директор «Дойче банка» Монкевиц действовал явно не от своего лица». Фамилии «российского промышленника» и «видного финансиста» так и остались неизвестными, но не вызывает сомнений, что эти люди принадлежали к промышленным и финансовым кругам, которые до войны контролировались германским капиталом.

Сазонов относился к идее сепаратного мира резко отрицательно. Однако не прошло и года, как проект Монкевица оказался близким к осуществлению. В конце марта 1916 г. в доме германского посла в Стокгольме фон Люциуса состоялась беседа между Стиннесом и японским послом. Стиннес предложил, чтобы «влиятельные представители России, Японии и Германии встретились для обмена мнениями об условиях мирного договора». Стиннес, глава немецкого электротехнического треста, был тесно связан с Россией благодаря филиалам своего треста и Международному банку А.И. Вышнеградского.

А затем в Стокгольме состоялась якобы случайная встреча немецкого банкира Варбурга и члена возвращавшейся из Лондона российской «парламентской делегации», заместителя председателя Думы Протопопова. Кроме того, Протопопов был председателем Совета металлообрабатывающей промыш-

* Шведский финансист прогерманского толка.

** Гамбургский банкир, связанный с А.И. Путиловым и выполнявший дипломатические поручения.

ленности, которая контролировалась банками, зависевшими от германских синдикатов. С Протопоповым был «видный финансист» и нефтяной король Поляк, а также шведский банкир Ашберг. Варбург пытался убедить собеседников, что Англия всегда обманывала своих союзников, делает это и сейчас и в одиночку пользуется преимуществами войны. Поэтому России выгоднее дружить с Германией. Он подчеркивал «естественность» условий сепаратного мира: Польша будет восстановлена на землях, принадлежащих российской короне, согласно этнографическим границам; Курляндия перейдет к Германии, а Россия получит взамен Буковину (часть Галиции) и черноморские проливы — конечно, если сумеет отобрать их у турок с помощью военной силы. Красной нитью доводов Варбурга была игра на тщелавии царя: «Англия хочет доминировать и сломить волю русского царя, запрещая ему заключение сепаратного мира»*. Если верить Протопопову, на том беседа и закончилась.

Вернувшись в Петроград, Протопопов рассказал о своей беседе с Варбургом Милокову и попросил совета, как лучше сообщить об этом царю. Милоков «испугался и сказал, что к этому предложению нужно отнестись всерьез». Он убеждал Протопопова описать царю стокгольмский эпизод как «не имеющий большого значения случай из жизни туриста». Протопопов выслушал совет, но поступил как раз наоборот — «придал ему большое значение и довел до сведения императора». Действительно, в письме Николая II жене от 20 июля 1916 г. содержится туманное упоминание о Протопопове: «Он был за границей с другими членами Думы, рассказал мне много интересного... и очень меня обрадовал».

Беседа с Варбургом стала для Протопопова началом карьеры: вскоре он сделался не только министром, но и фавори-

* Не следует забывать, что у Варбурга, подстрекавшего царя против Англии, были влиятельные союзники. 5 июня 1916 г. императрица писала мужу о Вырубовой: «Она забыла передать тебе слова нашего Друга [Распутин. — Примеч. авт.], что смерть Китченера нам на руку [так! — Примеч. авт.], поскольку впоследствии этот человек мог причинить России большой вред, и что вредные договоры теперь подписаны не будут. Понимаешь, он всегда боится того, как поведет себя Англия в конце войны, когда начнутся мирные переговоры».

том Распутина и императрицы. Эти последние начали кампанию столь секретную, что в личных письмах называли Протопопова конспиративной кличкой Калинин. Когда они наконец достигли цели, императрица написала мужу: «Благослови тебя Бог за выбор Протопопова — наш Друг говорит, что ты поступил очень мудро, назвав его имья». Протопопов тут же начал переговоры с банкирами, коммерсантами и промышленниками, которые могли способствовать его продвижению наверх. С согласия властей он хотел создать в следующей Думе компактную группу представителей этих кругов, насчитывающую от пятидесяти до восьмидесяти членов. «Центрами их предвыборной кампании станут провинциальные отделения частных банков» (в то время их насчитывалось около тысячи двухсот); некоторые частные банки уже предложили создать фонд избирательной кампании в размере двух миллионов рублей, предназначенный для обеспечения соответствия их ставленников требованиям, предъявляемым к кандидатам*, и, «возможно, для покупки голосов».

Теперь Протопопов стал одной из центральных фигур клики, сплотившейся вокруг Распутина. В канун Февральской революции императрица писала царю о своем близком друге, видном стороннике Распутина Н.Н. Саблине: «Сегодня вечером он обедает с Маклаковым [царским министром, которого не следует путать с правым кадетом, известным адвокатом В.А. Маклаковым. — *Примеч. пер.*], Калининым [то есть Протопоповым. — *Примеч. пер.*], Римским-Корсаковым и другими у Бордукова». Бордуков был посредником между Татищевым и Протопоповым, передавшим последнему 100 000 рублей на покупку пресловутой «муки». Римский-Корсаков являлся одним из вождей черносотенного Союза русского народа, во время войны ставшего «германофильским». Согласно сообщениям французской прессы, в конце 1914 г. Маклаков вместе с Щегловитовым и бароном Таубе представил Николаю меморандум о необходимости прекратить войну. В начале февраля 1917 г. он прозрачно намекнул царю, что правительство долж-

* Например, для того, чтобы быть избранным, требовалось пройти имущественный ценз, то есть обладать определенной собственностью.

но «восстановить порядок в стране любой ценой и победить *внутреннего* врага, который стал более сильным и опасным, чем *враг внешний*».

Это высказывание позволяет понять тактику распутинской клики, с самого начала боровшейся за смещение Николая Николаевича с поста главнокомандующего. Злобная и подозрительная Александра Федоровна действительно убедила себя, что Николай Николаевич пытался завоевать военную популярность, чтобы отнять трон у ее незадачливого мужа. Однако за нашептываниями Распутина стояли реальные интересы реальных экономических групп. В мемуарах бывшего германского кронпринца описываются шаги, предпринятые Германией весной 1915 г. с целью заключения сепаратного мира. Кронпринц пишет: «Главная трудность заключалась в том, что великий князь Николай Николаевич все еще сохранял власть». Действительно, пока великий князь оставался на своем посту, сменить лозунг «война до победного конца» было невозможно. Поэтому сторонники сепаратного мира должны были сначала во что бы то ни стало устранить Николая Николаевича. Родзянко, изо всех сил пытавшийся уговорить царя не брать на себя обязанности главнокомандующего, говорил прямо: «Люди станут объяснять это решение влиянием окружающих вас немцев, которые, по всеобщему убеждению, связаны с нашим врагом и изменяют России». Составленные Яхонтовым протоколы тайных совещаний Совета министров показывают, что там на них с тревогой обсуждали вопрос, подчинится ли великий князь Николай Николаевич решению царя, или всемогущая ставка устроит государственный переворот. После острого конфликта с председателем восемь министров обратились к царю с просьбой не смещать Николая Николаевича. Они пытались напугать императора «опасностью серьезных последствий этого шага» как для него лично, так и для династии в целом, и подкрепили эту просьбу своей коллективной подачей в отставку.

Немецкое военное командование было так хорошо осведомлено о разногласиях в русском правительстве, что попыталось усилить раскол с помощью фальшивого царского манифеста, адресованного солдатам. Однако российские власти

тщательно собрали все экземпляры этого манифеста и скрыли их от народа. Там говорилось следующее:

Солдаты!

В наиболее трудный момент своей жизни царь обращается к вам, моим солдатам.

Эта несчастная война началась против моей воли: она была вызвана интригами Николая Николаевича с его сторонниками, желавшего отстранить меня, чтобы впоследствии занять трон. Я ни в коем случае не стал бы объявлять войну, если бы знал ее печальные последствия для матушки России, но мой завистливый родственник и продажные генералы мешают мне пользоваться властью, данной мне Господом, и я, опасаясь за собственную жизнь, вынужден выполнять все их требования.

Солдаты! Не слушайте приказов своих продажных генералов и поверните оружие против тех, кто угрожает жизни и свободе вашего царя и безопасности вашей любимой родины.

Ваш несчастный царь, *Николай*².

Следующая кампания партии императрицы и Распутина была направлена против восьми министров, сопротивлявшихся смещению главнокомандующего; эти люди были уволены один за другим. В конце концов пришла и очередь Сазонова. Британский посол Бьюкенен расстался с выжидательной позицией; в секретной телеграмме он просил царя «взвесить серьезные последствия, которые отставка господина Сазонова будет иметь для важных дипломатических переговоров, ведущихся в настоящее время, и еще более важных переговоров, которые потребуются вести в ходе войны». Но вопрос был уже решен. Сазонова должен был заменить Штюрмер. Самую горячую дискуссию вызвал вопрос, стоит ли рискнуть и сразу назначить на этот пост человека с немецкой фамилией или сначала дать ему возможность сменить ее. Впоследствии Штюрмер так и сделал, взяв себе старинную аристократическую фамилию Панин. Естественно, эти переговоры были тайными. «Я хочу этого назначения, но если оно произойдет, это станет громом среди ясного неба», — писал Николай жене. Так оно и вышло. Бывший немецкий кронпринц пишет:

«Наиболее благоприятный момент для заключения мира с Россией наступил в конце лета 1916 г., когда военное положение России было очень плохим. Именно в этот момент царь назначил Штюрмера главой министерства иностранных дел; несомненно, последний был настроен в нашу пользу. Я расценил это назначение как явный знак желания начать мирные переговоры».

Штюрмер тут же поставил все точки над «i». Он начал всерьезно тормозить публикацию соглашения с Англией по поводу Константинополя и манифеста о Польше, причем делал это по распоряжению царя, поскольку данные документы никак не способствовали заключению сепаратного мира. Согласно Бетману-Хольвегу, в немецких политических кругах придерживались мнения (которое последний не разделял), что сепаратный мир с Россией «практически предрешен» и сорвать его может только «крайне неуклюжая дипломатия».

Но немецкая дипломатия действительно оказалась «крайне неуклюжей». В отличие от Штюрмера, германское правительство опубликовало сообщение о создании Польского королевства под протекторатом Германии. Эрцбергер назвал это «настоящей политической катастрофой», похоронившей «уникальный шанс на заключение мира».

Но российские германофилы отнюдь не считали, что все потеряно. Сторонники императрицы и Распутина старались создать сильное правительство, которое могло бы освободиться от надзора думских партий, выступавших за сохранение союза с Антантой. Кружок сенатора Римского-Корсакова, к которому принадлежали министры Маклаков и Штюрмер и с которым был тесно связан Протопопов, подготовил меморандум, предусматривавший роспуск Государственной думы, радикальный пересмотр основных законов и превращение Думы в чисто совещательный орган, объявление военного и даже осадного положения в главных городах страны, закрытие всех левых газет и перевод на казарменное положение всей оборонной промышленности. Члены будущего «сильного правительства» должны были «покаяться государю не жалеть жизни в предстоящей борьбе, заранее указать своих преемников и получить от монарха всю полноту власти».

1 февраля атаман казаков Груббе представил царю план борьбы с «серьезными нарушениями порядка», которые «неминуемо будут сопровождать демобилизацию огромной армии» и «могут перерасти в мятеж». Главную роль в наведении порядка он отводил казакам.

Царизм скрытно, но очень серьезно готовился к прекращению борьбы на фронте и переносу ее в тыл. Однако открытый призыв Ленина к «превращению мировой войны в гражданскую» вызывал у монархистов страшную злобу.

Думские партии прекрасно знали о планах реакционеров заключить сепаратный мир. От имени московского Всероссийского совещания председателей земских управ князь Львов заявил: «Мучительные, ужасные подозрения в измене, в наличии тайных сил, работающих в пользу Германии и готовящих позорный мир, который уничтожит единство народа и вызовет раскол общества, ныне перешли в полную убежденность, что вражеская рука тайно влияет на государственную политику». Центральный комитет Союза городов публично обвинил известные силы, враждебные России, в намеренном саботаже национальной обороны. Все эти организации и их лидеры не посмели назвать имя, но оно вертелось у военного командования на кончике языка. Позже, весной 1917 г., генерал Деникин «задал этот мучительный вопрос» начальнику штаба главнокомандующего Алексееву. Последний «туманно и неохотно ответил: «Во время разбора бумаг императрицы нашли карту с подробной дислокацией частей на всем фронте, составленную только в двух экземплярах. Один был предназначен для меня, второй — для императора. Я был раздавлен. Этой картой мог воспользоваться кто угодно». К сказанному он не добавил ни слова и тут же сменил тему»³.

Однако гипотеза о «шпионаже императрицы» в пользу Германии не подтвердилась. Созданная Временным правительством комиссия Муравьева, в которую входили и представители Советов, не смогла доказать это. По нашему мнению, опубликованная переписка Александры Федоровны с Николаем исключает такую возможность. Конечно, у императрицы «разрывалось сердце» от мысли, что ее муж, сын и она сама находились на стороне России, в то время как ее отец, брат,

сестра и весь ее родной Гессен были в противоположном лагере. Если бы императрица время от времени не проклинала войну, она не была бы человеком. Осудить ее за это мог бы только самый закоренелый шовинист. Императрица была и оставалась немкой как по рождению, так и по образу мыслей. Но это не значит, что душой она всегда была на стороне Вильгельма. Точнее, она жалела не столько Германию, которая была для нее чисто абстрактным понятием, сколько свою «малую родину», свой Гессен, к которому Вильгельм, обаянный идеей пангерманизма, по ее мнению, относился жестоко. Как немка, она была безнадежно провинциальна. Ее душа тянулась ко всем этим Гессенам, Мекленбург-Штрелицам, Мекленбург-Шверинам, Шварцбург-Зондерхаузенам и Шварцбург-Рудольштадтам, карликовым княжествам и герцогствам, правители которых исправно поставляли невест (одной из которых являлась она сама) на брачную ярмарку европейских коронованных особ. Родственные чувства императрицы так же мешали ей желать победы «Ники» над Вильгельмом и Францем-Иосифом, как чувства бывшей принцессы Ангальт-Цербстской, ставшей русской императрицей Екатериной II, мешали последней осуществлять агрессивную внешнюю политику по отношению к своим западным соседям. Каждая неудача России заставляла «ее кровь кипеть при мысли о том, какую зловонную радость эта неудача вызывала в Германии». Она задыхалась от негодования, когда русские войска были вынуждены оставить Галицию и ликующий Вильгельм, возможно, провел ночь на «той самой кровати старого Франца-Иосифа», на которой спал Николай, будучи в Лемберге (Львове). Ее приводила в восторг мысль о том, что в Константинополь, взятый русскими войсками, первым войдет полк, носящий ее имя. «Ах, поскорее бы настал день, когда в храме Святой Софии вновь прозвучит вечерня» Она была уверена, что Николай I благословит из гроба своего правнука, отомстившего Австрии за предательство и объединившего под своим скипетром все древние славянские земли.

Императрица была не пангерманисткой, а панслависткой, но необычного толка. Она была патриоткой не своей страны, а всего лишь династии, членом которой стала. Ее панславизм

был предлогом для распространения власти этой династии; «расширение подвластных территорий всегда было любимым занятием правителей». При этом никакой любви к славянам она не испытывала. «Я бы хотела, чтобы эти балканские страны провалились сквозь землю, — откровенно писала она мужу. — Россия всегда была им любящей матерью, а потом они вероломно отворачивались от нее». Во время трагедии Сербии она тоном ментора заявляла: «Это наказание стране, которая убила своего короля и королеву». Когда австрийцы оккупировали Цетинье [столицу Черногории. — *Примеч. пер.*], она мстительно писала: «Теперь король [Черногории. — *Примеч. пер.*], его сыновья и здешние черномазые дочери [речь идет о принцессах Стане и Милице, женах двух великих князей, настроенных против Распутина. — *Примеч. авт.*], так безумно хотевшие этой войны, заплатят за все свои грехи против Бога и тебя, потому что они боролись с нашим Другом, хотя прекрасно знали, кто он такой».

На самом деле императрица никогда не любила и никому не симпатизировала. Для этого ее сердце было слишком тесным. Итальянцев она считала «мерзкими эгоистами», французов — способными заключить сепаратный мир за спиной России и за счет последней, а от корыстных англичан ожидала «ужасных сложностей» при заключении мира.

«Fiat dynastia — pereat mundus!» [«Пусть торжествует династия, даже если рухнет мир» Парафраз латинской пословицы: «Пусть торжествует правосудие, даже если рухнет небо!» — *Примеч. пер.*]

«Пацифизм» Распутина был намного более стойким и более расчетливым. В воспоминаниях французского посла Палеолога цитируются слова яростной сторонницы Распутина Вырубовой: «Если бы этот святой человек появился здесь раньше, войны бы не было. Я не знаю, что бы он сделал или посоветовал, но Господь вдохновил бы его... Какое несчастье, что в нужный момент он отсутствовал и не успел просветить императора». После возвращения в Петербург Распутин говорил о войне «только загадочными и апокалиптическими фразами, намекая, что он

не одобряет ее и предвидит большие несчастья». После военных поражений царица неизменно напоминала царю о предсказаниях Распутина: «Наш Друг всегда был против этой войны, говорил, что за Балканы сражаться не стоит и что Сербия окажется такой же неблагодарной, как и Болгария».

Однако все это можно объяснить обычным узколобым и эгоистичным национализмом. Императрица разделяла точку зрения Распутина лишь время от времени, главным образом после военных поражений. Зато победы вдохновляли Александру Федоровну и заставляли мечтать о лавровом венке для ее несчастного мужа, «словно и впрямь родившегося в день многострадального святого Иова». Если бы она с самого начала была против войны с Германией и желала последней победы, то вела бы себя по-другому и пользовалась бы предоставлявшимися ей многочисленными возможностями.

10 сентября 1914 г. Палеологу из Биаррица позвонил Витте. «Он сказал мне, что вступление России в войну было безумием... Война разрушит Россию. Пожать плоды победы смогут лишь Франция и Англия... Ни один разумный человек не станет воевать за эти беспокойные и тщеславные Балканы, где давным-давно не осталось никаких славян, а есть только крещенные по ошибке турки». Витте не привлекала перспектива объединить всю Польшу под скипетром России, потому что объединенная Польша доставила бы куда больше хлопот, чем разделенная. Завоевание Дарданелл было делом еще более рискованным; их было бы трудно защищать, причем защита потребовалась бы двойная, поскольку желающих отобрать их хватило бы с избытком. Если победит Антант, «вся Центральная Европа превратится в сплошную республику, и это станет концом эры русского владычества. Что же касается последствий поражения, то я предпочитаю о них не говорить».

Изо всех государственных деятелей того времени лишь Витте набрался мужества заявить публично: «Я могу сделать только один практический вывод: эту безумную авантюру нужно закончить как можно скорее».

Палеолог боялся, что первые военные неудачи пойдут Витте на пользу: «Этот человек обладает нерастратченной энергией; его снедают честолюбие, обида и высокомерие». Будь цари-

ца тайной германofilкой, она быстро забыла бы свои старые обиды на Витте и постаралась его использовать. Но она была отравлена патриотическим угаром. Палеолог замечает: «Лицо царя сияло. Вся фигура императрицы выражала радостный экстаз... Императрица мало говорит, но ее напряженная улыбка и странный магнетический взгляд выражают внутренний энтузиазм». Посол не ошибся. Письма царицы к мужу выражают ее ликование: «С точки зрения морали это здоровая война... Она подняла воинский дух, покончила с умственным застоєм и объединила чувства людей».

Сторонницей идеи сепаратного мира царица стала позже, когда иллюзия победы растаяла как мираж, оставив после себя разочарование и безверие. Переписка царственной четы ясно показывает, какие усилия предпринимала Германия, чтобы заключить мир с Россией.

Одно предложение было сделано через статс-даму императрицы, Марию Васильчикову⁴. В момент объявления войны она гостила у своих знатных австрийских родственников и застряла в Австрии. Там ей нанесли визит три человека из придворных кругов Вены и Берлина, не имевшие отношения к официальной дипломатии. Позже Васильчикову с согласия Вильгельма II вызвали в Берлин для встречи с тогдашним министром иностранных дел фон Яговом. Она должна была довести до сведения российской общественности, что «никто в Германии и Австрии не испытывает ненависти к России» и что «величайшую ненависть немцы испытывают только к Англии». Подавляющее большинство немцев и австрийцев мечтают заключить с Россией прочный мир и создать «союз трех императоров». В этом союзе царю будет предоставлена почетная миссия на Дальнем Востоке. «Эта желтая раса способна на все, и только Россия может стать стеной на ее пути». Что же касается Дарданелл, то «царю достаточно выразить желание, чтобы России был тут же предоставлен свободный проход через этот пролив». После этого Васильчикова написала письмо императору, в котором сообщила: «Меня просили сообщить Вашему Величеству то, что стало известно из очень тайных источников: Англия собирается оставить Константинополь за собой и создать в Дарданеллах новый Гибралтар;

кроме того, в данный момент между Англией и Японией идут тайные переговоры о том, чтобы оставить Маньчжурию за последней».

Первые попытки Васильчиковой ни к чему не привели. Антанта, которая, в отличие от Германии, с Турцией связана не была, могла предложить больше. 3 мая 1915 г. Николай лично сообщил Палеологу, что он намерен принять «радикальное решение, касающееся Константинополя и черноморских проливов». Это было очень похоже на ультиматум. Через неделю Сазонов представил союзникам меморандум, выдержанный в том же духе. Англия дала принципиальное согласие, но сохранила за собой право на соответствующую компенсацию. Франция же задержалась с ответом более чем на десять дней. В это время германский посол в Стокгольме фон Люциус сообщил шведской прессе слух о тайных переговорах между Англией и Францией, направленных на то, чтобы «не передавать России Константинополь». После этого Франция также дала свое согласие. Однако зерна сомнения, посеянные Васильчиковой, дали ростки. В ноябре 1915 г. на военной конференции союзников в Шантильи представитель России посоветовал союзникам эвакуировать их экспедиционный корпус, действовавший в Галлиполи. В секретной телеграмме генералу Алексееву объяснялась невысказанная причина такого совета: опасность «создания постоянного английского порта, нового Гибралтара, у входа в Средиземное море». Текст телеграммы настолько совпадает с текстом письма Васильчиковой, что это нельзя считать простым совпадением.

Тем временем Васильчикова продолжала бить в слабое место. Цитируя фон Ягова, она сообщила царю, что Англия, «не смотря на все ее обещания», решила не отдавать России Константинополь и проливы и, по мнению Германии, после войны предложит последней «использовать ее силы против России». Однако Германия предпочитает заключить с Россией мир, потому что «нуждается в сильной монархической России, а потому уверена, что две царствующие династии должны поддерживать старые монархические и дружеские связи... В Германии считают, что продолжение войны [Россией. — Примеч. авт.] опасно для династии»⁵.

В своем письме от 14 мая 1915 г. Васильчикова предложила сообщить услышанное ею «лично» и попросила срочно предоставить ей «возможность прибыть в Царское Село». Генералу Бонч-Бруевичу пришлось обратиться за разрешением к генералу Алексееву. Поскольку в списках вражеских агентов, подлежащих аресту, Васильчикова не значилась, такое разрешение было получено⁶. В Петрограде Васильчиковой приготовили специальные апартаменты. После этого она получила пропуск в Царское Село и передала царице письма от ее гессенских родственников.

Миссия Васильчиковой не была тайной. Эта дама считала себя дипломатом и писала письма Сазонову, другим министрам и даже Родзянко. В результате поднялся громкий политический скандал; чтобы замять его, Васильчикову лишили звания статс-дамы и сослали в черниговское имение ее сестры.

Ранее Александра Федоровна воспользовалась услугами некоего безымянного «американца из И.М.К.А.», который должен был совершить поездку в Германию. Она попросила этого американца увидеться с принцем Максом Баденским и принцессой Викторией и обсудить с ними внешне вполне невинный вопрос об обращении с русскими военнопленными. В Германии придали этой инициативе бывшей гессенской принцессы исключительно важное значение; это был первый контакт между двумя правящими династиями после начала войны. Все письма, полученные от «американца», «Макса» и «Вики», царица переправляла мужу. «Пожалуйста, не говори, — просит она, — от кого эти письма (можешь сказать только Николаше [великому князю Николаю Николаевичу. — *Примеч. авт.*] о Максе, который присматривает за нашими военнопленными). Их присылают на имя Анны [Вырубовой. — *Примеч. авт.*] через шведов*, но не через придворную даму [Васильчикову. — *Примеч. авт.*], потому что никто не должен знать о них и даже об их посольстве. Я не знаю, чего они так боятся. Я открыто телеграфировала Вики,

* В личном письме Николаю II шведский король Густав V предложил ему свои услуги в качестве посредника.

поблагодарила ее за письмо и попросила передать мою благодарность Максу за все, что он делает для наших пленных». Наивность последней фразы выглядит наигранной, потому что в первых строчках царица просит мужа «никому не говорить» об этих письмах. В других случаях она также старается соблюдать конспирацию из страха перед гласностью. Например, сообщает царю, что «Митя Бенкендорф сказал Павлу [великому князю Павлу Александровичу. — *Примеч. авт.*], что Маша [Васильчикова. — *Примеч. авт.*] привезла письма от Эрни [брата царицы, эрцгерцога Гессенского. — *Примеч. авт.*]. Аня сказала, что она ничего не знала, и Павел подтвердил это. Кто ему сказал?» Позже царица собиралась встретиться с Павлом и «объяснить ему то, что ясно как день».

Через брата царицы, эрцгерцога Гессенского, была предпринята самая серьезная попытка установить контакт между двумя правящими династиями относительно заключения мира. 17 апреля 1915 г. царица написала мужу, что получила «длинное и очень хорошее письмо от Эрни». Эрцгерцог намекнул на то, что ждать от России военных успехов не приходится, и сообщил сестре, что «в Германии не испытывают настоящей ненависти к России». Ему хотелось бы «найти выход из этого положения»; он считает, что «кто-то должен начать строить мост через пропасть». Но кто подходил для этой роли больше, чем он сам, брат жены русского императора? Он решил «абсолютно приватно направить компетентного человека в Стокгольм» для встречи с доверенным лицом Николая, посланным таким же «приватным» образом, минуя министерские и посольские каналы. Царица пишет, что ее брат уже «послал одного господина, который приехал туда 28-го и уедет через неделю». Но дело приняло нежелательный оборот. «С тех пор прошло уже два дня, а я услышала об этом только сегодня» [17 апреля по старому стилю соответствует 30 апреля по новому. — *Примеч. авт.*]. Оставалось только пять дней, а царь находился в ставке. «Поэтому я тут же написала ответ (через Дейзи [шведскую кронпринцессу Маргериту. — *Примеч. авт.*]) этому господину, что ты еще не вернулся и что ждать не нужно, потому что хотя здесь многие стремятся к миру, однако время для него еще не настало... Я хотела все сделать до твоего возвраще-

ния, поскольку знала, что тебе это будет неприятно. Конечно, В. [Вильгельм. — *Примеч. авт.*] ничего об этом не знает».

Еще одна напускная наивность. Кто поверил бы, что при немецких представлениях о порядке какой-то эрцгерцог Гессенский осмелился бы без ведома Вильгельма II послать своего эмиссара для встречи с личным полномочным представителем российского императора? Конечно, эта акция была ясна как день. Великому князю Павлу Александровичу, тесно связанному с французским послом, царица сказала, что «Николай и во сне не видит мира, так как знает, что это означало бы революцию». Выяснилось, что Павел Александрович не только знал о письме Эрни, но даже слышал о «безумных германских условиях». Учитывая утечку информации, а также то, что было уже слишком поздно, ничего другого царица сделать не могла. И все же лед был слома. Германская сторона узнала, что хотя «время для мира еще не настало», но к нему «стремятся многие».

Теперь мы знаем всех посредников в тайных переговорах о мире. Со стороны немцев это были «шведы», то есть члены шведской королевской семьи; никто другой не мог бы действовать через голову шведского посольства в Петрограде. Со стороны царицы действовали «Анна», «Мария», «Дейзи» и безмянный «американец из И.М.К.А.».

Однако у переписки царицы с царем есть и другая сторона, не менее важная, чем вопрос о мире. Императрица не раз надевает свои «невидимые брюки» и даже заправляет их в столь же невидимые сапоги, предлагая конкретные планы военных операций. Николаю следует «послать несколько казацких полков вдоль реки» или «передвинуть нашу кавалерию немного севернее, в направлении Либавы». Она упоминает даже конкретные воинские части (вспомним рассказ генерала Алексева о секретной карте с указанием дислокации русских частей). Она рассуждает о действиях гвардейских полков, «расположенных к югу от Келлера», какие резервы находятся в тылу там-то и там-то, кем подкрепить левый фланг, куда послать артиллерию и т. д. Возникает вопрос: откуда она черпала вдохновение? Ответ на него содержится в переписке царицы. Ей необходимо знать все «для нашего Друга, кото-

рый может помочь». Она бранит царя, если тот «начинает наступление, не спросив совета у Распутина. Распутин думает обо всем и решает, когда для наступления настает подходящий момент. Или, как было в других случаях, когда наступление нужно остановить. В одном из писем императрица настаивает на том, что «Брусилову нужно немедленно приказать прекратить наступление на юг». Распутин не только думает обо всем, но и получает стратегические указания «сверху». Одно из писем императрицы особенно примечательно:

«Я должна передать тебе просьбу нашего Друга, которая приснилась ему во сне. Он просит тебя начать наступление на Ригу. Он говорит, что это важно... Сейчас можно застать их врасплох и заставить отступить. Он говорит, что очень важно сделать это *прямо сейчас*, и *очень серьезно* просит тебя отдать приказ войскам. Он говорит, что мы *можем* и *должны* атаковать и что я должна написать тебе об этом немедленно».

Кто знает, в каком логове Распутин видел этот сон? А вдруг в тот момент «Друг» был окружен шпионами, так и вывшившимися вокруг него? Хвостов рассказывает, как Распутину, собиравшемуся в Царское Село, давал инструкции германофил Дмитрий Рубинштейн, банкир и спекулянт: последнему было необходимо выяснить, в каком направлении будет осуществляться наступление. Рубинштейн говорил, что хочет выяснить, стоит ли покупать строевой лес в Минской губернии. Распутин выяснил это. А потом в письмах мужу царица удивлялась, «как все вокруг знают то, что положено знать только хорошо информированным членам ставки». Картина складывается ужасная даже в том случае, если сам Распутин являлся всего лишь нечаянным осведомителем немецких шпионов. В то время как одна воюющая сторона использует все ресурсы военной науки и техники, весь свой опыт и гений, другая сторона рискует сотнями тысяч солдатских жизней из-за пьяного сна какого-то невежественного и развратного юродивого!

Дальше ехать было некуда. После этого ничуть не удивительно, что в убийстве Распутина, организованном Пуришкевичем из-за любви к стране и династии, принимал участие великий князь Дмитрий Павлович. После войны царица была

готова свести счеты с Николаем Николаевичем, с «черномазыми дочерьми» (черногорскими принцессами) и другими родственниками, которых подозревала в намерении лишить ее мужа престола, а ее самое заключить в монастырь. Но те тоже не дремали. Однажды посреди ночи председателю Государственной думы Родзянко разбудил телефонный звонок. Его приглашала к себе великая княгиня Мария Павловна, вдова великого князя Владимира. При этом она была так настойчива и таинственна, что Родзянко «волей-неволей подумал о заговоре». На следующий день за завтраком великая княгиня «заговорила о внутреннем положении страны и недееспособности правительства, Протопопова и императрицы. Произнесла имя последней, она пришла в ярость и сказала, что императрица губит страну, что из-за нее опасность грозит царю и всей его семье, что такое положение вещей больше терпеть нельзя, что его нужно изменить, уничтожить, отстранить...

Желая понять, что именно она имеет в виду, я переспросил:

— Отстранить? О чем вы говорите?

— Ну, я не знаю... Нужно что-то предпринять, придумать... Сами понимаете... Дума должна что-то сделать... Она должна быть уничтожена...

— Кто?

— Императрица.

— Ваше высочество, — сказал я, — позвольте мне считать, что нашего разговора никогда не было... Иначе данная мною присяга обязывала бы меня пойти к императору и доложить...»

Родзянко говорил, что великая княгиня долго не могла решиться на этот разговор, но ее убедил сын, великий князь Кирилл Владимирович — тот самый, который впоследствии специальным манифестом объявил себя «императором всея Руси» Кириллом I и заявил, что будет править вместе с Советами. Во время революции он предоставил свой полк в распоряжение Государственной думы и украсил свой мундир революционным красным бантом.

Приближался трагический конец русских Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Русские орлеанцы уже перешли в наступление. У них был собственный «Кирилл Эгалите».

Это стало началом внутреннего краха династии. До краха внешнего было подать рукой.

Однако один шанс на спасение еще оставался. Требовалось заставить страну врасплох, заключить сепаратный мир и объявить реакционную диктатуру.

Казалось, такая попытка будет сделана. 4 февраля 1917 г. русского посла в Христиании [ныне Осло. — *Примеч. пер.*] Гулькевича посетил болгарский посол в Берлине Ризов. Он попросил телеграфировать в Петроград «о желании Германии заключить мир с Россией на чрезвычайно выгодных для последней условиях». Ризов говорил, что действует по собственной инициативе, но, как выяснил Гулькевич, «не оставалось ни малейшего сомнения в том, что он действовал по германским инструкциям». Ради проформы Гулькевич ответил отказом, но, конечно, тут же телеграфировал в Петроград и получил в ответ приказ: «Если Ризов предпримет повторные шаги, внимательно выслушать его и уточнить, о каких именно условиях идет речь».

Граф Чернин [австрийский министр иностранных дел. — *Примеч. пер.*] в своих мемуарах говорит о «полномочном представителе одной из нейтральных стран», который предложил ему «вступить в переговоры с одной из вражеских стран без ведома остальных». Граф «ни секунды не сомневался в том, что речь идет о России». Чернин повторил прежнее предложение «Эрни» — организовать встречу полномочных агентов в каком-нибудь нейтральном государстве. Но было уже поздно. Вместо «полномочного агента» он получил известие о революции в России.

Глава 3

ДУМСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

В своей книге «История второй русской революции» Милоков, лидер буржуазной либеральной партии кадетов, предлагает довольно оригинальную интерпретацию Февральского переворота. По его мнению, этот переворот начался как стихийное движение, «абсолютно бесформенное и бесцельное».

Но затем свою роль сыграл новый фактор, оказавшийся решающим. «Вмешательство Государственной думы придало уличным демонстрациям цель, дало им знамя и лозунг, после чего митинг превратился в революцию, которая свергла старый режим и династию».

Милюков утверждает, что «Государственная дума уже многое сделала для этого во время войны и особенно во время «прогрессивного блока».

Однако в России версия Милюкова менее распространена, чем за ее пределами. Тон иностранным концепциям того, что случилось в России, зададо сообщение Милюкова, который был первым министром иностранных дел революционного Временного правительства. В своей радиограмме от 3 марта он изобразил ход революционных событий еще проще: «Вечером 28 февраля председатель Государственной думы получил указ царя отложить ее сессию до апреля. В то утро на улицу вышли рядовые Волынского и Литовского полков и организовали демонстрацию в поддержку Государственной думы. К вечеру возбуждение нижних чинов и населения достигло опасного уровня. Исполнительный комитет Государственной думы принял решение взять на себя исполнительную власть. В последующие дни беспорядки охватили пригороды столицы, и опасность стала злоеще нарастать. С целью предупредить анархию Временное правительство использовало военных, которые сумели положить концу уличным безобразиям и восстановить порядок».

Левые революционные круги отвергают версию Милюкова. Даже председатель Думы Родзянко много раз протестовал против «принятия на веру далекого от истины утверждения, что четвертая Государственная дума подготовила, создала, вдохновила и воплотила в жизнь государственный переворот 28 февраля и революцию».

Чтобы решить, на чьей стороне правда, нужно тщательно изучить настроения как Думы в целом, так и представленных в ней партий с момента объявления войны до февраля 1917 г.

Сразу после начала войны думская фракция кадетов во главе с Милюковым публично заявила, что «хотя фракция не отказывается от своей точки зрения на необходимость реформирования России», однако «в данную минуту перед нами

стоит другая задача, величественная и прекрасная... Мы боимся за освобождение нашей родины от иностранного вторжения; в этой борьбе мы все едины; мы не выставляем ни условий, ни требований, а просто кладем на весы наше твердое желание победить врага».

Ранее во время борьбы с революцией 1905 г. и одержанной победы правительство отвечало оппозиционным партиям знаменитой формулой: «Сначала успокоение, потом реформы». Сейчас оппозиция сама поторопилась заявить: «Сначала победа над австро-германцами, потом реформы». На время войны она подписала собственное политическое отречение.

Конечно, она поступила так в тщетной надежде на то, что правительство оценит благородство такого отречения, примирится с оппозиционными партиями и назначит представителей последних на ответственные государственные посты с целью мобилизации сил и ресурсов под лозунгом «Все для войны! Все для победы!» Иными словами, она верила, что власть сама обеспечит объединение общества, которое в Германии называли *Burgfrieden*, а во Франции — *union sacrée*.

Гучков, лидер октябристов, партии в лучшем случае полуоппозиционной (во времена Столыпина кадеты иронически называли ее «партией последнего декрета правительства»), заявлял: «Все партийные разногласия должны исчезнуть. Работа Думы должна осуществляться совместными усилиями всех политических групп. Более того, необходимо добиться объединения выборной власти с правительством, глава которого будет пользоваться доверием как народных масс, так и органов представительной власти».

Прогрессисты и кадеты согласились свернуть свои знамена. Они думали, что после войны влияние различных партий будет прямо пропорциональным их возможностям и вкладу в организацию национальной обороны. «Хозяином страны станет тот, кто умеет работать». Казалось, что у партии кадетов, в которую входило большое количество высокообразованных людей — профессоров, писателей, юристов, врачей, инженеров, лидеров земств и органов городского самоуправления, — есть все шансы проникнуть в государственный аппарат и доказать свою ценность и незаменимость. Именно это

определяло ее тактику «окружения» власти, целью которой было постепенное превращение последней в заложники умеренной демократии.

Однако царское правительство видело этот план насквозь и исходило из принципа: «Дай чёрту палец, он всю руку откусит». Один из министров (Маклаков) заявлял: «Вы будете притворяться, что занимаетесь поставкой сапог для солдат, а сами станете делать революцию». Поэтому правительственные круги могли протянуть руку так называемым «гражданским» организациям (Союзу земств и городов и военно-промышленным комитетам) только под давлением тяжелых провалов на фронте. Едва опасность оставалась позади, как правительство тут же отдергивало эту руку.

Так дело и шло, пока провалы не стали катастрофическими.

Настроение народа менялось быстро. В начале войны, несмотря на ограниченность масс и их ропот, раздававшийся лишь время от времени, «суперструктуру» общества охватила дух всеобщего энтузиазма. Но полная неспособность тупого правительства использовать этот дух для организации национальной обороны превратила энтузиазм в ненависть к существующему режиму.

Член группы националистов Шульгин рассказывает об одном заместителе министра, который описывал свою поездку на юг:

«Понимаете, Киев — довольно реакционный город... Но меня останавливали там благонамеренные люди и спрашивали: «Когда вы их прогоните?» Они имели в виду правительство. А после убийства Распутина стало еще хуже. Раньше всю вину валили на него... Но теперь они поняли, что дело не в Распутине. Его убили, но ничего не изменилось. А теперь все стрелы летят прямо в цель, не отклоняясь в сторону Распутина».

Московская тайная полиция докладывала о впечатлениях Милюкова от старой столицы: «Я никогда бы не поверил, если бы не слышал собственными ушами, что Москва способна говорить таким языком. Я знаю Москву много десятилетий; если бы двадцать лет назад мне сказали, что в чувствах моск-

вичей может произойти такая катастрофическая перемена, я бы назвал это глупой шуткой. Самые инертные, самые непросвещенные люди говорят как революционеры».

На Съезде земств делегаты Иваненков, Макаров и Бесчинский подтвердили, что схожие перемены произошли даже в таких традиционно монархических регионах, как казачьи станицы. В отчете Московского департамента тайной полиции от 19 февраля 1916 г. говорится о росте «до ужасающей степени» «общего глубокого недовольства личностью Его Величества, правящего императора». Департамент «с глубоким прискорбием констатирует», что «если бы пришлось реагировать на все случаи дерзкого и открытого *lèse-majesté* [оскорбления величества (*фр.*)]. — *Примеч. пер.*], количество дел, заведенных по статье 103, стало бы беспрецедентным». Такой же доклад поступил от петроградской тайной полиции: «Антиправительственные настроения охватили буквально все слои общества, в том числе и те, которые раньше никогда не выражали недовольства, — например, некоторые круги офицеров императорской гвардии».

Тактика Думы была двоякой: с одной стороны, она диктовалась фрондой правящего класса, с другой — боязнью революционных настроений среди низших классов.

В Государственную думу входила вся политическая верхушка обеспеченной и привилегированной России, соответствовавшая необходимому для избрания имущественному цензу, поэтому каждое ухудшение ситуации неизменно приводило к политической консолидации разных фракций. В результате в «прогрессивный блок» вошли почти все, от левых до правых: кадеты, прогрессисты, «земские октябристы», правое крыло Союза 17 октября, «правый центр» и даже наиболее либеральные из националистов, правее которых находились только махровые черносотенцы.

Октябрист Родзянко описывает политическое значение блока. «Партия народной свободы [кадеты. — *Примеч. авт.*] в период предвыборной кампании подвергалась преследованиям, а потому была склонна объединиться с крайне левыми. Опасность проникновения революционных настроений в сердце Думы нарастала не по дням, а по часам. Это угрожало

самому существованию Думы и могло привести к революционным беспорядкам в стране». Чтобы избежать этого, «нужно было заключить с влиятельной кадетской партией соглашение и предупредить ее союз с социалистическими партиями» и одновременно привлечь на свою сторону возможно большее количество членов воинствующего крайне правого крыла, которое было готово взорвать Думу изнутри, провоцируя ее и поддерживая каждое антидумское «слово и дело» правительства. Родзянко считает заслугой «прогрессивного блока» то, что он «сорвал уже готовое [? — *Примеч. авт.*] соглашение между партией народной свободы и социалистическими и революционными кругами»¹.

Националист Шульгин, который был не в силах защищать правительство, видел единственный выход в следующем:

«Мы признаем растущее недовольство справедливым, но должны придать его проявлению самую мягкую, самую приемлемую форму... Иными словами, нужно заменить недовольство масс, которое может легко перерасти в революцию, недовольством Думы... Именно для этого и был создан «прогрессивный блок». Этим шагом мы вынудили кадетов перейти к программе-минимум... Если можно так выразиться, мы освободили кадетов от революционной идеологии и свели дело к мелочам... Мне казалось, что мы представляем собой цепь солдат, взявшихся за руки... Конечно, нас толкали сзади и заставляли двигаться вперед. Но мы сопротивлялись. Мы смыкали ряды и не позволяли толпе прорваться... Так мы продолжали сопротивление, но нас толкали в спину уже полтора года... Бог свидетель, если бы мы не создали эту цепь, возможно, толпа прорвалась бы давным-давно»².

«Мы призывали правительство прислушаться к требованиям общества не ради революции, — заявлял Гучков, — а чтобы усилить власть для защиты отчизны от революции и анархии».

Однако многие кадеты резко осуждали участие в этой «цепи». Согласно донесениям полиции, левое крыло партии «не одобряло блок с самого начала. Это крыло доказывало, что участие в нем подорвет авторитет партии, потому что оно не заставит правых членов блока приспособиться к кадетам; на-

оборот, отказавшись от своих главных требований, кадеты сами приспособятся к правым». Это было вполне естественно. Закон всех оппозиционных блоков состоит в том, что его общая платформа может быть выработана лишь при условии приведения требований объединяющихся партий к «общему политическому знаменателю». Лидер левого крыла кадетов Мандельштам заявлял:

«Тактика правого крыла кадетской партии, руководимого Милюковым, грозит бесповоротно скомпрометировать партию в глазах широких демократических кругов населения и либеральной интеллигенции... Страшная ошибка Милюкова заключается в непонимании бесплодности этой игры, в попытке укрепить бюрократию за счет авторитета кадетов, в стремлении что-то получить от этой сделки. На самом деле он теряет престиж и доверие у широких демократических кругов... В ближайшем будущем события изменятся так быстро, что все требования «прогрессивного блока» покажутся детским лепетом... Каждый, кто видит, как все выше поднимается волна народного гнева, ясно понимает, что кадетская партия должна вступить в блок не с правыми, а с левыми, должна идти рука об руку с демократическими партиями. Если мы этого не сделаем, то окажемся в хвосте событий и потеряем свою лидирующую роль. Скажем честно: многие члены нашей партии боятся размаха революции и видят в ней лишь новый пугачевский бунт. Но сами эти страхи должны диктовать политику, диаметрально противоположную милюковской. Если мы не хотим, чтобы стремление народа наказать преступное правительство превратилось в беспорядки, хаос, бессмысленное разрушение, то не имеем права игнорировать народное движение, мы должны стремиться возглавить его... Иначе кадетская партия, скомпрометированная в глазах народа, рискует раз и навсегда оказаться на стороне непопулярных умеренных политических партий. Это было бы несчастьем как для нашей партии — партии российской интеллигенции, — так и для народа»³.

Как же Милюков, лидер правоцентристского большинства партии, защищал свою тактику?

«Люди, которые выдвигают такие лозунги, играют с огнем. Они не способны понять страшное напряжение, в котором

живет сегодняшняя Россия, и последствия этого напряжения. Очень возможно, что правительство тоже не понимает, что происходит в глубинах России. Но мы, умные и чуткие наблюдатели, ясно видим, что ходим по вулкану, что достаточно малейшего толчка, чтобы все пришло в движение и полилась лава. Вся Россия — одна воспаленная рана, боль, скорбь и страдание... Напряжение достигло предела; достаточно чиркнуть спичкой, чтобы произошел страшный взрыв. Боже нас сохрани стать свидетелями этого взрыва. Это будет не революция, а тот самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», от которого бросало в дрожь Пушкина. Начнется та самая вакханалия, свидетелями которой мы были в Москве*. Из глубин вновь поднимется та грязная волна, которая погубила прекрасные ростки революции 1905 г. Сильное правительство — не важно, плохое или хорошее — необходимо нам сейчас, как никогда раньше»⁴.

Для Милюкова революция была зловещей предательской стихией, которую мог надеяться повернуть в нужное русло только тот, кто был способен тешить себя иллюзиями. Россия созрела для бунта, но не для революции. Следовательно, изменение тактики было бы фатальным. Милюков взывал к своей партии:

«Ради бога, не поддавайтесь на провокацию правительства. Оно спит и видит сепаратный мир с Германией, а потому пытается спровоцировать сложности внутри страны... Указав на рост революционного движения в России, оно объяснит союзникам, почему не может продолжать кампанию. Оно возложит ответственность за неудачу на революционные и оппозиционные круги... Не идите у него на поводу. От нас требуется только одно: терпеливо ждать, глотать горькие пилюли, не увеличивать, а уменьшать народное возбуждение: рано или поздно положение правительства станет безнадежным, после чего наступит полный и абсолютный триумф российского либерализма»⁵.

* Имеются в виду стихийные погромы и разграбление магазинов, принадлежавших владельцам с немецкими фамилиями, происшедшие в начале войны.

Правоцентристские элементы кадетской партии были уверены в успехе. Во время мирного конгресса «правительство ничего не сможет сделать без Думы». Оно будет вынуждено «подкрепить» свои условия и требования «обращением к российскому общественному мнению, выраженному представителями народа». Конфликт с Государственной думой накануне или во время конгресса ухудшил бы международное положение России. Во-вторых, после войны для выплаты одних процентов по внешнему долгу понадобилось бы около полумиллиарда рублей плюс затраты на восстановление разрушенных крепостей и строительство новых, расширение сети железных дорог, расходы на демобилизацию и т. д. В случае конфликта с Думой «правительство не получило бы за границей ни копейки». Кроме того, существовало еще одно обстоятельство:

«Несомненно, после войны следует ожидать зловещих массовых беспорядков... В борьбе с ними правительство окажется беспомощным... В последнюю минуту оно обратится к нам, и тогда наша работа будет заключаться не в нанесении последнего удара правительству, что будет означать поддержку анархии, а в обновлении его... Поощрять лидеров анархической революции ради борьбы с правительством значило бы рисковать всеми нашими политическими достижениями начиная с 1905 года»⁶.

Позже Родзянко был недалек от истины, утверждая, что «Милюков почти во всех вопросах поддерживал даже не прогрессистов, а октябристов». (Прогрессисты были левее октябристов, но правее кадетов.) Шульгин заверял министров, что кадетов бояться не стоит: «Они прекрасно знают, что головы жирондистов оказались в одной корзине с головами монархистов... Они боятся революции. Они три года кричали: «Все для войны» В случае революции это им припомнят».

Но «опасность слева», олицетворявшаяся кадетами, и без того не слишком тревожила правые монархические круги. В меморандуме, составленном кружком сенатора Римского-Корсакова, партия Милюкова характеризовалась следующим образом:

«Самой сильной и активной из них [умеренно либеральных партий. — *Примеч. авт.*] является партия кадетов, ко-

торая ведет за собой всех остальных. Но если присмотреться внимательно, придется признать, что эта партия сильна своей слабостью. Демократическая по названию, она по составу является чисто буржуазной, не имеет собственной платформы, а потому вынуждена поддерживать лозунги левых о правах народа и отмене частной собственности. Хотя в нее входит большое количество землевладельцев и так называемых руководителей земств, однако партия кадетов поддерживает лозунг отчуждения земли, которое уничтожит ее собственных членов. Конечно, лидеры кадетов неискренни и упорно борются за это не станут. Они сами предложили убрать данный пункт из программы «прогрессивного блока», созданного и руководимого ими. Это как нельзя лучше доказывает, что они не верят в собственное независимое существование и ищут союза с другими партиями ценой уступок и жертв. Без союза с левыми, без козырей, вынуженных из чужой колоды, кадеты представляют собой всего-навсего большое сборище либеральных юристов, профессоров, министерских чиновников и ничего более»⁷.

Когда Совет министров обсуждал соглашение с «прогрессивным блоком», столкнулись два мнения. Одна группа ни за что не хотела простить Милокову старую попытку кадетов после роспуска первой Думы блокировать иностранный заем Столыпина. «Как бы Милоков ни менял шкуру, он всегда останется в моих глазах революционером, если не извинится за свои действия публично»*. Другие настаивали на одобрении соглашения. Сазонов утверждал: «Если все сделать прилично и воспользоваться предоставленной возможностью, кадеты первыми бросятся заключать соглашение. Милоков — типичный буржуа и боится революции больше всего на свете. Большинство кадетов трясется за свой капитал»⁸.

Осенью 1915 г. казалось, что расчеты Милокова на то, что правительство окажется в безвыходном положении и будет вынуждено предоставить министерские портфели представителям «прогрессивного блока», вот-вот оправдаются. На фронте

* Заем во Франции пытались заблокировать не Милоков, а князь Павел Долгоруков с В.А. Маклаковым, за что их и осудила их партия кадетов.

со дня на день должна была произойти катастрофа. Паника охватила не только солдат, но и высшее командование. Ставка настаивала на оставлении Киева. Обсуждался вопрос об эвакуации Петрограда. Обстановка в тылу была не лучше. Министр внутренних дел князь Щербатов докладывал о своей полной беспомощности, «дезорганизации местных служб», множественности властей, результатом которой оказывается отсутствие всякой власти, «невообразимой неразберихе в провинции», панике в аппарате самого министерства и диктаторских приказах военных, вплоть до прапорщиков и казарменных командиров. «На фронте нас бьют немцы, а в тылу наносят последний удар собственные офицеры», — резюмировал Кривошеин. Военный министр докладывал, что «беспорядок в штабах нарастает с каждым днем; никто ничего не хочет делать, никаких приказов не отдается... Вся жизнь страны дезорганизована, аппарат правительства развален, повсюду хаос и беспорядок». Совет министров наконец понял, что Россия находится на грани банкротства. Государственный контролер с горечью констатировал, что страна и армия не испытывают доверия к правительству и если еще на кого-то надеются, то только на Государственную думу и военно-промышленные комитеты. Царь тоже не обращает на Совет министров никакого внимания и считается только со ставленником императрицы и Распутина, старым циничным бюрократом Горемыкиным. «Правительству не верит даже тот человек, который является источником государственной власти», — заявил Щербатов, и никто ему не возразил. Общее мнение выразил Сазонов: «Правительство висит в воздухе, не получая поддержки ни снизу, ни сверху»⁹.

В таких условиях у правительства было три выхода: пойти на уступки организованному обществу, найти второго Столыпина и доверить ему диктаторскую власть или заключить сепаратный мир и таким образом вырваться из тисков кризиса. Но люди, близкие к царю, все еще считали, что сепаратный мир вызовет немедленную революцию. Второго Столыпина не находилось: высший слой бюрократии деградировал так же стремительно, как и династия. Сдаться организованному обществу было невозможно из-за честолюбия придворной кама-

рильи, религиозного и династического мессианства царя и императрицы и ненависти к обществу, которая вьелась в плоть и кровь высшей бюрократии.

Однако переговоры с «прогрессивным блоком» начались. Со стороны правительства их вел государственный контролер Харитонов, которому помогали министры А.А. Хвостов, князь Щербатов и князь Шаховской, а со стороны блока — Милюков, Ефремов, Шидловский и Дмитриуков. На тайном совещании Совета министров докладывалось, что «в основном программа «прогрессивного блока» приемлема и отличается от правительственной точки зрения лишь в некоторых вопросах». В этом нет ничего удивительного, поскольку блок даже не требовал ответственности кабинета министров перед Думой. Назначение отдельных министров на их посты оставалось прерогативой монарха; Думу волновал только персональный состав кабинета, который должен был пользоваться доверием широких кругов общества; иными словами, правительство должно было формироваться из членов блока. В конкретных вопросах, где Дума требовала более либеральной политики, было бы трудно придумать более обтекаемые и растяжимые формулировки. Сами министры смеялись над фразой о еврейском вопросе: «вступить на путь постепенного ослабления ограничений».

Но соглашение с организованным обществом неизменно наталкивалось на глухую стену в виде царя.

Горемыкин, пользовавшийся сильной поддержкой царицы и Распутина, в решающий момент прерывал переговоры, доставая из кармана царский указ о роспуске Думы. На возражения взволнованных коллег он презрительно отвечал: «Будет ли Дума распущена со скандалом или без скандала, значения не имеет... Я считаю невозможным расстраивать императора разговором об опасности беспорядков, потому что не разделяю этих страхов... Все это придумал Родзянко, чтобы напугать нас... Дума будет распущена в назначенный день, и никакой крови не прольется... Милюков может болтать все, что ему вздумается. Я так верю в русский народ и его патриотизм, что не допускаю и мысли о том, что он может ответить своему царю беспорядками, особенно в военное время. Если отдельные банды интриганов начнут плохо себя вести, о

них позаботится полиция, поэтому не следует обращать на них внимания». Те же доводы приводили и его преемники.

Недостатка в драматических сценах не было. Председатель Думы Родзянко приехал со специальным визитом в Совет министров и попытался убедить главу правительства не играть с огнем, когда на кону стоит судьба России и династии, но столкнулся с такой чванной бюрократической невозмутимостью, что «как безумный, не попросившись и забыв трость, пулей вылетел в дверь, после чего произнес безнадежную фразу: «Я начинаю верить тем, кто говорит, что в России нет правительства». Десять министров направили царю коллективную декларацию о несогласии с премьером и о невозможности в таких условиях продолжать работу. Они получили выговор и приказ продолжать исполнять свои обязанности (правда, после этого их одного за другим отправили в отставку). Более того, Хвостов (единственный, кто поддержал Горемыкина против всех остальных) стал фаворитом императрицы, поскольку дал элементарный совет, как быть с Думой: «Их нужно просто разогнать».

«Разогнать всех... Полиция подавит беспорядки», — восклицал Гучков. — Приближается потоп, а жалкое, ничтожное правительство готовится противостоять этому катаклизму с помощью тех же средств, которыми они защищаются от сильного дождя: резиновых калош и зонтиков». Даже британский посол Бьюкенен сказал: «Боюсь, революция неизбежна».

Но страх испытывали и вожди Думы. В том же августе 1916 г. Гучков писал генералу Алексееву: «Наше оружие обоюдоостро; массы (особенно рабочие) так возбуждены, что достаточно искры для взрыва, размеры и место которого невозможно ни определить, ни предугадать».

Такие же сомнения начинали терзать и Шульгина:

«Конечно, возбуждение россиян... позволяя успешно снизить предохранительный клапан под названием «Государственная дума»... Мы сумели заменить «революцию», то есть кровь и разрушение, «резолуцией», то есть словесным выговором правительству. Но... в моменты сомнений я иногда начинаю чувствовать, что вместо пожарных, пытающихся по-

гасить революцию, мы становимся поджигателями, хотя и невольными».

Государственная дума начинала все больше и больше бояться бремени народных симпатий, которые она вызывала. И не без оснований.

24 января 1917 г. группа рабочих Центрального военно-промышленного комитета, получив правительственную ноту, явно враждебную по отношению к рабочим, обратилась к народу с воззванием: «Рабочий класс и демократия больше не могут ждать. Каждый день промедления опасен. Решительное искоренение самодержавного режима и полная демократизация страны становятся задачей, требующей немедленно решения, вопросом жизни и смерти для рабочего класса и демократии... К открытию Государственной думы мы должны подготовить всеобщую демонстрацию. Пусть весь рабочий Петроград, фабрика за фабрикой, район за районом, проникнутый духом товарищеского единения, придет к Таврическому дворцу, чтобы предъявить главные требования трудящихся и демократов. Вся страна и армия должны услышать голос рабочего класса: только создание Временного правительства, опирающегося на народ, организованный для борьбы, может вывести страну из тупика и фатальной разрухи, обеспечить политическую свободу и дать стране мир на условиях, приемлемых для российского пролетариата и пролетариата других стран».

Эта группа рабочих представляла собой крайне правое крыло рабочего и социалистического движения. Она состояла из так называемых «оборонцев», несмотря на обвинения в измене решительно настроенных на сотрудничество с торгово-промышленным капиталом в сфере оборонной промышленности. Однако группа испытывала сильное давление со стороны масс, которые относились к войне все более и более враждебно. Ее попытка организовать демонстрацию в день открытия Думы была продиктована стремлением избежать раскола между Думой и массами, принудить Думу к более решительным действиям и приучить рабочих к тому, что именно Дума должна возглавлять народное движение. Иными словами, крайне правое крыло социалистов пыталось достичь того же, чего хотело левое крыло кадетов.

В ответ правительство немедленно распустило группу и провело массовые аресты лидеров рабочих, профсоюзных и других организаций.

Утром 29 января Центральный военно-промышленный комитет провел специальную встречу с представителями Союза земств и городов и «прогрессивного блока». На ней присутствовал один из членов Рабочей группы по фамилии Обросимов. Считалось, что он случайно сбежал из-под ареста, но, скорее всего, его оставили на свободе намеренно, как полицейского агента и провокатора. Его речь должна была дать полиции повод для обвинения группы в подготовке вооруженного восстания, имевшего видимость мирной демонстрации. Однако, согласно отчету петроградской тайной полиции, еще до выступления Обросимова «депутат Государственной думы Милоков, сильно возбужденный, заявил, что сейчас Дума находится в центре внимания всей страны, что только Дума может и должна диктовать стране условия борьбы с правительством, что только она может объединить усилия всех борцов и предложить соответствующие лозунги. Кроме Думы, ни один класс и ни одна группа населения не имеет права выдвигать собственные лозунги и независимо начинать или вести эту борьбу. Таким образом, политика Рабочей группы и ее сторонников ему, Милокову, абсолютно непонятна и он не понимает, как эту позицию можно совместить с возникшей ситуацией».

Далее в отчете указывается, что «присутствующие, ожидавшие услышать от Милокова пламенную речь, были просто обескуражены этим заявлением». Лидер социал-демократической фракции Думы Чхеидзе был вынужден заявить, что «в таких условиях Милоков рискует со дня на день оказаться в хвосте событий, поскольку, если все будет развиваться в том же направлении, рабочие неожиданно обнаружат, что именно они являются главной политической силой, решающей, какие действия следует предпринимать». Правительство нанесло удар по рабочим, но Чхеидзе предупредил: «Помните, за арестом рабочих последует ваш собственный».

Таким образом, всего за три недели до революции между кадетским крылом «прогрессивного блока» и рабочим движе-

нием произошел раскол. Через неделю трещина стала еще шире. 9 февраля местный воинский начальник Хабалов, предвосхищая демонстрацию по поводу открытия Думы, распространил воззвание к населению, в котором говорилось, что «ни один истинный сын отечества не предаст своих братьев», а потому не откликнется на призыв «пойти к Таврическому дворцу и предъявить политические требования. Не слушайте преступных подстрекателей, которые толкают вас на измену». На следующий день газета «Речь» опубликовала письмо Милюкова главному редактору. Шульгин замечает, что, «как ни странно, в этих двух документах было много общего». Милюков тоже предупреждал рабочих, что выходить на демонстрацию не следует. Рабочих особенно возмутило упоминание о «вредном и опасном совете», который «явно исходит из самого зловещего источника. Следовать этому совету — значит играть на руку врагу».

Обращение Хабалова вызвало у рабочего класса негодование, которому способствовал слух о том, что поводом для ареста Рабочей группы стала бесстыдная провокация*. К этому добавилась попытка опорочить моральную и политическую репутацию жертв злобной полицейской интриги. Легко понять, какое неблагоприятное впечатление на рабочих произвело письмо Милюкова. К нему добавились произнесенные в Думе речи, намекавшие на то, что сама идея демонстрации была подкинута рабочим полицией. Депутат от социал-демократов Скобелев протестовал против прозвучавших в Думе обвинений, что «рабочая демонстрация играет на руку внешнему врагу» и что «призыв к ней является полицейской провокацией».

В этой связи следует упомянуть, что призыв Рабочей группы не имел ничего общего с намерениями большевиков. Наоборот, большевики враждебно относились к любой попытке связать рабочее движение с Думой. Согласно отчетам тайной

* Министр внутренних дел Протопопов, позже допрошенный по этому делу, подтвердил, что с целью избежать распространения слуха среди заключенных Обросимова пришлось арестовать вместе со всей Группой рабочих, после чего, как и обещало правительство, ему устроили фиктивный побег из тюрьмы.

полиции, они «считали Группу рабочих политически нечистой организацией и не признавали Государственную думу. Они приняли резолюцию, призывавшую не поддерживать демонстрацию, объявленную группой, а вместо нее провести чисто рабочую демонстрацию, намеченную на 10 февраля — годовщину суда над бывшими членами большевистской фракции Думы. На тот же день была назначена всеобщая забастовка». 7 февраля Петроградский комитет большевиков распространил листовку с этим призывом. Но в то время большевики были слишком слабы для такого мероприятия. Их собственный орган, «Правда», вынужден был признать, что «из-за несогласия между радикальными группами организовать демонстрацию не удалось». Так же получилось и со всеобщей забастовкой. Лишь несколько фабрик остановили работу на пару часов в разное время дня, чтобы провести неформальные митинги с речами и принятием резолюций. Но сопротивление большевиков и запрет кадетов привели к тому, что демонстрация 14 февраля также провалилась. В забастовке приняли участие несколько десятков тысяч рабочих примерно шестидесяти предприятий. В трех-четыре районах города полиции пришлось разогнать демонстрантов. Как предсказывал Горемыкин, полиция «пока еще справлялась». Во время этих событий два левых депутата — Чхеидзе и Керенский — резко критиковали «прогрессивный блок» и кадетов за «отсутствие воли к действию» и страх перед революцией; они пытались доказать, что единственным выходом из положения является революция. «Власть самым роковым способом стремится удержаться на краю пропасти, поэтому разумнее по-рвать с правительством вовремя, чем рухнуть в бездну вместе с ним»¹⁰.

Но оппозиционные лидеры Думы были верны себе. Они ставили на другую карту, все еще надеясь вырвать власть у реакционной клики, а потому рьяно старались помешать рабочим выйти на демонстрацию. Им казалось, что это станет доказательством влияния блока на рабочих. Однако стихийные демонстрации, вспыхнувшие в Петрограде еще через неделю, застали их врасплох. На этот раз «улицу» никто не пытался урезонить, и это стихийное движение переросло в революцию.

Неудачи, которые потерпели революционеры 10 и 14 февраля, убедили полицию в собственной силе и беспомощности рабочих. Сначала она была так же растеряна, как и думская оппозиция. Меморандум петроградской тайной полиции гласил: «Намерение подпольных социалистических организаций превратить мирную народную демонстрацию в стихийную революционную акцию чрезвычайно пугает «претендентов на власть» и заставляет их уныло спрашивать себя, не слишком ли высоко они занеслись. Этим людям кажется, что они, как библейская ведьма, нечаянно вызвали «фантом революции», но не смогли с ним справиться. Они хотели всего лишь напугать им упрямое правительство, однако злой дух революции на пути ко всеобщему уничтожению готов свергнуть правительство... и пожрать их самих»¹¹.

Тайная полиция от души смеялась.

Да, конечно, в позиции лидеров «прогрессивного блока» было что-то комичное. Один из них, Шульгин, впоследствии искренне писал:

«Я испытывал те же чувства, что и мои товарищи по блоку. Все мы — и хвалившие правительство, и осуждавшие его — родились и воспитывались под его крылом... В лучшем случае мы могли болезненно пересестись из кресла депутата на скамью министров... Выделенный правительством часовой охранял нас... Но когда мы столкнулись с возможным падением правительства в бездонную пропасть, у нас закружились головы, а сердца сжались»¹².

Тайная полиция от души смеялась, но смеяться ей оставалось недолго.

Из страха перед революцией и желания предупредить ее оппозиционные круги были вынуждены выдвинуть идею «дворцовой революции». Смена монарха могла быть выходом из тупика, поскольку новый царь или регент мог согласиться на «окружение» правительства либеральными элементами общества и постепенный переход от абсолютизма к режиму конституционно-демократической монархии.

В своей «Истории второй русской революции» Милюков пишет: «После убийства Распутина широкие слои общества были убеждены, что следующим шагом, который нужно сделать в ближайшем будущем, является дворцовый переворот с помощью офицеров и солдат... Преемником Николая должен был стать его малолетний сын Алексей, а регентом при последнем — великий князь Михаил Александрович. После самоубийства генерала Крымова стало ясно, что этот товарищ Корнилова был патриотом, принесшим себя в жертву; еще в начале 1917 г. он обсуждал в узком кругу подробности приближавшегося переворота. Его исполнение было намечено на февраль. В то же время другой кружок, сформировавшийся вокруг нескольких членов руководящего комитета «прогрессивного блока» и лидеров Союза земств и городов, хотя и не знал об этих приготовлениях, однако обсуждал роль Думы после «дворцовой революции». Варианты были разными, но кружок согласился на регентство великого князя Михаила Александровича как лучшее средство учреждения конституционной монархии. В собраниях этого второго кружка участвовало несколько членов первого Временного правительства; некоторые из них знали о существовании кружка генерала Крымова»¹³.

Керенский указывает, что «во время последней монархической зимы генерал Крымов с Гучковым и Терещенко готовил «дворцовую революцию». Однако полиция была на страже. На тайном совещании Совета министров 4 августа 1915 г. Хвостов говорил, что Гучкова поддерживают левые группы, потому что «считают его способным привести батальон в Царское Село». В «совершенно секретном» докладе от 26 января 1917 г. генерал Глобачев упоминает о группе, «действующей в стиле заговорщиков» и состоящей из А.И. Гучкова, князя Львова, С.Н. Третьякова, Коновалова, М.М. Федорова и некоторых других. «Все надежды эта группа возлагает на дворцовый переворот силами по крайней мере одного-двух сочувствующих полков, считая его неизбежным в ближайшем будущем». На основании материалов следственной комиссии Временного правительства поэт Блок рисует следующую картину: «Гучков надеялся, что армия за небольшим исключением одобрит двор-

цовый переворот, сопровождаемый каким-нибудь террористическим актом (совершенным либо собственными телохранителями царя, как в восемнадцатом веке, либо «студентом с бомбой»), не стихийным или анархистским по характеру, а чем-то вроде заговора декабристов. Существовал план захвата императорского поезда между ставкой и Царским Селом и принуждения царя к отречению. Одновременно с помощью солдат следовало арестовать правительство, а потом объявить о дворцовом перевороте и составе нового правительства»¹⁴.

В своих воспоминаниях профессор Ломоносов пишет: «В штабах и ставке императрицу ругали последними словами; люди говорили, что ее нужно заточить в монастырь и даже свергнуть Николая. Об этом болтали даже за общим столом. Но результатом таких разговоров чаще всего становится мысль о дворцовом перевороте вроде убийства Павла I». Согласно Деникину, активным действиям должно было предшествовать последнее обращение к царю одного из великих князей. Если бы царь ответил отказом, ожидалось «его физическое устранение». Генералов Алексеева, Рузского и Брусилова попросили ответить, согласились бы они участвовать в таком заговоре. Решительным «нет» ответил только первый из них¹⁵.

«Некий кадет Н.» [Некрасов? — *Примеч. авт.*] спросил Шульгина о том, «о чем болтали за кофе в каждом салоне: то есть о дворцовом перевороте. Я слышал о существовании такого аморфного плана, но не знал ни его подробностей, ни участников. Например, существовал так называемый «морской план». Императрицу нужно было под каким-нибудь предлогом заманить на борт крейсера, а потом отвезти в Англию — якобы по ее собственной воле. В другом варианте царя предлагалось отправить туда же и объявить императором Алексея. Я считал все эти разговоры досужей болтовней».

Однако есть более подробное свидетельство Родзянко о приезде генерала Крымова с фронта в Петроград в начале января 1917 г. и докладе, который тот сделал в частных апартаментах Родзянко:

«Крымов закончил приблизительно следующим:

— Чувства военных так сильны, что каждый с радостью приветствовал бы новость о дворцовом перевороте. Перево-

рот неизбежен; на фронте это чувствуют. Если вы решитесь на крайнюю меру, мы поддержим вас. Нельзя терять время.

Крымов умолк; несколько секунд все молчали, как пораженные громом. Первым нарушил молчание Шингарев:

— Генерал прав, переворот необходим. Но кто наберется решимости сделать это?

Шидловский с горечью ответил:

— Какой смысл жалеть его, если он уничтожает Россию?

Многие члены Думы согласились с Шингаревым и Шидловским. Прочитировали слова Брусилова: «Если мне придется выбирать между царем и Россией, я последую за Россией».

Самым неумолимым и резким оказался Терещенко, который очень меня огорчил. Я прервал его и сказал:

— Вы не думаете о том, что случится после отречения царя... Я никогда не присоединюсь к перевороту. Я дал клятву... Если армия может обеспечить его отречение, пусть это решает ее командование, но я до последней минуты буду действовать убеждением, а не силой».

Картина «заговора» получается не слишком приглядная. Военное крыло, которое представляет Крымов, говорит штатскому: «Если вы решитесь, мы вас поддержим». Но штатское крыло в лице Родзянко отвечает: «Если вы, армия, сумеете заставить царя отречься, мы этим воспользуемся». Иными словами, это был не столько заговор, сколько болтовня о нем. Каждый выталкивал вперед другого. Согласно отчетам тайной полиции, после убийства Распутина «люди много и серьезно говорили о националистической партии, сконцентрировавшейся вокруг Пуришкевича; говорили, что эта партия решилась на дворцовый переворот, чтобы спасти Россию от революции»; однако жандармерия признавалась, что все это может быть «лишь досужими слухами». Родзянко говорит: «Многие люди были абсолютно и искренне уверены, что я готовил переворот и что мне помогали многие гвардейские офицеры и британский посол Бьюкенен; конечно, это была полная чушь».

Именно таким был странный «заговор», о котором говорили во дворцах великих князей и апартаментах депутатов Думы, в модных салонах и кабинетах командующих армия-

ми, в докладах политической полиции и на совещаниях Совета министров. «Я считал это досужей болтовней», — писал Шульгин, и он был близок к истине. Последним фрагментом этого плана было совещание, на котором присутствовали Родзянко, его помощник Некрасов, секретарь Думы Дмитриюков, депутат Савич и великий князь Михаил Александрович. Оно состоялось 27 февраля 1917 г., когда уличная демонстрация уже переросла в победоносную революцию. «Великому князю сказали, что ситуацию еще можно спасти: он должен немедленно принять на себя диктаторскую власть в Петрограде, заставить министров подать в отставку и по прямому проводу потребовать от Его Величества манифеста о создании правительства народного доверия». Но даже такой половинчатый дворцовый переворот закончился одними разговорами: «нерешительность великого князя» испортила все. Изю всех пунктов программы он выполнил только один: поговорил с царем по прямому проводу, получил решительный отказ и «сложил бессильные руки на пустой груди».

Глава 4

ДУМА ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БУРИ

Как мы уже убедились, Дума пыталась всеми силами избежать революции. С первых шагов триумфального марша революции по улицам Петрограда Дума игнорировала ее. Рабочих, которые наводнили улицы, постепенно увлекал водоворот. То же происходило и с солдатами, стихийно объединившимися вокруг двух лозунгов: «Хлеба» и «Долой войну!». Последний лозунг делал демонстрацию не просто чуждой Думе, но положительно враждебной ей. Дума знала, что осенний набор 1916 г. уже довел число рекрутов до тринадцати миллионов, что четыре миллиона жертв означали двадцать миллионов вдов, сирот и беспомощных стариков, поскольку среднестатистическая русская семья состояла из пяти человек. Она знала, что беженцы из оставленных губерний увеличивали бремя тех, кто был занят в производстве. Она знала, что финансы страны расстроены и концы с концами удается сво-

дить только с помощью инфляции, которая дезорганизует производство и торговлю. Она знала, что оборудование военной промышленности и транспорт изношены; иными словами, что экономика России трещит по швам, напрягает все общественные связи и злоеце обостряет все социальные антагонизмы. Но Дума имела дело только с одной формой стремления к миру: дворцовыми интригами, целью которых была сепаратная сделка между Николаем II и Вильгельмом II, означавшая для России лишь тупик реакции и вассальную зависимость русской Голштин-Готторпской династии, переименовавшейся в Романовых, от победивших Гогенцоллернов. Дума, борвшаяся с этой сепаратной сделкой, мобилизовала против нее общественное мнение, добавила к этому лозунги либерализма и патриотизма и не могла собственными руками уничтожить то, что создавала таким трудом, идя на все мыслимые и немыслимые моральные и политические жертвы. Настроение масс делало требование мира *революционным* лозунгом, призывавшим рабочих всех стран объединиться и положить конец «военным забавам» их правителей. Для Думы это стало новой утопией, непостижимой и неожиданной. Данное движение не могло вдохновить депутатов; оставалось только не обращать на него внимания.

Поэтому Думе предстояло остаться на мелководье, забытой всеми, не способной на союз с народом, отвергнутой самодержавием и никому не приносящей пользы. Но тут ей на выручку нечаянно пришло правительство. Когда уличные демонстрации достигли своего пика, правительство издало указ о роспуске Думы. Внезапно петроградские улицы облетела весть: Дума отказалась «распуститься»! Для всех недовольных, которые еще колебались, и всех тех, кто начинал сомневаться в прочности правительства, которое они защищали, это стало последней каплей. Первые благодаря стадному инстинкту присоединились к движению в поддержку Думы, а вторые, парализованные отсутствием веры, покинули тонущий корабль государства.

Однако отказ Думы «распуститься» был всего лишь легендой. Да, левые депутаты призывали к такому отказу. Но «отказ подчиниться монарху означал бы, что Дума разворачива-

ет знамя мятежа и возглавляет этот мятеж со всеми вытекающими отсюда последствиями, — писал Шульгин. — Родзянко и подавляющее большинство думцев, включая кадетов, были абсолютно не способны на такое». Это стало ясно во время собрания руководящего комитета «прогрессивного блока», на котором «никто не предложил ничего стоящего внимания».

Дума решила подчиниться царскому указу о роспуске и признать, что она прекратила существование. Однако члены Думы договорились не расходиться, а тут же провести «частную конференцию». Чтобы не путать «частную конференцию» с официальной сессией Думы, они перешли из большого Белого зала в меньший Полукруглый. Все радикальные предложения были отвергнуты подавляющим большинством голосов. Общую резолюцию торпедировал Милюков. Он рекомендовал очень осторожно относиться к каждому поспешному решению, особенно в обстановке, когда еще неизвестно, пало ли прежнее правительство и насколько серьезным будет народное движение. Этой «конференции» едва хватило времени, чтобы избрать «временный комитет», который позже, стремясь придать ему большее значение, стали называть «Временным (а иногда даже Исполнительным) комитетом Государственной думы». На самом деле такого органа не существовало в природе. Был только «комитет *частной конференции*». Он носил более длинное и неуклюжее название — «Временный комитет для связей с отдельными лицами и учреждениями по вопросу восстановления общественного порядка и спокойствия в столице» или что-то в этом роде.

Однако когда распространилась новость о роспуске Думы и ее отказе подчиниться царскому указу, к Таврическому двору устремились тысячи людей, если не десятки тысяч. По словам Милюкова, Думе было достаточно стать «центром, знаменем и лозунгом» движения, чтобы это «бесформенное и беспредметное движение» превратилось в настоящую революцию. Согласно Шульгину, члены Думы, которым выпала эта миссия, «были встревожены, возбуждены и, если так можно выразиться, духовно сплотились... Даже многолетние враги внезапно почувствовали, что всем им грозит что-то опасное,

ловещее и одинаково отвратительное... Этим «чем-то» была... **уличная толпа»**

Толпа. О да, конечно, смотреть на нее неприятно. Крестьянские армяки, солдатские шинели, кожаные куртки, кепки, грязные сапоги... Толпа пахнет не духами, а смолой, овчиной и потом. Ароматный дым турецких сигарет и гаванских сигар перешибает едкая вонь плебейской махорки. Но зато в этой толпе нет ни болтунов, ни высокомерных политиков, ни изнеженных трусов, способных лишь на то, чтобы с царского разрешения пересечь из кресла депутата на министерскую скамью. Эту толпу неделю с лишним полиция расстреливала из пулеметов, разгоняла ее шашками и выстрелами из револьверов, но та собиралась вновь и вновь. Она уже доказала, что может приносить себя в жертву. Теперь она прошла новое крещение в купели революции. Эта «чернь» была святой чернью, способной на бессмертные подвиги. Она хотела, чтобы ею руководил кто-то мудрый, добрый, знающий и опытный. Но горе тому, кто пытался обмануть ее или с презрением отставить в сторону, как ненужную лестницу.

И как же Дума приветствовала эту толпу?

«Я помню миг, — пишет Шульгин, — когда Думу затопил черно-серый осадок, нескончаемым потоком валивший во все двери. С первого момента этого вторжения моя душа наполнилась отвращением... Я чувствовал себя беспомощным и оттого злился еще сильнее. Пулеметы!»¹

Если Дума не желала идти к революции, то революция сама пришла к Думе в виде вооруженных людей. Это были организованные представители революции, Советы рабочих депутатов, избранные на фабриках после 21 февраля и сами явившиеся в Таврический дворец. Думе оставалось лишь делать хорошую мину при плохой игре. Легенда об отказе подчиниться указу о роспуске постепенно привела к беспрецедентной и двойственной ситуации. Прибывали военные отряды, открыто бросившие того самого царя, которому Дума решила подчиняться даже после декрета о собственном роспуске. Они подтвердили свою преданность революции, представленной Думой, которая дрожала от ужаса, сталкиваясь с ней. Толпа приветствовала Родзянко громкими криками.

И тут настал момент, когда Родзянко сказал себе:

«Я не хочу восставать. Я не мятежник, я не делал и не желаю делать революцию. Если она произошла, то лишь потому, что люди не пошли за нами... Я не революционер. Но с другой стороны... Правительства нет. Министры бежали. Найти их невозможно. Ко мне со всех сторон спешат люди. Что я должен делать? Отступить? Оставить Россию без правительства?»

Правые, даже думская фракция националистов, призывали Родзянко принять решение: «Берите власть. Это не восстание. Берите ее как лояльный верноподданный. Есть только два выхода: либо все закончится, император назначит новое правительство и мы передадим ему власть. Но если мы не возьмем власть, она достанется этим малым, которые уже выбрали на своих фабриках каких-то мерзавцев».

«Революционер поневоле», камергер двора, горько оплакивавший весть о том, что министр внутренних дел князь Голицын бросил борьбу и подал в отставку, пытался взять власть, чтобы прийти к какому-то соглашению с царем и остановить революцию.

Нет ничего более красноречивого, чем документы из архива генерала Рузского, описывающие переговоры Родзянко с царем и ставкой.

27 февраля Родзянко телеграфировал командующему Северным фронтом генералу Рузскому о волнениях в столице, неспособности властей восстановить порядок и необходимости, чтобы царь немедленно создал новое правительство под руководством «того, кому могла бы доверять вся страна». «Промедление невозможно, промедление — это смерть, — написал Родзянко в таком же послании к царю и добавил: — Я молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на правителя». Прочитав телеграмму, царь сказал: «Опять этот толстяк Родзянко пишет всякую чушь, на которую я даже отвечать не стану». Родзянко послал ему вторую телеграмму: «Ситуация ухудшается. Необходимо принять меры, потому что завтра будет уже поздно. Пришел последний час, решается судьба родины и династии». 27 февраля к Николаю II обратился и его брат Михаил. Ответ был таков: «Спа-

сибо за совет, но я сам знаю, что должен делать». Наконец военный министр Беляев, который до того обещал заставить подчиниться всех и вся, мрачно сообщил из Петрограда, что «с несколькими полками, которые еще верны своему долгу», он ничего не может сделать и что «многие части уже присоединились к восставшим». Он требовал «скорейшего прибытия необходимого количества действительно боеспособных частей». Генерал Рузский почтительно обратился к царю со следующим предложением: «Репрессивные меры лишь обострят ситуацию», потому что армия на фронте «отражает настроения страны» и ее смогут удовлетворить только «немедленные меры». В ответ царь послал в Петроград ставленника Распутина и императрицы генерала Иванова с двумя батальонами георгиевских кавалеров. Северному и Западному фронтам было приказано выделить в распоряжение генерала Иванова пулеметную бригаду, два пехотных и два кавалерийских полка, «на которые можно положиться», во главе с «решительными генералами»*.

На следующий день, 28 февраля, начальник штаба главнокомандующего генерал Алексеев сообщил командующим фронтами, что царь (который вновь осыпался за императрицу и детей и нуждался в ее совете) отбыл в Царское Село и что хотя Петроград полностью или почти полностью в руках восставших, тем не менее важно, чтобы «части сохраняли верность своему долгу и присяге». В тот же день Алексеев прислал другую срочную телеграмму. Ему показалось, что обстановка в Петрограде меняется к лучшему:

«Временное правительство под председательством Родзянко, собравшееся в Государственной думе, предложило командирам воинских частей выполнять его приказы, направленные на восстановление порядка. В обращении к народу, распространенном Временным правительством, подчеркивается важ-

* «27 февраля командир батальона георгиевских кавалеров генерал Пожарский собрал своих офицеров и сказал им, что по прибытии в Петроград не выполнит приказа стрелять в людей, даже если этого потребует генерал Иванов» (Блок. Указ. соч. С. 41). Обмен телеграммами Родзянко и Рузского показывает, что первые два эшелона солдат, посланных с Северного фронта в Петроград, восстали и решили не пропускать даже царский поезд. С другими частями дело обостряло не лучше.

ность сохранения монархии для России, указывается на необходимость новых выборов и назначения правительства. Я с нетерпением жду прибытия Его Величества, чтобы подать рапорт с просьбой удовлетворить желание народа. Если эта информация верна, то способ ваших действий меняется; умиротворение будет достигнуто с помощью переговоров».

Однако информация оказалась неверна. Никакого Временного правительства еще не существовало. Благие намерения думских лидеров были восприняты как факт. 1 марта прибыла совсем другая новость. Начались беспорядки в Кронштадте. Контр-адмирал Курош был беспомощен и «не мог поручиться ни за одну часть». Адмирал Непенин не сумел помешать Балтийскому флоту присягнуть Думе. Москва была охвачена восстанием, войска перешли на сторону мятежников. Ставка тревожилась за царский поезд. В тот же день Северный фронт по прямому проводу сообщил в ставку: великий князь Сергей Михайлович настаивает, чтобы царь назначил Родзянко премьер-министром, пока не стало слишком поздно. Генерал Алексеев набрался мужества обратиться к царю с тем же предложением, так как «лидеры Думы во главе с Родзянко еще могут предотвратить общую катастрофу, но каждый час уменьшает последний шанс на сохранение и восстановление порядка и способствует захвату власти крайне левыми элементами». 2 марта Алексеев узнал, что «гарнизон Луги перешел на сторону комитетчиков», а потому придется вернуть части генерала Иванова обратно на фронт. Но хуже всего то, что «вся семья императора находится в руках мятежных солдат, которые захватили Царскосельский дворец». Царь телеграфировал Иванову, чтобы тот не предпринимал никаких мер до получения его личного приказа. Николай согласился вернуть части на фронт и разрешил генералу Рузскому начать телеграфные переговоры с Родзянко, которого царь ждал для личной аудиенции.

Телефонные разговоры Рузского и Родзянко были очень любопытными. Сначала Рузский спросил, почему Родзянко отказался от поездки в Псков и личных переговоров с царем. Родзянко отговорился тем, что он «не мог оставить возбужденный народ без своего присутствия... Люди доверяют только мне и выполняют только мои приказы».

Однако на самом деле все обстояло куда прозаичнее. Железнодорожники отказались выделить Родзянко поезд без специального разрешения Исполнительного комитета (Совета рабочих депутатов). Когда Родзянко обратился к комитету, левая секция последнего ответила:

«Родзянко нельзя позволять ехать к царю. Мы еще не знаем намерений ведущих групп буржуазии, «прогрессивного блока» и думского комитета, и никто не может их гарантировать... Если на стороне царя еще есть какие-то силы, то «революционная» Дума, которая «перешла на сторону народа», наверняка договорится с царем задуть революцию. А то, чего царь не сможет сделать в одиночку, он легко достигнет с помощью Думы и Родзянко — иными словами, соберет войска и двинет их на Петроград, чтобы установить там «порядок»².

Сначала Исполнительный комитет отказал Родзянко, но после вмешательства Керенского все же выделил ему поезд. Однако было уже слишком поздно.

Заявление Родзянко «они доверяют только мне и выполняют только мои приказы» было чудовищным искажением истины. Возникает только один вопрос: хотел ли он таким способом увеличить свои шансы на пост премьер-министра или просто хвастался? Позже в воспоминаниях Родзянко описал свою неудачу с поездом и множество других подобных случаев. Когда группа солдат Преображенского полка привела к нему реакционного царского министра Щегловитова, Родзянко, «ошарашенный этой произвольной акцией, любезно пригласил Щегловитова пройти в кабинет». Изумленные дружеским отношением председателя «революционной» Думы к лидеру махровых реакционеров, «солдаты наотрез отказались освободить его», а когда Родзянко попытался «употребить власть», солдаты «тесно окружили своего пленника и чрезвычайно дерзко показали на свои винтовки». На следующий день экипаж Второго флота «нахально заявил», что Родзянко «нужно расстрелять как буржуя» и что «матросы приведут этот акт в исполнение без всякого сожаления».

Родзянко и другие лидеры Думы могли только мечтать о том, что они в состоянии руководить революцией и поймать

ее в свои дипломатические сети. Рыба была слишком велика для рыбаков.

Часть лидеров «прогрессивного блока» собралась на тайное совещание без участия вновь избранных членов Чхеидзе (отклонившего приглашение) и Керенского*. Гучков сразу приступил к делу:

«В этом хаосе мы должны прежде всего думать о спасении монархии. Видимо, нынешний монарх править больше не должен. Но можем ли мы спокойно ждать, пока этот революционный сброд уничтожит монархию? А это неминуемо случится, если мы выпустим инициативу из своих рук... Поэтому мы должны действовать тайно, быстро, не задавая вопросов и не слушая ничьих советов. Мы должны поставить их перед свершившимся фактом. Мы должны дать России нового монарха... Под этим знаменем мы должны собрать всех, кого можно... Сопротивляться! Мы должны действовать быстро и решительно!»

Он предложил отправиться к царю и убедить его отречься. Резоны Гучкова были просты:

«Я знал, что если он передаст судьбу династии в наши руки, это будет означать, что *никакой революции нет*. Император отречется от престола добровольно, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная дума, которая подчинилась указу о роспуске и взяла власть только потому, что старые министры бежали, передаст власть новому правительству. Так что с точки зрения закона революции не будет...»

Сказано — сделано. На рассвете, когда «революционный народ еще спал», Гучков и Шульгин сумели убедить начальника вокзала дать им поезд и поехали добиваться «добровольного отречения».

Тогда генерал Рузский попросил Родзянко о новой услуге: сначала предложить Николаю доверить Родзянко сформировать правительство, которое будет отчитываться только перед самим царем, но постепенно добавит новое требо-

* Возглавлявшиеся ими группы социал-демократов и трудовиков не входили в «прогрессивный блок».

вание: правительство будет подчиняться законодательным органам.

«Его Величество и вы, — ответил Родзянко, — видимо, не понимаете, что происходит. Началась одна из самых страшных революций на свете, и справиться с ней будет очень нелегко... Возникла такая анархия, что Дума и я попытались взять власть в свои руки и руководить этим движением. К несчастью, добиться успеха мне не удалось. Страсти разгорелись так, что обуздать их нет никакой возможности. Войска полностью деморализованы. Ненависть к Ее Величеству Императрице достигла предела. Династический вопрос стоит очень остро. Чтобы избежать кровопролития, мне пришлось посадить всех министров, за исключением военного и морского, в Петропавловскую крепость, и я очень боюсь, что та же судьба ожидает меня самого».

Родзянко уже забыл свое предыдущее заявление: «Люди доверяют только мне и выполняют только мои приказы». Он забыл неприятный инцидент с солдатскими винтовками. Он приписывает народу собственную ненависть к царице, погубившей династию, и говорит не правду, а только то, что служит его целям. Когда генерал Рузский спросил, что означает фраза об «остроте династического вопроса», Родзянко «с болью в сердце» ответил: «Ненависть к династии дошла до предела... Слышны грозные требования, чтобы царь отрекся от престола в пользу сына, регентом при котором будет Михаил. В случае такой смены весь народ поддержит войну до победного конца... Я сообщаю вам это с искренней скорбью, но что делать! Прекратите отправку частей, потому что они не станут действовать против народа... У меня сжимается сердце, когда я вижу, что происходит».

Рузского это не убедило; впрочем, слова Родзянко вряд ли могли убедить кого бы то ни было. Если ненависть к династии «дошла до предела», то кто предъявляет «грозные требования» о замене Николая Алексеем и Михаилом? «На самом деле царь, царица, Алексей и Михаил были для восставших на одно лицо. «Хрен редьки не слаще», — говорили солдаты»³ Династия в целом так же, как самодержавие и война, вызывали у народа не равнодушие, а ненависть. Либо Родзянко не

понимал этого, либо не хотел расстраивать умеренно либерального генерала такими новостями. На вопрос о том, удастся ли успокоить людей обещанием создать правительство народного доверия, Родзянко ответил еще одной путаной речью: «Я сам вишу на волоске... Анархия зашла так далеко, что прошлой ночью я был вынужден назначить Временное правительство... Смена власти может быть добровольной и абсолютно безболезненной для всех, и тогда все кончится через несколько дней; я могу сказать только одно — кровопролития и ненужных жертв не будет. *Я этого не позволю*».

Здесь Родзянко выглядит настоящим диктатором, даже сверхдиктатором, якобы «назначившим» Временное правительство (на самом деле он был всего лишь кандидатом в премьер-министры, которого вскоре отвергли не только левые, но даже кадеты, предпочтя ему князя Львова), и в то же время человеком, «висящим на волоске». Однако даже в этой «висячей» позиции он все еще верит (или притворяется, что верит), будто может кому-то что-то «позволить» или «не позволить».

Военные власти в ставке и на разных фронтах не знают, что делать. Ставка больше не осмеливается сообщать новости о том, что происходит в Петрограде. Генерал Данилов сообщает генералу Лукомскому: «Вы с генералом Алексеевым хорошо знаете характер императора и то, с каким трудом от него можно добиться определенного решения; весь вчерашний вечер и часть ночи ушли на то, чтобы убедить его принять требование о назначении правительства народного доверия. Его согласие было получено только в два часа ночи». Теперь все эти усилия пошли прахом; царю предстояло принять еще более ответственное решение.

Генерал Алексеев спрашивает командующих армиями, какого те придерживаются мнения. Он напоминает, что «все перемещения и снабжение армии по железной дороге находятся в руках петроградского Временного правительства» и что лучше избежать «соблазна принять участие» в этом перевороте, поскольку оно не приведет ни к чему, кроме краха армии. «Независимость России и династию» нужно спасти любой ценой, «даже если уступки окажутся очень большими». Первым откликается великий князь Николай Николаевич. Он

«колени преклоненно» обратится к царю, заклиная его «святой любовью к России и цесаревичу», и скажет: «Другого пути нет: осени себя крестом и вручи свое наследство ему». Генерал Брусилов также собирается просить царя «избежать неминуемых катастрофических последствий» и «спасти династию, передав престол законному наследнику». Генерал Эверт сообщает, что «армия в ее нынешнем состоянии не может подавлять внутренние беспорядки», что «прекратить революцию в столицах невозможно», а потому остается только один выход: принять предложение председателя Думы.

Выдержать этот перекрестный огонь Николай II был не в состоянии. Будучи не в силах связаться с женой, которая являлась его неизменным советчиком, и особенно узнав, что его сын и наследник находится в руках восставших и является заложником, царь впал в типичное для него состояние «манекена» и с каменным лицом подготовил ответ Родзянко. Ради России он готов на любые жертвы, а потому «согласен отречься от престола в пользу моего сына при условии, что тот останется со мной до совершеннолетия, а его регентом станет мой брат Михаил Александрович».

Именно в таком состоянии нашли Николая посланцы Думы Гучков и Шульгин. Когда Гучков начал объяснять необходимость отречения, генерал Рузский прошептал: «Этот вопрос уже решен. Вчера был трудный день. Была буря».

Гучкова ошеломила легкость, с которой Николай согласился отречься от престола. Вся сцена произошла на него «болезненное впечатление своей банальностью», и он заподозрил, что имеет дело «с ненормальным человеком, у которого понижены сознание и чувствительность». Придворные бормотали, что царь расстался с тронном так, словно речь шла «о передаче эскадрона солдат». Шульгин внезапно почувствовал, что «это была маска, а не настоящее лицо императора, что его настоящее лицо видели либо очень немногие, либо вообще никто». Беседа была краткой. «Спокойно, просто и точно», с «легким иностранным акцентом гвардейского офицера» Николай уладил проблему:

«Я решил отречься от престола. До трех часов дня я думал, что могу отречься в пользу моего сына Алексея. Но те-

перь изменил решение в пользу моего брата Михаила... Надеюсь, вы поймете отцовские чувства...»

Видимо, «нитью Ариадны», которая помогла Николаю выбраться из лабиринта, стали доставленные из Царского Села три письма императрицы, датированные 1, 2 и 3 марта. Она продолжала надеяться до последнего. Суть проблемы казалась ей ясной: «Две тенденции, Дума и революция, две змеи, которые, как я надеюсь, откусят друг другу голову, — вот что спасет ситуацию». Николай должен был терпеть и ждать. Императрица боялась, что в ее отсутствие Николая заставят даровать России что-то вроде «правительства народного доверия или конституции». «Это настоящий кошмар — думать, что тебя, не имеющего за плечами армии, могут заставить сделать что-то в таком духе». Царица с гипнотической настойчивостью твердит мужу: «Если тебя заставят пойти на уступки, ты ни в коем случае не будешь обязан выполнять свои обещания, потому что они были получены недостойными методами... Когда власть снова окажется в твоих руках, такое обещание не будет иметь силы... Если мы будем вынуждены подчиниться обстоятельствам, Бог поможет нам освободиться от них».

Трудно судить, насколько последний русский император разделял мысли и чувства своей политической Эгерии. Во всяком случае, царица не сомневалась в том, что отречение Николая в пользу Михаила было лишь маневром:

«Я прекрасно понимаю твои действия, мой герой! Я знаю, что ты не мог подписать ничего противоречащего твоей коронационной клятве. Мы понимаем друг друга так, что не нуждаемся в словах; клянусь тебе собственной жизнью, мы еще увидим тебя на троне, снова вознесенного твоим народом и твоими солдатами к славному царствованию. Ты спас своего сына, свою страну, свою священную чистоту, и (Иуда Рузский!) будешь коронован самим Богом на этой земле, в твоей собственной стране».

Эта неутомимая женщина хотела, чтобы ее муж сразу после отречения составил план реставрации. «Я чувствую, что армия восстанет... У тебя есть какие-нибудь планы?» — с лихорадочным нетерпением спрашивает она⁴.

Тогда для Гучкова и Шульгина была дорога каждая минута. Они не имели права вернуться слишком поздно: нужно было привезти народу и населению Петрограда нового царя. Кто будет этим царем, Алексей или Михаил, значения не имело. Генерал Данилов обратил их внимание на то, что отречение в пользу брата в обход малолетнего сына не предусмотрено законом о престолонаследии. Но делегаты резонно ответили: «Предположим, что это ошибка. Нам нужно выиграть время. Михаил процарствует некоторое время, а когда все утихнет, обнаружится, что он не имеет права царствовать, после чего престол перейдет к Алексею Николаевичу»⁵.

Иными словами, наследник, его отец и мать на время «выходили из игры». Расхлебывать заваренную ими кашу должен был великий князь Михаил Александрович. В случае неудачи он бы поплатился головой; в случае успеха все плоды достались бы другому. Корона, которую Гучков и Шульгин везли Михаилу, была настоящим «даром данайцев».

Их волновало только одно: как можно скорее поставить революционеров «перед свершившимся фактом». Они боялись, что могут прибыть слишком поздно и столкнуться с совсем другим фактом — Российской республикой, провозглашенной какими-нибудь «мерзавцами».

Делегаты вернулись с манифестом об отречении в пользу Михаила. На фронте еще распространяли предыдущий манифест о создании «правительства народного доверия». По телеграфу уже сообщили новость о «царе Алексее». Царский поезд двигался в направлении, противоположном направлению делегатов: в Могилев, где находилась ставка. А затем произошло следующее...

«Никто не знал, какие чувства боролись в душе Николая II, отца, монарха и человека, когда в Могилеве, глядя на Алексея уставшими добрыми глазами, он не слишком решительно сказал:

— Я передумал. Будьте добры, пошлите эту телеграмму в Петроград.

На листке бумаги четким почерком императора было написано согласие на то, чтобы трон занял Алексей.

Алексеев никому не показал эту телеграмму, чтобы «не смущать умы». Он хранил ее в бумажнике и передал мне [генералу Деникину. — *Примеч. авт.*] в конце мая, когда сложил с себя обязанности главнокомандующего»⁶.

Гучков и Шульгин, понятия не имевшие о новом повороте мыслей царя, примчались в Петроград. Гучков, которому не терпелось обрадовать народ сообщением о новом царе, пошел на огромный рабочий митинг в железнодорожных мастерских. Эффект был поразительный: рабочие хотели немедленно арестовать самозваного «переговорщика». Ему удалось сохранить свободу с большим трудом.

Тем временем в отсутствие Гучкова и Шульгина Милоков, говоривший в Екатерининском зале Таврического дворца о создании Временного правительства, попытался использовать тот же маневр. «Старый деспот, который довел Россию до полной разрухи, будет вынужден отречься от престола, иначе его свергнут. Власть перейдет к регенту, великому князю Михаилу. Наследником станет Алексей». Тут же начались крики и суматоха. «Как, опять старая династия?» Милоков поторопился исправить впечатление. Хотя он сам не испытывал любви к этой династии, но нарисовал картину России как парламентской конституционной монархии. Однако другие предпочитали республику. Диспут закончился предложением созвать Учредительное собрание с участием обеих сторон; мол, это позволит избежать гражданской войны. Но даже слух о временном сохранении старой династии подействовал на людей как взрыв бомбы. Тщетно Милоков пытался объяснить представителям демократических Советов, что Романовы не опасны, что из двух кандидатов на престол «один — большой мальчик, а другой глуп как пробка»⁷. «Поздно вечером в Таврический дворец ворвалась большая группа чрезвычайно возбужденных офицеров, которые заявили, что не вернутся в части, пока Милоков не отречется от своих слов». Членам Временного комитета Думы других способов убеждения не понадобилось. Милокову пришлось покривить душой и заявить, что его «слова о временном регентстве великого князя Михаила при наследнике престола Алексее отражают только его личное мнение»⁸.

Попытка спасти династию была готова закончиться полным фиаско. Большинство «прогрессивного блока» чувствовало, что пора бить отбой. На следующий день, 3 марта, члены Временного комитета и вновь созданного Временного правительства собрались в доме неудачливого претендента на трон, заранее согласившись оставить решение за Михаилом и не оказывать на него давления. Щедрое предложение брата не доставило великому князю никакого удовольствия. Бурный обмен мнениями все же состоялся. Хотя Милоков соглашался, что отречение царя не только за себя, но и за сына делает ситуацию очень уязвимой даже в законодательном смысле, это не мешало ему уговаривать Михаила принять корону. Им требовался символ власти, к которому привыкли массы; без него Временное правительство было бы «дырявой баржей». Конечно, всем присутствовавшим пришлось признать, что эта попытка связана с риском для великого князя, но игра стоит свеч. «Кроме того, за пределами Петрограда было вполне возможно собрать воинские части, необходимые для обеспечения безопасности великого князя»⁹. Роли переменились: крайний левый член «прогрессивного блока» сейчас был более правым, чем его коллеги; его позиция доказывала, что представители Совета не зря отказывались выделить поезд для делегатов Думы. Ради спасения династии он был готов начать гражданскую войну. Шульгин с воодушевлением пишет:

«Серый от бессонницы, абсолютно охрипший от выступлений в казармах, он не говорил, а квакал, но квакал мудрые и глубокие слова... самые великие слова в его жизни: «Ваше величество, если вы откажетесь... это будет означать крах. Потому что Россия лишится своей оси. Монарх — это ось... единственная ось страны. Массы, русские массы... вокруг чего они сплотятся? Начнется анархия... хаос... кровавая мешанина... Монарх — это единственная, до сих пор единственная... концепция власти в России. Если вы откажетесь... некому будет присягать. Но присяга — единственный ответ, который может дать народ... всем нам... то, что делалось... делалось с его санкции, с его одобрения, с его разрешения... без такой присяги не будет ни России, ни государства! Не будет ничего»¹⁰.

Но поддержал Милюкова только Гучков.

«Нам было абсолютно ясно, — писал Родзянко, — что великий князь не продержит и нескольких часов. В стенах столицы должна была пролиться большая кровь, которой было бы отмечено начало гражданской войны. Нам было ясно, что великого князя немедленно убьют вместе со всеми его сторонниками, потому что в его распоряжении не было надежных войск, а на армейские части рассчитывать не приходилось».

После общего обмена мнениями Михаил вызвал Родзянко в соседнюю комнату.

«Великий князь Михаил спросил, смогу ли я гарантировать ему жизнь, если он примет трон, и мне пришлось ответить отрицательно; повторяю, у меня не было частей, достойных доверия. Даже тайно вывезти его из Петрограда было невозможно: из города не выпускали ни одного автомобиля, ни одного поезда»¹¹.

Великий князь удалился, чтобы подумать. Потом он вернулся и начал говорить. «В данных условиях я не могу принять трон, потому что...» Не закончив фразу, он заплакал. Милюков и Гучков сказали, что после всего случившегося они и хотели бы вернуться во Временное правительство, но теперь не могут оставаться его членами. «Заговорщик» и «дворцовый революционер» Терещенко грозил застрелиться. Только Керенский испустил вздох облегчения: он с трудом нашел солдат для охраны дома великого князя, и можно было с минуты на минуту ждать вторжения какой-нибудь революционной части. Все было кончено. Михаил подготовил манифест, в котором заявил, что «примет государственную власть» только в том случае, если ему ее предложит Учредительное собрание.

И думские «революционеры поневоле» расстались, в конце концов признав общей платформой созыв Учредительного собрания. Позже Шульгин вспоминал:

«Если бы два дня назад кто-нибудь сказал мне, что я буду слушать это требование [о созыве Учредительного собрания. — *Примеч. авт.*] и не возражать, даже понимая, что другого выхода нет; если бы кто-нибудь два дня назад сказал, что я собственноручно напишу отречение Николая II, я на-

звал бы его сумасшедшим или подумал, что сумасшедший я сам. Но сегодня я не мог возражать. Да, Учредительное собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования».

Им снова пришлось договариваться со ставкой. Там даже не слышали об Учредительном собрании. Там начали распространять милостивый манифест о правительстве народного доверия. За ним последовал еще более милостивый манифест об отречении от престола. Сначала им предстояло объявить царем малолетнего Алексея, но по пути из Могилева в Петроград Шульгин сообщил всем, кому мог, о царе Михаиле II. Теперь нужно было все начинать сначала.

Снова на одном конце прямого провода Родзянко, а на другом — генерал Рузский. Родзянко просит Рузского не публиковать манифест о передаче царской власти Михаилу:

«— Люди примирились бы с его регентством и передачей трона цесаревичу, но провозглашение Михаила императором абсолютно неприемлемо... Мы с величайшим трудом сумели удержать революционное движение в границах приличий, но ситуация пока не нормализовалась и гражданская война еще возможна.

Рузский с мрачной иронией отвечает:

— Какая жалость, что вчера делегаты сами не знали, чего они хотят.

— Винить делегатов не приходится, — говорит Родзянко и начинает выгораживать себя, мешая правду с ложью: — Неожиданно солдаты подняли мятеж, равного которому я никогда не видел. Точнее, не солдаты, а мужики от сохи, предъявившие все свои мужицкие требования. Мы только и слышим, как толпа кричит: «Землю и волю!», «Долой династию!», «Долой Романовых!», «Долой офицеров!». И во многих частях действительно начали убивать офицеров. К ним присоединились рабочие, и анархия достигла своего апогея».

На самом деле за прошедшие дни никакого изменения к худшему не произошло, но теперь Родзянко и другие начали понимать суть происходящего; «апогея» анархия достигла только в их воображении. Родзянко противоречит себе. Сначала он пугает своего собеседника: «Провозглашение Ми-

хаила императором только подлило бы масла в огонь, после чего началось бы беспощадное истребление... Мы потеряли бы всю власть, и некому было бы подавлять народные волнения». Но потом вновь подает ему надежду: «За ночь солдат мало-помалу удалось призвать к порядку... Верховный совет [несуществующий орган. — *Примеч. авт.*] будет действовать до конца войны... вместе со Временным правительством». Однако «реставрация династии вполне возможна», потому что «обязательно будет одержана решительная победа», после которой поднимется «волна патриотических чувств».

Но генерал Рузский по-прежнему желает знать, как обстоит дело с правительством и что делать с царским указом о назначении Николая Николаевича главнокомандующим. Родзянко отвечает, что «препятствий для опубликования указа нет» и что армию можно доверить одному из самых влиятельных членов царской династии. И действительно, никто против этого не возражал, потому что указ скрыли от мятежного Петрограда. Отвечая на вопрос о правительстве, Родзянко снова говорит о «Верховном совете, правительстве народного доверия, работе законодательных органов вплоть до решения Учредительного собрания относительно конституции». Когда Рузский спрашивает, является ли Родзянко председателем Верховного совета, тот поправляется: на самом деле речь шла о Временном комитете Думы, которую он возглавляет.

Следовательно, после неудачной попытки сохранить династию лидеры Думы мечтали создать на основе «Временного комитета» их частной конференции Верховный совет, которому принадлежала бы вся власть в стране. Они мечтали восстановить монархическую Думу, которая смиренно подчинилась указу о роспуске, и даже монархический Государственный совет, возложив на революционное Временное правительство ответственность за все прошлые неудачи.

Что решила ставка после этого обмена мнениями? Генерал Рузский сделал два предложения: 1) отдавать приказы командующим армиями должна только ставка, а не правительство; 2) для восстановления порядка все командующие должны оставаться на своих постах, поскольку «они являются единственной авторитетной местной властью, к которой

каждый обращается за помощью». Иными словами, фронт должен был стать независимой республикой командующих до тех пор, пока «великий князь не примет на себя главное командование».

Даже этот самый умный из царских генералов искренне верил, что в эру революции армия и страна могут жить отдельно друг от друга. Он вел себя так, словно современная война не уничтожила понятие о солдате как постоянном обитателе казарм, заменив его понятием «человек с ружьем», связывавшим фронт и тыл тысячами прочных нитей; словно мышление солдат могло отличаться от мышления народа в период величайшей революции, которая неизбежно являлась величайшей духовной революцией!

Из беседы с Родзянко генерал Алексеев сделал вывод (который тут же сообщил командующим армиями), что «в Государственной думе и ее Временном комитете нет единства; левые партии, поддержанные Советом рабочих депутатов, приобрели большое влияние» и оказывают «сильное давление» на Родзянко; «рабочие депутаты распропагандировали части Петроградского гарнизона, в результате чего последние стали представлять опасность для всех, в том числе и для умеренных членов Временного комитета». Члены Думы разделяли враждебное отношение генерала Алексеева к этим явлениям. Но Алексеев отмечал, что «сообщениям Родзянко не хватает прямоты и искренности». У него была собственная информация о положении в Петрограде. «2 марта обстановка в Петрограде была гораздо спокойнее», «слухи об убийствах офицеров солдатами — полная чушь». Он даже подозревал бедного Родзянко в желании с помощью фальшивой информации «подтолкнуть представителей армии к принятию чрезвычайных мер». Алексеев уже мысленно готовил совещание командующих армиями, «коллективный голос» которых должен был помочь разработать меры, способные «повлиять на ход событий». Как сообщает генерал Лукомский, после отправки этой телеграммы Алексеев сказал: «Я никогда не прощу себе, что поверил в искренность некоторых людей, прислушался к ним и послал телеграмму командующим армиями об отречении царя».

Революция уже грозила вступить в конфликт с главным командованием, взгляды которого были еще более правыми, чем взгляды членов «прогрессивного блока». В свою очередь, «прогрессивный блок» следовал за революцией, сопротивляясь на каждом шагу и скрипя зубами.

На первый взгляд «прогрессивный блок» преуспел. С точки зрения закона революции действительно не было. Царь добровольно отрекся от престола в пользу Михаила, а Михаил отрекся от престола в пользу Учредительного собрания. Существовало Временное правительство (ниже мы рассмотрим, как и для чего оно было создано) во главе с князем Львовым. Но у Гучкова и Шульгина был указ царя, подписанный за час до отречения последнего, согласно которому «князь Г.Е. Львов назначался председателем Совета министров». Тот же фокус был проделан с назначением Николая Николаевича главнокомандующим. Однако это было еще не все. В архиве генерала Рузского хранится телеграмма, отправленная царю генералом Алексеевым. «Для обеспечения полного порядка и спасения столицы от анархии» Родзянко просит ставку «немедленно назначить командующим Петроградским военным округом смелого и энергичного генерала, популярного у населения и способного оказать на него влияние». От лица думского Комитета он предлагал генерал-лейтенанта Корнилова. Алексеев считал, что это может «успокоить столицы и восстановить порядок среди частей гарнизона». На телеграмме Николай написал: «Исполнить».

Короче говоря, делать революции было нечего: все уже обдумали и решили за ее спиной. После этого народ мог разойтись по домам. В юридическом смысле слова никакой революции не было вообще. Ее попросту исключили. Но оставалась маленькая неувязка: революция могла не понять, что ее исключили. Когда Шульгин обратил внимание Керенского, Милокова, Родзянко и других на то, что Львова назначил премьер-министром царь, они «объяснили, что знали об этом, но тщательно скрывали, чтобы не подрывать авторитет князя Львова»¹².

Царское назначение генерала Корнилова, который должен был бороться с революцией и восстанавливать порядок, скры-

валось не менее тщательно. Только публикация архива генерала Рузского пролила полный или почти полный свет на последнюю фазу февральских событий 1917 г. и позволила восстановить попытку думских «революционеров поневоле» подавить революцию. Но революция обладала такой силой, что мимоходом смела все карточные домики, искусно построенные опытными в интригах политиками.

Сначала казалось, что Дума сумела почти полностью реализовать свои планы. Временное правительство, созданное из ее членов, было признано всеми. Однако есть один любопытный факт. Несколько царских министров, добровольно подвергшихся аресту, узнали по телефону о составе Временного правительства. Первым нарушил молчание Кривошеин, «старый волк» российского консерватизма.

Не обращаясь ни к кому в отдельности, он сказал:

— Это правительство имеет один серьезный... очень серьезный недостаток... Оно слишком правое... Да, правое. Пару месяцев назад оно бы удовлетворило всех. Это могло бы спасти ситуацию. Но сейчас оно чересчур умеренное. В этом его слабость. А сейчас требуется сила... Это, господа, уничтожит вашего большого ребенка, революцию, и нашу общую родину, Россию¹³.

Глава 5

СОВЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Во время революции 1917 г., как и революции 1905 г., цензурной демократии, основанной на ограничении избирательного права с помощью имущественного ценза, противостояла советская, или революционная, демократия, органы которой в обычное время оставались подпольными и, естественно, представляли собой всего лишь скелет. Эти тайные органы создали особый великолепный тип «профессионального революционера», который не занимался ничем другим, кроме революции. Такой революционер был своего рода бродячим апостолом социализма или странствующим рыцарем, защищавшим угнетенных и наказывавшим их обидчиков. Его университетом была

тюрьма, где он во время вынужденного досуга лихорадочно пополнял свой интеллектуальный багаж; репрессии и жестокости тюремщиков были испытанием на терпение и твердость духа; побеги — эпизодами; конспирация и маска — привычкой; игра в прятки с сыщиками — спортом; пропаганда и агитация — первейшей необходимостью. На втором Лондонском съезде социал-демократической партии (338 делегатов) проводилось анкетирование участников. Оно показало, что делегаты провели в тюрьме, ссылке, на каторге и под официальным надзором полиции в общей сложности 597 лет, арестовывались 710 раз и совершили 201 побег; при этом средний возраст делегата составлял двадцать восемь лет. Но рекорд по числу преследований все же принадлежал социалистам-революционерам (эсерам). На их лондонской конференции присутствовал 61 делегат; при этом они в общей сложности пробыли в ссылке 121 год, просидели в тюрьме 104 года, провели на каторге 88 лет, 228 раз попадали в полицейские облавы и арестовывались 146 раз. В тайных организациях профессиональные революционеры задавали тон. Члены более или менее централизованной системы местных партийных ячеек смотрели на них снизу вверх и подражали им. Провинциальные группы, находившиеся под влиянием и руководством соперничавших революционных организаций, были распространены довольно хаотично. Картина менялась только во время великих исторических событий. Пользуясь беспомощностью и бессилием правительства, эта массовая периферия рабочих и крестьян организовывалась: рабочие — на фабриках и в мастерских, крестьяне — в деревнях и селах. Там проходили выборы депутатов, причем делалось это простым одобрением, без четко оформленных правил, с весьма разнообразными и неопределенными нормами представительства. Обязанности избранных также были неопределенными; эти люди должны были поддерживать связь с людьми, выбранными в других местах, возглавлять борьбу за дело «народа», «рабочего класса» или «пролетариата». Отсюда возникло название — «Советы рабочих (позднее солдатских, крестьянских, казачьих и т. д.) депутатов».

В разгар революции 1917 г. цензовая демократия лишилась своего главного органа — Государственной думы — и су-

ществовала лишь в виде Временного комитета частной конференции бывших членов Думы. Этот комитет сразу же ощутил сильное давление со стороны революционной «уличной толпы». Рассмотрим, из кого состояла эта «толпа» и какую форму приняли ее стихийно созданные революционные органы.

Первый фактор, который отмечают все, — это *спонтанность* революционного движения. Конечно, в Петрограде имелись тайные «комитеты» практически всех подпольных социалистических групп, но влиятельных людей там не было. Репрессии правительства приводили к тому, что состав этих комитетов постоянно менялся. Часто они существовали только благодаря притоку зеленой молодежи; не успевала эта молодежь чему-то научиться и набраться опыта, как тоже попадала под арест, причем на этот раз замену арестованным найти было трудно. Ни эти комитеты, ни Рабочая группа (беспартийная с виду, но социалистическая по сути) Центрального военно-промышленного комитета не имели достаточного влияния, чтобы вывести всеобщую забастовку в честь годовщины суда над их думскими депутатами, отправленными в ссылку за «пораженческую» агитацию, но потерпели полное фиаско. Не большего успеха добилась Рабочая группа, пытавшаяся провести демонстрацию по случаю открытия Государственной думы.

Социалисты-революционеры таких попыток не делали вообще. Демонстрации, состоящие только из рабочих, да еще в военное время, они считали заранее обреченными на неудачу. Отчет директора Петроградского жандармского департамента за октябрь 1916 г. содержал отрывки из доклада, подготовленного эсерами для предполагавшейся московской конференции групп рабочих военно-промышленных комитетов: «Война каждый день добавляет к противникам войны и милитаризма десятки тысяч сторонников... Несогласованность партийных программ, недостаточная организованность некоторых классов общества, невозможность вести пропаганду и т. д. заставляют социалистов-революционеров смотреть на вещи иначе, чем это делают социал-демократы и другие левые партии: в нынешней России революция по образцу

1905 г. невозможна, но зато более чем возможна революция объединенными силами солдатских и рабочих масс.

Успех эсеровской пропаганды в армии, сведения о котором прибывают с каждым днем, заставляет нас сделать вывод, что революцию начнут солдаты из вчерашних рабочих и те рабочие, которые испытывают на себе гнет милитаристского полицейского государства, заставляющего их работать с помощью пуля и штыков».

Директор жандармского департамента пессимистически соглашается с тем, что «определенные факты вроде успешного распространения пацифизма среди солдат и рабочих оборонной промышленности, растущего протеста против высокой стоимости жизни и недостатка продуктов питания... соответствуют истине, и эсеровские агитаторы правильно понимают, что данный момент наиболее благоприятен для подготовки почвы, на которую упадут семена революционных идей и утопий»¹.

Деятельность эсеров не выходила за пределы пропаганды и подготовительной работы. Непосредственный переход к восстанию в конкретной форме их пока не интересовал: всему свое время.

Ни большевики, ни меньшевики, ни Рабочая группа, ни эсеры, как по отдельности, так и общими усилиями, не смогли вывести на улицу петроградских рабочих. Это сделал некто куда более могущественный: Царь-Голод.

Все началось с обычных беспорядков из-за нехватки продуктов. Длинные очереди, сначала состоявшие из женщин и мальчиков, вымещали свою досаду на владельцах булочных, подозревая их в припрятывании муки с целью спекуляции. Полиция пыталась восстановить порядок. Ее встречали камнями. Люди требовали: «Хлеба!» Затем, что вполне естественно, начали раздаваться крики: «Долой полицию!» Когда этим крикам ответило эхо тысяч голосов, вспомнились старые лозунги «Долой самодержавие!» и «Долой войну!». «Это были беспорядки, но еще не революция»². В отсутствие вожда все революционные и демократические группы, организованные и неорганизованные, сломая голову бросились на улицу, пытаясь привлечь на свою сторону как можно больше людей и вооружить их своими воинственными политическими лозунга-

ми. 23 и особенно 24 февраля весь Петроград был свидетелем бесчисленных демонстраций и уличных митингов. В эти дни было сделано несколько попыток создать межпартийные центры, чтобы компенсировать слабость множества подпольных партийных организаций. Лидеры профсоюзов, кооперативов, учреждений культуры и образования проводили собрания с участием крайне левых депутатов Думы и видных представителей революционных партий.

На одном из таких собраний старый социал-демократ Череванин первым предложил немедленно создать Совет рабочих депутатов. Впрочем, эта мысль уже витала в воздухе. 24 февраля появилось сообщение о том, что на некоторых фабриках прошли выборы Советов. Как только идею о восстановлении Советов одобрили ведущие группы интеллигенции независимо от партийной принадлежности, движение тут же стало всеобщим, хотя депутаты от отдельных фабрик все еще не имели единой точки зрения и даже не знали, где им собраться. Для таких вопросов не было времени. Уличная агитация, митинги, попытки братания с солдатами затягивали людей в водоворот и просто не позволяли заниматься чем-то другим. Важнейшее событие, определившее дальнейший ход истории, произошло только 27 февраля, когда некоторые воинские части стали переходить на сторону народа (как и предсказывалось в меморандуме эсеров). Народ освободил из тюрьмы недавно арестованных членов Рабочей группы и многих других политических заключенных. Бывшие узники во главе с рабочим Кузьмой Гвоздевым направились в Таврический дворец. Вместе с социалистическими депутатами Думы и другими видными членами рабочего движения они создали временный Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов (нечто вроде организационного бюро), который немедленно сообщил своим подопечным, что в тот же вечер все депутаты должны собраться на первое совещание Петроградского совета.

Советская демократия создала свой орган.

Рассматривая вопрос о роли Советов в Февральской революции, мы тут же сталкиваемся с двумя легендами, противоречащими друг другу.

Согласно первой, охотно принятой консервативными и буржуазными кругами, Петроградский (а позже Всероссийский) совет был создан с целью подрыва авторитета Временного правительства революционерами, которые боялись нападать на последнее открыто, а потому попытались сформировать собственный параллельный теневого кабинет, чтобы связать Временное правительство по рукам и ногам и создать систему двоевластия.

Другая легенда, менее распространенная, принадлежит председателю Государственной думы Родзянко. Согласно его глубококому убеждению, «Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов тайно существовал без перерыва с 1905 г. и никогда не прекращал агитацию».

Обе версии одинаково далеки от истины. В действительности Петроградский совет был создан не как второй центр власти, альтернативный Временному правительству. Выборы в него начались еще до царского указа о роспуске Думы и, следовательно, раньше того, как Дума создала свой Временный комитет. Не был Совет и органической частью революционного движения. Как в 1905-м, так и в 1917 г. это был *специальный орган объединенного социалистического и революционного фронта* в военное время, рождавшийся в огне и буре приближавшейся революции. В отличие от прочих боевых организаций рабочего класса, он создавался не сверху, а снизу, путем выборов на фабричных и заводских митингах, а потому представлял собой нечто вроде «предварительного парламента» рабочего класса.

Как и в 1905 г., обязанности Советов не были четко определенными. Это были любые точки приложения революционной энергии. Для русских рабочих 1905-го и весны 1917 г. Советы были тем же, чем революционные клубы (в частности, якобинский) были для буржуазии времен Французской революции. Клубы становились импровизированными организациями в отсутствие прочных, стабильных и оформленных *партий*. Впрочем, Россия недостатка партий не ощущала. Напротив, их было слишком много. Но они включали лишь небольшую круг профессиональных революционеров и «сливки» рабочего класса. Для подавляющего большинства трудящихся они либо не су-

ществовали, либо относились к области мифов. Не было в России и широкой сети профсоюзных организаций, без которых рабочий класс представляет собой лишь «человеческий прах». Поэтому Советы возникали как временная замена профсоюзных и политических организаций рабочего класса.

Как и революционные клубы 1789 г., русские Советы выполняли двойную функцию: во время важных событий они служили точками приложения прямой инициативы масс, бросавших на чаши весов свой энтузиазм, свою кровь и свои жизни. В периоды относительной стабильности они были органами народовластия. Это право они завоевали своей энергией, способностью получать поддержку масс и пользоваться ею.

При рождении Советов никто не думал об их главной особенностях — возможности централизовать эту широкую, развитую, логичную систему мелких местных органов и сделать ее *официальной основой государственной власти*, превратив в единый и единственный конституционный механизм нормального управления страной. В истории российских Советов данная идея считается чуждой, импортированной из-за рубежа и представляющей собой более позднюю, переделанную на русский лад главную идею южноевропейского анархо-синдикализма или, в лучшем случае, бессознательную пародию на нее. Одно дело — строить государство рабочего класса на прочной основе тред-юнионов, выкованной долгими годами борьбы и практической деятельности масс, и совсем другое — создавать ее на основе импровизированных полуклубов, полупарламентов, не имеющих ни опыта, ни устава, ни четкой системы выборов. Тред-юнионы имеют свою историю, богатый опыт, традиции и этику. Всего этого у Советов, как революционных клубов, не имелось. У них не было никакого «вчера», только «сегодня». Для них были характерны не только отзывчивость и впечатлительность, но и непостоянство, неопределенность и хаос. Развитие тред-юнионистское движение может только *служить*; Советы же могут только *командовать*. Тред-юнионы — организации боевые и деловые одновременно, а Советы — только боевые, по духу и структуре соответствующие чрезвычайным условиям революционного периода, когда жизнь бьет ключом и выходит из границ. Как

деловые органы они никогда не ценились и сами на эту роль не претендовали. Их единственной задачей было распространение «священного духа революции» на всю Россию, удаление всех препятствий, подавление и уничтожение в зародыше любой попытки правых оказать сопротивление, а также наблюдение за тем, чтобы программа и состав созданного революцией Временного правительства соответствовали целям этой революции. Вот и все. Советы никогда не имели четко устава; выборы в них всегда были хаотическими и неорганизованными. Менее всего они напоминали орган государственной власти, действующий на основании определенных правил.

Однако в переходный период все это нисколько не мешало Советам быть единственной активной законодательной властью. Не стоит забывать, что Временный комитет частной конференции членов Государственной думы в те же дни определил свою задачу как *посредничество* между народом и старым режимом. Он заключил соглашение с последним, вырвал у него большие уступки и пытался спасти то, что осталось от прежнего порядка. Не стоит забывать, что этот орган цензовой демократии вступил в переговоры с высшим командованием, с царем и, наконец, с «законным преемником» последнего. Он испробовал все возможные способы сохранить существующую систему, но был вынужден признать свою неудачу. Наконец он столкнулся с дилеммой — либо принять власть «от имени революции», либо со стороны наблюдать за тем, как это сделают другие. Советская демократия была плохо осведомлена об этих закулисных переговорах; от нее многое утаили, а на многое не обратила внимания она сама, не придавая большого значения политическим интригам.

Но что же *делала* советская демократия? Она не брала власть, не объявляла себя правительством, но действовала как немедленный революционный законодательный орган. Она так же бессознательно выполняла некоторые функции правительства, как человек бессознательно «говорит прозой». Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов, созданный лишь как организационное бюро, во многих случаях функционировал как правительство просто потому, что эти вопро-

сы не решал больше никто. Во-первых, он создал временный военный штаб из большого количества левых офицеров, среди которых выделялись эсеры Филиповский и Мстиславский (Масловский). Он сформировал временную продовольственную комиссию, где важную роль играли социал-демократы Громан, Франкорусский и другие. Военный штаб пытался руководить хаотичными действиями солдат, моряков и вооруженных рабочих, которые были полны энтузиазма, но не знали, что им делать из-за полного отсутствия организации. Этот штаб формировал летучие отряды (которыми из-за недостатка офицеров командовали случайные люди — чаще всего наиболее грамотные солдаты, а также студенты и другие штатские), посылал их на разведку в разные районы города, поручал им захват важных стратегических пунктов (вокзалов, полицейских участков, явочных квартир тайной полиции, телеграфа, телефона, различных казарм), арест царских министров и других слуг прежнего режима, ликвидацию очагов отчаянного сопротивления полиции, забаррикадировавшейся с пулеметами, разоружение городских и т. д. Продовольственная комиссия провела небезуспешный эксперимент по введению твердых цен на остродефицитные, а потому чрезвычайно дорогие продукты питания (например, масло). Она тут же приняла меры по обеспечению питания солдат, пришедших к революции. Многие группы солдат, пришедшие к Таврическому двору, принадлежали к колебавшимся или нейтральным полкам и боялись вернуться в казармы. А тот, кто возвращался, обнаруживал, что офицеры разбежались, а продовольственные склады пусты. Голодные солдаты без офицеров и еды могли начать грабить и вызвать в городе полную анархию. На первой сессии Совета была одобрена еще одна мера: разделить Петроград на районы и направить в них специальных комиссаров Совета для наблюдения за выборами «районных комитетов», то есть местных органов народной власти, и создания вооруженной рабочей милиции по норме «сто человек от тысячи работников фабрики». Кроме того, сам Совет претерпел одно радикальное изменение. Созданный как Совет рабочих депутатов, он тут же стал настолько сильным центром притяжения для воинских частей, что уже не мог сохранять свою прежнюю форму. На первой

сессии Совета присутствовал целый калейдоскоп представителей разных воинских частей. Они заявляли о своей полной солидарности с рабочим классом, представленным в Советах, клялись сражаться с ним бок о бок и защищать революционные завоевания трудящихся. Когда к революции и ее вождю, Петроградскому совету, присоединился Семеновский полк, имя которого вошло в историю России благодаря подавлению московского вооруженного восстания 1905 г., всеобщий энтузиазм достиг апогея. Было решено преобразовать Совет рабочих депутатов в Совет рабочих и солдатских депутатов; при этом каждый батальон имел право прислать одного делегата.

Через несколько дней Совет превратился в гигантский рабоче-солдатский предпарламент. В него входило около 2000 членов, а к середине марта — уже 3000. Каждое решение немедленно передавалось в казармы и рабочие кварталы по тысяче каналов. Такой силе не мог противостоять никто.

Поэтому неудивительно, что Родзянко не мог получить поезд для поездки к царю без разрешения Совета, а Гучков и Милюков сильно рисковали, пытаясь объявить Михаила царем против воли этого органа народовластия. Если бы Михаил попытался воспользоваться правами, делегированными ему Николаем II, в восставшем Петрограде это действительно стоило бы ему жизни, а сбежать в более безопасное место он тоже вряд ли смог бы.

Но и это еще не все. Только Совет мог остановить всеобщую забастовку и вновь открыть фабрики. Только он мог восстановить уличное движение. Поскольку Совет контролировал профсоюз печатников, только он мог разрешить издание газет — всех или нескольких. Сразу же после своего создания Временное правительство было вынуждено обратиться к лидерам Совета, чтобы напечатать свое первое воззвание к народу. Когда воинские части Петрограда стали частью организованной советской демократии, Совет превратился в единственный реальный источник власти. На своей первой сессии Совет решил принять немедленные меры по изъятию всех общественных фондов из-под контроля старого правительства. После этого решения вооруженные солдаты заняли и начали

охранять Государственный банк, центральное и местные казначейства, Монетный двор и т. д.

Следует подчеркнуть весьма характерную деталь: декларация Совета гласила, что он «поручает Временному комитету Государственной думы немедленное исполнение данного декрета». В тот момент никому и в голову не пришло спросить: почему Временный комитет должен выполнять инструкции Совета, если он не подчинен последнему? В тот момент Совет, являвшийся детищем революционных рабочих и солдатских масс, был главным центром. В Совет приходили владельцы всех типографий и просили оценить ту или иную работу с точки зрения ее «полезности революции». 3 марта совещание представителей петроградских банков попросило у Совета разрешения «немедленно открыть банки». Бывшая фаворитка Николая II, знаменитая балерина Кшесинская, обратилась в Совет с просьбой вернуть ей особняк, реквизированный во время революционного междуцарствия и занятый в основном большевистскими организациями. Великий князь Михаил просил Совет выделить ему поезд для проезда из Гатчины в Петроград и получить ответ: «Поскольку уголь дорог, гражданин Романов может купить билет и ехать в обычном поезде на равных правах с другими гражданами». С утра до ночи Совет осаждала «толпа просителей, промышленников, солдатских и рабочих депутатов, офицеров, предпринимателей, студентов, мужиков с котомками и какими-то бумагами в руках, чиновников и плачущих женщин»³. В Исполнительный комитет Совета приходили по всем делам, включая разводы и гражданские иски; приходилось выбиваться из сил, объясняя наивным посетителям, что в компетенцию Совета входит не все.

Профессор Г. Швиттау, изучавший социальную и экономическую сторону революции, пришел к выводу, что «советский режим» был «полностью представлен уже в первый период Февральской революции», потому что Совет начал действовать раньше и был реальной властью в гораздо большей степени, чем Временный комитет Думы и Временное правительство. Он утверждает: «О каком бы то ни было двоевластии в этот период говорить трудно, поскольку тогда существовало толь-

ко «Советское правительство», которое еще не сформировало свою идеологию и скрывалось за спиной более или менее законного буржуазно-революционного Временного правительства»⁴. Суханов пишет: «Советский административный аппарат начал невольно, автоматически, против воли самого Совета, заменять аппарат официального правительства, на долю которого мало что оставалось. Тогда с этим ничего нельзя было поделать; нам пришлось смириться и принять на себя разные административные функции, одновременно создавая и поддерживая видимость того, что власть осуществляется из Мариинского дворца»⁵.

Глава 6

ПОЗИЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Почему Совет не сформировал собственное Временное правительство? Это вопрос с двойным дном. Во-первых, нужно понять, как вожди советской демократии расценивали собственную позицию. Во-вторых, выяснить, какие объективные причины диктовали им такой способ действий.

Единой точки зрения на эту проблему у советской демократии не было.

В конце 1890-х годов, когда перспектива революции в России казалась отдаленной, тогдашняя революционная демократия была представлена двумя крупными партиями — социал-демократами (эсдеками) и социалистами-революционерами (эсерами).

Каждая партия пыталась разглядеть сквозь туман будущего таинственные очертания грядущей революции, определить ее характер, продолжительность и историческое значение. Каждая партия пыталась представить собственную историческую миссию на заключительном этапе движения, чтобы с самого начала твердо идти к намеченной цели.

Сначала социал-демократы, тогда еще не разделившиеся на большевиков и меньшевиков, исходили из ортодоксального марксизма. Они считали, что историческая эволюция России будет проходить так же, как в странах Западной Европы, пу-

тем развития капитализма. Для России, бедной аграрной страны, индустриализация которой тормозилась наличием сильных зарубежных конкурентов в лице транснациональных компаний, этот путь обещал быть долгим (тем более что России предстояло не только провести индустриализацию, но и превратиться из бедной капиталистической страны в богатую). Поэтому цель приближавшейся русской революции (как и первых революций в других европейских странах) заключалась всего-навсего в создании условий для ускоренного развития капитализма, в ликвидации докапиталистических пережитков, рабского принудительного труда и политического абсолютизма, тормозившего инициативу и активность народа. После падения самодержавия к власти должна была прийти буржуазия; следовательно, ведущая роль в уничтожении абсолютизма должна была принадлежать последней. Пролетариат, как исторический наследник буржуазии, должен был вооружиться терпением и сначала помочь буржуазии, историческому наследнику абсолютизма, потребовать ее наследство. Таким образом, роль пролетариата заключалась в том, чтобы: 1) поддерживать либеральную буржуазию в ее борьбе с абсолютизмом; 2) подталкивать буржуазию к полному искоренению самодержавия, не допуская никаких компромиссов; и 3) в обмен на поддержку получить от буржуазной революции полную свободу для собственных организаций, как политических, так и тред-юнионистских, право участвовать в решении вопросов государственной важности, а также законы, позволяющие пролетариату оказывать все более сильное влияние на промышленность.

Такой была первоначальная, классическая точка зрения социал-демократии на роль пролетариата в приближавшейся революции.

Однако первым подводным камнем, на который напоролась Россия, оказался аграрный вопрос.

Социал-демократы считали, что российский аграрный капитализм будет развиваться так же, как и промышленный, но значительно медленнее и болезненнее. Они думали, что сельские помещики превратятся в современных крупных землевладельцев, создателей высокопродуктивных «фабрик зерна». После этого в деревне произойдет размежевание: меньшин-

ство крестьян станет мелкими собственниками, а большинство — безземельными пролетариями, аграрной ветвью промышленного рабочего класса. Но по мере развития событий контуры приближавшейся аграрной революции становились более отчетливыми. Все трудовое крестьянство стремилось получить в собственность землю тех, кто не обрабатывал ее собственными руками, в то время как находившийся в зачаточном состоянии сельскохозяйственный пролетариат стремился вернуться в прежнее мелкобуржуазное состояние за счет получения своей части поделенных помещичьих земель.

Вторым подводным камнем стало политическое поведение буржуазии. Чем дальше страна находилась от Западной Европы, тем трусливее был ее средний класс. Он боялся самодержавия, но еще сильнее боялся рабочего движения, которому нисколько не доверял.

Раскол между большевиками и меньшевиками произошел из-за решительной попытки первых учесть две особенности российской реальности, не предусмотренные марксистской доктриной. До войны большевизм придерживался классической социал-демократической догмы о том, что русская революция покончит с самодержавием, бюрократией, дворянством и крепостным правом, но не с буржуазией. «Русская революция, — писал Ленин в предисловии к одной из работ Каутского, опубликованной в 1907 г., — не социалистическая; следовательно, она не обязана закончиться диктатурой, или *единовластием* пролетариата». Иными словами, это будет всего лишь буржуазно-демократическая революция. Но российская буржуазия была антидемократичной и стремилась к компромиссу с царем, так как ненавидела рабочее движение. Следовательно, буржуазную революцию нужно было совершить против самой буржуазии, и сделать это должен был пролетариат. Поскольку буржуазия оказалась ненадежным союзником, заменить ее в этом качестве должно было крестьянство. «Буржуазная революция силами рабочих и крестьян при нейтрализации ненадежной буржуазии — таков главный тезис большевистской тактики», — заявлял в то время Ленин. В крайнем случае была возможна совместная диктатура рабочих и крестьян, но целью такой диктатуры являлась бы не социалистическая рево-

люция, а лишь максимально полное осуществление целей буржуазно-демократической революции.

Меньшевики отказались поддержать этот тезис Ленина, сочтя его политической авантюрой. С их точки зрения, социалистическая партия, пришедшая к власти в стране, не готовой к социализму, была обречена на провал. Наличие всей полноты власти и в то же время ограничение ее проведением либерально-буржуазных реформ вопиюще противоречило принципам социализма; как бы ни объяснялось это противоречие исторически, массы, не искушенные в ученых доктринах, такого объяснения не поняли бы. Социал-демократы либо разочаровали бы эти массы и оказались в изоляции, не порадовав никого и огорчив всех, либо под нажимом масс зашли бы дальше, чем позволял беспристрастный анализ исторических возможностей, и начали фантастический социальный эксперимент, заранее обреченный на неудачу. Это означало бы политическое банкротство и предательство собственной программы.

Большевики прекрасно понимали силу этого аргумента, который сами часто повторяли во времена верности «классическому» марксизму. Впервые это противоречие было преодолено во время мировой войны. Зрелище высокоразвитого немецкого «военного социализма» со всеобщей воинской повинностью, диктаторским распределением продуктов питания, угля и прочего, контролем над промышленностью (включая обязательное объединение в синдикаты с фиксированием цен и введением продуктовых карточек) подстегнуло воображение большевиков. Если подобная экономическая система окажется в руках не буржуазно-милитаристского государства типа Германии, а в руках «рабоче-крестьянской диктатуры» и будет служить не военным нуждам, а мирному развитию, то с помощью такого способа страна достигнет желанного социалистического рая.

Социалисты-революционеры с самого начала не принимали классический марксизм как социал-демократическую теорию революции.

Эсеры утверждали, что буржуазная революция, которая выразится лишь в смене правительства, но не затронет социальную структуру и отношения собственности, открыв путь

гегемонии капитализма во всех сферах экономической жизни, в России невозможна. Российская буржуазия не способна возглавить революцию такого типа, ибо, судя по прошлому опыту, она склонна к союзу с реакционными силами, во главе которых стоит царское правительство. С другой стороны, эсеры считали, что российская революция в ее аграрной фазе должна нанести сильный удар по институту частной собственности. Эсеры понимали, что российским трудящимся не хватает зрелости — то есть опыта экономического самоуправления автономными кооперативными предприятиями, который требуется для построения социалистического общества. Они не пытались проводить метафизическую демаркационную линию между капитализмом и социализмом, а говорили о долгом периоде «лейборизма». В союзе с крестьянством пролетариат мог осуществить такую «народническо-лейбористскую» революцию и установить политическую демократию, постепенно наполняя эту форму более глубоким социальным содержанием. Новый порядок был бы не социализмом, а периодом создания законодательной базы для новых производственных отношений в рамках товарно-денежной экономики. Он выражался бы в постепенном развитии коллективных форм экономической активности и соответствующем ослаблении индивидуальных хозяйств. Это означало бы отказ от частного землевладения, основанного на римском праве, и его замену равным индивидуальным правом на обработку национализированной земли. Новый порядок предусматривал эволюцию кооперации, ускоренную поддержкой государства, развитие муниципальной и государственной собственности, системы фабричного самоуправления, а на финальной стадии — создание самоуправляемого народного хозяйства. Коротко говоря, эта революция означала постепенный переход от экономики, основанной на частной инициативе, к организованной экономической демократии. Эту демократию следовало создавать не указами об учреждении производственных коллективов, не запретом или удушением частной экономической инициативы, а органическим развитием инициативы общественной, которая сначала должна была на практике доказать свою способность заменить частный капитал в сорев-

новании с последним, получая тот же результат при меньших затратах или лучший результат при тех же затратах. Такой режим трудовой демократии не является социализмом. Но путь от него к социализму будет свободен от новых катастроф и революций. Это путь мирного развития, объединяющего в экономической жизни личное с общественным не через доктринерские теории, а через живой и развивающийся практический опыт¹.

Обзор попыток предсказать характер приближавшейся революции был бы неполным без упоминания так называемой теории «перманентной революции» Парвуса и Троцкого, претендовавшей на то, что она является синкретической суммой всех предшествующих теорий и способна заменить каждую из них. Согласно этой теории, постоянно развивающаяся революция неизбежно начнется как буржуазно-демократическая, затем последует ряд промежуточных состояний, логично сменяющих друг друга, смешанных и противоречивых; благодаря этим противоречиям они надолго не сохранятся и будут вынуждены постоянно делать новый шаг, пока не будет выполнена программа-максимум, целью которой является полная и окончательная победа социализма².

Данный обзор позволяет представить разброс мнений об историческом значении революции, существовавший внутри советской демократии. К этим расхождениям добавлялось отсутствие согласия по вопросу об отношении к мировой войне и обязанностях пролетариата в этом кровавом хаосе. Здесь можно выделить четыре совершенно разных направления взглядов революционно-демократических партий:

1. Требование скорейшего окончания войны любой ценой, поскольку бремя самого невыгодного мира — меньшее зло, чем дальнейшее продолжение взаимной национальной ненависти, падение всеобщей нравственности за счет привыкания к массовому уничтожению людей и безумная растрата человеческих ресурсов, грозящая уничтожить цивилизацию.

2. Усиление отказа мириться с войной, внутренний саботаж, уничтожение аппарата войны (армии и полиции), продиктованное желанием поражения собственного правительства как более опасного врага, чем внешний. Логическим выводом этой

точки зрения является превращение войны с внешним врагом в войну гражданскую.

3. Неограниченное «принятие войны» ради соблюдения национальных интересов. Это принятие означает временный отказ от всех партийных и классовых целей ради победы, объединение усилий всех партий и всех классов.

4. Стремление к внутреннему революционному перевороту во время войны для немедленной замены ее консервативных политических и международных целей целями революции (как оборонительными, так и наступательными).

Но разница взглядов на войну не всегда совпадала с разницей взглядов на историческую цель и распространение революции. Иными словами, единая позиция в отношении целей революции могла сочетаться с различными взглядами на войну, а общее отношение к войне не мешало единомышленникам расходиться во мнениях относительно целей революции.

Когда на следующее утро после падения самодержавия встал вопрос о создании правительства, Совет поддержал точку зрения социал-демократов. Инициатива создания Петроградского совета принадлежала частично меньшевистской фракции Государственной думы (большевистская фракция была привлечена к суду за «пораженческую» политику и выслана в Сибирь), а частично — более умеренному правому крылу рабочего движения, Рабочей группе Центрального военно-промышленного комитета. Социалисты-революционеры бойкотировали выборы в четвертую Государственную думу. Однако отдельные депутаты, разделявшие взгляды этой партии, создали в Думе так называемую фракцию трудовиков полусоциалистического толка. Наполовину социалистами были лидер этой фракции Керенский и старый революционер Н.В. Чайковский, представлявший трудовиков в Совете, куда он был выбран крайне правыми за патриотизм и призыв к мирному развитию кооперативного движения. Их близость к буржуазному лагерю вызывала ликование у членов Совета, поскольку доказывала правильность «классической» социал-демократической точки зрения на то, что лидерство буржуазии в русской революции неизбежно.

Более левая социал-демократическая группа во главе со Стекловым и Сухановым поддерживала практические выводы, основанные на «классической» точке зрения, и не соглашалась с большинством лишь в военном вопросе; она придерживалась первого направления («мир любой ценой»), тогда как большинство социал-демократических лидеров являлись приверженцами либо третьего (оборонцы), либо четвертого направления (революционные оборонцы).

Ведущие социал-демократические члены Совета считали отказ советской демократии создавать Временное правительство и предоставление этого права цензовой демократии вполне естественными. В Совете преобладала точка зрения, согласно которой русская революция являлась буржуазной и должна была положить начало долгому историческому периоду капиталистической индустриализации России. Казалось, ход событий подтверждал ее правильность. Результаты диспутов по вопросу создания правительства соответствовали этой теории. Вскоре она оказалась опровергнутой. Но важнее было другое: в решающий момент теории и доктрины некоторых фракций продемонстрировали свою неэффективность и обманули ожидания людей, которые фанатично верили в них всю свою жизнь. Тактика определялась исключительно революционной ситуацией, и иногда люди просто не успевали понять, что их поступки кардинально противоречат идеям, которые они разделяли, когда революция была лишь далекой «музыкой будущего».

Советская демократия предоставила право создать правительство демократии цензовой — возможно, сама не сознавая того — просто потому, что это был путь наименьшего сопротивления; в противном случае ей пришлось бы столкнуться со множеством трудностей как внешнего, так и (главным образом) внутреннего характера.

Советская демократия стремилась к единой программе. Но в лагере цензовой демократии, которую представлял «прогрессивный блок», единства не было. С самого начала этот блок трещал по всем швам, и царские министры со злобной радостью ждали его распада. Однако буржуазные политики той поры были людьми более гибкими и искусными в компромис-

сах, чем лидеры революции. Долгое «подпольное» существование и отлучение от легальной политической деятельности требовало от последних идейного единства, беспощадной логики и фанатичного соблюдения партийных догм. Тайная борьба во все времена и у всех народов была школой беспредметного теоретизирования и гордой непримиримости. Только практическое участие в делах государства позволяет осознать свою ответственность и способность оценивать каждый шаг по его немедленному результату.

Во-вторых, цензовая демократия обладала всеми интеллектуальными и политическими ресурсами. У каждой легальной партии был свой генеральный штаб, свой мозг. А революционную демократию в решающий момент представляли случайные люди второго и даже пятого разряда. Ее лидеры находились в Сибири или за границей. В отсутствие своих идеологов, вдохновителей и командиров скромные рядовые члены партии не торопились принимать на свои плечи бремя, которое могло оказаться слишком тяжелым даже для их вождей.

В-третьих, у лидеров цензовой демократии было еще одно огромное преимущество. Их имена знала вся Россия. Регулярные выступления цвета буржуазных партий в городских думах, на собраниях юридических, научных и образовательных ассоциаций, предвыборных митингах и с трибуны Государственной думы приковывали к себе внимание всей страны. В отличие от них, вожди революционных партий, известные и ценимые только в своих узких кругах, жившие под псевдонимами и партийными кличками, менявшие фамилии и паспорта, тщательно скрывавшие от посторонних свою значительность, были, за немногими исключениями, таинственными незнакомцами, о которых враги могли безнаказанно распространять самые нелепые и чудовищные слухи.

В-четвертых, самые великие вожди революционной демократии были абсолютно невежественны в технике осуществления государственной власти и работы аппарата правительства. Даже многие кадеты ощущали свою неготовность для работы в такой сфере. Шульгин пишет, что требование «прогрессивного блока» создать «правительство народного доверия» означа-

ло передачу власти в руки «небюрократов». Правый кадет, позднее посол Временного правительства в Париже В.А. Маклаков протестовал: «Почему в руки «небюрократов»? Как раз в руки бюрократов, только других бюрократов, более умных и честных... Но мы, люди, пользующиеся «народным доверием», ничего не сможем сделать, потому что не разбираемся в таких вещах. Мы не знаем техники. А времени учиться нет»³. Но кадеты все же изучали эту «технику» в городских думах и земствах, в четырех Государственных думах, в парламентских комиссиях, сотрудничали с министрами во время принятия бюджетов министерств и инспектировали их работу. Лидеры революционной демократии изучали работу министерств только в тюрьмах и сибирской ссылке, будучи объектами этой работы; «самоуправление» было им знакомо только благодаря выборам старшего по тюремной камере. Скачок из далекой сибирской деревни или женевской колонии политэмигрантов в министерское кресло был для них равнозначен перенесению на другую планету.

Наконец, буржуазные партии имели за плечами десять с лишним лет легального существования и были хорошо организованы, в то время как ядро рабочих, социалистических и прочих революционных партий представляли собой «профессиональные революционеры». Теперь к этому ядру, как к скелету, впервые предстояло добавить плоть и кровь, заставить ее циркулировать по венам и артериям, обзавестись хорошо развитой нервной системой и мощными мышцами. Революционные партии испытывали такой приток новых членов, что их лидеры смотрели на это с тайным ужасом: что будет, когда старая гвардия растворится в этой политически неопытной сырой массе? Решения такой массы, скорее всего, будут случайными. Партии станут непрочными ассоциациями, реагирующими на настроения уличной толпы как флюгер. Одним словом, перед революционной демократией стояла беспрецедентная задача закрепления своих достижений, обучения новых членов, привития им навыков дисциплины и создания гармоничной системы партийных органов. Для решения такой задачи требовались лучшие и самые искусные партийные силы, а знающие, опытные и надежные люди в каждой рево-

люционной партии были наперечет. Если бы все крупные личности перешли работать в правительство, министерства и главные органы местного самоуправления, это обескровило бы любую партийную организацию и Совет. Инстинкт самосохранения заставлял партии сопротивляться переходу их вождей на работу в правительство, где те превращались в заложников аппарата, и прививать «партийным патриотам» отращение к административной работе.

Нет, нежелание советской демократии создавать правительство было вызвано не теориями и догмами, а ощущением «бремени власти». Совет с радостью воспользовался социалистической доктриной «буржуазной революции», имеющей «глубокое теоретическое обоснование», чтобы переложить это бремя на плечи цензовой демократии. И именно в этот момент буржуазные партии, которые предпочитали получить власть из рук царя и ужасно боялись принять ее из рук революции, неожиданно прекратили сопротивление. Шульгин говорил: «Лучше взять власть самим, чем позволить взять ее каким-то мерзавцам, которых уже выбрали на фабриках».

Инициатор решения Совета о передаче власти цензовой демократии Суханов понимал, что это значит «доверить власть классовому врагу», но все же сделал данное предложение, потому что оно «давало полную свободу бороться против этого врага», сулило демократии «окончательную победу в недалеком будущем», но не должно было «лишать буржуазию надежды победить». Предложение было мудрое, но абсолютно не соответствовавшее развитию событий. Суханов и его сторонники хотели одного: «гарантии полной политической свободы, абсолютной свободы союзов и агитации». Но поскольку за спинами лидеров цензовой демократии маячила «тень столыпинской Государственной думы», Совету пришлось добавить требование «немедленных мер по созыву Учредительного собрания»*. По собственному признанию Суханова, он «сознательно пренебрег другими интересами и требованиями демократии, какими бы

* «Мы со Стекловым, — пишет Суханов, — решили не настаивать перед «прогрессивным блоком», чтобы такое собрание называлось непременно «Учредительным», и согласиться на любое другое название; главное, чтобы эта ассамблея обладала всей полной властью... Но это не потребовалось».

беспорными и важными они ни были». Военный вопрос он также оставил без внимания. Цензовая демократия могла отказаться создать правительство, которое осуществляло бы политику мира; в этом случае Советам пришлось бы принять власть в условиях, которые сделали бы заключение мира самой спорной частью их программы. Позиция армии представляла собой загадку, и немедленное столкновение мнений могло бы погубить как фронт, так и революцию.

Эта хитрая конструкция имела один недостаток. Передача власти какой-то группе на определенных условиях предполагает, что передающие власть следят за тем, как соблюдаются эти условия. Такой контроль прост и естествен, когда люди, осуществляющие власть, одной плоти и крови с теми, кто их контролирует. Но когда контролирующие и контролируемые относятся к разным лагерям, антагонистически чуждым и враждебным друг другу, это может привести только к одному: постоянной борьбе с невозможностью обратиться в какую-либо юридическую инстанцию. Вероятность такого исхода увеличивало то, что никакого соглашения о формах подобного контроля заключено не было. Это привело ядро первого Совета к полному политическому банкротству. Видимо, оно не понимало, что органы контроля всегда отвечают перед народом за тех, кого они контролируют. Оно думало, что передача власти буржуазии на определенных «условиях» позволит держать последнюю «на коротком поводке», чтобы впоследствии расстаться с ней и начать свою «борьбу». Оно считало, что правительство цензовой демократии будет соперником Советов и в то же время беспристрастным судьей, следящим за тем, чтобы каждая сторона соблюдала правила «честной борьбы». Но, во-первых, цензовое правительство, которое существовало с согласия советской демократии, могло быть настоящим правительством только в том случае, если бы в обмен на абсолютно честное соблюдение соглашения оно пользовалось полной поддержкой советской демократии. Во-вторых, что значит «честная борьба с одинаковым оружием» между правительством и теми, кто согласился доверить ему государственную власть? В нормальных условиях мирного времени, когда действуют органы народного представительства,

это означало бы обращение к парламенту, вотум недоверия правительству, его отставку или новые всеобщие выборы. Но временное революционное правительство — это своего рода феномен. Оно всегда обладает большей властью (правда, на более короткий срок), чем обычное правительство, поскольку возникает *до* и *для* создания прежде не существовавшего национального представительного органа, и до выполнения этой миссии действует диктаторски, не отчитываясь ни перед кем. Нормальное законное диктаторство (конечно, если оно не захватило власть силой) предполагает позднейшую ответственность за честность и правильность выполнения своей миссии, но не предусматривает ежедневного контроля и запретов, иначе оно не будет диктаторством. Лидеры Совета, поддержавшие точку зрения Суханова, были стихийными диалектиками с сильным налетом макиавеллизма, но не обладали политической зрелостью. Было чрезвычайно важно, чтобы личный состав правительства полностью соответствовал цели последнего. Но авторы компромисса думали по-другому. «Последний пункт повестки дня — состав правительства — много времени не занял. Было решено не вмешиваться и позволить буржуазии сформировать правительство так, как она сочтет нужным»⁴.

Это безразличие к личному составу правительства было очень характерной приметой времени. Оно отражало *интеллектуальный уровень* довоенного социализма, действовавшего во всей Европе как *безответственная оппозиция*. Чем более левым был фланг, который социал-демократы занимали в парламенте, тем настойчивее они защищали свою пассивную непримиримость. Стеклов и Суханов искренне верили, что их равнодушие к личному составу нового русского правительства и готовность передать власть цензовой буржуазной демократии были признаком *политической левизны*. Они забыли, что безответственная оппозиция европейского довоенного социализма была продиктована его слабостью по сравнению с объединенными силами буржуазии. Социал-демократическая партия Германии могла вести яростные битвы с буржуазным большинством в рейхстаге; воинственность помогала объединять их ряды, но не влияла на развитие общества в целом.

В России же все было по-другому. Цензовое правительство на каждом шагу ощущало собственную слабость, в то время как любой «безответственный» жест его «оппонентов» из Совета воспринимался возбужденными массами как сигнал к штурму остатков царской Думы, которую по каким-то непонятным причинам еще терпят. Самые энергичные элементы масс, делавших революцию, считали это насмешкой над народом; изменить их точку зрения советским макиавеллистам, заключившим соглашение с «прогрессивным блоком», было не под силу.

Мы уже отмечали реакцию умного монархиста Кривошеина на известие о личном составе Временного правительства. Если сравнить его с составом «правительства обороны», создание которого планировалось в 1915 г. (оно должно было стать «правительством народного доверия», но по-прежнему подчиняться царю), то главная разница заключалась в замене Родзянко на посту премьера князем Львовым* и вводе Керенского, который был членом Временного комитета Думы и одновременно членом президиума Совета и являлся наполовину трудовиком, наполовину эсером. Это было единственной данью общественному мнению, которое давно, еще до революции, стало более левым, чем «прогрессивный блок». Включить Керенского в состав правительства предложил не кто иной, как представитель крайне правого крыла блока, националист Шульгин:

«Мы должны двигаться вперед... Понимаете, когда яхта идет левым галсом, то для перехода на правый нужно взять еще левее, чтобы набрать инерцию... Если на нас свалится власть, нам придется искать поддержку у расширенного левого крыла «прогрессивного блока». Я бы пригласил в правительство Керенского и предоставил ему портфель, допустим, министра юстиции. В данный момент этот пост не имеет значения, но мы должны перетягивать вождей революции на свою сторону. Среди них Керенский — единственный... Пусть лучше он будет с нами, чем против нас»⁵.

* Это было сделано по настоянию Милокова, который, по словам В.Д. Набокова, впоследствии был склонен считать, что допустил ошибку.

Этот маневр вожди цензовой демократии исполнили, причем довольно искусно. Похоже, советская демократия тоже была удовлетворена: у нее во Временном правительстве появилась собственный «глаз», без которого никакой *превентивный* контроль невозможен. Однако это средство вряд ли могло изменить общую ненормальность ситуации, поскольку оно не меняло позицию советской демократии, все еще придерживавшейся позиции неучастия во Временном правительстве и не желавшей нести ответственность за действия последнего. Под влиянием этой идеи Исполнительный комитет Совета большинством в две трети голосов решил не направлять своих представителей в правительство Львова—Милюкова. Однако Керенский уже принял решение стать членом Временного правительства любой ценой. Чтобы добиться этого, он предпринял очень хитрый ход. Он не стал участвовать в совещании Исполнительного комитета, на котором решался этот вопрос (несмотря на то что был заместителем председателя Совета). После этого Керенский неожиданно появился на пленарном заседании Совета, в котором участвовало почти две тысячи человек, и объявил, что ему предложили пост министра юстиции; просить санкции Совета не было времени, поэтому он был вынужден решать вопрос самостоятельно; как министр юстиции он может держать в руках всех представителей старого режима и не хочет позволить им ускользнуть; как министр он уже дал указание освободить всех политических заключенных и позволить депутатам социал-демократов (большевикам, высланным за антивоенную агитацию) с почестями вернуться из ссылки; он просит оказать ему доверие, он готов умереть за революцию, а если такого доверия ему не окажут, то он подаст в отставку с поста заместителя председателя Совета. Керенский сорвал свою порцию аплодисментов и быстро ретировался, снова не приняв участия в дискуссии о том, посылать или не посылать представителей Совета в правительство. После его ухода этот вопрос опять поставили на голосование и, не обсуждая позицию Керенского, почти единодушно решили *не участвовать* во Временном правительстве. Против проголосовало всего пятнадцать человек. Тем не менее Керенский в отставку с поста

заместителя председателя Совета не подал, а Исполнительный комитет не решился автоматически вычеркнуть его имя из списка членов президиума Совета.

Эта двусмысленная ситуация испортила всю комбинацию. Конечно, Керенский мог претендовать на исключительное положение во Временном правительстве: он один представлял в нем советский мир, мир революционной демократии. Однако он вступил в тайный конфликт с этим миром, и Совет больше не мог расценивать его как орган собственного контроля над Временным правительством. Напротив, цензовое правительство пыталось использовать его как таран против Совета. Только личность и политическое чутье Керенского решали, волеет ли его присутствие свежую струю в работу цензового правительства. Позже Керенский, оценивая свою деятельность и, конечно, кое-что преувеличивая с целью завоевать расположение правого крыла эмигрантского общества, так описывал свое пребывание среди лидеров цензовой демократии:

«Единственным органическим элементом власти был Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов первого созыва; он сыграл положительную роль, потому что создал основные принципы управления государством. Причем это было сказано не мною, Керенским, а другими членами Временного правительства; даже командовавший Петроградским военным округом в марте и апреле 1917 г. генерал Корнилов говорил, что он никогда ничего не начинал без консультации с Советом. Я был самым консервативным министром, потому что уже тогда не понимал сущности таких людей, как Стеклов, который теперь ударился в большевизм»⁶.

Ситуация безнадежно запуталась. Тот самый человек, который должен был курировать слева работу правого правительства и отражать мнение народа, по его собственному признанию, оказался «самым консервативным министром». Тот самый человек, который, по мысли правительства, сознававшего собственную слабость, должен был стать ничтожкой, связывающей его с советской демократией, тайно упивался своим постоянным, но скрытым конфликтом с последней. Милюков мог говорить, что «Керенский пользовался и даже злоупотреблял

своей позицией в кабинете министров, подчеркивая свою роль «заложника демократии»⁷, но сам Керенский на этот счет никаких иллюзий не питал. Он всегда подчеркивал свою «надпартийную» позицию, как «человека со стороны»:

«Я всегда говорил от себя, от собственного имени и ни с кем не был связан. Так было в 1912 г., когда я вошел в Государственную думу, несмотря на решение моей партии о бойкоте выборов. Так было и во время моей работы в Думе, и во время войны. Так было в 1917 г., когда я вошел во Временное правительство, *несмотря на решение Петроградского совета*, органа революционной демократии, которым руководили обе российские социалистические партии»⁸.

Связи между советской и цензовой демократиями переплелись в гордиев узел, поскольку тот же самый министр, который представлял Совет среди цензовых лидеров и цензовых лидеров в Совете, был членом центральных органов обеих демократий, но при этом всегда утверждал, что имеет право действовать против воли тех и других.

Глава 7

РЕВОЛЮЦИЯ И РАБОЧИЕ

Русская революция разразилась внезапно и стихийно. Многие поколения борцов страстно жаждали ее, верили в нее и ради нее жертвовали всем. Даже более широкие массы связывали с ней свои глубочайшие надежды и упования. Каждый класс по-своему мечтал о революции, видя в ней начало новой жизни.

Но самые большие надежды возлагал на революцию городской пролетариат. Его наиболее просвещенная часть, прошедшая сухую и жесткую школу марксизма, гордилась своей свободой от всех утопий. Эти люди действительно были социалистами из социалистов. Но социализм для них являлся результатом долгого исторического пути, в ходе которого нельзя было произвольно пропустить естественные фазы органической эволюции. Первой фазой социализма для них была демократизация фабричного производства в демократическом

государстве. В этих условиях рабочие должны были стать интеллектуально зрелым общественным классом, политическим авангардом трудящихся, обладающим всеми правами, классом, которому суждено во время естественного заката капитализма выполнить великую историческую миссию, революционную и созидательную одновременно.

Данное мнение преобладало, как минимум, среди наиболее квалифицированных рабочих. Но в свете хаотического и буйного развития русской революции результат долгой эволюции казался далеким, как мираж. Неудивительно, что рабочие начали задумываться: возможно, этот «мираж» сам стремится воплотиться в действительность.

Процесс переоценки ценностей начался с первых дней революции.

После нескольких революционных недель в рабочих районах возникла поразительно противоречивая ситуация. «Кто был никем, тот стал всем», но это «все» было фактическим, а с точки зрения закона пролетариат по-прежнему оставался «ником».

Можно не говорить, что царская Россия понятия не имела о «новых фабриках», владельцы которых были бы не азиатскими деспотами, а «конституционными монархами», связанными с судьбой своих «подданных», рабочих, системой «основных законов», предусматривавших заключение коллективного договора. В дореволюционной России владелец предприятия пользовался теми же правами, что и «хозяин в собственном доме»: это был скорее социальный, чем юридический феномен. Русская буржуазия настаивала на том, что в России связи между трудом и капиталом являются «патриархальными» и не требуют регулирования или вмешательства со стороны.

Самодержавная власть царя над страной и владельца над фабрикой прекрасно уживались и дополняли друг друга. Создание на фабрике «профсоюза» и даже проведение какого-то «согласованного действия» расценивались как «бунт»; так, в стране, где граждане обязаны присягать на верность верховной власти, даже коллективная подача петиции считается государственным преступлением. Сохранились документы начала XIX в. о привлечении к военному суду делегатов, избран-

ных рабочими для подачи царю жалобы на своего работодателя. За «самовольный уход от своего командира» и «докучение» священным особам императорского рода «придуманнми жалобами» их приговорили к «битью кнутом, вырыванию ноздрей и пожизненной каторге» взамен «смертной казни через повешение». Даже в начале 1870-х годов существовали фабрики с настоящим рабским трудом, на которых действовали утвержденные его величеством «правила поведения фабричных рабочих». Эти правила предписывали рабочим «беспрекосовно слушаться распоряжений хозяина» не только в мастерских, но и в «жилых помещениях», то есть рабочих бараках. Существовала изощренная система штрафов, налагавшихся «местной администрацией, старшинами, надсмотрщиками и сторожами».

В канун XX в. Россия еще не знала о свободе стачек и рабочих союзов. Тайные циркуляры правительства объявляли наказуемыми даже «призывы воспользоваться своими законными правами с помощью насильственных или незаконных способов» (циркуляр от 5 декабря 1895 г.). Работодателям запрещалось делать уступки рабочим под «незаконной» угрозой стачки. Политическая полиция, которая в России была «государством в государстве», с пеной у рта протестовала против очень умеренных проектов Витте легализовать рабочие организации и забастовки. С другой стороны, программа Зубатова, знаменитого начальника московской политической полиции, предусматривала создание комитетов псевдорбочей организации на каждой фабрике; общий надзор за «зубатовскими» комитетами поручался тайной полиции, которая для этой цели должна была вербовать агентов среди рабочих. Все это делалось для борьбы с революцией силами несознательных и консервативных элементов внутри рабочего класса.

Лишь в начале XX в. (точнее, в 1903 г.) российская законодательная система создала первый легальный канал, с помощью которого рабочие могли передавать свои требования работодателю. Таким каналом стали «фабричные старосты». Но эта попытка была настолько жалкой, что рабочие бойкотировали выборы и презрительно называли закон о фабричных старостах «законом о фабричных привратниках». Рево-

люция 1905 г. во время беспомощности правительства и нерешительности фабрикантов заложила основы трудового законодательства, предусматривавшего выборы фабричных комитетов и создание зародыша коллективного договора. Но потом началась контрреволюция. Рабочие организации пришли в упадок. Воинствующие ассоциации капиталистов (в 1907 г. их насчитывалось 120) запрещали своим членам сокращать рабочий день, позволять рабочим депутатам вмешиваться в решение вопросов найма, увольнения и оплаты труда рабочих, но главное — соглашаться на оплату в прямой или замаскированной форме времени, потерянного за период забастовки. Для страховки эти ассоциации требовали отчетов от своих членов и штрафовали последних, если те сдавались или шли на уступки. Завоевания периода революции постепенно терялись. К этому добавлялось систематическое уничтожение рабочих организаций полицией.

Против забастовщиков все чаще применяли локауты. Фабриканты Лодзи опубликовали специальный меморандум, в котором говорилось: «История локаутов показывает, что только второй и третий локауты принуждают рабочих к покорности». В революционном 1905 г. рабочие проиграли 30% забастовок, в 1906-м — 34%, в 1907-м — 58%, а в 1908-м — 68%. Увольнения и аресты рабочих депутатов полицией стали нормой. Продолжительность рабочего дня вернулась к до-революционному уровню и составила 10—10,5 часа. «Казаюсь, наши рабочие увидели луч солнца, но это продолжалось недолго. Наиболее передовых рабочих уволили. Все как прежде» — такие отзывы с мест печатались в каждом номере подпольных газет.

Новый подъем рабочего движения начался лишь перед самой мировой войной. В 1911 г. рабочие проиграли 51% забастовок, в 1912-м — 41%, а в 1913-м — только 31%. Количество забастовок, которое в 1909—1911 гг. колебалось от 300 до 400 (с общим числом участников в 1910 г. 46 000), снова возросло до 2000, а ежегодное количество их участников составляло от 725 000 до 860 000. Однако эти достижения не успели привести к модернизации структуры российской промышленности, так как вскоре началась мировая

война. Дальнейшая эволюция фабричного производства оказалась простой. Сначала правительство задумало грандиозную бюрократическую утопию: сделать всю военную промышленность государственной монополией, которая могла бы обслуживать любые потребности обороны без помощи частных и гражданских предприятий. Методы создания этой монополии иногда были просто абсурдными. Родзянко рассказывает, что однажды он столкнулся с толпой людей, которых гнали на сборный пункт под конвоем, как арестантов. Он выяснил, что таким странным способом опытных сапожников «мобилизовали» шить сапоги для армии! Только в мае 1915 г., когда фронт остался без обмундирования, сапог и патронов, банкротство этой бюрократической аферы заставило правительство вновь воспользоваться объединенными услугами частной промышленности. Добровольная мобилизация последней началась благодаря усилиям военно-промышленных комитетов, целью которых было приспособление российской промышленности к нуждам национальной обороны, устранение конкуренции и наиболее рациональное распределение военных заказов. Неспособность правительства справиться с этой задачей и его обращение к частному капиталу неизмеримо повысили уровень самосознания российской буржуазии. «Торгово-промышленный класс двадцатого века, — писал профессор Сторожев в «Новостях Московского военно-промышленного комитета», — больше не является кошечком, из которого государство может брать столько денег, сколько ему хочется, расплачиваясь случайными титулами, орденами или дарованием потомственного дворянства... В великой европейской войне торгово-промышленный класс действует как реальная сила, которой по плечу задачи и старого бюрократического режима, и нового периода»¹.

Однако серьезные разногласия со «старым бюрократическим режимом» у промышленников не имелось: это были чисто семейные ссоры. Зато «задачи нового периода» от такого альянса сильно страдали. Во-первых, рабочие, подлежавшие призыву на военную службу, были прикреплены к заводам, работавшим для нужд обороны. В случае забастовки им грозила отправка на фронт. Во-вторых, согласно статье 87, в слу-

чае объявления чрезвычайного положения трудовое законодательство отменялось, рабочий день удлинялся, а также допускалось привлечение к труду женщин и детей. В-третьих, промышленники широко использовали рабский труд военнопленных. Наконец, практиковалось использование в качестве рабочей силы «желтых» — китайцев и корейцев. Однако этого было недостаточно: правая пресса рьяно готовила общественное мнение ко всеобщей милитаризации промышленных рабочих. Фабрика должна была превратиться в казарму с абсолютно военной дисциплиной; фабричные администраторы получали все полномочия офицеров и имели право командовать рабочими как солдатами. Согласно законам военного времени, тех, кто прекратил работу, можно было заставлять возобновлять ее силой. Но милитаризация военной промышленности таила в себе еще более страшную угрозу: на фронте уже ввели телесные наказания!

Среди рабочих началось брожение. Роль предохранительного клапана сыграли фабричные выборы делегатов в Рабочую группу Центрального военно-промышленного комитета. На втором съезде военно-промышленных комитетов эта группа обратилась к работодателем, указав, что все воюющие страны приняли меры по поощрению участия рабочих в национальной обороне. Были расширены функции кооперативных и тред-юнионистских организаций: первые участвовали в регулировании национального потребления, вторые — в оптимизации использования трудовых ресурсов. Группа призвала российских промышленников покончить с традициями фабричного феодализма и предложила решить вопросы, жизненно важные для рабочих: признать право последних на создание профессиональных союзов и арбитражных органов для решения трудовых споров, а также на сопротивление «милитаризации» фабрик. Однако она потерпела полное поражение. Правительство и предприниматели всего лишь попытались оживить мертворожденный закон о фабричных старостах, сделав последних частью фабричной администрации. Одновременно правительство закрыло профсоюзы печатников и металлистов — единственные ростки российского тред-юнионистского движения, находившегося в зачаточном состоянии.

Предложение Рабочей группы о создании арбитражных органов было отвергнуто министром торговли князем Шаховским вплоть до решения вопроса о легализации рабочих союзов. Попытки группы выступить посредником в конфликтах на заводе Лесснера и Николаевских военно-морских верфях были отвергнуты заводскими администрациями. Кроме того, она оказалась совершенно не способной предотвратить отправку забастовщиков на фронт после конфликтов на машиностроительном заводе Нобеля и Адмиралтейских верфях. Это объясняет переход Рабочей группы к более радикальной тактике и ее призыв провести массовую демонстрацию в день открытия Думы, после которого члены группы были арестованы. Только этот арест спас группу от полной потери доверия у рабочих масс.

Такой была ситуация в промышленности перед революционными днями февраля—марта 1917 г.

Стачки, которые проходили то здесь, то там во второй неделе февраля и распространились повсеместно между 23 и 25 февраля, внезапно перешли во всеобщую забастовку. Поскольку забастовка была вызвана не столько конфликтами на фабриках, сколько отсутствием хлеба и политическими проблемами, она касалась полиции и правительства; при этом фабричная администрация почти всюду оставалась в стороне. В некоторых местах (например, в Колпине) фабрики были закрыты временно, якобы «для проведения ревизии». Реже на заводах (например, Путиловском) объявляли локауты и закрывали их «на неопределенный срок». Когда борьба достигала накала, администрация обычно отступала, а если на фабрику вторгалась полиция, которую встречали градом камней, все руководство тут же исчезало. Во время революционных недель рабочие районы были военной базой восставших. Некоторые фабрики становились крепостями рабочих. Администрация старалась «держаться от греха подальше», и рабочие чувствовали себя единственными хозяевами предприятия. Такая ситуация оказала сильнейшее влияние на самосознание фабричного пролетариата. Контраст между нынешним состоянием вещей и предшествующим режимом «военно-промышленного феодализма» был разительным. Именно он стал глав-

ным вопросом революции, требовавшим немедленного решения. Цензовое правительство абсолютно не понимало ни его насущности, ни его сложности. Однако было ясно, что дореволюционная фабрика представляет собой анахронизм, не приспособленный к новой эре, и что рабочие, совершившие революцию, больше никогда не подчинятся царским законам о труде. Поэтому им следовало немедленно гарантировать принятие новой системы отношений между трудом и капиталом, пусть временной и неполной. Все понимали, что без этого рабочие на фабрики не вернуться. Хаос, безвластие, постоянные конфликты между рабочими и администрацией стали бы правилом и спровоцировали бы партизанскую войну в промышленности.

5 марта Совету рабочих депутатов хватило смелости призвать к немедленному возобновлению работы промышленных предприятий. Если бы солдаты, которые раньше были вынуждены идти в бой с пустыми руками по вине Сухомлинова и компании, оказались в том же состоянии уже по вине революции, это нанесло бы последней смертельный удар. Но Совет понимал, что возвращение на фабрики не может означать принятие дореволюционной фабричной системы. Председатель Совета Чхеидзе поставил все точки над «i»:

«На каких условиях мы можем работать? Было бы смешно возвращаться к работе на старых условиях. Пускай буржуазия знает это... Вернувшись на фабрики, мы тут же начнем думать, на каких условиях будем работать».

Петроградская ассоциация промышленников, столкнувшись с произвольными решениями рабочих о продолжительности рабочего дня и присвоением ими права увольнять управляющих, приняла важное и разумное решение: проконсультироваться с Советом и решить дело миром. Иметь дело с фабрикантами, привыкшими к тому, что на своем предприятии они являются полными хозяевами, было нелегко, но против революции они оказались бессильны. 2 марта центральный орган российской торгово-промышленной буржуазии, Совет съездов представителей торговли и промышленности, предупредил весь торгово-промышленный класс страны и все его организации о «необходимости уступок», одновременно призвав «забыть

партийные и общественные разногласия и сплотиться вокруг Временного правительства».

По соглашению между Петроградским советом и ассоциацией промышленников наконец были созданы арбитражные органы с равным участием владельцев фабрик и рабочих. За фабричными комитетами официально признали право представлять интересы рабочего коллектива во время переговоров с владельцами фабрик и органами государственной власти. Но главным достижением стало немедленное и безболезненное введение восьмичасового рабочего дня.

Это важное завоевание Совета было встречено с огромным энтузиазмом. Оно обеспечило Совету беспрецедентную популярность среди рабочих, надолго повысило его авторитет и облегчило выполнение предыдущего решения о возвращении к работе, которое крайне левые (особенно большевики) уже пытались сорвать. Возглавляла сопротивление Организационный комитет Московского района Петрограда: он отложил окончание всеобщей забастовки на несколько дней в знак протеста против отказа позволить решать этот вопрос самим районам и промышленным предприятиям. Фабрика «Динамо» вновь и вновь повторяла, что «не подчинится Совету и не будет сотрудничать с ним», так как всеобщую забастовку нельзя прекращать, пока прежняя власть не уничтожена полностью и не приняты меры для окончания войны; в настоящих условиях возврат к производству средств мировой бойни для рабочих неприемлем. Однако все эти попытки оказались безуспешными. Во время первой баллотировки тысяча сто семьдесят делегатов против тридцати проголосовали за немедленное возвращение к работе; во время второй против возврата к работе проголосовало всего пятнадцать человек.

Последующие события подтвердили правильность этого решения. Оглушительная победа советской демократии в вопросе о восьмичасовом рабочем дне должна была вызвать контратаку. Многие фабриканты были недовольны соглашательской политикой Петроградской ассоциации промышленников. Они снова начали энергичную подрывную кампанию, объединившись с теми, кто был недоволен переворотом, но боялся вы-

ступать открыто и жадно ждал первых признаков раскола в лагере победителей.

Современник пишет об этой антисоветской кампании:

«Агитация велась на каждом углу. В течение последних десяти дней [марта. — *Примеч. авт.*] на улицах, в трамваях, в общественных местах можно было видеть рабочих и солдат, яростно споривших между собой. Доходило до физических стычек. Положение становилось все более тревожным.

Конечно, рабочих обвиняли в чрезмерных требованиях, в абсолютном нежелании работать и в игнорировании интересов фронта. Как ни странно, главной причиной волнений стал восьмичасовой рабочий день. Любители ловить рыбку в мутной воде спекулировали на том, что мужик в серой солдатской шинели якобы не способен понять это требование пролетариата. На фронте или в деревне таких требований не предъявляют. А эти фабричные лодыри, не желающие работать, наслаждаются жизнью, пока другие гниют в окопах!

Солдаты требовали передать им управление фабриками и даже угрожали рабочим репрессиями. «Ужо погодите, — слышалось повсюду, — мы придем в цеха и покажем вам, где раки зимуют. Поставим за спиной каждого лодыря солдата с ружьем, и если что не так...»

И верно, на фабрики начали приходить вооруженные солдаты, проводившие осмотры и применявшие силу. С этой целью в город начали прибывать группы солдат из ближайших гарнизонов и даже из действующей армии. «Натравливание одной части народа на другую» едва не достигло своей цели. Серьезных эксцессов можно было ждать с минуты на минуту»².

Какие чувства это вызывало на фронте, видно из отчета комитета 1-го армейского корпуса. Командир корпуса генерал Булатов направил всем командирам полков следующую телеграмму:

«Белья нет: оно будет доставлено только в середине апреля, да и то в половинном количестве; нет обмундирования, оно не доставлено из тыла; табак тоже не подвезли. *Объявите все это солдатам, объясните, что рабочие в тылу работают очень мало. Дисциплина в полках зависит исключительно от ваших действий*».

Комитет расценил эту телеграмму как попытку натравить солдат на рабочих. Особенно подозрительной показалась ему фраза о необходимости поддержания «дисциплины в полках». Спрашивается, для чего она была нужна?

Слухи множились и оказывались лживыми. Две известные московские газеты, «Русское слово» и «Русские ведомости», сообщили, что гарнизон Царского Села, состоящий из 75 000 штыков, протестовал против введения восьмичасового рабочего дня.

И тут проявилось истинное значение решения Совета о немедленном возвращении к работе, несмотря на большевистскую демагогию. Совет разрешил работодателям с согласия фабричных комитетов увеличивать продолжительность рабочего дня с оплатой сверхурочных. Представители Совета встречали все солдатские делегации, провожали их на фабрики и предлагали самим убедиться, что рабочие находятся на своих местах и не отлынивают от работы под предлогом продолжения революции; случайные перерывы объяснялись отсутствием сырья или топлива; восьмичасовой рабочий день означал не отказ от изготовления боеприпасов и амуниции для фронта после восьми проработанных часов, а всего лишь дополнительную плату за сверхурочное время. Советская демократия вела активную контрпропаганду с помощью публичных заявлений солдатских делегаций, посещавших фабрики, совместных митингов рабочих и солдат, резолюций и воззваний рабочих к солдатам, послышки агитаторов в казармы и т. д. В этом отношении характерной является резолюция Минского съезда фронтовиков, гласившая, что «буржуазия клеветает на рабочих». В результате первая атака на советскую демократию была успешно отбита; двухнедельный раскол между рабочими и солдатами закончился тем, что армия поняла вражеский маневр, предпринятый с целью разжечь пламя братоубийственной вражды в самой революционной цитадели и таким образом покончить с революцией.

Введение восьмичасового рабочего дня позволило Совету одержать тройную победу. Во-первых, оно было большой уступкой со стороны работодателей. Во-вторых, оно повысило авторитет Совета и подорвало позиции ультралевых, демаго-

гически призывавших действовать анархически, без руководства «рабочего парламента». В-третьих, оно укрепило связь рабочих и солдат, которую пытались разорвать тайные враги обоих.

Но у первых победоносных шагов советской демократии было два недостатка.

Во-первых, соглашение о восьмичасовом рабочем дне было чисто местным, петроградским достижением. Утвердить его в масштабах всей страны можно было только правительственным декретом, а для этого требовался совсем другой состав Временного правительства. В Москве ничего подобного не было; московские предприниматели заявили, что они отказываются подписать такое соглашение не из личных (то есть классовых) интересов, а как «граждане», понимающие, что стране «катастрофически не хватает товаров первой необходимости» при «растущих потребностях армии и народа». У Московского совета не было выбора; ему пришлось прибегнуть к способу, предложенному большевиками, но отвергнутому Петроградским советом: «предписать» рабочим после восьми проработанных часов покидать фабрику, то есть установить восьмичасовой рабочий день явочным порядком. В результате рабочее движение разделилось на две части. В Саратове, Симферополе, Ярославле, Омске, Одессе и др. победила «петроградский» способ; в других городах, где сопротивление фабрикантов было особенно упорным, переходили к «московскому» способу. «Как только до Харькова докатился слух, что в Петрограде ввели восьмичасовой рабочий день, там встал тот же вопрос. Хотя Харьковский совет был в принципе против введения восьмичасового рабочего дня силой, ему пришлось разрешить то, что уже делалось без его согласия». Восьмичасовой рабочий день был завоеван повсеместно, но рабочим это не принесло полного удовлетворения, так как с точки зрения законодательства вопрос оставался открытым. Возвращение к работе откладывалось на неопределенное время. Фабриканты и рабочие нервничали. Рабочие начинали осуждать Совет за неспособность ввести восьмичасовой рабочий день законодательным путем. Это лило воду на мельницу большевиков.

Вторая слабость была четко сформулирована в докладе, который 18 марта сделал на заседании секции рабочих Петроградского совета представитель Нарвского района, рабочий Павленков:

«Возвращение на фабрики без предварительного улучшения условий труда заставило рабочих вести хаотическую, неорганизованную экономическую борьбу. В разных местах говорят о необходимости повышения заработной платы... Хотя мы сумели смягчить естественное недовольство масс, однако секция рабочих должна ускорить решение вопроса о минимальном размере оплаты труда».

Павленков указал, что «производительность труда, от которой зависит успех снабжения боеприпасами революционных солдат, недостаточна, поэтому Нарвскому районному Совету рабочих и солдатских депутатов пришлось обратиться к рабочим с призывом проявить сознательность». Не меньшее внимание нужно уделить и проблеме снабжения фабрик сырьем и топливом; «необходимо принять все меры по предупреждению тайного локаута под предлогом отсутствия топлива».

Это полностью описывает общую позицию первых Советов. Они прекрасно понимали чрезвычайные условия военного времени, ощущали свою ответственность, пытались упрочить ситуацию на фабриках за счет защиты интересов рабочего класса в рамках организованной и централизованной борьбы, старались путем переговоров и временных соглашений между центральными органами труда и капитала подготовить распространение таких соглашений на всю Россию и закрепить эти завоевания с помощью законодательства.

Но какова была позиция другой стороны, а именно предпринимателей? Уступки, на которые пошла Петроградская ассоциация промышленников, многие считали признаком «истинно государственного подхода» к решению проблем экономической жизни, возможностью поставить исторические интересы российской промышленности над сиюминутными интересами фабрикантов. Конференция предпринимателей, прошедшая 1 июня, публично заявила, что она будет обсуждать все вопросы «не с классовой точки зрения купцов и промышленников, но с точки зрения спасения самой промыш-

ленности и торговли, необходимых для существования здорового государства». Однако весь эффект этого заявления был смазан следующим утверждением: «Финансовое положение многих предприятий делает невозможным продолжение их функционирования, поэтому их закрытие в ближайшем будущем неизбежно». Более явное доказательство бессилия такого «государственного подхода» нельзя себе представить. Складывалось впечатление, что вся эта конференция была искусно замаскированным проектом всеобщего локаута.

Видный капиталист, член советов директоров многих фирм и руководства ассоциаций В.А. Авербах в статье «Революционное общество по личным воспоминаниям», опубликованной в четырнадцатом томе «Архива русской революции», трезво и правдиво описывал собственный класс, который он хорошо знал: «Конечно, об участии торгово-промышленного класса в русской революции можно говорить лишь очень относительно; ко времени революции этот класс только начинался создаваться, купцы и фабриканты едва успели осознать себя представителями социальной группы, имеющей отчетливо выраженную собственную природу и великую историческую миссию». Поэтому «в то время торгово-промышленный класс как таковой еще не выступал на политическом поприще... Одним словом, этот класс был настолько аморфен и политически инертен, что не имел ни собственных представителей в Думе, ни собственной политической программы». Видные представители данного класса либо участвовали в разных думских партиях, либо были равнодушны к политике. «Присутствие среди них большого количества землевладельцев и дворян иногда превращало торгово-промышленный класс в аристократическую касту, которая политически пережила свое время», что «наносило ущерб независимости торгово-промышленного класса».

Классы, которым предстоит исчезнуть с исторической арены, обычно применяют одну и ту же тактику: отчаянное сопротивление. Им не хватает гибкости и приспособляемости, естественной для классов, которые представляют собой не «рудимент», а «живой элемент» данного периода. Союз с дворянством заразил купечество и промышленников той же психологией. Захваченные революцией врасплох, эти последние

с пылом неофитов поняли только одно: они больше не смогут пассивно наслаждаться жизнью под крылом правительства и будут вынуждены защищать свои интересы в одиночку. Авербах описывает лихорадочный пыл, с которым работодатели начали создавать свои воинствующие объединения: «Все было новым, созданным в болезненной спешке... Полный союз всех отраслей производства был достигнут без особого труда»; «дикие», или не включенные в систему, фабрики практически исчезли. «Создание ассоциаций требовало огромных затрат, но средства всегда находились». Тут же появились лидеры; они поспешно обучались, чтобы иметь возможность противостоять своим оппонентам. Они пытались использовать прессу для защиты интересов своего класса, субсидируя (благодаря непониманию, объясняет сконфуженный Авербах) даже «ультрамонархистские и реакционные издания» вроде пресловутой харьковской «Жизни России».

Внезапность возникновения классового самосознания, к которому добавилась политическая незрелость прошлых поколений, быстро заразила класс работодателей психологией странного «индустриально-феодалного максимализма».

Глава 8

КРЕСТЬЯНЕ И РЕВОЛЮЦИЯ

Российское освободительное движение с самого начала выдвигало лозунги аграрной революции. Еще до отмены крепостного права «властители дум» прогрессивного и критически настроенного авангарда российского общества великий ученый-экономист Чернышевский и блестящий философ-публицист Герцен выступили с теорией «русского крестьянского социализма». Они яростно отрицали законность права помещиков на владение землей, считая институт частной собственности на землю чуждым российской жизни и российской истории. Для них освобождение крестьян *eo ipso* [по определению (*лат.*) — *Примеч. пер.*] означало наделение их правом распоряжаться землей, которую те обрабатывали. «Земля» и «воля» были понятиями нераздельными.

Точка зрения Герцена, Чернышевского и их революционных последователей полностью соответствовала вековым чаяниям крестьянства. Русская деревня чаще всего молчала, но никогда не смирялась с правом помещиков на владение землей. Она веками ждала, что добрый и справедливый царь удалит из деревни помещиков и возьмет их «на государево жалованье». Такая точка зрения могла существовать лишь в стране, где класс дворян-землевладельцев продолжал жить «как в добрые старые времена», цепляясь за свою земельную монополию и не превращаясь в класс современных аграрных капиталистов, право которого на землю основано на совершенствовании ее обработки. Крестьяне упорно считали, что в ходе реформы 1861 г. их обманули и что их «освобождение» было пустым звуком. Они выражали свое отношение к помещикам и земле наивной фразой: «Мы ваши, но земля наша».

Рано или поздно революционная интеллигенция должна была «пойти в народ». Крестьяне долго лелеяли надежду на справедливого царя, и революционеры пытались убедить их, что в результате реформы мужик не получил ни земли, ни воли, что свобода и царь несовместимы, что самодержавие, укравшее у народа волю, помогло дворянам украсть у него землю, что русские цари называют себя «первыми дворянами» и «первыми помещиками». Подчиняясь безошибочному инстинкту и не обращая внимания на временные неудачи, российское революционное движение всегда «поворачивалось лицом к деревне». Первые российские марксисты пытались игнорировать крестьянство, но позже даже они были вынуждены принять на вооружение лозунг «Земля и воля». Только неописуемое угнетение, унаследованное от крепостного права, недостаток культуры, неграмотность и темнота деревни, которую тщательно поддерживали слуги старого режима, позволяли долго утаивать этот лозунг от народа. С величайшим терпением и жертвами революционная интеллигенция к началу XX в. сумела взломать лед. После полтавских и харьковских крестьянских волнений 1902 г. связь между интеллигенцией и крестьянством стала стремительно крепнуть. Поиски организации, которая могла бы «соединить деревню с городом», также увенчались успехом. Ее образцом стало первое крестьянское «Братство защиты прав

народа», созданное в 1898—1899 гг. в Борисоглебском уезде Тамбовской губернии с участием В.М. Чернова; меньше чем за пять лет во многих уездах была создана широкая сеть революционных «братств», которые в 1902 г. объединились в Союз братств партии социалистов-революционеров. В 1905 г. была сделана попытка создать более широкий Крестьянский союз, в который вошли другие партии и беспартийные массы; с незначительными изменениями он принял программу и тактику своего предшественника, Крестьянского союза социалистов-революционеров.

Революция 1905 г. потерпела поражение. Крестьянское движение, которое началось повсюду, но, как всегда, позже, чем в городах, было жестоко подавлено. Крестьяне молча переживали свою обиду и жаждали мести. Все тогдашние наблюдатели понимали, что следующий мятеж не будет иметь ничего общего с прежними относительно мирными и даже наивными выступлениями крестьян, а примет гораздо более жестокую форму. За политической революцией в городе тут же последует революция в деревне. Земская оппозиция самодержавию была нерешительной и непоследовательной; эти люди смертельно боялись неумышленно вызвать настоящую народную революцию. Но когда началась новая революция, деревня, ко всеобщему изумлению, продолжала сохранять таинственное спокойствие — по крайней мере, сначала.

Во-первых, это могло объясняться огромной задержкой, с которой городские события доходили до русской деревни. Разбросанность сел и деревень по обширной Восточноевропейской равнине, делавшая невозможной надежную связь; приходившие издалека слухи, то правдоподобные, то невероятные; и, наконец, боязнь местных властей сообщить о революции — все это помогло сделать деревню пассивным наблюдателем. Даже в такой развитой губернии, как Тверская, расположенная между двумя столицами, «новость о революции широко распространилась только в середине марта»; крестьянам говорили, что «все еще может измениться и вернуться к старому». В Смоленской губернии известие о революции «передавали друг другу шепотом, боязливо озираясь по сторонам, боясь соседей, родственников, даже самих себя». В

Чекуевском уезде Архангельской губернии священник долго продолжал молиться за «благочестивого самодержца», а полицмейстер надел новые эполеты, стремясь подкрепить веру в стойкость старого режима. В Уфимской губернии до людей с большим опозданием дошли крайне туманные слухи о том, что «солдаты и часть рабочих выступили против царя и тот бежал, бросив трон»¹.

Однако в некоторых деревнях революционные лозунги подхватили сразу же. Прозвучал набат, и люди сказали: «Свобода объявлена всем, и теперь нас никто не будет угнетать». По улицам сел и деревень шли толпы с криками «ура» и арестовывали старост, бурмистров, «объедаев», «кулаков», урядников и местных землевладельцев. Избирали делегации для отправки в уездный город и создавали временные комитеты самоуправления. В некоторых местах эти комитеты по собственной инициативе начали проводить подворные переписи запасов зерна, фуража и скота².

Случаи, когда крестьяне пытались свести старые счета с помещиками, были очень редкими. Для этого требовались особенно болезненные воспоминания. В деревне Березовка Тамбовской губернии крестьяне выкопали труп местного помещика Луженовского, сожгли его и развеяли прах по ветру*. Но общее чувство было совершенно другим: все стремились забыть прошлое и думали только о светлом будущем. Даже сельские большевики, которым внушали мысль о банкротстве Февральской революции и превосходстве Октябрьской, живо описывали первые месяцы свободы:

«Многие ездили в город, чтобы получить точные сведения о происшедшем. Каждый привозил обратно несколько газет, которые без конца перечитывали, и люди каждый раз радовались... Казалось, деревня возродилась и повеселела... С первых дней революции крестьяне воспрянули духом и почувствовали, что теперь жизнь станет лучше»³.

* Губернский советник Луженовский, командовавший карательным отрядом, был убит в 1906 г. членом боевой группы партии социалистов-революционеров Марией Спиридоновой; затем ее подвергли пыткам казачий офицер Абрамов, инспектор Жданов и генерал-губернатор фон Лауниц, впоследствии казненные по приговору той же организации.

«Люди поздравляли друг друга, целовались, как на Пасху, и говорили: «Наконец-то настал светлый праздник». Все нарядились как на ярмарку. В нашей деревне три дня праздновали падение самодержавия и приход свободы»⁴.

Деревня трогательно благодарила революционный город, выражала ему свою поддержку и готовность последовать его примеру. Она в наивных выражениях говорила спасибо Временному правительству и Совету «за проделанную ими работу», благодарила петроградских рабочих и гарнизонных солдат, поддержавших революцию. Не оставляя своих вековых мечтаний о земле, крестьяне надеялись, что «все как-то образуется по справедливости», что землю передадут крестьянам «без обиды для помещиков» и что владения последних будут использованы для всеобщего блага. Если помещик не угнетал своих крестьян и пытался наладить с ними добрососедские отношения, крестьяне охотно шли ему навстречу и искали способ облегчить его переход к новой трудовой жизни с помощью какого-нибудь временного компромисса.

В крестьянских наказах не так уж редко проявлялась забота о дворянах, земли которых переходили в «общественное пользование». О выкупе не говорилось ни слова, но если речь шла о мелких помещиках, которые тратили много сил на работу о земле, крестьяне почти повсюду оставляли им дом и соседнюю землю по нормам, максимальным для трудящихся, с учетом доли отсутствующих членов семьи. Позволить им на первых порах излишки казалось справедливым; «позже все можно будет уравнивать». Правда, иногда надежда на превращение помещиков в крестьян была не так велика, как надежда на то, что теперь каждый крестьянин будет жить «не хуже помещика». Кроме того, в большинстве крестьянских наказов были специальные пункты о выплате временных «кормовых» бывшим помещикам, которые оставались без земли; им нужно было «немного оглядеться», прежде чем начать новую жизнь. Крестьяне привыкли говорить: «Землю мужикам, а помещикам шиш; пусть идут служить царю». Но теперь их решения не были такими упрощенными. Хорошие хозяева, искушенные в растениеводстве и животноводстве, не желали отказываться от земских и кооперативных служб, понимая трудность их заме-

ны. На первых порах было сильное желание «решить дело без обиды». Некоторые наиболее дальновидные землевладельцы из дворян (правда, таких было немного) в первые месяцы революции (особенно с мая) начали слать петиции в министерство земледелия о передаче своих имений земельным комитетам и возможности вести хозяйство под защитой и наблюдением последних. Они видели в этом единственный способ спасения своих культурных хозяйств от уничтожения.

Чем же объяснялась такая деревенская идиллия?

Первая причина лежала в области социальной психологии. Русский, белорусский и украинский крестьянин относился к органически чуждому ему городу с инстинктивной подозрительностью. С другой стороны, он был склонен с детской наивностью доверять всем и каждому и вручать свою судьбу в чужие руки. Он долго копил ненависть к властям и в то же время все свои надежды возлагал на полумистическую фигуру царя, который, как земной Бог, «видит правду, да не скоро скажет». Когда жизнь наконец заставила его расстаться с этой верой, а революция свергла царскую власть, крестьянин начал инстинктивно искать замену этой успокоительной вере, земной вариант религиозной веры в справедливость Высшего Существа, которое вознаграждает людей за страдания в этой юдоли слез. Полумистического царя заменила полумистическая революция. Ее наступление было равносильно сбывшемуся древнему пророчеству. Крестьяне были готовы ждать «нового неба и новой земли, на которой живет правда». Эта вера была сильнее веры в распятие. На сельских сходках крестьянам еще до голосования говорили о национализации земли и объясняли, что это значит. Когда до крестьян доходило, что они больше не будут полными и неограниченными хозяевами надела, доставшегося им по наследству (а в некоторых случаях и земли, купленной дополнительно), начинались неопишуемые сцены. Внезапно загорелые, обветренные, бородастые лица озарялись настоящим религиозным экстазом. Люди вскакивали и кричали: «Мы отдадим! Отдадим нашу землю! Отдадим все!» В этой тысячелетней мечте лев возлежал рядом с агнцем, поэтому неудивительно, что крестьяне хотели расстаться с помещиками «по-доброму».

Вторая и более прозаическая причина первоначального «спокойствия» заключалась в том, что совершать революцию в деревне было просто некому. Все молодые парни, взрослые и бородатые отцы семейств с седыми висками были на фронте, в окопах или переполненных тыловых гарнизонах. Обрабатывать землю приходилось старикам, подросткам и женщинам. Равноправие женщин, достигнутое в ходе революции, было признанием героической роли, которую они сыграли во время войны, добавив к своим тяжелым домашним обязанностям обязанности мужчин, ушедших на фронт. Им приходилось отвечать не только за семью, но и за крестьянское хозяйство. Однако до тех пор крестьянки никогда не принимали участия в «политике». Деревенскую молодежь не подпускали к серьезным и ответственным делам, а пожилые были глухи к новизне и желали жить по дедовским правилам. Малолетность деревни окончательно поставила крест на политической активности крестьян. Впрочем, этот фактор постепенно изживался. Специальным декретом правительства из армии демобилизовали всех, кому было «за сорок». Появились «отпускники», которых возвращали с фронта по просьбе сельской общины. Росло число дезертиров. Рабочие закрытых владельцами фабрик также устремились в деревню. Наконец, женщины тоже стали более активными. Крестьянки присоединялись к революции медленнее своих мужей, но зато сообщали ей чисто женскую страстность и фанатизм.

Естественно, отток рабочих рук из деревни уменьшал стремление крестьян увеличить свои земельные наделы. Сельскому населению едва хватало сил обрабатывать ту землю, которая у него уже была. История дала дворянам передышку, но именно эта передышка их и погубила. Видя, что деревня смотрит на городскую революцию со стороны, и не испытывая на свою собственность сильного давления, характерного для начала века, помещики надеялись с помощью нового правительства удержать позиции и были готовы защищать их.

Но деревня и не думала отказываться от своих требований. На самом деле она была совсем не такой пассивной, как казалось с виду. Крестьяне принимали активное участие в событиях в лице солдат, которые массами присоединялись к револю-

ции и посылали своих депутатов в Советы. Мужики, составлявшие подавляющее большинство «серых шинелей», больше не были беззащитными. Солдатские «наказы» отражали все требования аграрной революции и были более настойчивыми и продуманными, чем крестьянские. Но если крестьяне откладывали решение главного вопроса о справедливом распределении земли, то у них еще оставались мелкие бытовые вопросы, от решения которых, однако, зависела их жизнь и работа.

Поскольку недостаток земли ощущался менее остро, чем недостаток рабочих рук, на первый план вышла абсолютно новая для российского крестьянского движения проблема использования труда военнопленных. Она касалась в первую очередь деревенских женщин, вынужденных нести как собственное бремя, так и бремя мужа. На селе сложилась абсурдная ситуация: женщины, подростки и старики были изнурены физическим трудом, тяжелым даже для мужика в цвете лет, в то время как помещичьи земли обрабатывали военнопленные, часто знакомые с намного более эффективной агротехникой. Плата за этих новых «рабов» мизерную сумму — три рубля в месяц, — помещики могли регулярно получать от тридцати до пятидесяти человек, использовать дармовую рабочую силу и самые примитивные орудия труда. Это позволяло им проводить капитальные усовершенствования своих имений, даже не диктовавшиеся необходимостью: рыть пруды, строить сараи и дома. Война принесла деревне чудовищные страдания; дворянство же получило новую возможность произвести значительные экономические улучшения. Но это еще не все. Помещик, обеспеченный бесплатными рабочими руками военнопленных, стал совершенно независимым от деревни. Теперь он мог обойтись без помощи крестьян соседних деревень, а они по-прежнему нуждались в его лесах, лугах, пастбищах и т. п. Раньше помещик должен был волею неволей ладить с крестьянами и идти им навстречу. Теперь же он мог эксплуатировать их без всякого опасения.

В деревнях начался ропот: почему жена и старый отец солдата должны надрываться и «накивать грёху», в то время как помещик, это «испорченное дитя» старой России, сохраняет все свои привилегии в новой России? Где справедливость

нового порядка, где его народный характер? Собственность дворян на землю несправедлива: не они возделывают ее своими мозолистыми руками, не они поливают ее своим потом. Если так, то пусть они нанимают батраков не за гроши — они могут себе это позволить, в отличие от солдатской вдовы, семьи с большим количеством одоков и недостатком работников. На сходках крестьяне решали восстановить справедливость и исправить недосмотр нового правительства; разве можно за всем уследить из далекого Петербурга? Они толпами приходили в поместья, забирали военнопленных и направляли их в семьи с наименьшим количеством работников — если, конечно, напуганные пленные, невольно ставшие «яблоком раздора», не разбегались. Однако чем более жаркими становились споры, тем чаще военнопленные предпочитали третий выход из положения: они присоединялись к крестьянам против помещиков, умело применявших «погогонную систему».

И тут возникла новая проблема. Правительство требовало, чтобы крестьяне засевали и убирали урожай с каждого клочка земли. Города и армия уже испытывали недостаток зерна и фуража. Но за время войны крестьянские лошади пали, а механизмы, которых и без того не хватало, пришли в полную негодность. Сельскохозяйственная техника, по большей части импортная, была недоступна. Старое оборудование изнашивалось. Разве крестьянин мог без зависти смотреть на хорошо оснащенное помещичье хозяйство? Отчасти стремясь сберечь оборудование, отчасти из-за того, что твердые цены делали невыгодным выращивание пшеницы, помещик нередко оставлял часть своих площадей незасеянной. Поэтому принадлежавшие им лошади и механические приспособления использовались далеко не в полной мере, дорогая сельскохозяйственная техника подолгу простаивала, а уход за помещичьим скотом требовал слишком больших затрат дополнительного труда.

Почему так вышло? Правительство объявляет засевание полей национальным долгом, обязанностью перед государством. Если так, то оно должно обеспечить деревню средствами, позволяющими решить поставленную задачу. Почему пра-

вительство смотрит сквозь пальцы на то, что в соседнем имении земля не засеивается, дорогое оборудование не используется, а за породистым скотом никто не ухаживает? Крестьяне, испытывавшие недостаток рабочих рук, протестовали все громче и все увереннее. Нельзя позволять помещикам, чтобы их техника простаивала; местные органы власти должны провести инвентаризацию и передать неиспользуемую технику крестьянам — конечно, за справедливую компенсацию. То же относится к землям, которые владелец не может или не хочет обрабатывать. Из-за твердых цен на пшеницу деревня получает от правительства жалкие гроши; раз так, то почему дворянам позволяют собирать с крестьян высокую дань, если последние выполняют свой долг перед государством, трудясь на арендованных помещичьих землях? Арендную плату нужно снизить, потому что она была намеренно завышена из-за нехватки посевных площадей, постоянного роста народонаселения и низкой продуктивности крестьянского хозяйства.

За всем этим стояла железная мужицкая логика. Теперь крестьяне начали действовать. Местные органы народной власти принимали решения о справедливом распределении военнопленных, требовали от каждого землевладельца точных сведений о засеянных площадях и забирали пустующую землю во временное общинное пользование, платя за нее «по совести». Предвидя саботаж помещиков, они назначали штрафы за несоответствие реально засеянных площадей заявленной цифре; думали, как обеспечить полное использование помещичьего скота и оборудования за пределами фермы (причем тоже «за справедливую плату»). В случаях плохого хозяйствования органы местной власти начинали заменять владельцев или управляющих более способными; но самым главным было то, что они снижали арендную плату и определяли стандартную оплату труда батраков. Если помещик настаивал на праве самому решать, сколько платить наемным рабочим, сельский сход принимал решение отложить этот спорный вопрос до окончания Учредительного собрания, но до тех пор денег помещику за аренду земли не платить, а переводить их на депозитарный счет в Государственное казначейство. Поскольку при старом режиме дворяне пользовались услугами местных органов самоуправ-

ления (уездных управ, регистрировавших договоры с крестьянами, уездных судов, преследовавших крестьян за невыполнение обязательств и т. д.) бесплатно, теперь крестьяне «восстанавливали справедливость» и облагали бывший привилегированный класс крупным налогом «на обеспечение работы новых органов народной власти».

В некоторых местах помещики шли навстречу новым требованиям (возможно, против своей воли), понимая, что в противном случае возникнут острые конфликты и даже вражда, а никаких средств, позволяющих бороться за свои «права», у них нет. В таких случаях обе стороны приходили к более или менее разумному компромиссу.

Но в подавляющем большинстве случаев сельские помещики вели себя совсем по-другому. Им принадлежало недвижимое имущество, скот и оборудование. Они жили под защитой Свода законов Российской империи, признававшего за землевладельцем неограниченное право на его собственность. Дворяне понимали, что законы могут измениться. Но кто в состоянии это сделать? Конечно, только Учредительное собрание. Даже Временное правительство, законность которого сомнительна, не полномочно принимать такие изменения; оно представляет собой случайный набор людей, вынесенных наверх революционной волной. Но если кто-то и считал, что некоторые дела все же находятся в компетенции Временного правительства, то подчиняться решениям местного органа «народной власти», неизвестно кем и как выбранного, не было никакого смысла. Раз Временное правительство не издало нового закона, то говорить о каком-то «законодательном междуцарствии» не приходится. Старый закон никем не отменен, а потому остается в силе. Все комитеты и Советы обязаны действовать в соответствии со старым законодательством, тщательно соблюдать его и заставлять все местное население уважать закон. Иначе они сами будут считаться преступниками и попадут под суд.

У помещиков была своя железная логика, основанная на официальном законе. Это была логика десятого тома Свода законов, проникнутого духом римского права с его догматом священной и неосязаемой «квиритской собственности», с его «*jus utendi et abutendi*» [материальным и нематериальным

правом (лат.). — *Примеч. пер.*]. Для крестьянского ума это было так же чуждо, как для помещика мужицкая аксиома о том, что, поскольку народ стал хозяином государства, он же стал полным и единственным собственником *всей земли*. Согласно представлениям мужика, земля принадлежала Богу или царю; после свержения самодержавия народ стал сам себе царем, а потому немедленно получил право распоряжаться всей землей.

Рождение новой, революционной России привело к возникновению антагонизма. Вопрос требовалось решить, причем срочно. Продолжать держать его под сукном было уже невозможно.

Глава 9

ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ АРМИИ

Кризис в промышленности и сельском хозяйстве сопровождался еще одним страшным кризисом — кризисом в армии.

«Революция и ее так называемая интенсификация дали волю страстям и нездоровым инстинктам; в результате произошел развал армии, последствия которого стали для государства трагическими; армия отказалась воевать, поддалась преступной агитации, бросила фронт, открыла его врагу, и тот не замедлил вторгнуться в страну».

Эта версия, сформулированная Родзянко, распространена в некоторых местах так широко, что ее принимают за абсолютную и непререкаемую истину. Но когда эту «истину» проверяют с фактами в руках, ее постигает та же судьба, что и знаменитую немецкую *Dolchstoßlegende* [легенда удара кинжалом (нем.). — *Примеч. пер.*] Людендорфа: Германия якобы была близка к победе, но немецкие социалисты и пацифисты начали революционную пропаганду в тылу, «вонзив нож в спину» победоносной армии и разрушив Германию.

После ознакомления с фактами от обеих легенд не остается камня на камне.

Русское издание этой легенды не выдерживает критики с самого начала. Согласно официальной версии, сформу-

лированной генералом Лукомским, в начале войны «ощущалось, что весь народ стал единым целым и в порыве энтузиазма готов броситься на врага». Однако Лукомский вынужден неохотно добавить: «В некоторых районах Сибири и Поволжья мобилизация проходила с трудом; были волнения (а в сибирском Барнауле даже значительные)»¹. Ясно, что этот «порыв энтузиазма» имел совершенно другую природу. Что же он собой представлял?

На этот вопрос ответил Максимов в своих «Военных годах». Он был призван в армию из смоленской деревни, но в начале войны работал закупщиком и успел побывать в Архангельской, Вологодской и Вольнской губерниях. В городах представители среднего образованного класса проявляли искусственный и преувеличенный «шовинистический энтузиазм», в то время как «простые люди повсюду воспринимали войну лишь как факт, причем не без ропота». Максимов повсюду слышал те же самые недовольные, наивные, «примитивно толстовские» речи:

«На кой дьявол нам сдалась эта война? Зачем нам лезть в дела другого народа? Мы тут поговорили промеж собой... Если германцу нужны деньги, так было бы лучше скинуться по червонцу с носа: в России носов много миллионов. Все лучше, чем убивать людей... Какая разница, под каким царем жить? Под германским будет не хуже... Пусть идут и воюют сами. Ужо погодите, мы с вами посчитаемся... А не пустить ли нам помещикам «красного петуха», как в девятьсот пятом?»

Максимов свидетельствует, что «ненависть к войне усиливалась с каждым годом... Набор рекрутов проходил в суровой и мрачной атмосфере». Временами крестьянки открыто проявляли свои антивоенные чувства: тех, кто уводил их мужей, братьев и сыновей, они преследовали с дикими криками: «Будьте вы все прокляты!»²

Конечно, автора можно заподозрить в принципиальном антимилитаризме. Если так, то давайте сопоставим его свидетельства с воспоминаниями Станкевича, который во время войны полностью отвергал пацифизм и «принимал войну не только телом, но и душой». Он с горечью признается: «Однако почти все относились к войне как к чему-то чуждому и

ненужному; массы российского общества никогда не считали эту войну своей»³.

Но наиболее убедительным является свидетельство Наживина, которого революция забросила в лагерь монархистов. Он пишет в своих «Записках о революции»:

«В деревнях было тихо, и мы следили за новым, чрезвычайно любопытным и поучительным процессом — возрождением деревни. Объявляли новую мобилизацию: весь уезд оглашался плачем женщин и детей; резервисты с тощими мешками и котомками уезжали в губернский город, и все стихало. На взрыв патриотизма не было и намека: войну принимали лишь потому, что так было приказано. Но аураков не было: каждый избежал бы ее, если бы мог...

За одной мобилизацией следовала другая, еще более абсурдная и бессмысленная, чем прежняя... А потом грянула памятная нам мобилизация в начале сентября. Забирали резервистов первого и второго срока, седебородых мужиков за сорок. В деревнях начался вой. Возбуждение зловеще нарастало. Отовсюду неслись новые, неслыханные ранее слова: «Да что же это делается? Они что, хотят сжить нас со света, чтобы для них больше места осталось?» Даже в церкви молитву за «православного самодержавного царя» прерывали горестные крики призываемых. И все это происходило в реакционной, старозаветной Владимирской губернии. Было ясно: деревня созрела».

Конечно, и в других странах, особенно в деревне, на первых порах было то же самое: сначала войну воспринимали как *несчастье*, а затем как бесконечное бремя и бессмысленную катастрофу. Но во Франции, Англии или Германии военно-патриотическая пропаганда неотесанных сельских новобранцев была поставлена образцово. Кроме того, мирные крестьяне, не интересовавшиеся политикой, не составляли там подавляющего большинства, как в русской армии. В царской России пропаганда никого не заботила: листовки и брошюры у неграмотных солдат пошли бы на самокрутки; им было вполне достаточно команд: «Направо, в атаку, бегом марш!» Одним словом, «в России с первой военной операции ничто не способствовало созданию психологии великой войны»⁴.

Со временем армия все больше и больше превращалась в море «не солдат, а просто мужиков в серых армейских шинелях». Эти мужики проявляли такую нутряную, добродушную, наивную любовь к миру и мыслили настолько примитивно, что интеллигенция, которая «приняла войну», с ужасом говорила, что русский народ — самый политически отсталый в мире. «Похоже, здесь патриотизм является монополией культурных классов общества», — в отчаянии сказал один французский дипломат. Временами казалось, что все складывается, как в знаменитой сказке Льва Толстого о царстве дураков, где вторгшегося врага встречали хлебом-солью: «Наверно, друзья, земли у вас мало и есть нечего, поэтому вы пришли к нам с оружием? Раз так, мы с вами поделимся; чем богаты, тем и рады. Зачем брать грех на душу и убивать друг дружку?»

Ни одна армия, даже самая лучшая, не гарантирована от развала, иногда удивительно быстрого.

Современная война подвергает «человеческий материал» тяжелейшим испытаниям. Есть предел, который нельзя переступить безнаказанно. Вопрос в том, кто доходит до этого предела и как быстро.

Возможно, генерал Деникин острее всех переживал развал русской армии и обвинял в нем всех вокруг. Но даже он вспоминает, как «осенью 1918 г. немецкие войска, оккупировавшие Дон и Малороссию, развалились в течение одной недели... Они смещали своих офицеров, а некоторые части продавали армейскую собственность, лошадей и оружие». Он указывает, что «брожение происходило и в армиях победителей: во французских частях, оккупировавших Румынию и Одессу в начале 1919 г., во французском флоте в Черном море, в английских частях, посланных в Константинополь и Закавказье, и даже в самом могучем английском флоте... Части переставали повиноваться; положение спасала только быстрая демобилизация и набор новых солдат, чаще всего добровольцев». В шестом томе воспоминаний Пуанкаре приводится множество таких фактов — например, обстрел автомобиля генерала Дюбе его же собственными солдатами.

Русскую армию развал охватил раньше, чем другие армии, и никакая «быстрая демобилизация» не могла ей помочь.

В этом вся суть: «эксперименты над армией», которые якобы проводила революция и особенно Временное правительство, забыв об азах военной науки, тут совершенно ни при чем.

Люди, пишущие о войне (и в том числе старые офицеры с дореволюционным стажем вроде генерала Деникина) пытаются доказать, что армию разложила революция. При этом они вынуждены закрывать глаза на вопиющие факты, свидетельствующие, что армия разложилась еще до революции. «Перед революцией были один-два случая, когда отдельные части отказывались повиноваться; эти выступления были сурово подавлены». Вот единственная дань, которую генерал Деникин отдает неприятной правде.

В переписке военного министра Сухомлинова с первым начальником штаба ставки генералом Янушкевичем картина выглядит куда более серьезной. В ноябре 1914 г., когда война шла уже третий месяц, Янушкевич с тревогой докладывает, что на Северо-западном фронте «Русский и его помощники внезапно потеряли веру в свои части», что «нездоровые настроения растут» и с ними «ничего нельзя сделать». В декабре его тревога становится еще сильнее:

«Стоит офицерам погибнуть, как начинается массовая сдача в плен, иногда по инициативе унтер-офицеров. «Почему мы должны умирать от голода и холода, без сапог? Наша артиллерия молчит, в то время как немцы расстреливают нас как куропаток. У немцев лучше. Айда к ним!» Казаков, которые провели атаку и отбили пятьсот пленных, дружно проклинали: «Какого черта вы это сделали? Кто вас просил? Мы больше не хотим подыхать с голоду и мерзнуть». Конечно, это крайние случаи, но они очень важны. Вот почему я так переживаю».

Именно тогда началась трагедия русской армии. Внезапно у артиллерии кончились снаряды. В тылу солдаты упражнялись с палками вместо винтовок. Даже на передовой батальоны должны были дожидаться, когда на поле боя можно будет собрать оружие мертвых. «У меня волосы встают дыбом, — писал Янушкевич, — при мысли о том, что нам придется подчиниться Вильгельму из-за недостатка патронов и винтовок».

Кроме того, мы располагаем военным дневником генерала Куропаткина. Еще в декабре 1914 г. он замечает: «Все они мечтают о мире и воюют не слишком хорошо... Были ужасные случаи: некоторые батальоны, вместо того чтобы контратаковать, шли к немецким окопам и поднимали оружие в знак сдачи. Они устали от тягот войны». В следующем году он пишет: «С передовой приходят самые неприятные вести. Винить нижние чины не приходится, но обрывает на себя внимание легкость, с которой они сдаются в плен... Недостаток патронов и боеприпасов и явное превосходство врага заставляют трусов сдаваться в плен, иногда целыми частями».

Командир специального жандармского корпуса генерал Джунковский 13 февраля 1915 г. докладывал ставке, что два эскадрона немецкой кавалерии вызвали «неописуемую панику» в рядах 56-й пехотной дивизии во время ее отступления к Вержболову: «Первыми обратились в бегство офицеры, солдаты устремились за ними; некоторые скрылись в окрестных полях, другие без сопротивления сдались в плен; горстка спешившихся немцев (сорок человек, в основном мальчишки) отвела их в зал ожидания третьего класса и заперла там до утра».

Значит ли это, что «человеческий материал» русской армии был низкого качества? Ничего подобного. Мнения пруссаков о русских солдатах, собранные в начале войны генералом Головиным, не оставляют на этот счет никаких сомнений⁵. Русские — «от природы хорошие солдаты», «смелые, упрямые, привыкшие к местности»; у них отличные стрелки и артиллеристы; если таких солдат хорошо снабжать, их упорное сопротивление способно вымотать даже лучшие германские корпуса вроде знаменитого 17-го Макензена; солдаты последнего, «ранее всегда демонстрировавшие необычайную храбрость», теперь «теряют воинский дух всего через несколько часов боя». То же самое говорили командиры 71-й бригады, 5-го гренадерского полка, 128-го полка и другие. «Перед ними открылся настоящий ад», «впереди бушевал ураган огня», «поднялась невидимая огненная стена», «вскоре полк доложил, что он измотан». Впечатления от боя были «ошеломляющие», чудеса храбрости казались бесполезными, «самые дисциплинированные полки из Восточной Пруссии охватила паника». Даже ког-

да в первый период войны немцы одерживали победы, винить в этом русских солдат не приходилось. «Поле боя, усеянное трупами русских, показывает, как велики были их потери и как храбро они сражались»⁶. Чтобы довести таких солдат до полной деморализации, понадобилась целая череда поражений, вызвавшая ощущение безнадежности.

Что было причиной поражений? Стратегия. Русское высшее командование сразу же допустило роковую и непоправимую ошибку. Оно начало наступление, «к которому была готова только одна треть армии», как человек, который «вместо удара кулаком тычет соперника каждым пальцем по очереди». Эти стратегически невежественные, авантюрные действия принесли в жертву цвет довоенной армии, который должен был составить костяк двух других третей; резервисты, предоставленные самим себе, потеряли значительную часть своей потенциальной ценности. «Философия стратегии, основанная на простой формуле «марш вперед», устаревшие данные о противнике, согласно которым наши силы составляли по отношению к немецким 76:70, а фактически это соотношение составляло 15:24», и еще целая серия подобных «стратегических преступлений» заставили «кампанию 1914 года войти в историю по числу стратегических ошибок военного плана»⁷.

О кампании 1915 г. и говорить нечего. Во время буквального избиения русской армии, у которой кончились боеприпасы, Морис Палеолог кошунственно говорил об «очень ценном сотрудничестве» русских с союзниками, так как русская армия ценой величайшего самопожертвования отвлекла на себя пятьдесят два вражеских корпуса. Для чего? Чтобы «на Западном фронте» все было «без перемен», чтобы там без конца переходил из рук в руки какой-то домик паромщика, ставший знаменитым на весь мир.

«Борьба, — пишет Палеолог, — ведется с энергией, достойной высочайшей похвалы. Каждая битва превращается для русских в чудовищное избиение... Русские люди безропотно терпят такие ужасные жертвы».

Но всякому терпению приходит конец. Затем вспыхивает слепой и бессмысленный гнев.

1916 г. ознаменован новым русским наступлением из последних сил, продиктованным желанием сделать Восточный фронт не наковальней, а молотом. Снабжение армии улучшилось за счет усилий всей страны. Но результат оказался тем же. Чему же тут удивляться, если сам Родзянко был вынужден признать: «Как ни странно, в 1916 г. брожение в армии началось после победоносных битв, ибо возникло убеждение, что все сверхчеловеческие усилия и жертвы бойцов оказывались бесполезными из-за глупых и неудачных приказов».

О состоянии армии можно безошибочно судить по числу дезертиров.

Военный министр генерал Сухомлинов постоянно обращал внимание ставки на угрожающий рост дезертирства. «Продолжают прибывать сведения о целых шайках рядовых, бродящих в тылу армии. Генерал-майор Болотов лично наблюдал случаи мародерства; из частей бежало такое количество народа, что в непосредственном тылу армии можно сформировать столько же частей».

Во время последних месяцев царского режима на узловых железнодорожных станциях пришлось создать специальные части военной полиции. За каждого пойманного дезертира причиталась награда: за рядового — 7 копеек, за унтер-офицера — 9 копеек, за подпрапорщика — 11 копеек, прапорщика — 14 копеек и за подпоручика — 25 копеек. До смешного низкие расценки объяснялись обилием жертв. Было подсчитано, что к началу 1917 г. количество дезертиров в России составляло полтора миллиона человек.

Посетив фронт в начале 1915 г., Гучков вернулся с обескураживающей новостью, что солдаты голодают, что в артиллерии полный кризис, а «нехватка пехоты, особенно офицеров, колоссальна». К концу 1915 г. он сделал краткий обзор первого этапа войны. Россия начала войну с пятью миллионами солдат и уже потеряла четыре миллиона; из 6000 полевых орудий потеряно 2000, к которым следует прибавить 2000 крепостных пушек. На поле боя офицеры проявляли чудеса героизма, но «наверху дела обстояли плохо». Рядовые «начали войну с энтузиазмом, но теперь устали и потеряли веру в победу из-за бесконечных отступлений».

На заседании кабинета министров 16 июля 1915 г. военный министр генерал Поливанов впервые произнес зловещие слова: «Думаю, мой гражданский и профессиональный долг — заявить Совету министров, что отечество в опасности... Наше отступление продолжается с нарастающей скоростью, во многих случаях это почти паническое бегство... Благодаря огромному превосходству в пушках и снарядах немцы заставляют нас отступать одним огнем артиллерии. Из-за этого... враг почти не несет потерь, в то время как наши люди гибнут тысячами... Солдаты явно угнетены бесконечными поражениями и отступлениями. *Вера в конечную победу и в наших вождей подорвана*: видны все более и более заметные признаки *деморализации*. Случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен становятся более частыми. Да и трудно было бы ждать энтузиазма и самопожертвования от людей, брошенных на передовую без оружия и вынужденных подбирать винтовки своих мертвых товарищей... В ставке главнокомандующего царит растерянность. В ее действиях и приказах нет ни системы, ни плана. Ни одного дерзкого и продуманного маневра, ни одной попытки воспользоваться ошибками зазнавшегося врага. «Назад», «назад», «назад» — вот и все, что мы оттуда слышим... Любая инициатива запрещается. Ни один старший командир не знает, куда и почему он движется... Любимые приказы ставки — это «молчать» и «не рассуждать».

На следующем заседании, 24 июля, военный министр дополнил картину: «В некоторых местах новобранцы и солдаты местных гарнизонов устраивают беспорядки... Генералы начинают думать о внутренней политике, пытаются отвлечь внимание от себя и переложить ответственность на плечи других». Совет министров с горькой иронией говорил о том, что «в военных действиях настал период отступления и бегства». 4 августа министр внутренних дел заявил: «Должен сказать, что мобилизация с каждым разом проходит все хуже. Полиция не в состоянии справиться с массами скрывающихся от набора. Люди прячутся в лесах и несжатой пшенице». Министр объяснял это явление деятельностью ненавистной ему Государственной думы: «Если люди узнают, что призыв резервистов второй категории производится без санкции Думы, я

боюсь, что в нашем нынешнем состоянии *мы не наберем ни одного человека*. 16 августа в связи с запланированной ставкой насильственной эвакуацией населения из прифронтовой полосы шириной в сто верст военный министр докладывал: «Армейские штабы потеряли способность понимать и оценивать свои действия. Их охватило настоящее безумие». На вопрос о том, что может спасти страну, военный министр ответил поистине классической фразой: «Я уповаю на наши необозримые просторы, непролазную грязь и милость нашего небесного заступника, святого Николая Мирликийского, защитника святой Руси». Более красноречивое признание собственного банкротства трудно придумать.

Какой бы крик подняли все военные и полувойенные патриоты старой школы, если бы это случилось *после* Февральской революции! Но при царизме неприглядная правда не выходила за стены министерских кабинетов. Монархическая и либерально-националистическая пресса до сих пор продолжают наперебой восхвалять бесконечные достоинства царской армии и хулить революционную армию. Однако факты показывают, что революция унаследовала от царизма армию без кадровых солдат и офицеров, расхлябанную, деморализованную, давно лишившуюся надежды на победу, не верящую своим командирам и даже самим себе.

В чем заключались причины столь жалкого состояния армии?

Первая из причин — полное банкротство *военных теоретиков* царской армии.

Возможно, самую роковую роль в судьбе русской армии и исходе войны сыграл генерал Сухомлинов, человек поразительной безалаберности и умственной лени. На совещании профессоров военной академии он имел глупость сказать: «Я не могу спокойно слышать слова «современная война». Какой война была, такой она и осталась. Все эти новшества вредны. Возьмите меня: за двадцать пять лет я не прочитал ни одной военной книги». Окружали его люди того же типа. Слова «огневая тактика» они считали ересью и затыкали уши, не желая слышать пророчеств военной науки о том, что следующая война станет главным образом «войной пушек и пулеметов».

В XX в. они продолжали повторять суворовский афоризм XVIII в. «пуля дура, штык молодец»⁸.

Лучший военный аналитик русской эмиграции генерал Головин после тщательного анализа пришел к выводу, что русский генеральный штаб не имел собственной военной доктрины, а просто копировал германскую или французскую. Без учета особенностей собственной армии и окружающей среды такие попытки неизбежно вырождались в безжизненную схоластику. Действия русской армии в Восточной Пруссии продемонстрировали «неготовность нашего генерального штаба к широко-масштабным войсковым операциям. Эти фантасты от стратегии сделали все, чтобы обречь наши части на поражение»⁹.

Роковыми последствиями стратегической безграмотности стали бесчисленные ошибки, допущенные при подготовке к войне. Россия начала войну с 850 зарядами на пушку, в то время как в Германии был принят стандарт в 3000 зарядов. Несмотря на все предупреждения, русские крепости до самого конца строились по старой системе и с помощью современной артиллерии «быстро превращались в груды развалин». Как говорил главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, наши армии были вынуждены «отбивать атаки практически с голыми руками». Генеральный штаб не сумел предсказать ни продолжительность войны, ни ее масштабы. «Лишь очень немногие из высшего командования признавали, что война может продлиться дольше года»; большинство думало, что она закончится «за шесть—девять месяцев»¹⁰. Красноречивый опыт осад и сражений Русско-японской войны игнорировался; это была колониальная война, формы и методы которой не годились для серьезных битв. «Возможность позиционной войны на Западном фронте полностью отрицалась», ожидалось, что это будет «чисто полевая война с отдельными секторами позиций». Протяженный укрепленный фронт от Балтийского до Черного моря «считался не только невозможным, но и невообразимым».

Второй причиной краха русской армии стало пугающее состояние вооружений и военной техники.

Мировая война полностью обновила военную технику. Первенство принадлежало отравляющим газам и танкам. К этому

следует добавить стремительное развитие военной авиации и широкое использование тяжелой артиллерии не только для осады и защиты крепостей, но и для уничтожения окопов и сооружений из колючей проволоки с целью подготовки к атаке. Кроме того, были разработаны сложные системы взаимосвязанных траншей, позволявшие концентрировать силы перед атакой, и развитые полевые укрепления.

Обо всех этих новшествах русская армия и не подозревала. Она не имела угольных противогазов. Производство средств защиты от отравляющих газов пришлось начинать с нуля. В конце концов известный военный химик генерал Ипатьев блестяще справился с задачей, но неизбежная отсталость России в данном направлении дорого обошлась фронту. Танки «на наших заводах производить было нельзя; в общей сложности выпустили двенадцать жалких подобию, негодных для боя»¹¹. В среднем у немцев было 12 тяжелых орудий на корпус, а у русских — одно на три-четыре корпуса. Кроме того, немцы имели огромное преимущество в других типах артиллерии: 112 легких орудий и 26 гаубиц на корпус против 96 и 12 у русских. В общей сложности русские имели 3,5 пушки на батальон, а немцы — 7. Но эти цифры дают очень неполное представление о техническом превосходстве врага. Еще 15 декабря 1914 г. ставка предупредила фронт о необходимости экономить снаряды, потому что уже в первых сражениях был израсходован боезапас, рассчитанный на всю войну¹². Нужно понимать, что это означало на практике. Вот как генерал Деникин описывает битву под Перемышлем в середине мая 1915 г.:

«За одиннадцать дней страшного обстрела из тяжелых орудий наши окопы с их защитниками были буквально стерты с лица земли. Мы практически не отвечали на этот огонь: *ничем было*. Обескровленные полки отбивали одну атаку за другой штыками или винтовками. Кровь лилась рекой, цепи становились все реже, горы трупов росли... Два полка были практически уничтожены... одним артиллерийским огнем. Господа французы и англичане! Вас, достигших беспрецедентного уровня развития техники, сильно удивит абсурдный факт из русской реальности: когда после трех дней молчания наша единственная шестидюймовая батарея получила пятьдесят снарядов, эту



Виктор Чернов



Уличная сцена в Петрограде. Февраль—март 1917 года



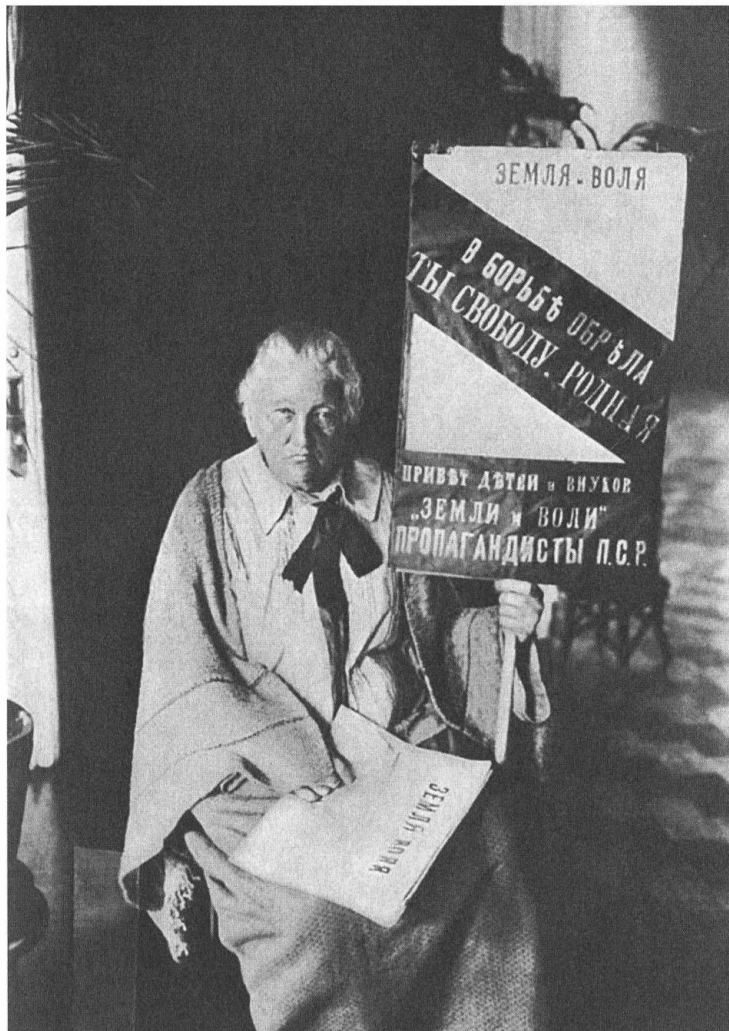
Первый съезд Советов



Демонстрация в Петрограде. Июнь 1917 года



Группа депутатов Государственной думы 4-го созыва во время перерыва в одной из комнат Таврического дворца. 1917 год



Редкая фотография «бабушки русской революции» Брешко-Брешковской



Керенский (в центре), министр юстиции Временного правительства



Временное правительство чествует генерала Корнилова. 3 августа 1917 года



Прибытие премьер-министра Керенского (*внизу в центре, во френче*) в Москву на Государственное совещание



Прибытие генерала Корнилова в Москву на Государственное совещание



Генерал Алексеев (слева)

новость немедленно сообщили по телефону всем полкам, всем ротам, и все наши солдаты испустили тяжелый вздох радости и облегчения»¹³.

Генерал Головин сообщает, что в бою под Турау Ревельский полк потерял больше 75% состава. Генерал Верховский видел, как люди сходили с ума прямо на поле боя, «потрясенные колоссальным превосходством врага и ощутившие свою полную беззащитность». Его дневник пестрит такими записями: «Мы едва видим вражескую пехоту; ей нечего делать, потому что яростный ливень артиллерии решает все немецкие проблемы быстро и просто. Скрипя зубами и молча страдая в глубине души, наша армия отступает и копит злобу на тех, кто заставил нас испытать такое унижение и беспомощность»¹⁴. Русские аэропланы не годились даже для обычной разведки, в то время как немцы регулярно использовали авиацию для корректирования своего смертоносного огня. К этому следует добавить «плохие средства связи, почти полное отсутствие полевых раций, отвратительное снабжение телеграфным оборудованием». Генерал Лечицкий суммировал свои впечатления следующим образом: «Мы дикие, глупые люди. Мы только что вышли из леса. Когда мы научимся воевать?»

Третьей причиной поражений русской армии был низкий уровень командования. Спорить с этим невозможно.

Ни одно революционное издание не могло бы так красноречиво описать состояние армии, как выдержки из переписки военного министра Сухомлинова с начальником штаба ставки Янушкевичем. В ней то и дело попадаются имена генерала Лукомского, который «топчет грязными ногами» самую важную отрасль — военное снабжение, генерала Каульбарса, который «неизменно портит все, к чему прикасается», принца Ольденбургского, прозванного «бестолковым пашой». Других представителей высшего командования то и дело называют «безответственными людьми», «склеротиками», творящими «самые страшные глупости». Третьих «повесить мало», но они продолжают занимать ответственные посты. О четвертых Янушкевич философски замечает: «Людям с такими мозгами нельзя поручать ответственную работу; это может стать

катастрофой для всей страны». На тайном совещании кабинета министров Сазонов говорил о самом генерале Янушкевиче: «Его присутствие в ставке более опасно, чем германские армии». Янушкевич и Сухомлинов понимали, что во многих случаях «с виновных нужно было бы снимать голову» (конечно, исключая их самих). «Порядок следует наводить сверху», — тревожно говорили они друг другу, словно предчувствуя, что настанет день, когда солдаты начнут наводить порядок снизу, наказывая всех подряд — и правых, и виноватых.

Они с ужасом ждали «катастрофы в стране» еще весной 1915 г. Удивительно не то, что она наступила, а то, что это случилось лишь через два года.

В апреле и декабре 1916 г. в ставке прошли два совещания, на которых общую ситуацию описывали командующие фронтами. Они докладывали о «полной дезорганизации в Петрограде», о всеобщем мнении, что «у нас было все, но мы не сумели им распорядиться» (генерал Рузский); о «разваленном транспорте и плохом снабжении, которое снижает боевой дух» (генерал Эверт); о «дезорганизации на транспорте» (генерал Гурко); о «неспособности страны кормить колоссальную армию в двенадцать миллионов» (генерал Шуваев); о растущем числе мятежей в частях, как спонтанных, так и вызванных экономическими причинами (Эверт); об усталости от войны и пропаганде (генерал Рузский, генерал Брусилов). На вопрос о том, какие меры следует принять, чтобы улучшить положение, генерал Шуваев пессимистически ответил, что дело не в «принятии мер» по наведению порядка, а в необходимости «считаться с реальностью».

Но для этого у высшего генералитета не хватало смелости. Даже сын Родзянко, которого отец считал «спокойным и уравновешенным офицером» (не говоря о преданности монархии), впал в отчаяние и, несмотря на улучшение снабжения армии, писал отцу с фронта:

«Ты должен сообщить императору, что убивать людей бессмысленно... Все в армии чувствуют, что без видимых причин дела изменились к худшему; люди великолепны, у нас есть пушки и снаряды, но у генералов нет мозгов. Очень плохо,

что мы не имеем аэропланов. Никто не доверяет ставке и тем, кто ею командует. Мы готовы умереть за отечество, но не за генеральский каприз. Во время боя они сидят в безопасных местах, редко появляются на передовой, а мы умираем. И рядовые, и офицеры думают, что, если система не изменится, мы не сможем победить. Это нужно понять»¹⁵.

Наконец, будущий герой первого контрреволюционного (корниловского) мятежа генерал Крымов во время специальной поездки в Петроград с большой группой офицеров общал:

«Больше так продолжаться не может. Из-за полного отсутствия преемственности приказов и тщательно разработанного плана, из-за безответственных назначений на высшие командные посты наши блестящие успехи были сведены к нулю; среди солдат растет недоверие к офицерам в целом и к своим непосредственным командирам в частности; *армия постепенно разлагается*, и дисциплина трещит по всем швам. В таких условиях вполне может случиться, что солдаты откажутся наступать и, что ужаснее всего, под влиянием преступной агитации, которую никто не может остановить, этой зимой армия просто бросит окопы и поля сражений. Таково зловещее и постоянно усиливающееся чувство, которое испытывают в частях».

Других чувств там просто не могло быть. «Только кровью этого пушечного мяса, — пишет генерал Верховский, — мы вынесли три года войны. Откуда возьмется чувство уверенности?.. Нам могли бы помочь только героические усилия по смене командного состава». 8 декабря 1916 г., за три месяца до революции, он пишет: «В некоторых частях слышится негромкий, но тревожный шепот: «Мы будем защищаться, но в атаку не пойдем»»¹⁶.

Чтобы завершить картину, назовем еще одну причину развала царской армии: дисциплинарные меры, которые офицеры применяли к солдатам, были немыслимы для армии цивилизованной страны; такие методы используют только худшие из азиатских деспотов, унижая человека и лишая его самоуважения. «Жестокости и оскорбления были частым явлением, иногда глупым и ненужным», — скрепя сердце признает Деникин. Это слишком мягко сказано. В 1915 г. на

фронте официально ввели телесные наказания. За «самострель» полагалась *смертная казнь*. Деникин пытается оправдать жестокие дисциплинарные меры несознательностью рядовых, а смертную казнь — неэффективностью других методов борьбы с дезертирством: страх погибнуть в бою должен быть меньше страха перед расстрельной командой. Ясно было одно: если солдатские массы потеряли веру в своих командиров, то возвращать эту веру с помощью телесных наказаний и расстрелов — только подливать масла в огонь. Это питает пламя мести, горечи, взаимной ненависти и ведет к беспощадному уничтожению офицеров солдатами. Абсурдно говорить о «зловредной пропаганде элементов, чуждых армии», если лучше всего солдат агитирует поведение их командиров. Кто сеет ветер, пожинает бурю.

Глава 10

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Мы оставили Временное правительство в тот момент, когда его председатель князь Львов объявил состав своего кабинета, а способный царский министр Кривошеин с мрачным недоумением объявил его слишком правым, а потому опасным не только для чуждой ему революции, но и для любимого отечества.

В самом деле, этот кабинет был явным анахронизмом. Еще 13 августа 1915 г. в газете лидера прогрессивных промышленников Рябушинского был опубликован состав предполагаемого «правительства обороны» со знакомыми фигурами будущего Временного правительства: Милоуковым, Гучковым, Шингаревым, Некрасовым, Коноваловым, В.Н. Львовым, Ефремовым и будущим русским послом в Париже В.М. Маклаковым. В этот кабинет должны были войти царские бюрократы, приемлемые для общественного мнения: Кривошеин как министр земледелия, генерал Поливанов как военный министр и граф Игнатиев как министр народного просвещения. Поскольку такое правительство нуждалось в председателе, который бы связывал «лидеров общественности» с официальными властями, вместо

князя Львова его должен был возглавить Родзянко. Как мы видим, изменения оказались незначительными. Три бюрократа освободили место для «заложника революционной демократии» Керенского. Маклаков уступил Керенскому пост министра юстиции; Шингарев сменил пост министра финансов на пост министра земледелия, передав портфель министра финансов Терещенко, который внезапно стал видной личностью. Министром народного просвещения был назначен кадет, профессор Мануйлов, а Гучков предпочел портфель военного и морского министра посту министра внутренних дел. Этот последний забрал князь Львов, одновременно ставший премьер-министром. В Родзянко, который должен был связывать правительство с двором и официальными кругами, больше не было необходимости. Вот и все.

В этом перечне обращают на себя внимание три фамилии: Милоуков, Керенский и Львов.

П.Н. Милоуков был истинным вдохновителем «прогрессивного блока» Государственной думы и создателем стратегии кадетской партии.

Человек многосторонне образованный, видный ученый в своей области, одаренный гибким умом, уравновешенный и спокойный, скорее аналитик, чем апостол идеи, Милоуков тем не менее любил политику, стремился к власти и обладал дисциплиной закаленного профессионального борца. Кроме того, у Милоукова было качество, особенно необходимое политическому вождю: он не приходил в отчаяние от неудач, относился к ним философски, как настоящий спортсмен, делал из них выводы, верил в возможность реванша и готовился к нему. Он имел много качеств, необходимых видному политическому деятелю, за исключением одного-двух. Его главным недостатком было полное неумение чувствовать психологию масс. Милоуков был кабинетным ученым, то есть доктринером. Эта сторона его натуры умерялась долгим опытом парламентской борьбы, привычкой легко ориентироваться в перипетиях парламентских комбинаций, искусством закулисных манипуляций меняющимися настроениями и тенденциями думского полукруга, этого странного мирка, который в России, как нигде, был изолирован и защищен от влияния улицы. Он никогда не говорил язы-

ком рабочей, крестьянской и солдатской толпы. Для Милюкова народ был огромной и чуждой силой, «безликим субъектом деятельности» настоящих лидеров, которыми он считал министров и законодателей. Типичный парламентарий, он был прекрасным посредником между соперничавшими партиями, автором компромиссов, гибких формул, которые снимали противоречия, сглаживал острые углы, шел на словесные уступки, не мешавшие ему проводить в жизнь собственную программу. Он был очень осторожен, прекрасно умел выбирать время для того или иного действия, терпеливо ждал благоприятной ситуации, экономил силы и не тратил их на то, чтобы плыть против течения. Будучи в глубине души доктринером, он сделал догмой искусство лавирования, фланговые атаки и следование линии наименьшего сопротивления. Как политик, он был рожден для спокойных, нормальных времен, когда жизнь следует по протоптаным тропам, а не по целине, когда не полыхают народные страсти, когда ситуация не меняется на каждом шагу и когда мощные подземные толчки не разрушают самые величественные здания как карточные домики.

Керенский, главный оппонент Милюкова во Временном правительстве, был человеком совершенно другого типа — от природы энергичным, импульсивным, впечатлительным, спокойным и ищущим. Оба были честолюбивы, как и положено политикам. Но в отличие от холодного и расчетливого Милюкова, заранее знавшего, чего он хочет, и заранее выбравшего путь к цели, Керенский обладал воображением, а его воображение было капризным. Милюков жил разумом, а Керенский — интуицией, наполняя свои паруса ветром собственной беспокойной фантазии и плывя куда придется. Его речи были экстравагантными, патетическими и напыщенными, иногда припадочными. Политический пульс Милюкова был замедленным, пульс Керенского — лихорадочным. Последний был неврастеником и временами впадал в настоящую истерику. Вожди толпы должны быть плотью от ее плоти, заражаться ее духом и заражать других непреодолимой силой своей страсти. Такие вожди часто рождены для сцены и сознательно или бессознательно ищут путь к сердцам публики в театральных словах и жестах. В Керенском действительно

было много актерского: он выражал свою скрытую духовную сущность в артистической форме.

В Милюкове все было устойчиво, упорядочено, систематизировано. В Керенском все было нелогично, противоречиво, изменчиво, часто капризно, надуманно или фальшиво. На большинство людей, с которыми ему приходилось иметь дело, Милюков смотрел сверху вниз, но эта повышенная самооценка была такой глубокой, что никогда не проявлялась на поверхности, никогда не оскорбляла чей-то глаз или слух. Керенского мучила жажда самоутверждения, а потому он всегда либо выигрывал, либо проигрывал борьбу с собой. Для победы ему требовалось беспрекословное повиновение окружающих и острая, резкая демонстрация своего превосходства тому, кто смел соперничать с ним, сомневаться в нем или оставаться равнодушным. Милюков умел видеть себя со стороны, но для Керенского существовало только свое «я». Милюкова вдохновляли сложные пересечения собственной политической траектории с траекториями других политических светил, которые противостояли ему или следовали за ним. Керенскому требовались покорные «попутчики», суеящиеся вокруг, которых он мог бы использовать как угодно и срывать на них зло в моменты плохого настроения. Ему было трудно выносить присутствие значительных и независимых людей, он чувствовал себя непринужденно только с ничтожествами. Но зато он обладал поразительной силой внушения, неистощимой энергией и окрыленностью. В свои звездные моменты он мог передать толпе собственное «духовное электричество», мог заставить ее смеяться и плакать, становиться на колени и воспарять к небесам, проклинать и жалеть, любить и ненавидеть до самозабвения, потому что в эти минуты он тоже забывал себя. Милюков был бесконечно умнее Керенского, но неизмеримо уступал ему в импульсивности. В моральном и психологическом плане они были антиподами. Милюков как политик фехтовал с Керенским играючи, снисходительно, словно мастер с пылким новичком, но всегда был настороже, чувствуя, что этот необученный мальчик способен отбросить в сторону неуклюжую рапиру и выхватить из кармана гранату. Иногда Керенский пытался обращаться с Милюковым свысока как с либеральным фразером, но в глубине души

признавал за ним непонятную силу, которая вызывала уважение и заставляла «трубить отбой».

Милюков, отточивший свои дипломатические таланты в коридорах Думы и партийных конфликтах, считал, что пора перенести их из микрокосма парламентской политики в макрокосм политики международной. Он считал, что достойным завершением его долгой политической карьеры должно стать кресло министра иностранных дел, создателя внешней политики новой России. Он настойчиво работал, готовясь к этой роли. Керенский же чувствовал, что ему суждено стать «солистом» революции, «некоронованным королем», властителем дум и сердец россиян, жаждавших обновления, человеком, которого без всяких усилий с его стороны волна вынесет наверх, и народ скажет: «Веди нас! Указывай нам путь!» Что же касается его конкретной роли в строительстве новой жизни, то Керенский, будучи по натуре дилетантом, предоставлял это вдохновению и откладывал до последней минуты.

Третьим видным членом Временного правительства был князь Георгий Львов. Он идет третьим по списку, но должен быть первым, как глава правительства. Его кандидатуру поддерживал Милюков в пику другому кандидату, Родзянко, так как считал, что при Львове ему будет легче стать реальным лидером. В отличие от не слишком умного, упрямого и взбалмошного Родзянко, Львов был мягок, тактичен и вежлив. Он был умен, но не тщеславен. У него за плечами была долгая общественная жизнь. Он заслужил уважение своей неизменной верностью работе и народу. Не в пример Милюкову, он был менее погружен в партийные свары; в действительности Львов был бы идеальным главой умеренно прогрессивного кабинета в нормальные буржуазные времена при умном лидере типа Милюкова. В глубине души князь Львов был просвещенным консерватором. Они с Милюковым могли бы быть правым и левым профилем одного политического лица. Но Львову пришлось руководить правительством, когда жизнь в стране встала на дыбы. Он постоянно ощущал сильное психологическое давление Керенского, считая его кем-то вроде оракула, губы которого произносили неизвестное и крайне чуждое Львову слово «революция».

Князь Львов непостижимым образом сочетал новые веяния революции со славянофильством умеренного русского либерала, национализмом и великорусским messiанизмом. В его речи от 27 апреля 1917 г. говорится: «Гордая и спокойная поступь, которой движется вперед Великая русская революция, — это настоящее чудо... Свобода русской революции всемирна и универсальна. Душа русского народа демократична по своей природе. Она готова не только объединиться с мировой демократией, но и повести эту последнюю к великим идеалам свободы, равенства и братства». Этот туманный идеализм первого революционного премьера осложнял его отношения с Милюковым; строго реалистичный и педантично позитивистский ум последнего, прозаичность которого ничуть не уступала прозаичности экономического материализма социалистического лагеря, должен был быть шокирован такой смесью националистического messiанизма с революционным интернационализмом. Князь Львов, в глубине души более консервативный, чем Милюков, был теперь левее его. Вскоре после раскола Временного правительства на два лагеря Львов с Керенским и примкнувшими к ним двумя новыми министрами, Терещенко и Некрасовым, оказались в группе, которая сняла Милюкова с поста министра иностранных дел несмотря на то, что Львов был обязан своим премьерством Милюкову больше, чем кому бы то ни было. Позже Милюков признавался, что допустил ошибку, предпочтя Львова Родзянко.

Крупный землевладелец и офицер-кавалергард, предводитель дворянства и придворный, паж, а затем камергер, тучный, с зычным голосом, Родзянко, как все крупные и громогласные люди, был колоритной фигурой — самоуверенной, властной и внушительной. Он обладал большим упрямством и патриархальной узостью взглядов. Вите в шутку говорил, что главным достоинством Родзянко как государственного деятеля был его великолепный бас. То, что правительство предпочло обойтись без него, позволило Родзянко утверждать, что он был *выше* этого правительства. После того как великий князь Михаил в своем манифесте (точнее, в подготовленном для него манифесте) указал, что власть в стране переходит к Временному правительству, составленному на основе Временного комитета Государ-

ственной думы, Родзянко поверил, что действительно является «основателем» этого правительства. Он считал, что роль Временного комитета не исчерпана созданием Временного правительства с согласия Совета рабочих и солдатских депутатов. Это правительство являлось всего лишь кабинетом министров, который можно было отправить в отставку; тогда власть перешла бы к его первоисточнику — Временному комитету и председателю последнего Родзянко. Согласно этой идее, члены Временного комитета действительно были кем-то вроде «верховных правителей». К несчастью для Родзянко, князь Львов, Керенский и другие тут же повернулись спиной к органу, создавшему их правительство; точнее, отставили его в сторону, как лестницу, которая когда-то была нужна, а теперь торчит на дороге. Увы, страна тоже повернулась к нему спиной. Тогда Родзянко начал лелеять мысль созвать Государственную думу, которая должна была служить временным парламентом новой России. Но Временное правительство созывать Думу не собиралось, а Дума, подчинившаяся решению царя о роспуске, не могла собраться против воли правительства. Затем Родзянко пришла в голову мысль созвать членов всех четырех Государственных дум, совершенно абсурдная с точки зрения законодательства, так как каждая новая Дума лишала власти предыдущую. Милюков олицетворял собой ум цензовой демократии, Родзянко — ее предрассудки, а Львов — ее безобидные мечты.

Первое Временное правительство просуществовало всего два месяца и не сумело оправдать ни одной из возлагавшихся на него надежд.

Конечно, у него имелось множество смягчающих обстоятельств. Стоявшие перед правительством проблемы были исключительно сложны. Условия военного времени усложняли их еще больше. Некоторые из них мешали понять предшествующие концепции русского цензового общества, узкие и классово ограниченные. Но даже в тех вопросах, в которых лидеры «прогрессивного блока» были компетентны, правительство проявляло таинственную способность к бесконечным проволочкам.

Прежде всего это была проблема местного самоуправления. Земства всегда были оплотом русского либерализма, его

начальной школой, основанием российского демократического порядка. Там никто не мог сослаться на недостаток подготовки. Кроме того, после первой Государственной думы партия кадетов приняла на вооружение метод, над которым многие в то время смеялись, но плоды которого оказались теперь как нельзя более кстати; она готовила многочисленные проекты законов, включая и закон о местном самоуправлении. Прогрессивные круги образованного общества разработали ряд тщательно продуманных проектов об уездной власти. Временное правительство могло позаимствовать готовый проект из того или иного источника и создать органы местной власти, без которых было обречено на беспомощность, постоянно принимая решения, но не имея средств к их выполнению. Революция создала в провинции междуцарствие. Старый бюрократический аппарат был либо уничтожен, либо парализован всеобщим бойкотом. Анархии можно было избежать одним из двух способов: либо способом Французской революции, которая тут же заменила монархическую централизацию еще более энергичной и беспощадной революционной централизацией, покрыв страну сетью революционных комиссариатов, облеченных диктаторской властью, либо создав новую структуру демократической власти, которая могла бы начаться снизу, путем создания готовых форм нового органичного и гармоничного порядка, основанных на выборах и широкой местной автономии. Увы, не было сделано ни того ни другого.

Для первого способа у цензового правительства не хватало решимости и уверенности в себе. Поскольку оно с самого начала считалось временным коллективным диктатором, у него не было силы воли и дерзости, которыми обладает настоящий диктатор. Еще менее оно было способно наделить диктаторской властью комиссаров, посланных в провинцию. Министр внутренних дел князь Львов приказал сместить всех губернаторов и предводителей дворянства, заменив их председателями губернских и уездных земств. Но любимцами старых земств почти всегда были сельские помещики, члены класса, меньше всего способного найти свое место в новой ситуации. Они представляли собой разнообразную смесь всех дореволюционных

земских тенденций, включая типичных «твердолобых». Выбранные для экономической и административной деятельности, даже лучшие из них редко были способны руководить местным населением в изменившихся условиях, поскольку сами плохо ориентировались в революционной законодательной системе. Во многих уездах председатели земских управ так боялись народа, что не относились к своему назначению всерьез. Другие, ошеломленные внезапно свалившейся на них властью, ездили в Петроград, ожидая получить от министерства внутренних дел всеобъемлющие инструкции. Им отвечали, что это «старая психология», что все вопросы «должны решать не центральное правительство, а народ» и что «комиссары Временного правительства посланы в губернии не для командования местными органами, а лишь для того, чтобы связать их с центральным правительством и облегчить процесс их организации». Таким образом, страна была покрыта не сетью агентов, иерархически подчинявшихся центральному правительству, а всего лишь сетью советников, инструкторов и информаторов.

Что же касается создания новых местных властей снизу, то Временное правительство с типичной для него доверчивостью пустило этот процесс на самотек. В некоторых случаях земства, городские думы и администрацию быстро дополняли представителями широких демократических слоев: иногда «советами», иногда делегатами, избранными от профсоюзов, кооперативов, разных групп населения в самых неожиданных и произвольных пропорциях. В других местах старые земства, думы и администрация всего лишь наделялись правом наряду с другими центрами общественной активности выдвигать представителей в специальные «комитеты народной власти». В третьих все старые органы власти объявлялись «аннулированными». В результате картина складывалась чрезвычайно пестрая и беспорядочная. Сказывалось полное отсутствие разумных и логичных законодательных принципов. В некоторых местах одновременно существовали два органа, созданные разными способами; они спорили между собой за власть и даже арестовывали друг друга. Такие условия обычно способствуют личной диктатуре, осуществляемой каким-нибудь честолюбивым авантюристом. Повсюду расплодился « комите-

ты народной власти», «общественные комитеты», «исполнительные комитеты» и другие органы с не менее пышными названиями, непонятно как организованные, с разным кругом полномочий, никому не подчинявшиеся и обладавшие неограниченной властью. Их взаимоотношения определялись только настойчивостью одних и уступчивостью других. Хаотическое множество органов власти превращалось в свою диалектическую противоположность — отсутствие какой бы то ни было власти вообще. На недоуменные вопросы князь Львов отвечал с помощью очень удобного и успокоительного довода: никакой программы создания местных органов власти не требуется, жизнь все разложит по полочкам, зародыши местной власти уже существуют и готовят народ к будущим реформам, нынешняя ситуация временна, недостатки «самозародившихся» органов несущественны и в конце концов будут преодолены. Тем временем разные столичные комиссии не торопясь подготовят идеальные законы для местного самоуправления. Однако Временное правительство забыло, что природа не терпит пустоты. Жизнь не могла ждать, пока созреют нужные законы; чем дольше существовали самозванные органы исполнительной и даже законодательной власти, тем труднее было их уничтожить и заменить настоящими.

Если бы Временное правительство немедленно опубликовало хотя бы некоторые из законов, подготовленных прогрессивными фракциями Государственной думы и направленных на реформирование всей системы самоуправления в целом и уездных земских управ в частности, то, какими бы эти законы ни были несовершенными (их было легко исправить позже), эта новая система могла бы стать спасением по сравнению с «междоусурствием», которое продолжалось во время функционирования цензового правительства. Неуверенность последнего привела народу пагубную привычку к тому, что после революции общественными делами занимались самые антидемократические организации сомнительного происхождения, правившие по непостоянным и произвольным правилам. Легкость, с которой большевики в конце 1917 г. уничтожили демократические земства и думы, не успевшие пустить корни, частично объясняется задержкой создания последних и долгим периодом, в тече-

ние которого организации типа Советов и революционных комитетов безо всяких помех выполняли функции власти; этот феномен революции встречался на каждом шагу.

В чем заключалась причина этой медлительности Временного правительства, оставившего себя без аппарата, который мог бы стать проводником и исполнителем идей центральной власти на местах? Только не в партийном эгоизме. Во многих отдаленных губерниях, особенно на первых порах, идеи революции не находили адекватного выражения. Лидеры земства и городской думы часто представляли практически весь образованный слой общества. Немедленное введение реального самоуправления в тесном контакте с электоратом обеспечило бы им неоспоримое преимущество на выборах и повысило бы их политический авторитет. Однако у цензового правительства, сбитого с толку событиями в столице, не было времени обдумать ситуацию, складывавшуюся в провинции. Народный энтузиазм, вызванный падением старого режима, был так велик, что его наследники буквально захлебывались от потока приветственных телеграмм, выражавших сочувствие, поддержку и безграничную надежду. Возможно, в тот момент у правительства не было особого вкуса к власти. Но под теплым душем народных оваций оно быстро забыло свои прежние сомнения, стоит ли брать бразды правления. В конце концов, революционная толпа оказалась не так уж страшна. Она была очень доверчива, наивна и не скупилась на аплодисменты. Правда, ее вожди были совсем не так доверчивы, но нежелание брать на себя ответственность делало их сообщниками. Казалось, всеобщее ликование укрепляло позиции правительства. Если так, то почему бы не продлить это временное состояние еще немного?

В пассивно-идиллическом состоянии пребывал не только добродушный Львов. Эмоциональность первых речей неутомимого Керенского, отдававшего вкуса власти, объяснялась контрастом между старым правительством, опоясанным концентрическими кругами солдат, полицейских, жандармов и тайных агентов, и новым правительством, которое с помощью слов добило больше, чем старое со всем своим репрессивным аппаратом. Медовый месяц нового правительства был периодом странного «правительственного толстовства».

Отдавая дань прошлому, Временное правительство еще до своего внутреннего кризиса и реорганизации в обращении к стране заявило, что «основой власти правительства являются не сила и принуждение, а добровольное подчинение свободных граждан правительству, которое они сами создали. Оно ищет поддержки не физической, а моральной. Ни одна капля народной крови не пролилась по его вине, не было создано никаких насильственных мер по ограничению любого течения общественной мысли». Это было верно, потому что медовый месяц революции, время всеобщего ликования и празднования, еще не кончился. Но без «мер по ограничению» не может существовать ни одно правительство, тем более революционное. Эта теория была самой вредной из утопий, скрывшей от общественного мнения важнейшую из проблем — проблему власти во время революции. Как могли политики цензовой России, гордившиеся своим «политическим реализмом», подписать такой документ?

Наконец, у правительства было множество неотложных и совершенно понятных дел, которые сопровождались новыми взрывами народного ликования. Например, отмена смертной казни, которая в другое время вызвала бы отчаянное сопротивление правого крыла общества, была встречена со всеобщим энтузиазмом. Левые приветствовали это решение из чисто гуманных соображений, как проявление великодушия победившей революции. Остаткам воинствующих правых эта отмена позволяла выступать в защиту прежней власти. Временное правительство отменило религиозные и национальные ограничения, ущемлявшие гражданские права десятков миллионов человек. Политическая амнистия открыла двери бесчисленным обычным и каторжным тюрьмам и вернула родным и друзьям сотни тысяч человек, в административном порядке высланных на ледяной север, в выжженные солнцем пустыни Средней Азии и в безбрежную сибирскую тундру. Правительство запретило самые варварские меры, использовавшиеся по отношению к населению вражеских территорий, оккупированных русскими войсками (институт заложников и т. п.).

Слабость первого Временного правительства заключается в его полной неспособности понять собственную роль в борьбе

общественных интересов. Цензовое Временное правительство очень удивилось, узнав, что в рабочих районах его считают «буржуазным». Милюков, наиболее опытный из его политических вождей, даже в 1921 г. заявлял: «Самое изощренное воображение не могло бы представить себе, что Временное правительство будут считать органом, защищающим интересы «буржуазии» и препятствующим демократическим реформам»¹. Его представления о классовой позиции буржуазии были слишком упрощенными. Когда большевики несли на своей демонстрации плакаты со столь же упрощенным лозунгом «Долой десять министров-капиталистов», члены Временного правительства обменивались недоуменными взглядами: среди них были профессор, писатель, земский врач, адвокат, инженер, фермер и только один капиталист, Терещенко, включенный в правительство специально, чтобы оттенить его «небуржуазный» характер, как единственное исключение, которое подтверждает правило. Какие же они капиталисты, какие «буржуазные» политики? Совсем наоборот. Они просто «мозг народа». Цели и обязанности их правительства, настаивал Милюков, «были надпартийными и общими для всех партий».

Но что делает партию буржуазной, если не стремление сохранить существующий откровенно буржуазный режим и отрицание всех мер по его радикальному изменению? «Действовать по-другому было нельзя, — доказывает Милюков, — потому что все текущие меры были чисто формальными и подготовительными. Они просто готовили условия для свободного выражения воли людей на Учредительном собрании, без предварительного определения того, как последнее должно реагировать на текущие проблемы строительства государства, политические, национальные и экономические вопросы». Этот довод типичен для Милюкова. Его аргументы были бы приемлемы, если бы созыва Учредительного собрания можно было ожидать через два-три месяца. Но даже в то время он чувствовал, что выборы в государстве, находящемся в состоянии войны, удастся провести не раньше поздней осени. Милюков считал, что в стране, которая уже почти век жила в условиях нарастающего общественного брожения, резкие шаги

недопустимы, а потому следует руководствоваться чисто формальными демократическими принципами, не демократией в действии, а только обещанием демократии, избавленным от всякого социального содержания.

Но жителям рабочих районов требовалось срочно решить два насущных вопроса; отказ сделать это означал для них продолжение существования в нечеловеческих условиях. Во-первых, рабочий день пролетариев обязан был составлять стандартные восемь часов, после которых рабочий получал признанное право на повышенную компенсацию. Во-вторых, реальная заработная плата не должна была ежедневно, автоматически и беспощадно сокращаться за счет инфляции.

Пока петроградский пролетариат добивался восьмичасового рабочего дня путем прямых переговоров ассоциации работодателей с Советом, первое Временное правительство предпочитало пассивно наблюдать за этим со стороны. Его отказ «решать вещи заранее» заставил Совет защищать законные и элементарные интересы рабочих. Вынужденное увеличить темпы инфляции, это правительство не ударило палец о палец, чтобы снизить влияние последней на заработную плату. И после этого оно хотело, чтобы рабочая демократия ему доверяла!

Правительство пыталось применить ту же тактику «не принимать предварительных решений» и в аграрном вопросе. Новый министр земледелия, умеренный кадет Шингарев дебютировал речью, в которой назвал «абсолютно ни на чем не основанными» ходившие в народе «слухи о скорой полномасштабной земельной реформе, включающей конфискацию частных земель». Чтобы эти слухи не привели к «уменьшению посевных площадей», он «гарантировал производителям государственную закупку их нового урожая»². 9 марта после сообщения о беспорядках в селах Казанской губернии правительство решило принять репрессивные меры и привлечь их участников к ответственности. Его «толстовство» сразу затрещало по всем швам.

В то время даже совет Московского сельскохозяйственно-го общества понимал, что откладывать аграрную реформу невозможно. Полвека назад новость о том, что правительство

собирается рассмотреть вопрос об отмене крепостного права, тут же заставила крестьян прекратить беспорядки. Чтобы успокоить деревню, Временное правительство было вынуждено сообщить, что «оно немедленно примет решение по земельному вопросу в пользу трудящегося крестьянства, так как эта экономическая форма лучше всего соответствует экономическим условиям страны». Однако оно так и не смогло прийти к согласию. 17 марта правительство обратилось к народу с воззванием воздержаться от захвата земли, указало на чрезвычайную сложность вопроса, требующую долгой подготовки к его решению, и пообещало закончить работу до созыва Учредительного собрания. Но оно не желало «заранее решать», каким именно будет содержание закона о земле.

28 марта было создано специальное совещание, посвященное проблеме создания согласительных комиссий, которые разбирали бы спорные ситуации при решении земельного вопроса.

Великий русский статистик, экономист и публицист Пешехонов, принадлежавший к крайне правому крылу социалистического лагеря, в то время писал:

«Никаких комиссий не нужно. Нам нужно быстро и энергично принять решение и выполнить его. Расширение и замену старых норм и связей нельзя откладывать до Учредительного собрания, а тем более до создания новых законодательных органов. Учредительное собрание и новые законодательные органы должны будут просто придать форму и дать санкцию на то, что будет завершено уже в ходе революционной перестройки: откладывать это далее невозможно. Весь вопрос в том, как пройдет данный процесс: анархически или организованно».

Пешехонов напомнил об общем требовании прогрессивных партий, выдвинутом еще в 1905 г., — создать сеть демократически выбранных земельных комитетов для подготовки реформ — и перечислил несколько жизненно важных проблем, требующих немедленного решения. Среди них были вопросы о посевных площадях, использовании пастбищ, регулировании арендной платы за землю и о лесозаготовках. «Если эти вопросы не решить немедленно, результатом будет анархия и совсем не тот порядок, к которому стремились все

демократические партии. Но его все равно придется принять. Учредительное собрание не сможет пересилить революцию»³. Он указал, что Временное правительство до сих пор было бессильно в борьбе с анархией. Неужели ему придется посылать против крестьян карательные отряды?

Непрямым откликом на это стал приказ, переданный 8 апреля по телеграфу князем Львовым губернским комиссарам об их персональной ответственности за подавление крестьянских волнений всеми законными способами, включая использование воинских частей. «Толстовство» правительства и обещание воздерживаться от «применения силы и принуждения» бесследно испарилось, как только дело коснулось земельных привилегий помещного дворянства.

Но решительный призыв Пешехонова, известного постепенщика, еще двенадцать лет назад вышедшего из партии социалистов-революционеров и после этого часто критиковавшего эсеров за социальный радикализм, все же был услышан. 21 апреля, примерно через месяц после статьи Пешехонова, был принят и опубликован подготовленный с его помощью важный закон о создании Главного и местных земельных комитетов. У этих органов были две функции: подготовка земельной реформы для Учредительного собрания и разработка неотложных мер, которые следовало принять до решения земельного вопроса в целом.

Главный земельный комитет состоял из двадцати пяти членов, назначенных Временным правительством; к ним добавлялись выбранные представители губернских земельных комитетов и всех общественных органов от Совета до Временного комитета Думы, представители научных и экономических обществ, кооперативных организаций, а также представители всех политических партий от большевиков до «независимых правых» или монархистов. Временное правительство воспользовалось своим правом назначения и направило в Главный земельный комитет 22 кадетов, 2 эсеров и 1 трудовика.

Губернские земельные комитеты были созданы далеко не по демократическому принципу: к членам уездных земельных комитетов и представителям, избранным от земств и городских дум, добавились главным образом местные судьи и чинов-

ники. Уездные земельные комитеты были организованы по тому же принципу. Крестьяне в эти органы не входили. Сельские земельные комитеты, избранные непосредственно крестьянами, были редкостью и находились в подчинении уездных комитетов.

Видимо, Временное правительство предполагало, что комитеты будут первичными органами сбора местной сельскохозяйственной статистики, которая должна была стать основой планов и предложений, относящихся к будущему землеустройству. Главным делом, возложенным на них из-за отсрочки созыва Учредительного собрания и возникновения множества спорных вопросов, было «издание обязательных для исполнения декретов по вопросам сельского хозяйства и земельных отношений», однако полномочия этих комитетов были ограничены сакраментальной формулой: «в соответствии с действующим законодательством и декретами Временного правительства». Поскольку никаких декретов правительство издавать не собиралось из-за боязни повлиять на общественное мнение перед началом Учредительного собрания, это означало, что земельные комитеты прикованы к существующему законодательству (то есть царскому земельному кодексу), как рабы к галерам.

Однако Временное правительство было очень довольно плодом собственного ума. В специально выпущенной листовке оно разъясняло, что теперь сельское население может спокойно дожидаться Учредительного собрания.

В этом решении законсервировать существующие земельные отношения до созыва Учредительного собрания нет ничего удивительного. Правительство заявляло: «Пусть наши доблестные воины, защитники родной земли, будут спокойны. Пусть они знают, что в их отсутствие и без их участия никто не станет решать земельный вопрос». Но «человек с ружьем» мечтал совсем о другом. Пресса, включая официальную «Народную газету Временного правительства», не однажды приводила факты вроде заявления, сделанного на Крестьянском съезде представителем Одиннадцатой армии: «Если правительство немедленно опубликует декрет о безвозмездной передаче всей земли крестьянам, наступление будет успешным и энтузиазм армии возрастет на 50%»⁴.

На различных крестьянских съездах то же мнение выражалось куда более резко. Например, на втором губернском съезде в Самаре в конце мая сложилась странная картина. Красноречивое выступление народного социалиста Игоева, пытавшегося объяснить отказ правительства решать земельный вопрос до Учредительного собрания, вызвало результат обратный ожидаемому. Лица крестьян стали суровыми, brows нахмурились, в зале начался ропот, посылались восклицания: «Как, снова ждать? Эй вы, тупицы, сколько вы будете морочить нам голову?» Общее чувство выразил солдат Лукьянов: «Мы, крестьяне из солдат, достаточно натерпелись в Лодзи и на Стоходе. Вы понимаете наше нетерпение получить землю. Рабочие получили свой восьмичасовой день сразу, и крестьяне тоже ждать не намерены». «Провожая наших мужиков, уходивших на войну, — сказал крестьянин Егоров, — мы говорили им: во-первых, защитите нашу землю; во-вторых, завоюйте ее для крестьян. Они сделали это, вся революция была сделана для этого. Солдаты, четырежды обманутые обещанием земли, начинают бояться, что так ее и не дождутся». Представитель Союза военных депутатов заявил: «Мы не бросим оружие даже после войны, не бросим до тех пор, пока на знамени страны не появится лозунг «Земля и воля». Во время Учредительного собрания мы будем держать винтовки на изготовку, но помните, что следующей командой будет «пли»⁵.

Солдат не волновался бы, если бы земельный вопрос решился в его отсутствие в пользу крестьянства. Он прекрасно понимал, что при разделе земли государственные органы не забыли бы о нем, если бы были народными по своему характеру. Но отсрочка решения земельного вопроса сверху создавала опасность попыток его решения снизу путем стихийного захвата помещичьих земель и собственности. Тогда восторжествовал бы принцип «кто смел, тот и съел». Результатом стало бы бегство солдат с фронта, чтобы не опоздать на «черный передел». Такой исход могло бы предупредить только успокоение крестьян в деревне и на фронте с помощью правительственных мер, доказывающих, что на этот раз передача земель крестьянам будет проведена со всей серьезностью. Слишком

долгая задержка сбивала людей с толку и пробуждала старое недоверие. «Рабочие получили восьмичасовой рабочий день безо всякого Учредительного собрания, потому что знали, как нажать на хозяев; давайте-ка мы сами нажмем на помещиков». И нажим начался, причем серьезный. Ему способствовала бездеятельность правительства.

Кроме того, существовал третий жизненно важный вопрос: национальный.

Что касается поляков, то правительство понимало значение этой проблемы. Оно издало специальный манифест о создании полностью независимой этнографической Польши, в состав которой войдут три части: русская, австрийская и немецкая. Однако оно втискивало эту прекрасную идею в сомнительные рамки панславизма. Польша должна была заключить союз с Россией и присоединиться к общему «плану борьбы против воинствующего германизма». «Вступление в добровольный военный союз с Россией позволит Польскому государству стать прочным щитом против давления, которое Германия и Австро-Венгрия оказывают на славян». Политическую структуру Польши должно было определить «Учредительное собрание, созванное в польской столице». Одновременно русское Учредительное собрание должно было определить западные границы России, необходимые для создания независимого Польского государства.

Это казалось большим достижением на пути к русскому либерализму. Ранее только одна партия, партия эсеров, отказалась от принципа *объединенного* всероссийского Учредительного собрания и говорила об «Учредительных собраниях» во множественном числе. Из этого принципа вытекало требование проведения Учредительного съезда финского сейма, а также установления новых отношений путем добровольного соглашения российского и финского Учредительных собраний.

Однако Временное правительство по этому пути не пошло. Оно долго и упрямо торговалось с финнами, отменило все царские указы, принятые в нарушение финской конституции, пообещало «развить конституцию Финляндии и утвердить на сейме расширение ее бюджетных прав, включая право вводить собственные таможенные пошлины». Еще более непри-

миримую позицию оно занимало по отношению к литовцам, требовавшим административной автономии, и украинцам, которые настаивали главным образом на украинизации школ, судов и административного деопроизводства, а также на назначении специального комиссара по украинским делам во Временном правительстве.

Милюков, по инициативе которого Польша пообещала полную независимость, объяснял, что требования поляков и финнов более неопровержимы, чем требования других национальностей; кроме того, их военное положение было совершенно разным. В случае сухопутных операций Германии Финляндия обеспечивала прямой выход на Петроград. Польша же была полностью оккупирована немецкими войсками; манифест Временного правительства укрепил надежды поляков и усилил их сопротивление немецким и австрийским попыткам создать польскую армию в полмиллиона штыков и привязать Польшу к новому союзу Германии и Австро-Венгрии. Распространение аналогичных прав на другие национальности России, не диктуемое столь же неотложными причинами, предопределило бы будущее устройство страны, а потому должно было быть отложено до Учредительного собрания⁶.

Милюков упорно стоял на своем. Его позиция была пустой, беспринципной, оппортунистической и потенциально опасной. Она подрывала веру в искренность его признания независимости Польши и показывала, что согласие на эту независимость является результатом военного и политического соперничества с Германией и Австро-Венгрией. Она не содержала никаких новых принципов, с помощью которых революция могла решить национальную проблему в целом, принципов, которые могли означать только *федерализм*, превращение России в Соединенные Штаты Восточной Европы, Сибири и Туркестана. Вместо того чтобы дать надежду угнетенным народам России, вместо того чтобы медленно, но верно начать «освобождать центральное правительство от тяжести внутренних дел» во всех национальных и культурных областях, Временное правительство снова спряталось за спину Учредительного собрания, руководствуясь все тем же принципом «ничего не определять заранее». Оно забыло, что останавливаться на полпути в то вре-

мя, когда у малых народов происходит резкий рост национального самосознания, означает подталкивать их к *сепаратизму*. Похоже, угроза присоединения к врагу становилась лучшим оружием в борьбе за национальные права.

Таким образом, в рабочем, крестьянском и национальном вопросах цензовое правительство продемонстрировало свою полную беспомощность. Оно не только не решило ни одного из них, но еще сильнее затянуло gordiev узел, завязанный старым режимом. И финальным аккордом стала его неспособность решить совершенно другую, но не менее насущную проблему: проблему войны, мира и внешней политики в целом.

Глава 11

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЕГО ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

В своих «Днях» Шульгин рассказывает, как во время уличных беспорядков февраля 1917 г. Керенский влетел в комнату Временного комитета Государственной думы, поставил на стол портфель, воскликнул: «Спрячьте их! Это тайные договоры с нашими союзниками!» — и убежал. В общей суматохе места, где можно было бы спрятать секретные документы государственной важности, не нашлось; портфель сунули под стол, накрытый длинной скатертью.

Картина складывается весьма символичная.

Беспокойное наследство старой царской дипломатии, свалившееся на новую Россию, второпях сунули под стол. Эти тайные договоры были заключены с одними союзниками без ведома других. Одни и те же территориальные приобретения были обещаны разным странам одновременно. Позже в Версале победившие союзники потратили уйму времени на то, чтобы разобраться в этой путанице.

Новая Россия не знала, что делать с таким дипломатическим наследством. Эти договоры отягощали бремя Временного правительства и смущали его демократическую совесть.

Большевики выдвинули кардинально революционное требование: немедленно опубликовать эти документы, чтобы на-

нести моральный удар мировой войне. Кадеты, предводителями Милюковым, придерживались противоположного мнения: наследник, принимая собственность завещателя, также принимает на себя финансовые права и обязанности последнего. Россия заключила множество международных договоров и не должна была от них отказываться. Объединенная советская демократия, во главе которой стоял блок социалистов-революционеров и социал-демократов, не могла следовать ни за Лениным, ни за Милюковым.

Односторонняя публикация секретных документов Антанты до окончания войны или революции в Германии (которая одновременно обнажила бы тайны дипломатии Вильгельма) нанесла бы удар не столько войне в целом, сколько одной из воюющих сторон. Она взорвала бы Антанту изнутри и вольно или невольно сыграла бы на руку Германии Гогенцоллернов.

Однако советская демократия считала абсолютно необходимым вырваться из сети, в которой царская дипломатия запуталась сама и запутала союзников. Новая Россия была морально обязана отложить на послевоенное время разоблачение всей грязи, бесцеремонной алчности, сатурналии хищнических appetitov, выраженной в тайных договорах, но только при условии немедленной отмены последних. Изю всех договоров между союзниками должен был остаться в силе лишь один: обязательство завершить войну всеобщим миром, а не эгоистичным сепаратным выходом из мировой войны. Перед новой российской дипломатией вставала труднейшая задача — разработать конкретную позитивную программу всеобщего демократического мира, мира без победителей и побежденных, мира, который не вызвал бы ни шовинистического триумфа, ни ненасытной жажды реванша.

Для такой внешней политики Милюков не годился. С самого начала войны он все поставил на карту патриотического энтузиазма и умело направлял общественное мнение против стремления к сепаратному миру (которое, к счастью для Милюкова, ассоциировалось с реакционной кликой Распутина). Он относился к союзу с Англией и Францией как к заложу того, что после войны Россия пойдет по их пути развития. Ранее (еще во время Балканской войны) он вдохнул новую жизнь в

захиревшее неославянофильство, которое должно было подорвать империю Габсбургов. Он создал обширную программу территориальных приобретений России, включавшую Константинополь, Босфор и Дарданеллы, объединение Польши (в том числе Познани, Кракова, Львова и Данцига (Гданьска) под эгидой России, превращение Восточной Пруссии в еще одну прибалтийскую губернию, присоединение к Украине Прикарпатской Руси и Буковины, а также завоевание Передней Азии, которая когда-то принадлежала Великой Армении.

Военные неудачи не заставили Милюкова отказаться от завоевательных планов. Как бы союзники ни подталкивали чаши весов в пользу Антанты, победа будет общей, и тогда настанет время предъявить старые договоры. Новые пацифистские идеи не могли сбить его с проторенной тропы. Во всех своих речах Милюков «с жаром подчеркивал пацифистские цели борьбы за освобождение, но всегда тесно связывал их с национальным долгом и интересами России»¹. Прочный мир требовал уничтожения военной мощи Германии и Австро-Венгрии, их насильственного разоружения и «организации Европы» победителями. *Mutatis mutandis* [с соответствующими изменениями (*лат.*). — *Примеч. пер.*] германские империалисты тоже стремились стать «умиротворителями» и «организаторами Европы» в соответствии со своим «национальным долгом и интересами». Идея о том, что социалистические партии разных стран могут во время войны согласиться на некий генеральный план демократического мира, а потом с помощью политического нажима или угрозы революцией преодолеть сопротивление правительств воюющих стран, заставляла Милюкова только пожимать плечами. Он был искренне убежден, что серьезно верить в такие вещи могут только русские. «подавляющее большинство социалистов обеих воюющих сторон поддержало точку зрения своих правительств», и никакие конференции в Циммервальде, Кинтале и даже в Стокгольме не смогли и не смогут это изменить. Еще меньше приходится рассчитывать на уступчивость правительств. Милюков был вынужден продолжать внешнюю политику царизма, хотя делал это неохотно: у него просто не оставалось выбора. Единственной альтернативой был сепаратный мир с

Германией — иными словами, закамуфлированный союз с победившей Германией. Позже, когда его карту, поставленную на Антанту, покрыли большевики, Милюков спокойно уехал в оккупированную Германию искать спасения в дружбе со вчерашним врагом; это сделал тот самый Милюков, который не колеблясь бросал в лицо своим социалистическим оппонентам обвинение в германофильстве, за что тогдашняя толпа была готова побить социалистов камнями.

Милюков обеими ногами стоял на хорошо протоптанной тропе старой *Realpolitik* [реальной политики (*нем.*). — *Примеч. пер.*]. Его отправной точкой был *sacro egoismo nazionale* [священный национальный эгоизм (*ит.*). — *Примеч. пер.*], хотя фасад данного здания украшала хвастливая вывеска, гласившая, что эта война «последняя», что она является войной за «освобождение», войной за то, чтобы «покончить с войнами». Советская демократия искала новые пути во внешней политике. Она пыталась положить конец войне не с помощью воинской удачи, а на основании международного права. Она поставила крест на тайной дипломатии. Она призывала народы бороться со своими правительствами за создание мирового сверхправительства и объединение человечества в рамках всемирной организации, которая положила бы конец отчаянной борьбе разных стран за гегемонию. Она хотела того, что тогда называли безумной утопией; однако именно эта «утопия» позволила сделать успешную карьеру способным политикам вроде Бриана.

Столкновение было неизбежно. Советская демократия опубликовала свое знаменитое «Обращение к народам мира». Она убеждала всех людей сделать честное и героическое усилие и освободиться от военного гипноза, стремиться к миру без победителей и побежденных, без одностороннего диктата и беспомощного подчинения. Она призывала народ Германии, армии которой угрожали революционной России, свергнуть Гогенцоллернов так же, как русский народ сверг Романовых, а затем совместными силами покончить с мировой войной. Однако она объявила о своем твердом намерении защищать военной силой русскую революцию от германского империализма.

Временное правительство сделало большой шаг вперед, опубликовав собственный призыв к гражданам Германии. «Свободная Россия не стремится властвовать над другими народами, отнимать их собственность и силой захватывать чужие территории. Ее целью является прочный мир, основанный на национальном самоопределении. Русский народ не пытается увеличить свою власть за счет других народов, ограбить или поработить их». Но в конце этого призыва снова упоминалось о «почетных обязанностях перед союзниками». О тайных договорах там не говорилось ни слова; в результате искренность данного обращения начинала вызывать сомнения. Такая дипломатия одной рукой ставила печать на содержании скандальных договоров, а другой продолжала переписывать слова первого царского манифеста об объявлении войны: «Бог свидетель, не ради тщетной мирской славы, не для насилия и угнетения мы берем в руки оружие, но только для защиты Российского государства».

Милюков сам признает, что двусмысленность этого призыва не была случайной. Он согласился опубликовать призыв, объясняющий цели войны, «только по просьбе большинства». Он «намеренно выбрал наименее обязывающую форму — «не дипломатическую ноту, а призыв к гражданам». Он подбирал «выражения, которые не отменяли бы его прежнего понимания нашей внешней политики и не требовали бы от него никаких изменений этой политики»². Иными словами, Милюков только согласился *сделать вид*, что выбирает новый путь. Когда Некрасов попытался убедить представителей советской демократии «считать уклончивые слова призыва уступкой правительства», Милюков «оставил за собой право в случае одностороннего понимания этих туманных выражений объяснять их по-своему и толковать в соответствии со своей прежней политикой»³.

Тонкое искусство, ценное при общении с профессиональными дипломатами, редко бывает полезным, когда имеешь дело с демократией трудящихся. Русские революционные эмигранты возвращались на родину через Англию и Скандинавию; вскоре Чернов сделал в Исполнительном комитете доклад о том, что все коммунисты, интервью и т. п. россий-

кого министерства иностранных дел означают только одно: революция несколько не изменила внешнюю политику и военные цели России; договоры, заключенные царской дипломатией, все еще считаются неприкосновенными; никто за границей не слышал призыва, объяснявшего цели войны; видимо, последний был создан только для «внутреннего употребления». Это подтвердили «социалисты — представители союзников», приехавшие в Россию одновременно. Некоторые из них также представляли свои правительства. Позже Милюков обвинял их в том, что «они стремились к Совету сильнее, чем следовало с точки зрения заключенных договоров и их собственных национальных интересов».

Если называть вещи своими именами, то даже Альбер Тома [видный французский социалист. — *Примеч. пер.*] чувствовал, что вопрос о мире сильно усложняется требованием России отдать ей Константинополь и Дарданеллы. Это возбуждало аппетиты других союзных стран; националистические движения требовали соответствующей «компенсации». Тома считал, что отказ России от чрезмерных требований мог бы помочь пересмотреть военные цели других стран, например планы французских шовинистов захватить всю Рейнскую область и раздробить Германию. Как реалистичный политик, он считал, что Германия будет сражаться против таких планов до последнего человека и что, даже если удастся заключить мир на подобных условиях, он будет лишь коротким перерывом перед новой войной.

Обсудив ситуацию, лидеры Совета решили попытаться уговорить Временное правительство официально сообщить союзникам содержание его обращения с указанием целей войны, придав ему форму дипломатического документа. Они выяснили, что Милюков наотрез отказывается обращаться к союзникам с демаршем относительно пересмотра военных целей и составлять мирную программу, которую можно будет довести до всеобщего сведения. Иными словами, он собирался поддерживать тайную дипломатию, выполнять условия секретных договоров и не желал осуществлять открытые дипломатические шаги под контролем общества.

Этот отказ положил начало кризису правительства. Между Милюковым и Керенским началась острая политическая

дуэль. Казалось, последний принял «циммервальдскую» позицию.

«Сейчас хозяином русской земли является российская демократия, — заявил он французам Муте, Кашену, Лафону и англичанам О'Грейди, Сандерсу и Торну. — Мы решили у себя в стране раз и навсегда положить конец всем попыткам империалистических завоеваний... Источником энтузиазма российской демократии являются не частные идеи и даже не идея отечества в том смысле, как ее понимает старая Европа, а идеи, которые позволяют нам думать, что мечта о всеобщем мировом братстве скоро станет реальностью... Мы ожидаем, что вы в своих странах окажете на другие классы такое же решительное давление, какое мы в России оказали на свои буржуазные классы, которые теперь отреклись от империалистических амбиций».

Керенский не преминул указать на то, что в правительстве представляет революционную демократию он один. Это была и правда, и неправда. Он был единственным министром, который также занимал ответственный пост в Совете (заместитель председателя), но официально Керенский не был в правительстве представителем Советов. С другой стороны, он был не совсем один. Даже в вопросе «отечество против гуманизма» у него были два верных союзника — Некрасов и Терещенко. Эти двое представляли собой странный тип «интернационалиста», связанного не с социализмом, а с русским масонством. Славянофильский интернационалист князь Львов и масонские интернационалисты Некрасов и Терещенко, которых поддержал «циммервальдец» Керенский, заставили Милокова капитулировать — по крайней мере формально. Декларация о военных целях была направлена союзникам как официальный документ. Но даже здесь этот изворотливый дипломат сумел найти выход. Милоков добавил к документу предисловие, приравнивавшее декларацию о целях войны к «высоким идеям, которые постоянно выражают многие выдающиеся общественные деятели в союзных странах». Он заявил, что в России существует «народное стремление» довести войну «до победного конца», получить «санкции и гарантии» (аннексий и контрибуций?), которые сделали бы

новые войны невозможными. А в конце документа еще раз пообещал «выполнить обязательства России перед союзниками».

Фразы первоначального обращения, которые сам Милоков назвал «уклончивыми», в свете этого комментария стали более чем двусмысленными.

Постоянное упоминание Милокова о российских обязательствах уже помогло большевикам добиться принятия резолюции на крупнейших предприятиях Петрограда («Треугольнике», фабрике Парвизайнена и др.), требовавшей публикации тайных договоров, чтобы выяснить обязательства России перед союзниками и решить, совместимы ли они с демократическим сознанием революционной страны. Это стало дополнительным козырем в их игре.

Нота Милокова буквально потрясла большинство Совета. Оно расценило это как намеренный удар в спину, провокацию и вызов. В любом случае это был обман. Вместо обещанного обращения к союзникам с отказом от завоевательной политики была сделана попытка расторгнуть предыдущие не слишком вразумительные заверения в море дипломатических банальностей.

Даже дата ноты Милокова выглядела насмешкой. Она была подписана 18 апреля по старому стилю, то есть 1 мая по новому. В этот день в России по традиции отмечали праздник международной солидарности трудящихся. 18 апреля по улицам Петрограда прошли грандиозные демонстрации; российский рабочий класс чувствовал себя сильным, как никогда прежде.

Встревоженный Исполнительный комитет Совета собрался в ночь с 19 на 20 апреля и еще не успел обсудить случившееся, как пришла новость, что Финляндский, Кексгольмский и 180-й пехотный полки, а также экипажи Второго Балтийского флота по собственному почину вышли из казарм и двинулись к Мариинскому дворцу, чтобы арестовать Временное правительство. Во всех рабочих предместьях собираются толпы, готовясь провести демонстрацию в центре города. «Имена! Провокация!» Других слов для характеристики действий правительства у них не было.

Пришлось принимать срочные меры. К солдатам и рабочим послали делегации, которые должны были убедить их воздержаться от насилия, пока Совет не уладит конфликт с правительством. К счастью, в это время Марининский дворец был пуст. Собравшиеся воинские части после успокаивающих речей членов Совета послушно вернулись в казармы.

Вечером 20 апреля Временное правительство встретилось с Исполнительным комитетом Совета. Члены правительства сделали доклады о тяжелом, почти критическом положении страны, словно пытаясь создать впечатление, что ссоры из-за текста декларации — пустяк по сравнению с острой необходимостью предпринять срочные усилия по недопущению неминуемой катастрофы, которая погубит все завоевания революции. С дрожью в голосе Гучков описал трагедию людей его типа; вынужденные выбирать между царизмом и родиной, они нарушили свои клятвы и присоединились к революции, но теперь поняли, что это последнее героическое средство не может спасти страну. Князь Львов сказал, что правительство не цепляется за власть; оно хотело и хочет передать ее вождям Совета, если те думают, что справятся с ситуацией лучше. Представители Совета задумались; в глубине души они чувствовали еще более сильное отвращение к власти и связанной с ней ответственности, чем прежде. Внешне они держались твердо; серьезность общего положения усиливала необходимость в логичной и активной внешней политике. Суханов говорил о том, что каждый день продолжения ненужной войны представляет крайнюю опасность для революционной России. Чернов сурово критиковал всю деятельность министерства иностранных дел. Признав способности своего политического оппонента Милюкова, он сделал вывод, что тот был бы очень полезен на посту министра народного просвещения, но в качестве министра иностранных дел будет оставаться источником слабости правительства и отрыва последнего от страны; публичное подтверждение военных целей царской России делает Милюкова абсолютно неприемлемым для демократии трудящихся. Церетели искал формулу, с которой Временное правительство могло бы согласиться без внутреннего сопро-

тивления и которая в то же время могла бы удовлетворить возбужденное политическое сознание масс.

Наконец к вечеру 21 апреля согласились на том, что правительство объяснит народу два пункта своей ноты. 22 апреля оно заявило, что упоминание о желании народа «одержать решительную победу над врагом» означало желание победы идеи отказа от завоеваний, а «санкции и гарантии» — не одностороннее наказание побежденных (как сначала поняли в кругах, близких к Совету), а систему международных трибуналов, ограничение вооружений и другие всеобщие меры. Большинство Совета сочло, что настаивать на дальнейшем уточнении формулировок нет необходимости. Оно решило облегчить правительству путь к отступлению. Поражение Милюкова и увеличившаяся вероятность его отставки были важнее слов.

Но поздно вечером 20 апреля, когда «центристы» Совета сумели успокоить рабочий и солдатский Петроград, буржуазный Петроград тоже вышел на улицу, чтобы оказать моральную поддержку своему министру, которому угрожала рабочая демократия. Милюков говорил с демонстрантами со своего балкона. Когда он сказал, что за криками «долой Милюкова» слышатся крики «долой Россию», буржуазная толпа разразилась долгими и громкими аплодисментами. Эти слова соответствовали старой формуле «государство — это я», непременному атрибуту сильной власти. Но скоро буржуазии предстояло узнать, что в устах штатского такая фраза звучит куда менее грозно, чем в устах человека, плечи которого украшены генеральскими погонами.

Слуха об этой демонстрации было достаточно, чтобы 21 апреля снова разбудить рабочий Петроград. На сей раз демонстрацию начала Выборгская сторона, где позиции большевиков были особенно сильны. При этом район отказался подчиниться даже Центральному комитету своей партии. Демонстрация прошла под лозунгом «Долой Временное правительство» Рабочие призывали повторить февральские дни и, возможно, произвести новый переворот. Ленин и его штаб считали это преждевременным и незрелым, но они были беспомощны. Демонстрантов не смогла уговорить разойтись

даже делегация Совета, которую возглавлял председатель последнего Чхеидзе.

Тем временем начали приходить новые тревожные сообщения. Воинские части с артиллерией снова собрались на Дворцовой площади. На этот раз ими руководил командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов. Другие части отказались ему подчиняться, начали митинговать и спрашивать Совет, что делать. Казалось, на улицах и площадях Петрограда вот-вот вспыхнет гражданская война. В тот вечер начались столкновения между демонстрантами, выступавшими за и против Милюкова и Временное правительство. Звучали выстрелы. Красногвардейцы Выборгской стороны решили доказать, что улица принадлежит им, а не буржуазной «хорошо одетой» публике.

Как всегда, каждая сторона обвиняла в столкновениях другую. Обе подозревали провокацию какой-то зловещей «третьей силы». Кадеты говорили о немцах, действовавших за спиной большевиков, большевики — о монархистах, действовавших за спиной кадетов.

В этот момент Совет понял, что время слов кончилось и настало время решительных действий. Под его давлением генерал Корнилов был вынужден отменить свой приказ. Артиллерию с Дворцовой площади убрали. С целью предотвратить попытки правых и левых применить оружие все казармы известили, что без приказа Исполнительного комитета, скрепленного его печатью и подписанного конкретным ответственным лицом, ни одна часть не имеет права выходить на улицу. Кроме того, Исполнительный комитет запретил проведение любых демонстраций в течение ближайших трех дней. Автомобили Совета носились по улицам, развозя этот решительный приказ. Затем все стихло, как по мановению волшебной палочки.

Таким образом, Совет действовал как диктатор, но всего несколько часов и только для того, чтобы предотвратить возникновение гражданской войны. Теперь мы знаем, что Корнилова, как и Крымова, злила беспомощность правительства и что он мечтал «безжалостно очистить Петроград». Но Совет отнял у него эту возможность. Самолюбивый генерал не смог вынес-

ти такого позора и подал в отставку. Временное правительство было полностью на его стороне и пришло в ужас оттого, что Совет посягнул на прерогативы генерала. Оно еще раз с негодованием заявило, что «власть командующего Петроградским военным округом остается неизбежной и командование войсками может осуществлять только он». Совет не спорил. Он не стремился к диктаторской власти и воспользовался ею лишь в критический момент, поскольку никто другой не мог сделать того, что требовалось. После этого он вернулся к своим обычным обязанностям, даже не подумав о том, что узурпировал права командующего округом. Это не входило в его намерения и было сделано лишь для того, чтобы предотвратить гражданскую войну. Правительство тоже понимало ситуацию; оно распространило листовку о том, что приказ Совета «был вызван желанием предотвратить попытки отдельных лиц и групп призвать на помощь воинские части». Это было верно, хотя в глазах Совета «отдельным лицом» стал даже командующий округом, заподозренный в чрезмерной импульсивности, которая могла вызвать кровавые столкновения. Временное правительство тоже боялось гражданской войны и не хотело ее. Но недовольство правительства вызывало то, что необходимые меры приняло не оно, а кто-то другой. Это было его трагедией.

Если раньше подобное можно было только подозревать, то теперь все встало на свои места. Отношения между правительством и Советом определились полностью. С одной стороны была официальная власть, не имевшая реальной силы, с другой — реальная сила без официальной власти; безвластное правительство и «бесправительственная» власть существовали одновременно.

Этот раскол между властью правительства и реальной силой нужно было преодолеть как можно скорее. Вывод был общим. Милюков как министр иностранных дел представлял для правительства слишком большую угрозу.

В других условиях пост, потерянный Милюковым, автоматически достался бы Керенскому. Но Керенский совершил чудовищную ошибку: злополучное добавление к ноте не было для него сюрпризом, в отличие от других руководителей Совета. Позже Керенский пытался отрицать, что согласился с этой

нотой, но официальное коммюнике тут же разъяснило, что «Временное правительство тщательно изучило ноту министра иностранных дел и утвердило ее текст *единогласно*». Керенский, популярность которого быстро росла с первых дней революции, впервые споткнулся; казалось, что он находится на краю пропасти. Это было задолго до того, как Керенский смог простить Милюкову момент собственной слабости, в которой он должен был оправдываться даже перед самыми близкими друзьями. В правительстве происходили бурные сцены. Керенский подал в отставку. Генерал Корнилов настаивал на отставке. Отставка Гучкова казалась неминуемой. Но почти ничего не говорилось о самом естественном шаге: отставке Милюкова. В составе правительства возникла группа, которая требовала ухода всего кабинета и создания коалиции с представителями демократического Совета. Она поддержала идею Чернова о переводе Милюкова на пост министра народного образования.

Тем временем Керенский опубликовал письмо, присланное ему Черновым. Там объяснялось, что революционная демократия отказалась войти в правительство и Керенский сделал это на свой страх и риск. Отметив начало наступления новой эры — эры ответственного участия в управлении страной, — Керенский делал вывод, что революционная демократия (Совет или социалистические партии) делегирует в правительство формальных представителей, которые будут докладывать руководству этих организаций о своей деятельности; Керенский обещал, что отныне это станет его главной задачей.

Но Совет все еще колебался, не зная, следует ли ему столь кардинально менять прежний курс. На одном из заседаний Исполнительного комитета участие в правительстве было отвергнуто 23 голосами против 22 при 8 воздержавшихся. На следующем заседании оно было принято 41 голосом против 18 при 3 воздержавшихся. Когда это решение прошло, стало ясно, что цензовая часть правительства имела в виду не создание подлинно коалиционного кабинета, а только назначение на вновь созданный пост министра труда какого-нибудь социалиста с громким именем — вроде Плеханова, который своей популярностью мог бы укрепить изрядно пошатнув-

шийся авторитет правительства и стать живым щитом от атак левых. Переговоры затягивались; много раз казалось, что они находятся на грани полного фиаско, хотя усилия по созданию коалиции предпринимали не только Керенский, Некрасов и Терещенко, но и такой искусный дипломат, как Альбер Тома. В кругах Совета росло убеждение, что принять на себя прямую ответственность за политику правительства можно будет только при условии реального и заметного численного преобладания в кабинете. Проходивший в то время Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов выступил с требованием, чтобы представители Совета получили в кабинете большинство. Кроме того, неудачный эксперимент князя Львова с назначением губернских комиссаров заставил крестьянских депутатов сформулировать требование, чтобы пост министра внутренних дел передали в руки социалистов. Но сделать это без отставки князя Львова было трудно — тем более что именно Львов являлся главным защитником идеи реорганизации правительства на коалиционной основе. Было много споров из-за Чернова; возник кризис, и вопрос о коалиции решался в его отсутствие. Левое крыло социалистов-революционеров требовало, чтобы ему передали министерство иностранных дел; большинство партии считало, что он, как автор программы социализации земли, должен стать министром земледелия, чтобы подготовить земельную реформу. Кадетская партия, не простившая Чернову его победоносную кампанию против Милюкова и участие в международной конференции в Циммервальде, возражала против его ввода в правительство. Наконец Чернов, вызванный из Москвы телеграммой, выразил протест против смены участия в Совете на министерское кресло. Он соглашался войти в правительство при условии включения в кабинет лидера социал-демократов Церетели и назначения на пост министра заготовок, тесно связанных с сельским хозяйством, кого-нибудь из социалистов. Но кадет Шингарев изо всех сил цеплялся за свой пост. Керенский, который совсем недавно «мечтал поднять российскую юстицию на недостижимую высоту»⁴, остыл к последней и хотел сменить Гучкова. Теперь он мечтал «поднять на недостижимую высоту» российскую армию и увенчать ее лавро-

вым венком победителя. Решить все эти противоречия было не легче, чем вычислить квадратуру круга.

Однажды Некрасов, потерявший надежду на создание коалиционного правительства, предложил назначить диктатора и доверить власть какому-нибудь военному, популярному в обществе и не лишенному политических амбиций. В качестве кандидата он предложил генерала Маниковского. Экстравагантным это предложение только казалось. Оно говорило, до какой степени члены правительства потеряли уверенность в себе. Цензовое правительство не было ни плохим, ни хорошим; оно просто не было правительством.

Страна нуждалась в правительстве, которое могло бы установить тесный контакт с силами, появившимися во время революции, и использовать эти силы для создания нового механизма, способного перестроить жизнь России. Революцию может возглавлять только правительство, которое движется по непроторенному пути и освещает его, а не тащится следом за революцией, постоянно тормозя ее.

Первое Временное правительство тщетно пыталось руководить великой революцией так, словно оно имело дело с дворцовым переворотом. Оно могло бы принять революцию, но без ее революционных последствий. В этом и заключалась тайна его неспособности к творчеству.

В конце концов коалиционное правительство появилось на свет. Лидер социал-демократов в Совете Церетели стал номинальным министром почт и телеграфа, а на самом деле министром без портфеля, ответственным за общую политику. Его близкий друг Скобелев был назначен министром труда. Лидер партии эсеров Чернов занял пост министра земледелия. Керенский получил портфель военного министра, передав министерство юстиции своему помощнику Переверзеву. Народный социалист Пешехонов стал министром заготовок. Эти шесть человек (на самом деле их было меньше) составляли в правительстве меньшинство. Милюкова сменил Терещенко, а Шингарев занял освободившийся пост министра финансов. Все остальное не изменилось.

На следующем съезде кадетской партии Милюков, отправленный в отставку, с горечью заявил: «Я не ушел, меня убрали». Он предрек новому правительству незавидную судьбу, назвав его программу «слишком неопределенной; в ней скрыт зародыш будущих конфликтов». Милюков был убежден, что «создать ясную и четкую программу такого правительства невозможно; коалиция была компромиссом, парализовавшим правительство изнутри, в то время как прежнее правительство было парализовано давлением снаружи»⁵.

В сущности, Милюков был прав. Принимая идею коалиции, люди смотрели назад, а не вперед. Они пытались исправить ошибки прошлого вместо того, чтобы решать проблемы настоящего и будущего.

На первом этапе революция решала вопросы, общие для либеральной и рабочей демократии. Но либеральная демократия в одиночку несла неимоверную тяжесть революционной власти. Теперь к ней на помощь пришла демократия трудящихся; ее представители торопились исправить положение и впрячься в те же оглобли. Но тем временем возникли новые проблемы, и решить их сообща было уже невозможно.

Поговорка «лучше поздно, чем никогда» верна далеко не всегда. Беда коалиции заключалась в том, что сочетание условий и проблем, вызывавших ее необходимость, закончилось. В первые месяцы революции люди от думской оппозиции и люди от революции объединились по всей стране, чтобы выкорчевать остатки самодержавного бюрократического режима и создать скелет нового народно-демократического правительства. На первых порах страна нуждалась в формах свободного государства, основанных на общественном законе. Расчищать место для таких форм и создавать их следовало общими усилиями. Но затем встал вопрос о *социальном содержании* этих форм. И тут двум группам пришлось расстаться. Этапы объединения и размежевания естественно следуют друг за другом. Но при организации правительства эта последовательность полетела кувыркком. В период объединенных действий либеральная демократия и демократия трудящихся были разделены, а когда они объединились, настал час их естественного размежевания.

Хотя представители Совета вошли в правительство, но двоевластие, парализовавшее деятельность правительства и ознаменовавшее собой непримиримость цензовой и советской демократии, никуда не исчезло. Этот дуализм лишь изменил форму: теперь он сказывался в провале планов и намерений обеих разделенных и разнородных частей кабинета. Ни одна из этих частей не была достаточно сильна, чтобы осуществлять собственную политику, однако каждой из них хватало сил помешать партнеру выполнить его программу. Результатом был тупик, который раздражал и утомлял и тех и других. У правительства, которое не могло сделать ничего хорошего и ничего плохого, было все меньше *конкретных* поводов вызвать чье-то острое недовольство и все меньше возможностей совершить необдуманый шаг. Однако его скудные достижения (точнее, отсутствие достижений) вызывали медленно накапливавшееся неудовлетворение. Части тянули в разные стороны, нейтрализуя усилия друг друга. В результате и те и другие демонстрировали «топтанье на месте».

Глава 12

КОНФЛИКТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Народ рассчитывал, что новое Временное правительство пойдет по новому пути, особенно в рабочем и аграрном вопросах.

В декларации коалиционного кабинета говорилось, что трудовое законодательство будет основано на «борьбе с экономической разрухой с помощью контроля над производством, транспортировкой, обменом и распределением продукции, а при необходимости — с помощью реорганизации производства извне». По-другому и не могло быть. Миллюков правильно говорил: «Промышленность, которой уже грозил приближавшийся кризис, была вынуждена все больше и больше *существовать за счет государства*». Речь шла о кризисе транспорта и снабжения сырьем и топливом и износе оборудования. Финансировать промышленность без контроля над последней было бы абсурдно. Приближение кризиса не позволяло государству про-

водить политику *laissez faire, laissez passer* [здесь: невмешательства в экономику (*фр.*)]. — *Примеч. пер.*]. Защита интересов трудящихся предполагала, что правительство примет меры по оздоровлению экономики в целом.

Еще при первом Временном правительстве был создан специальный Комитет по вопросам труда, целью которого были обсуждение и подготовка проектов законов о труде для их рассмотрения кабинетом. В этот комитет входило восемь членов от рабочих и восемь от промышленников. Девятым членом и председателем комитета был министр труда. Комитет приглашал на свои заседания докладчиков и экспертов с правом совещательного голоса.

Деятельность комитета подробно описана в воспоминаниях В.А. Авербаха, представителя предпринимателей и директора многих промышленных корпораций:

«Министерство труда было явно меньшевистским по составу его руководства и привлекало к работе ученых, зарекомендовавших себя последовательными марксистами... Широкая эрудиция последних позволяла им подкреплять свои аргументы ссылками на зарубежные законы и обычаи, решения съездов и т. п. Отчеты, предшествовавшие рассмотрению проекта закона, тщательно готовились. Было ясно, что все продумано заранее. Наши заклятые враги, члены рабочей фракции комитета, были вооружены до зубов. Когда на первом заседании на нас обрушились формулы, цитаты, имена и названия, причем с необыкновенной легкостью и даже не без изящества, мы были разгромлены еще до начала битвы»¹. Что представители российской буржуазии могли противопоставить защитникам рабочих? Почти ничего, признает Авербах. «Тщательно скрывая подавленность и понимая недостаток собственной подготовки, мы пытались компенсировать его красноречием и искренностью». Избегая дискуссии о сущности проектов, предприниматели подчеркивали их «несоответствие военному времени». «В тот момент решительную борьбу можно было отложить на потом, но бежать от этих вопросов означало бы признать свое поражение». Совет представителей торговли и промышленности создал специальную секцию труда. Та начала лихорадочно собирать материалы, готовить отчеты, записки и меморандумы,

составлять комментарии к проектам законов, готовить собственные проекты и т. д. «Мы почувствовали себя вооруженными, — признается Авербах, — но, конечно, не могли надеяться победить наших оппонентов, которые потратили на подготовку годы. Мы должны были вооружиться, чтобы взрывы шрапнели, начиненной формулами, цитатами и именами, не посеяли панику в наших рядах».

Постепенно представители работодателей почувствовали слабые места оппонентов. «Все проекты, поступавшие в Комитет по вопросам труда, предусматривали значительные расходы из государственной казны, а еще чаще — из национальной экономики» (то есть от самих промышленников). Поэтому капиталисты начали подсчитывать, «сколько каждое «завоевание революции» будет стоить стране»; эти подсчеты «вызывали панику у наших противников». Даже такие бесспорные вещи, как выплата пособий по болезни, инвалидности или старости, «против которых мы не возражали, — пишет Авербах, — заставляли нас пожимать плечами, когда вставал вопрос о том, откуда взять средства для повсеместного внедрения данного закона и при этом не вызвать полного развала экономики».

Изо всех проектов законов, рассмотренных Комитетом по вопросам труда (о свободе стачек, восьмичасовом рабочем дне, ограничении труда детей, пособиях по старости и нетрудоспособности, биржах труда и т. п.), законами стали только два. «Абсолютно безвредный» закон о трудовых биржах и закон о пособии по болезни (основанный на «гентской системе», возлагающей половину затрат на работников и половину на работодателей) споров не вызвали. Но для революционного периода такой результат был ничтожным. «Другие проекты, подвергнутые беспощадной критике, отправлялись в шкаф министра труда и больше оттуда не вынимались». Настроение работодателей хорошо иллюстрирует то, что они называли неограниченное право на забастовку «антиобщественным». Запрет детского труда на фабриках объявлялся «противоречащим суровой реальности», предложение об ограничении труда подростков в сельском хозяйстве — «курьезом». Авербах, с удовлетворением отмечающий эти победы группы работодателей, прекрасно знает, кому пошло на

пользу это упрямство российской буржуазии. Данные проекты, пылившиеся в разных шкафах, «после победы большевистской революции были использованы Советским правительством либо в их первоначальном виде, либо в том виде, в котором они были предложены группой рабочих Комитета по вопросам труда». Разве после этого приходится удивляться росту авторитета большевиков в рабочей среде? Лучшим союзником последних было сопротивление российской буржуазии, которая благодаря существовавшему в комитете паритету успешно торпедировала его работу.

Второй стороной промышленного вопроса была организация контроля за производством. Раскол коалиции произошел уже на первом этапе обсуждения этой проблемы. Министр торговли и промышленности А.И. Коновалов, один из наиболее прогрессивных представителей своего класса, не смог выдержать давления со стороны. 11 мая он со Скобелевым и Терещенко пришел к выводу, что государство должно обложить чрезмерную прибыль от производства военной продукции суровым налогом, направить специальных государственных комиссаров для управления заводами, на которых конфликт труда и капитала был особенно острым, создать государственные органы наблюдения за производством, а некоторые заводы полностью национализировать. Через неделю состоялась его отставка, наделавшая много шума. Поводом для нее стало то, что государственный контроль за производством должна была осуществлять сеть специальных комитетов по образцу тех, которые уже действовали в кожевенной промышленности, с условием их демократизации. «В условиях современной российской реальности введение демократических органов, — заявлял Коновалов, — приведет к тому, что на наиболее развитые заводы придут люди без экономического опыта, после чего вместо улучшения начнется разруха». Если бы эти обветшавшие доводы принимались во внимание, то ни одна страна не смогла бы перейти от авторитарного бюрократического режима к современной парламентской демократии. Опыт приходит с практикой; конечно, новые общественные слои, приходившие к власти, были менее опытными, чем старая бюрократическая каста. Этот обычный, но быст-

ро излечимый недостаток компенсировался повышенной инициативой и свободой от рутины. Переход от тирании фабрикантов к общественному и государственному контролю был не менее легким, чем переход от монархии к парламентской республике.

Отставка Коновалова совпала с приездом в Россию английского министра труда Артура Хендерсона. Этот прогрессивный европеец был крайне удивлен чисто азиатскими предрассудками наиболее передовых представителей российской буржуазии. На приеме в Московской торговой палате Хендерсон сказал: «Вам следовало бы знать, что вся промышленность, работающая на снабжение армии, подвергается жесткому контролю со стороны английского правительства, но при этом никаких конфликтов с рабочими не происходит... Интересы государства должны стоять на первом месте... Не думайте, что это социализм, — добавил он. — Это просто временная необходимость в условиях, когда страна сражается за свое существование и территориальную целостность». В заключение Хендерсон упомянул об обратной стороне медали: «Когда началась война, мы попросили рабочих временно отложить борьбу за их права, и они сделали это в интересах государства. Иногда они работали по семь дней в неделю без выходных и праздников».

Слова Хендерсона вызвали горячий отклик у представителей многих предприятий с преобладанием английского капитала*. Они жаловались на бедственное положение промышленности и поведение рабочих не меньше своих русских коллег, но вместо использования старых азиатских методов применили европейские. Их владельцы обратились к правительству с петицией «внедрить на их предприятиях государственный контроль по образцу контроля, используемого в Англии». Это заявление произвело сильное впечатление на прессу, общество и правительственные круги. Левая пресса (эсеровское «Дело народа») назвала это «уроком российским промышленникам». Однако буржуазная пресса подчеркивала тот факт, что «государствен-

* Невская прядильная фабрика, Невская стеариновая фабрика, Невская хлопчатобумажная фабрика, фабрика Воронина, фабрики Люча и Гешера, Спасская хлопкопрядильная фабрика, Калининская фабрика, «Русская нефть», «Уильям Хартли корпорейшн».

ный контроль, используемый в Англии» лишил рабочих права на забастовку, и настойчиво спрашивала, согласятся ли на это российские рабочие организации и социалистические партии. Конечно, ответ мог быть только отрицательным. Английские рабочие могли с удовлетворением говорить о своих «завоеваниях военного времени», добавившихся к довоенному высокому уровню жизни. Но о русских рабочих сказать то же самое было нельзя. Если бы Временное правительство решило ввести демократический контроль над предприятиями, его главным результатом для рабочих стало бы регулирование реальной заработной платы. Тогда забастовки, которые являлись единственным средством защиты уровня жизни рабочих от его автоматического снижения за счет инфляции, тоже прекратились бы.

10 мая российские промышленники, недовольные самим фактом того, что социалисты вошли в правительство, направили туда большую делегацию во главе с председателем Совета съездов представителей торговли и промышленности, бывшим царским министром Кутлером. Эта делегация попыталась доказать, что требования более высокой заработной платы грозят поглотить весь промышленный капитал. Она умолчала о том, что величина этого капитала была определена в довоенных ценах, а величина заработной платы, вздутой за счет инфляции, — в военных. Затем она попыталась напугать Временное правительство предсказанием всеобщей убыточности и закрытия заводов, после чего государство будет вынуждено их национализировать, не получив взамен ничего, кроме дефицита. Не оставляя сомнений в том, что речь идет о локауте, Кутлер выложил карты на стол и сказал о том, что «рабочим нужно преподать урок», который положит конец их стремлению получить «привилегии за счет общества и национальной экономики в целом».

Министры-социалисты Скобелев и Церетели с цифрами в руках легко доказали, что эгоистические личные интересы промышленников привели к огромной прибыльности военной продукции и снижению уровня жизни рабочих. Чернов разоблачил спекулятивный характер предъявленных расчетов и предостерег от «бесстыдных экспериментов» с локаутами, ко-

торые в революционный период могут оказаться смертельно опасной игрой с огнем. В этих переговорах даже Коновалов поддержал объединенный фронт обоих крыльев Временного правительства и выразил протест против замаскированных угроз работодателей, однако после обвинения в измене своему классу тут же подал в отставку.

Отставка Коновалова показала, что российская буржуазия не способна на сотрудничество с умеренным социалистическим крылом, о котором говорил Хендерсон. Ни один видный промышленник или специалист не пожелал занять его место. И тут умеренные социалисты оказались перед дилеммой. Следует ли им махнуть рукой на коалицию с политическими представителями торговли и промышленности или ради сохранения коалиции отказаться от разработанной социалистами широкой программы перестройки? В результате они дрогнули и уступили. Последствия этой уступки оказались поистине роковыми. Они отказались от идеи публикации специальной правительственной декларации, подготовленной в двух вариантах (социалистическом и буржуазном) Скобелевым и Степановым. В обоих вариантах говорилось о «необходимости коренного изменения экономической жизни страны и внедрения государственного контроля и регулирования». В обоих предлагалось объединить частные предприятия в синдикаты под наблюдением государства. Вместо этого правительство издало обращение министра труда к рабочим, призывавшее их к самодисциплине, самоограничению и многим другим хорошим вещам. Изумленные рабочие стали спрашивать, что именно Временное правительство собирается делать с промышленностью помимо чтения трудящимся изъеденных молью проповедей. Это было главной слабостью Временного правительства: вместо принятия мер по изменению законодательства и управления оно использовало их заменители — призывы и заклинания.

Но полного разгрома всех попыток принять новое трудовое законодательство предпринимателям было недостаточно.

Через своих наиболее воинственно настроенных лидеров фон Дитмара и Тикстона промышленники потребовали, чтобы правительство «подтвердило всему населению, что все законы, не отмененные декретами Временного правительства,

продолжают действовать и что за их нарушение предусмотрено наказание». Они пытались воспользоваться тем, что пересмотреть все царское законодательство, складывавшееся веками, сразу невозможно. Кроме того, работодатели выразили сомнения в праве Временного правительства решать наиболее острые конфликты между хозяевами и рабочими. В противовес петроградскому соглашению о введении восьмичасового рабочего дня и попыткам распространить его на всю страну декретом Временного правительства Московская торговая палата заявила:

«Вопрос о восьмичасовом рабочем дне не может быть решен по взаимному согласию работодателей и рабочих, так как является вопросом государственной важности. В его решении заинтересовано все население, а потому он не может быть предметом временного законодательства, но должен решаться в соответствии с волей народа хорошо организованными законодательными органами... Представители промышленности не считают возможным решить этот вопрос в ближайшем будущем, но склонны пойти навстречу интересам рабочих»².

Если Временное правительство не полномочно решать фундаментальные проблемы трудового законодательства, а все старое законодательство не отменено и остается в силе, то результат ясен. При Временном правительстве рабочие должны жить по старым царским законам, подчиняясь всем требованиям фабриканта и уповая на его «склонность пойти навстречу интересам рабочих».

Промышленники не собирались соблюдать даже такие слабые зачатки нового трудового законодательства, как закон о создании фабрично-заводских рабочих комитетов. Согласно этому закону (№ 9а), такие комитеты обладали полным правом защищать перед администрацией интересы рабочих «в вопросах, касающихся отношений между работодателями и рабочими, в том числе размеров заработной платы, часов работы, правил трудовой дисциплины и т. д.». Но этого «и т. д.» работодатели признавать не желали. Противореча явному смыслу этого перечисления, они доказывали, что вопросы найма и увольнения к нему не относятся. Многие владельцы отказывались позволять членом комитета присутствовать при

наиме рабочих. Хотя в законе № 15 четко говорилось, что *все* споры относительно его применения должны рассматриваться согласительной комиссией, работодатели поставили ультиматум с требованием сделать исключение для вопросов найма. Ассоциация промышленников Южного экономического района заявила, что «промышленность сможет продолжать существовать только в том случае, если найм и увольнение рабочих и служащих останутся *исключительным правом работодателя*». Всероссийская конференция ассоциаций промышленников потребовала «прекратить вмешательство фабричных комитетов в сферу компетенции фабричной администрации». Предприниматели Урала заявили, что «ни одна фабричная администрация не признает никаких комитетов и комиссий, что у фабрики есть хозяин и он будет делать на ней что хочет. Что же касается контроля правительства и общественной ответственности, то промышленники его не признали и никогда не признают»³.

К посредничеству Совета рабочих депутатов, безболезненно решившего вопрос восьмичасового рабочего дня, теперь относились с открытой враждебностью. На Ростовской фабрике Керзона владелец отказался иметь дело с представителем Совета рабочих депутатов, приглашенным рабочим комитетом в качестве «умиротворителя»; он заявил, что «не узнаёт его», и с револьвером в руке выгнал с фабрики как «самозванца». Еще раньше ассоциация владельцев металлургических заводов объявила своим членам, что «новые комиссии, сформированные Советами рабочих и солдатских депутатов, самовольно присвоившими власть и права законных органов, не могут быть допущены на предприятия». Началась кампания против выборных рабочих представителей, которые при выполнении своих обязанностей были вынуждены часто отвлекаться от работы. Совет объединенной промышленности решил, что «в случае систематического отсутствия на фабрике такой человек перестает быть рабочим и в соответствии со статьей 104 никем не отмененного закона о промышленности может быть исключен из списка работников фабрики». Администрация Богословских шахт объявила, что «служащие, выполняющие свои обязанности выборных лиц в ущерб постоянной работе,

будут заменены другими сотрудниками». Министерству труда пришлось издать специальное объяснение, указывавшее, что владельцы фабрик имеют право увольнять членов рабочих комитетов только с разрешения согласительной комиссии или арбитражного суда. Но это объяснение отвергла даже назначенная правительством администрация Путиловского завода, настаивавшая на своем праве увольнять членов рабочего комитета *до* решения согласительной комиссии и даже угрожавшая уволить всех рабочих предприятия. Это привело к неизбежному результату. На заводе сразу возникло озлобление, готовое перерасти в стачку; не случайно рабочие-путиловцы приняли активное участие в Октябрьской революции.

Крупнейшим недостатком петроградского соглашения между местной ассоциацией промышленников и Советом рабочих и солдатских депутатов являлось отсутствие пункта о стандартных размерах заработной платы. Это был самый насущный вопрос для всей России. Для провинции он был еще важнее, чем для Петрограда; по оплате труда Петроград являлся оазисом в Сахаре первобытной эксплуатации.

Историк должен ответить на два вопроса: (1) были ли справедливыми требования рабочих повысить оплату труда, или их заработная плата увеличилась перед революцией до максимально возможного предела; и (2) были ли справедливыми утверждения работодателей о том, что уровень их прибыли недостаточен для удовлетворения требований рабочих.

На первый вопрос ответили лица и учреждения, которых невозможно заподозрить в предвзятости и симпатиях к рабочему классу.

Одним из них стал царский генерал Рузский, объявленный октябристами и националистами «народным героем» и пользовавшийся доверием правых. На тайном совещании Совета министров от 10 августа 1915 г. генерал Рузский говорил об условиях труда на петроградских фабриках следующее: рабочие трудятся день и ночь и при этом страдают от высокой стоимости жизни; фабриканты не поднимают зарплату, в результате чего рабочие вынуждены работать сверхурочно, чтобы не голодать; этому вопросу нужно уделить самое серьезное внимание и принять срочные меры, иначе возможны забастовки и бес-

порядки; если это случится, то война будет безнадежно проиграна⁴.

Может быть, после 1915 г. материальное положение рабочих резко улучшилось? Обратимся к источнику, еще более враждебно относившемуся к социализму и рабочему движению. Отчет шефа Петроградского жандармского департамента за октябрь 1916 г. содержит такое признание:

«Экономическое положение масс, несмотря на огромную прибавку жалованья, просто ужасающе. У подавляющего большинства жалование выросло на 50%, у машинистов, литейщиков и электриков на 100—200%, а стоимость товаров первой необходимости за это время выросла на 100—500%».

Опытные жандармы понимали, что ловить «агитаторов» бессмысленно, если наиболее красноречивым агитатором является сама жизнь.

Промышленники постоянно утверждали, что независимо от давления, которое оказывали на них рабочие, они всегда повышали оплату труда параллельно росту стоимости жизни. Рабочие же настаивали на обратном:

«Подавляющее большинство требований фабричных рабочих удовлетворено не было. Отдельные забастовки успеха не приносили; там, где рабочие получали прибавку к зарплате, промышленники с лихвой компенсировали ее повышением цены на продукцию, поэтому рост цен постоянно превышал рост жалованья. Положение усугублялось продолжавшимся падением курса рубля. Мы попали в замкнутый круг, выйти из которого можно только с помощью энергичных мер правительства».

Кто из спорящих прав? Объективные данные приводятся в решениях арбитражных судов. Там, где они создавались на паритетных началах, назначались Временным правительством, министерством труда или еще менее «пролетарофильским» министерством торговли и промышленности, результат всегда был одинаковым. Сведения об оплате труда, приведенные рабочими, а иногда и служащими, оказывались точными. И в этом нет ничего удивительного. Данные Московской биржи труда показывают, что с февраля по июль 1917 г. заработная плата выросла на 53%, а цены на товары первой необходи-

мости — на 112%; при этом ржаной хлеб подорожал в среднем на 150%, картофель на 175%, одежда и обувь на 170%. Беспристрастные цифры заставили работодателей сдаться. Однако эта сдача вызвала протесты их собственных классовых организаций. Петроградская ассоциация промышленников, которая в начале революции уступила духу времени и согласилась на введение восьмичасового рабочего дня, теперь резко свернула вправо и запретила своей секции владельцев типографий подписывать новый договор о заработной плате с профсоюзом печатников; это привело к разрыву секции с ассоциацией. Компромисс, на который согласились владельцы машиностроительных предприятий Петрограда, опротестовал Центральный комитет Совета объединенной промышленности, заявивший, что подчинение его машиностроительной секции решению арбитража «было принято не добровольно, а под нажимом всех заводов этого профиля, угрожавших забастовкой» и что решение правительственного арбитража было вопиющим насилием над «свободой предпринимательства в отношении заключения контрактов».

Поскольку основной причиной головокружительного роста стоимости жизни была инфляция, решения арбитражных судов в пользу рабочих мало помогали делу. Рост заработной платы не поспевал за ростом цен. Выходом из этого положения могло стать только правительственное регулирование оплаты труда, основанное на систематическом официальном расчете прожиточного минимума. Тогда заработная плата повышалась бы автоматически, без нажима со стороны профсоюзов и забастовщиков. Но члена кабинета, который рискнул бы предложить такую решительную меру, коллеги разорвали бы на куски. Во всяком случае, на это никогда бы не согласилось буржуазное крыло кабинета, особенно после того, как оно принял план государственного контроля над промышленностью.

Введение такого контроля было совершенно логично. Чем дольше шла война, тем больше промышленность работала на нужды фронта. Покупателем ее продукции было государство. Кроме того, правительство давало предпринимателям огромные ссуды на расширение производства и повышение качества продукции, а также авансы в счет будущих поставок.

Если завод начинал приходить в упадок, правительство брало его под свое прямое управление. Возникла парадоксальная ситуация. Когда завод процветал, правительство помогало его процветанию, плоды которого уходили в карман частного; если же производство становилось невыгодным, убытки ложились на плечи правительства, но лишь после того, как были исчерпаны все возможности получения новых ссуд и авансов. Предприниматель был агентом правительства. Он все больше и больше имел дело с деньгами правительства и получал полную возможность изымать из производства собственный капитал.

Сталкиваясь с требованиями рабочих, предприниматель неизменно заявлял, что «очень большой процент заводов работает себе в убыток». К таким заявлениям рабочие относились скептически. Средняя прибыль в царской России по сравнению с Западной Европой всегда была громадной (именно это притягивало зарубежный капитал в российскую промышленность). Во время войны, как и повсюду, эта прибыль значительно выросла. Ежегодная прибыль до и после объявления войны составляла на Кабельном заводе 1,4 миллиона и 3,34 миллиона; на Сормовской фабрике 2,17 и 3,79 миллиона; на Кольчугинском заводе — 2,17 и 4,72; в Объединении тульских фабрик — 1,86 и 8,39 миллиона рублей соответственно.

В самый разгар спора о том, сможет ли российская промышленность вынести бремя повышения заработной платы, газеты опубликовали официальные отчеты, которые резко противоречили жалобам фабрикантов. Сормовское объединение объявило, что выплатит вкладчикам дивиденды в размере 17,5%. Однако размер дивидендов дает слабое представление о реальной прибыли предприятия; почти половина прибыли нетто — 4,8 миллиона рублей с лишним — была списана на инфляцию.

Каоломенский машиностроительный завод с основным капиталом в 15 миллионов рублей и оборотным капиталом, составлявшим меньше полумиллиона, закончил год с прибылью, составившей почти 7,5 миллиона рублей.

Конечно, такое состояние дел не могло продолжаться вечно. Положение промышленности ухудшалось по мере ухуд-

шения экономических условий. Военное «процветание» промышленности, обильно удобрявшейся инфляцией, было противоречивым: оно было основано на вынужденном *создании средств уничтожения*. При этом тратились силы рабочих, изнашивалось оборудование и бесконечно напрягалось терпение потребителя. Вскоре начались беспорядки на транспорте, ухудшение снабжения сырьем и топливом, снижение производительности труда. Становилось ясно, что лучшее время для снятия сливок с «военного процветания» российской экономики прошло. Предчувствия были мрачными. «Экономическая разруха» неизбежно повлияла бы на снабжение армии провиантом и боеприпасами и снизила бы ее боеспособность. Но военное поражение означало обложение прямой и непрямой данью побежденных, то есть беспощадное ограбление и без того нищей страны. Это создавало большой соблазн для оттока капитала. Промышленники щедро раздавали дивиденды, но скрывали прибыль с помощью всевозможных уловок типа «удержаний» или «списаний». Они до предела изнашивали оборудование или продавали его, а жалкие остатки бросали правительству, переводили капитал в нейтральные страны, где имелись широкие возможности для международной коммерческой деятельности благодаря полуконтрабандному посредничеству между воюющими державами — иными словами, для создания русского филиала международной спекуляции. Таким был путь наименьшего сопротивления, открывшийся для стяжателей. Временное правительство ограничивало перевод денежных средств и товаров за границу, но тайный вывоз капитала продолжался. Капиталистам требовалось как-то оправдать свое бегство, и самым лучшим предлогом для этого становились требования рабочих. Такие условия представляли неограниченные возможности для «крутых дельцов», которых среди капиталистов появилось немало. Некоторые из них сознательно провоцировали классовую борьбу и экономический хаос, другие были бессознательным инструментом истории. Первые стремились перенести свою деятельность в страны, которым не грозила революция; они составляли меньшинство. Большинство (в основном мелкие капиталисты) становилось козлами отпущения за грехи своего класса.

Борьба между предпринимателями и рабочими вскоре перешла во взаимные обвинения. Работодатели обвиняли рабочих в пренебрежении дисциплиной, в падении производительности труда, в слепой и эгоистичной жадности и стремлении подорвать само существование промышленности. Со своей стороны, рабочие обвиняли работодателей в подготовке скрытого локаута с намерением полностью прекратить производство.

Контробвинения рабочих не были выдумкой. Вот что пишет Авербах:

«В Совете съездов представителей торговли и промышленности обсуждалось предложение использовать локаут в ответ на натиск буйных и необузданных рабочих масс; но с государственной точки зрения это было так же неприемлемо, как рабочие забастовки: это стало бы ударом в спину армии. Моральную позицию производителей нужно было изменить — тем более что последствия такого шага без поддержки правительства могли оказаться для большинства очень мрачными. Наконец пришли к выводу, что урок рабочим даст сама жизнь, без всякой организованной «акции», благодаря неизбежному и постепенному закрытию фабрик, что вскоре и стало происходить»⁵.

Общий одновременный и демонстративный локаут был отвергнут. Страхи капиталистов были справедливы: инициаторов локаута разорвали бы на куски, и первой их беспощадного наказания потребовала бы армия. Если бы правительство попыталось защитить их от народного гнева, оно было бы свергнуто еще быстрее и полнее, чем самодержавие. Отдельные локауты «не оптом, а в розницу» диктовались инстинктом самосохранения.

Однако в воздухе запахло кровью. 10 мая глава делегации промышленников Кутлер заявил, что, если правительство не защитит интересы промышленников, рабочие получат жизненный урок благодаря прекращению производства. Министр земледелия Чернов тут же ответил выпадом на выпад и предупредил: «Берегитесь, вы начинаете играть с огнем; результатом может стать пожар, который никто не сможет остановить». Чуть позже один из королей российской промыш-

ленности, П. Рябушинский, публично произнес еще более грозные слова: «Возможно, для выхода из сложившейся ситуации нам требуется обнищание народа; нужно, чтобы костлявая рука голода схватила за горло всех этих фальшивых друзей народа, все эти демократические Советы и комитеты». Эти роковые и непростительные слова эхом разнеслись по всей стране, сея гнев, ненависть и стремление к мести. Несчастные, голодные, безработные, униженные и оскорбленные собирались в России на каждом углу; все страдающие и потерявшие надежду живо откликнулись на эту безответственную угрозу, бессильно скрипя зубами и сжимая кулаки. Это было зловещим предзнаменованием будущего «уличного большевизма».

Слова буржуазии не остались всего лишь словами. Корпорация кожевенных фабрикантов предъявила рабочему комитету ультиматум из семи пунктов; в случае его неприятия она угрожала «рассчитать всех рабочих, мастеров и служащих и закрыть фабрику». Администрация Богословских шахт прислала курьера из Петрограда с девятью условиями; только в случае их принятия она соглашалась «попытаться продолжить дело». Одновременно на заседании комиссии по подготовке трудового законодательства при министерстве торговли и промышленности, обсуждавшей право на забастовку, представители промышленников «энергично настаивали на включении в закон пункта о праве предпринимателей на объявление локаута». Буржуазная «Торгово-промышленная газета» в номере от 3 сентября 1917 г. писала, что «среди владельцев заводов наблюдается значительная потеря интереса к делу из-за трудностей с обеспечением сырьем, топливом и материалами, необходимыми для работы. Все это прокладывает путь к скорому закрытию заводов».

Естественно, нежелание фабрикантов создавать условия для продолжения производства рабочие расценивали как умышленный саботаж. Время от времени они вмешивались в управление производством и предотвращали остановку или закрытие предприятия. Профсоюз текстильщиков совместно с рабочим комитетом воспрепятствовал закрытию фабрики Фермана, расценив его как «намеренный саботаж». Хорошо

оборудованная фабрика во главе с управляющим, избранным рабочими, начала функционировать нормально. Профсоюз, понимавший, что «еще не может стать владельцем фабрики», предложил правительству конфисковать ее и назначить туда комиссара, которому можно было бы передать предприятие, работающее на полную мощность. Когда администрация крупнейших на юге Николаевских военно-морских верфей объявила о сокращении производства наполовину без гарантии регулярной выдачи заработной платы в будущем, комитет рабочих и служащих постановил послать своих делегатов на заводы и фабрики, использующие его продукцию, связаться с рабочими комитетами последних и продолжить производство под контролем трудящихся. Владелец фабрики Г. Броннера не однажды останавливал ее. Рабочие взяли управление фабрикой на себя, получили новые заказы и даже кредиты и продолжили работу. Владелец подал на рабочих в суд, вернул себе управление фабрикой, а затем снова остановил ее. В конце концов она была реквизирована правительством. Но самым известным случаем стал так называемый «ликинский саботаж». Его начал владелец текстильной фабрики Смирнов, член объединения владельцев хлопкопрядильных фабрик, председатель Московского военно-промышленного комитета и одно время начальник контрольно-финансового управления Временного правительства. Его фабрика хорошо снабжалась хлопком, но не было торфа; на предложение рабочих собрать его хозяин ответил отказом. Когда Смирнов закрыл фабрику, рабочие обнаружили трехмесячный запас топлива. Владелец подал на фабричный комитет в суд за вмешательство в его дела. В самом центре города Орехово-Зуево начались демонстрации голодных безработных. Московский совет пытался подключить к этому делу министерство труда, министерство торговли и промышленности, комиссию по текстильной промышленности, но все оказалось бесполезно; конфликт тянулся до самой Октябрьской революции.

8 июня состоялось специальное совещание Московской биржи для обсуждения «вопроса об остановке работы фабрик московского региона». Некоторые робко предлагали отложить закрытие до зимы и сделать что-нибудь «для удовлетворения

товарного голода». Но большинство выступило против этого — якобы в интересах самих рабочих, которые осенью могли бы убирать урожай или добывать уголь. В действительности же российская текстильная промышленность имела огромные запасы товара (впоследствии большевистское правительство долго существовало за счет этих запасов), которые после остановки производства можно было продать с большей выгодой.

Класс предпринимателей, который ранее отчаянно сопротивлялся вмешательству рабочих организаций в управление фабриками, теперь решил позволить им принять участие в организации похорон. 20 июня делегаты организаций промышленников встретились с делегатами Московского областного бюро Совета рабочих и солдатских депутатов и представителями министерства заготовок. Совет сформулировал жесткие правила остановки производства: 1) ни одна фабрика не может быть закрыта, если у нее есть запасы сырья и топлива; 2) там, где закрытие признано неизбежным, оно может быть проведено только с санкции специальной комиссии; увольнять рабочих до ее окончательного решения запрещается; 3) в таких случаях созывается общее собрание сотрудников фабрики, резолюция которого для заключительного подтверждения направляется представителям Совета и министерства заготовок; 4) в случае частичного сокращения рабочей недели заработная плата уменьшается не пропорционально этому сокращению; 5) при закрытии фабрики рабочие не считаются уволенными, хотя и не получают зарплаты и 6) фабрики должны открыться вновь не позже чем за месяц до начала выборов в Учредительное собрание. Работодатели согласились. Одни — потому, что действительно утратили интерес к делу и были готовы «отрясти пыль от своих ног». Другие — потому, что считали, что в условиях «товарного голода» они могут найти лучшее применение своим капиталам в сфере торговли и спекуляции. Третьи наивно полагали, что шаг, предпринятый ими в интересах сохранения промышленности страны, жесток, но разумен и заслуживает одобрения.

Если бы они знали, что этот «жестокий шаг» является шагом к экономическому самоубийству, то, возможно, не так беспечно устремились бы за своими вождями — «слепой ве-

дет слепого». Русская буржуазия нечаянно и неосознанно сама покончила с собой; большевики нанесли ей лишь *coup de grace* [смертельный удар, прекращающий страдания и нанесенный из милосердия (фр.). — *Примеч. пер.*] и, если так можно выразиться, оказали профессиональные услуги могильщиков.

Было бы абсурдно отрицать значение раскола с рабочими во время революции. Он произошел не из-за невыполнимых требований, предъявлявшихся рабочим классом до начала революции, и не только из-за равнодушия буржуазии. Никто не говорит, что рабочие всегда правы и что во всем виноваты хозяева. Ни одна революция в мире не обходилась без падения трудовой дисциплины, впоследствии восстанавливавшейся с трудом и вопреки сопротивлению масс. Так было и во время Февральской революции. Но даже тогда существовало ядро высококвалифицированных рабочих, имевших достоинство, которое не позволяло им увильнуть от работы и бить баклуши. Эти люди любили свою работу и обладали не только профессиональной гордостью, но и странным «включением к машине», имеющим много общего с любовью крестьянина к своему полю. Рабочие этого типа не однажды доказывали, что могут плыть против течения и сопротивляться мятежной, расхлябанной и безответственной пестрой толпе, которая хлынула на фабрики во время войны, чтобы избежать отправки на фронт. Кто из этих двух элементов возглавит рабочее движение, во многом зависело от поведения работодателей. Но промышленно-феодалный максимализм, абсолютная власть фабрикантов создали свой антипод — максимализм экспроприации, абсолютизм пролетариев, которые понимали социализм упрощенно, видя в нем одновременную конфискацию всех фабрик, немедленное изгнание владельцев и их замену всемогущими фабричными комитетами.

Еще 13 марта представители фабричных комитетов крупнейших артиллерийских заводов, собравшиеся в Петрограде, поняли странность ситуации. Поскольку почти вся царская администрация бежала, заводы остались в руках рабочих. В решении этой конференции говорилось, что «комитеты не могут взять на себя ответственность за техническую, административную и деловую сторону производства»; их час еще не пробил и

пробьет лишь тогда, когда будет «полностью завершена социализация промышленности». Однако к концу мая на первой всеобщей конференции фабричных комитетов ее участники заявляли с мест: «Комитеты волей-неволей вынуждены вмешиваться в экономическую жизнь своих фабрик, иначе их давно бы закрыли»; «если мы хотим выжить и спасти производство, то это неизбежно»; «есть только две возможности: согласиться на сокращение производства и увольнения или активно вмешаться в вопросы управления и организации труда на заводе». Чем хуже шли дела, тем чаще забастовщики предъявляли хозяевам ультиматум: если к такому-то числу конфликт не будет улажен, «мы начнем готовиться к конфискации имущества фабрики: готовой продукции, станков и т. д.». На этой стадии возник чисто большевистский план: установить «прямой» контроль фабричных комитетов над производством, затем превратить его в полный контроль над всей фабрикой и провести выборы администрации.

Среди рабочих были влиятельные группы социалистов-революционеров и социал-демократов (меньшевиков), которые понимали, что местные фабричные комитеты окажутся беспомощными в вопросах организации производства. Их вдохновляла плодотворная идея о создании сложной системы общественного и государственного контроля с участием организованного потребителя (кооперативов) и производителей (профсоюзов и Советов), основанной на обязательном объединении заводов, стандартизации как прибыли, так и заработной платы и решении конфликтов строго в рамках закона. Но слепое и упрямое сопротивление работодателей и беспомощность Временного правительства разрушили эти планы. Теперь два непримиримых лагеря стояли лицом к лицу, и буфера между ними больше не было.

Один лагерь говорил: никакого ограничения прав владельца, никакого вмешательства правительства в отношения нанятого и нанимаемого и «никаких советов и комитетов».

Другая точка зрения была лучше всего сформулирована в выступлении делегата от Путиловского завода, который поднялся на трибуну Петроградского совета с винтовкой в руке и

крикнул: «Сколько мы, рабочие, еще будем терпеть это правительство? Вы собрались здесь, чтобы болтать и соглашаться с буржуазией. Если так, то знайте, что рабочие больше терпеть не намерены. Нас на Путиловском заводе тридцать тысяч, и мы знаем, что нужно делать. *Долой буржуазию!*»

Лицом к лицу стояли два большевизма. Каждый жаждал крови своего противника. Между ними суетились те, кто пытался предотвратить их смертельный поединок.

Упрямство класса работодателей предопределило результат этих попыток. Приведем один характерный факт: в Советах, столь ненавистных буржуазии, большевики составляли меньшинство и не пользовались влиянием. В них преобладали эсеры и меньшевики. Но фабричные комитеты — органы, которые напрямую сталкивались с буржуазным «большевизмом наизнанку», — состояли почти исключительно из большевиков. Когда на первой Петроградской конференции фабричных комитетов выбирала центральный орган, большевики победили объединенный блок эсеров и меньшевиков с огромным перевесом. Это было зловещее предзнаменование, но его не поняли. Большевики, сделавшие Союз фабричных комитетов своей цитаделью, постепенно захватывали Советы, профсоюзы и т. д. Если большевизм выковали Ленин, Троцкий, Зиновьев и иже с ними, то дорогу ему проложили вожди промышленников фон Дитмар, Тикстон и Рябушинский.

Последние верили, что даже временный переход власти к большевикам ничего не изменит: при большевиках демократия обанкротится еще быстрее, «костлявая рука голода» покончит с рабочими и заставит их вернуться на фабрики опустив голову. Как жестоко они просчитались! В рабочих созрела мрачная внутренняя решимость вытерпеть любые трудности и голод, лишь бы прогнать своих хозяев, один вид которых вызывал у них злобу. Возможно, в другое время они шарахались бы от собственной тени. Но война создала иллюзию того, что национализировать фабрики ничего не стоит. Их работа была основана на заказах и деньгах правительства; в таких условиях до национализации оставался всего один шаг. Вторых, рабочих злил свойственный владельцам «максимализм наизнанку» — упрямство людей, убежденных в своей неза-

менимости. Для рабочих стало делом чести любой ценой доказать этим господам, что они ошибаются. На фабриках возникло опасное стремление навсегда оставить берега буржуазного мира; лучше утонуть в неизвестном океане, чем вернуться назад. Это был странный героизм отчаяния. Отчаяние плохой советчик, но сопротивляться ему невозможно, потому что оно плодит фанатиков.

Эта часть рабочих начала действовать так, словно решила доказать объективность жалоб работодателей на невозможность продолжения работы. Они обостряли каждый конфликт, прогоняли с заводов инженеров, избивали ненавистных членов фабричной администрации, увольняли их, а в конце концов начали нападать на хозяев.

20 сентября Временное правительство получило телеграмму из Харькова:

«Часть рабочих фабрики «Дженерал электрик компани» 18 сентября арестовала всех членов высшего руководства и потребовала согласиться на повышение заработной платы неквалифицированных рабочих. Когда те отказались, их держали под арестом тридцать шесть часов. Государственный прокурор и представители власти никакой помощи арестованным не оказали... В результате рабочие фабрики Герлаха и Пульста последовали примеру товарищей и арестовали свою администрацию на двенадцать часов. Сегодня, 20 сентября, арестовали администрацию Харьковского паровозного завода... Объединенные революционные организации во главе с большевиками на своем последнем собрании 19 сентября приняли резолюцию, которая гласит: «Если в течение трех дней требования неквалифицированных рабочих не будут удовлетворены арбитражной комиссией, то Объединенный Революционный Комитет без колебаний решит конфликт самыми крайними мерами, даже если для этого потребуется арестовать всю ассоциацию промышленников».

Такие телеграммы начали приходить регулярно. Самыми тревожными были телеграммы из Донбасса; владельцы донецких шахт жаловались: «Шахтеры совсем обезумели».

Это были первые лучи кровавого рассвета Красного Октября и начавшейся вслед за ним гражданской войны.

Глава 13

ПРАВИТЕЛЬСТВО И АГРАРНЫЙ КОНФЛИКТ

Коалиционное правительство не сумело проложить новое русло для рабочего движения. Еще более беспомощным оно оказалось в вопросах аграрной политики.

Здесь Главный земельный комитет играл такую же роль, какую в промышленности играл Комитет по вопросам труда. Первое Временное правительство назначило 25 членов Главного комитета: 2 эсеров, 1 народного социалиста, 1 трудовика и 21 кадета или сочувствующего кадетам. В число выбранных членов входили представители губернских земельных комитетов, по одному от каждой губернии; представители разных организаций, отобранные так, чтобы количество делегатов от Советов рабочих депутатов равнялось количеству представителей Временного комитета Государственной думы, а количество представителей Советов крестьянских депутатов — количеству делегатов от соперничавшего с ними Крестьянского союза; представители Союза кооперативов и крупнейших сельскохозяйственных обществ; 11 представителей разных политических партий, в том числе 5 от социалистов и 6 от буржуазных партий. *Ex officio* [по должности (*лат.*). — *Примеч. пер.*] в него входили министр земледелия, его заместитель, а также председатель, специально назначенный Временным правительством (им стал пожилой беспартийный народник, профессор Постников). Главному земельному комитету была предоставлена широкая автономия. Этот орган, в котором правым принадлежало незначительное большинство, сумел парализовать деятельность министра земледелия, эсера Чернова.

Все эти сложности оказались напрасными. Представители губернских земельных комитетов присутствовали только на специальных сессиях; несмотря на их недемократичный состав, эти комитеты отражали местные настроения, которые быстро «левели». Из остальных примерно пятидесяти членов регулярно присутствовала на заседаниях лишь половина. Поворотным пунктом в работе Главного земельного комитета стала его первая сессия, открывшаяся 19 мая. 20 мая специальная комис-

сия предложила пленарному заседанию следующий проект резолюции: «Земельная реформа должна основываться на идее передачи всех сельскохозяйственных земель в пользование трудящемуся крестьянству». Несоциалисты тут же сплотились и потребовали убрать из формулировки слово «всех». Сначала оно было исключено незначительным большинством в четыре голоса. Но после вмешательства министра земледелия Чернова, потребовавшего поименного голосования, к недовольству авторов поправки, было назначено повторное голосование. В результате за сохранение слова «всех» проголосовали 14 делегатов, за его исключение — 4 при 9 воздержавшихся. Это голосование продемонстрировало непостоянство кадетской оппозиции и отсутствие у нее политической смелости. Большинство, сплотившееся после этого первого шага, росло и укреплялось, а оппозиция так и не смогла оправиться от удара. В рядах правых не было единства; кроме того, они не были заинтересованы в работе органа, решения которого им не нравились. Их абсентеизм граничил с пассивным бойкотом.

Главный земельный комитет был слишком громоздким и иногда не способным к реальной работе. Но на первой сессии он избрал относительно однородный президиум, который установил тесный контакт с Исполнительным комитетом Совета крестьянских депутатов. В аграрной политике образовался «треугольник», в центре которого находился президиум Главного земельного комитета, а по бокам — эсеровское министерство земледелия и Совет крестьянских депутатов. Но чем теснее смыкались эти три стороны, тем труднее коалиционному правительству было принять их предложения.

Комитет был абсолютно независим от Временного правительства лишь в одном вопросе: подготовке тщательно обдуманных предложений по законодательной основе нового земельного порядка для Учредительного собрания, которое должно было утвердить проведение радикальной аграрной реформы. Для этого министерство земледелия провело специальную сельскохозяйственную перепись, основанную на богатой статистике русских земств и дополненную лучшими методами зарубежной сельскохозяйственной статистики (в первую очередь американской). Аграрная политика должна была опираться на макси-

мально точные сведения о сельскохозяйственных ресурсах страны. Ее целью было не установление голой «уравнительной» справедливости, при которой общий уровень определяется по слабейшему, а новый подъем производительности труда на основе чисто крестьянского хозяйства. Главной причиной этого повышения должна была стать личная заинтересованность трудящегося крестьянина, гармонично сочетающаяся с заинтересованностью общества и государства. Реформа не должна была превратить бывшего собственника в беспомощного клиента всемогущего патерналистского государства. Она провозглашала равные права для всех, кто обрабатывает землю своим трудом: и те, кто только желал заняться сельским хозяйством, и те, кто уже занимался им, должны были получить строго определенное количество прав, защищаемых законом.

Не менее сложную задачу представляло определение того, каким образом равные права трудящихся на землю будут реализовываться в разных условиях. Национальный валовой доход от сельского хозяйства, разделенный на количество работников этой сферы, выражал данное «равенство прав на землю» чисто абстрактно. Для каждого однородного сельскохозяйственного района и каждой главной отрасли сельского хозяйства эта квота должна была выражаться земельным наделом определенной площади, соответствующей доле национального дохода и рассчитанной по средним местным условиям. Незанятую землю данной местности следовало разделить на соответствующее количество участков. Для существующих крестьянских хозяйств небольшое отклонение вверх и вниз от средней нормы следовало компенсировать не грубым дележом, а увеличенным налогом на «сверхнормативные излишки» (вычисленным по среднесетевому возврату), направляемым в специальный фонд распределения неразделенных земель. Возврат от участка, превышающий средний показатель за счет более тщательной обработки, большей интенсивности агротехники, проведения улучшений и т. д., не подлежал обложению налогом. При таком подходе личный интерес, являющийся в современных условиях самым убедительным мотивом, должен был проявить себя в полной мере. Экономические изменения должна была учитывать хорошо организованная система статистики, причем

вычисленные с ее помощью «нормы» следовало регулярно пересматривать. Конечным результатом должна была стать гибкая система сельскохозяйственного экономического баланса с неограниченной свободой личной инициативы. Увеличение крестьянских наделов за счет уничтожения крупных земельных владений не составляло суть реформы. Это был всего лишь первый шаг на пути к построению организованного и планируемого сельского хозяйства, основанного на свободном союзе крестьянина с землей.

Двадцать четыре комиссии и подкомиссии министерства земледелия трудились день и ночь, готовя для Учредительного собрания детальный план земельной реформы. Результаты работы этих комиссий, грубо прерванной Октябрьской революцией, впоследствии широко использовали законодатели и организаторы сельского хозяйства большевистской революции. Но они пренебрегли ее скрытой целью, логической связью отдельных частей и элементов общего плана, рассчитанного минимум на десять лет.

Главный земельный комитет и министерство земледелия находились в постоянном контакте с сельским населением. Ничего академичного в планировании нового аграрного порядка не было. Жгучие проблемы и конфликты возникали каждый день. Самые главные требования деревни можно было бы удовлетворить только в том случае, если бы Учредительному собранию была предоставлена полная свобода действий.

17 мая, накануне первой сессии Главного земельного комитета, министр юстиции эсер Переверзев с подачи Чернова разослал нотариальным конторам официальный приказ прекратить все сделки с землей. Однако распространился упорный слух, что 25 мая он отменил этот приказ под давлением большинства министров Временного правительства. 1 июня вопрос о «мерах по сохранению земельного резерва до общего решения земельного вопроса Учредительным собранием» был передан на рассмотрение совещания представителей четырех министерств, Земельного банка, ассоциаций взаимного кредита и кооперативов, после чего его положили под сукно. 7 июня новая телеграмма министра юстиции отменила все ограничения на заключение налоговых контрактов, приобре-

тение земель несельскохозяйственного назначения и некоторые другие виды контрактов; 23 июня он приказал «считать циркулярные инструкции о земельных контрактах недействительными». Это был курс «зигзагов». 23 июня Чернов сумел провести через правительство закон об отмене стольпинской земельной реформы, но сразу вслед за этим потерпел два серьезных поражения. Временное правительство отклонило одобренный Главным земельным комитетом законопроект об использовании лугов. Этот закон должен был защитить интересы крестьянства, которое при отмене крепостного права в 1861 г. было лишено своей доли луговых земель; согласно этому проекту, неиспользуемые луга должны были перейти в собственность государства. Кабинет отверг еще один законопроект о регулировании рыболовства земельными комитетами; интересы частных монополий и подрядчиков противоречили интересам рыбаков и потребителей.

Стало ясно, что та же судьба грозит и всем другим законопроектам, а особенно тем, которые регулировали вопросы арендной платы и использования лесов. Министерство внутренних дел и министерство земледелия придерживались диаметрально противоположных точек зрения. 11 июня князь Львов сделал на заседании правительства доклад о массе «революционных» декретов органов местной народной власти, нарушающих законные права землевладельцев. Он предложил признать подобные декреты недействительными и сделать публичное заявление об этом, подписанное им и Черновым. Последний наотрез отказался что-либо подписывать, поскольку отсутствие новых аграрных законов сверху делало неизбежным «сепаратное» законодательство снизу. Несмотря на несовершенство местных законов, это было меньшее зло, чем попытка запретить людям нарушать старое царское законодательство, которая неминуемо закончилась бы беспорядками и анархией в деревне.

В начале революции у части землевладельцев возникла идея саботажа, то есть отказа засеивать свои поля. Во многих местах отношения между крестьянами и землевладельцами накалились до такой степени, что помещикам оставалось только одно: бросить хозяйство и пассивно следить за тем, как оно

умирает. Земельные комитеты больше не могли мириться с таким положением. В Раненбургском уезде Рязанской губернии, центре наиболее консервативных землевладельцев, деревенские и сельские сходы высказались за отмену арендной платы и «черный передел» и предложили земельному комитету «решить этот вопрос». После встречи со специально приглашенными помещиками земельный комитет, на который «произвело сильное впечатление известие о потере почти двух миллионов пудов пшеницы, раньше выращивавшихся в их имениях, пустующих полях и грязном скоте, лежащем в навозе и умирающем с голоду», принял кардинальное решение. Часть имений переходила под его прямое управление, а часть передавалась во временное пользование крестьянам. Как это решение, так и следующее, менее бескомпромиссное, были отменены более высокой инстанцией. Все вернулось в первоначальное состояние; в результате земли остались невспаханными.

Вторая общая сессия Главного земельного комитета прошла с 1 по 6 июля. Делегат из Могилева сообщил, что «по всей губернии расклеен приказ, подписанный двумя князьями, Львовым и Друцким-Соколинским, который грозит суровым наказанием каждому нарушителю старого земельного законодательства». Это заставляет крестьян задавать вопрос, была революция или она им приснилась. Представитель Курской губернии доложил, что губернский земельный комитет вынужден работать в чудовищных условиях. Его сотрудники должны наводить порядок в земельных отношениях, не допускать самоуправства и анархии, но у них нет денег на оплату поездок. Тем временем в умах крестьян созрело простое решение: «Не будем платить помещику за аренду ни копейки, а переведем эти деньги в фонд земельного комитета». Министерство внутренних дел отказывалось поощрять даже менее серьезные шаги. Когда Богородицкий уездный исполнительный комитет обложил помещичьи земли таким же налогом, как и крестьянские, министерство отменило этот «произвольный акт», а в ответ на жалобу об отсутствии денег на поездки предложило провести сбор средств среди крестьян. Вдохновленные такой поддержкой, землевладельцы в некото-

рых местах отказывались платить местные налоги; после этого в Лифляндии местные земельные комитеты конфисковали их имущество и продали его с аукциона. Повсюду попытки земельных комитетов регулировать арендные отношения и арендную плату сопровождались угрозами подать в суд. Губернии громкогласно требовали новых законов, обещанных Временным правительством; министр земледелия мог ответить им только одно: «Законопроекты, направленные во Временное правительство, не получили единодушного одобрения»¹.

Эта вторая сессия рассмотрела и одобрила в принципе проект нового закона о земельных комитетах, который должен был заменить устаревший первоначальный закон. 16 июля этот проект, который демократизировал порядок выбора членов комитетов и расширял полномочия последних, был принят в последнем чтении президиумом Главного земельного комитета, но «не был утвержден Временным правительством». Вместо него правительство приняло декрет от 25 августа, согласно которому земельные комитеты пополнялись представителями казначейства, Дворянского и Крестьянского земельных банков, а там, где филиалов этих банков не существовало, — управляющими филиалами казначейства. Вместо демократизации произошла бюрократизация.

Сессия выразила безоговорочную поддержку министерству земледелия. Она заявила, что работу земельных комитетов «тормозили некоторые инструкции министерства внутренних дел», что «центральное правительство чрезвычайно затруднило работу комитетов, не приняв ни одной важной меры, ни одного важного закона» и что «только решительное изменение этой ситуации может помочь стране дожить до Учредительного собрания и спасти ее от произвольного решения вопроса»².

Даже местные сотрудники органов внутренних дел хорошо понимали нереальность политики их министерства. Уездный комиссар из Самарской губернии заявил следующее: «Я немедленно и без задержки направляю комитетам решения Самарского губернского съезда как обязательные для всех граждан. Телеграфное распоряжение заместителя министра внутренних дел Леонтьева от 27 июля не может быть выполнено». Это было только начало. Затем началась настоящая

эпидемия отставок уездных и губернских комиссаров Временного правительства, вызванных невозможностью выполнять инструкции, присланные из столицы. Еще меньше с телеграммами центрального правительства считались Советы. Например, Казанский совет ответил: «Циркулярами министерства голос крестьян не задушишь... Угрозы тюрьмой и другими наказаниями не заставят Совет отказаться от исполнения воли народа».

Князь Львов не вынес краха своей политики. После приема делегации Союза землевладельцев, потребовавшей точного ответа на все свои вопросы и чрезвычайно довольной результатами этой встречи, Львов поставил ультиматум: «Либо я, либо Чернов».

Союз землевладельцев был создан в 1906—1907 гг. под влиянием страха, вызванного первыми признаками аграрной революции. После триумфа столыпинской реакции дворяне успокоились, и союз распался. Однако в ноябре 1916 г. он возник снова, созданный группой из тридцати трех членов, которую возглавляли обер-церемониймейстер, граф Орлов-Денисов и обер-штаб-лейтенант Н.Н. Шебеко. Кроме того, в нее входили 4 камергера, 6 камер-юнкеров, 1 обер-егермейстер, 2 статс-секретаря, 3 князя и 5 действительных статских советников. Председателем союза сделался один из богатейших людей России, владеец нескольких сотен тысяч десятин земли в семи губерниях П.Н. Балашов.

При царе союз преследовал главным образом материальные цели. Он заключил контракт с министерством земледелия на поставку от 2 385 000 до 4 170 000 пудов овощей и сухофруктов для армии по очень выгодным ценам, с предварительной оплатой 50% общего заказа. Революционное правительство пересмотрело эти слишком щедрые условия и в конце концов аннулировало контракт. Тогда союз сделался глубоко политическим. В меморандуме на имя «его превосходительства министра, председателя Временного правительства» Союз симбирских землевладельцев протестовал против заявления министра земледелия о необходимости «решения местных экономических конфликтов в интересах трудящегося крестьянства». Он требовал либо полного восстановления

прав землевладельцев, либо их освобождения от налогов и податей, а также моратория на закладные. Различные местные отделения Союза требовали «паритета» землевладельцев в земельных комитетах. В комитетах по заготовкам они требовали большинства «для производителей, а не для потребителей» (Кубанский союз производителей пшеницы). Иногда (как в случае с Союзом землевладельцев Ростовского уезда) они требовали «лишить поставок города, жители которых приезжают агитировать за восьмичасовой рабочий день или освобождение военнопленных от полевых работ». На съездах союза ораторы требовали освободить землевладельцев от фиксированных цен на пшеницу: «Они хотят твердых цен, а мы хотим твердого правительства». Самарский союз сеятелей требовал «немедленного принятия декрета, объявляющего недействительными все постановления Советов крестьянских депутатов — органов, не получивших от правительства права вводить какие бы то ни было нормы; то же относится ко всяким земельным и прочим комитетам», узурпировавшим власть. Иногда они предъявляли ультиматум: «Никаких законов по земельному вопросу до Учредительного собрания», потому что «Временное правительство не имеет права» издавать их. На съезде союза в Одессе делегат Сидоренко заявил: «Они получают нашу землю только через наши трупы». Съезд телеграфировал Керенскому требование отставки Чернова. Он заявлял, что Временное правительство «не дало ничего, кроме анархии, вакханалии и беспорядка». Всероссийский съезд союза возражал против отправки приветственной телеграммы Временному правительству: «Мы не желаем благодарить того, кто нас ограбил».

Делегация союза вернулась на съезд, очень довольная князем Львовым. В своем требовании Временному правительству сделать выбор между ним и Черновым князь Львов сформулировал свои претензии к последнему совершенно в духе союза: «Он издает декреты, которые подрывают уважение народа к закону; не препятствует стремлениям к захвату земель; направляет земельные отношения не в то русло и даже, кажется, оправдывает роковые произвольные захваты, происходящие по всей России, констатируя свершившийся факт».

Конечно, со своей точки зрения, князь Львов был абсолютно прав. Законопроекты Чернова не пытались загнать земельные отношения в *старое* русло. Напротив, они приветствовали непреодолимое стремление крестьян к земле, право на которую, с точки зрения народа, принадлежало только трудящимся. Чернов понимал, что единственный путь, с помощью которого создатель аграрного законодательства может избежать «констатации свершившегося факта», в какой бы форме тот ни выразился, — это принятие законодательства, которое не плетется в хвосте событий, как было до сих пор, а торопливо роет новое русло для неудержимого потока.

Уход Львова из правительства только освободил место председателя для Керенского, который в этом конфликте в первый и последний раз выступил на стороне Чернова. Воспользовавшись одновременной подачей в отставку нескольких кадетских министров из-за украинского вопроса и временным численным преимуществом левых, Чернов в конце концов добился принятия закона, запрещающего сделки с земельной собственностью до созыва Конституционного собрания. Единственная уступка, на которую ему пришлось пойти, заключалась в замене запретительной формы внешне более мягкой и сдержанной формулировкой: «В каждом конкретном случае земельный контракт требует специального разрешения местного губернского земельного комитета и его утверждения министром земледелия»³. В Совете крестьянских депутатов и Всероссийском центральном исполнительном комитете Советов Чернова приветствовали громкими овациями. Казалось, что с политикой невмешательства и беспомощных попыток удержать крестьянство в рамках дореволюционного земельного кодекса покончено раз и навсегда.

Но эта надежда вскоре развеялась. Командующий Юго-западным фронтом генерал Корнилов 8 июля отдал приказ по всей прифронтовой зоне: под угрозой уголовного преследования, лишения прав собственности и ареста он запретил всякое «произвольное вмешательство» местных органов в земельные отношения. Кроме того, запрещалось требовать у местных помещиков повышать заработную плату военнопленным или забирать этих пленных из больших имений и передавать их же-

нам солдат. Приказ вызвал волнения как в деревне, так и в армии. Генерал не шутил. За нарушение этого приказа был привлечен к суду земельный комиссар Полтавской губернии. Военные власти приказали рассматривать такие дела немедленно и при необходимости использовать войска. Ободренные этим примером, гражданские суды и государственная прокуратура развернули активную деятельность и за пределами прифронтовой полосы. Они начали арестовывать членов земельных комитетов. Последние потеряли у населения всякий авторитет, и их дальнейшая деятельность стала невозможной.

Чернов предпринял новый шаг: 16 июля он издал «инструкцию для земельных комитетов». В ней подтверждалось право комитетов забирать земли, которые их владельцы не могли обрабатывать, и распределять их среди крестьян. Он подтвердил право местных земельных комитетов быть посредниками при пересмотре арендных договоров между собственниками и арендаторами. Крестьяне, обязанные сдавать излишки фуража на военные нужды по твердым ценам, надеялись правом делать это только после обеспечения кормом собственного скота. Инструкция разрешала использование помещичьего скота и механического оборудования, но только с согласия земельных комитетов и комитетов по заготовкам и под их непосредственным наблюдением. Земельные комитеты должны были наблюдать за охраной лесов от хищнической вырубki и защищать право крестьян брать древесину для собственных и общественных нужд. Обеспечивалась защита образцовых хозяйств, племенного скота и ценных сортов зерновых. В заключение инструкция рекомендовала земельным комитетам удовлетворять справедливые и хорошо обоснованные требования трудящегося крестьянства, считать себя полномочными органами государственной власти и рассчитывать на поддержку министерства земледелия; в свою очередь, последнее приложит все силы, чтобы издать новые законы, призванные «покончить со сложившейся в земельных отношениях ситуацией, сомнительной и неопределенной с точки зрения народного понимания права и закона».

Позиция министерства земледелия тут же вызвала протест министерства юстиции: «Согласно пункту 4 статьи 7 декрета

о земельных комитетах, право последних издавать обязательные для исполнения распоряжения в области аграрных и земельных отношений не дает им права распоряжаться чужой частной собственностью».

Трудно поверить, что такой точки зрения можно было продолжать придерживаться не только в революционное, но даже просто в военное время. Мировая война ограничила право частной собственности множеством инструкций под дамокловым мечом реквизиции.

Министерства заготовок и внутренних дел одновременно разослали соответствующие циркуляры. Циркуляр Чернова был для местных властей лучом света; два других окончательно сбили их с толку, особенно циркуляр министерства внутренних дел, подготовленный еще при князе Львове, но подписанный временно исполнявшим его обязанности Церетели. Этот циркуляр игнорировал неумолимую неизбежность перехода деревни от одного порядка землепользования к другому. Он был напичкан фразами, заставлявшими вспомнить старую бюрократическую утопию: «принять решительные меры против нарушителей закона»; «запретить земельным комитетам превышать свои полномочия»; «преследовать нарушителей по всей строгости закона». Приведем лишь один отзыв, пришедший из провинции:

«Телеграфный циркуляр министерства внутренних дел от 18 июля был передан губернским комиссарам. Его копии уже находятся на руках у местных помещиков, через несколько дней он станет известен всем трудящимся крестьянам и вызовет тревогу за судьбу будущей аграрной реформы... Товарищи! Вас вводят в заблуждение люди, которые сеют бурю и анархию. Вы далеки от чувств деревни»⁴.

Инструкция Чернова была попыткой перекинуть мост между действиями правительства и чувствами деревни. Почему же она подняла такую бурю?

К тому моменту тревоги и опасения сельских помещиков достигли предела; им требовался козел отпущения. Жертвой стали земельные комитеты; партия кадетов и цензовая Россия ощущали себя курицей, высидевшей утиное яйцо. Диктаторский жест генерала Корнилова, явно рассчитанный на

завоевание сердец землевладельцев, подарил последним новую надежду. Но своей инструкцией Чернов санкционировал деятельность земельных комитетов, сделав их исполнителями высшей воли и предложив народу иметь дело только с ними. Это помешало правительству поддаться ожесточенному давлению справа.

Правительство обсудило вопрос, имеет ли министерство юстиции формальное право привлечь министерство земледелия к суду за превышение полномочий. И тут нашлась лазейка. Большевики потерпели первое крупное поражение. Они попытались вывести народ на улицу с лозунгом «Вся власть Советам!», после чего Керенский привел в Петроград войска с фронта. Начались аресты большевиков; правые подняли голову и потребовали распустить не только Советы, но и все большевистские организации. Главной мишенью антисоветской кампании стал Чернов. Возглавил атаку на него Милюков, стремившийся отомстить за свою майскую отставку. Его газета «Речь» обвинила Чернова в «пораженчестве», как участника Циммервальдской конференции социалистических партий, выдвинувшей лозунг борьбы за скорейшее заключение демократического мира. Однако вся публицистическая деятельность Чернова во время мировой войны была посвящена решительной борьбе с «пораженчеством»⁵. Кроме того, его обвиняли в издании «на немецкие деньги» литературы, предназначенной для русских военнопленных в Германии. Единственным поводом для такого обвинения было его участие в «Обществе духовного успокоения русских военнопленных», которое издавало газету «На чужбине». В данное общество входили и такие левые интернационалисты, как М.А. Натансон, и такие правые «оборонцы», как пламенный патриот, полковник Оберучев. В некоторых немецких концентрационных лагерях военные власти даже запрещали распространение этой газеты. Теперь яростная политическая борьба в России достигла апогея, и в ход шло любое оружие. Ценовая Россия выдвинула лозунг: «Никаких циммервальдцев на министерской скамье!» Позже этот лозунг был повторен на московском Государственном совещании казачим генералом Калединым и правым кадетом Маклаковым. Слова «Циммер-

вальд», «пораженчество» и «немецкие деньги» застряли в мозгу филистеров. Сражаться с Великой Земельной Реформой было труднее, чем клеветать на конкретного человека. Грязная волна поднялась еще выше. Наконец распространился слух, что у газетчиков Бурцева и Щеголева, проводивших независимое расследование дел о шпионаже, есть документы, уличающие Чернова в «службе немцам».

Чернов потребовал, чтобы правительство расследовало все его действия; он заявил, что на время оставит свой министерский пост, чтобы облегчить предъявление ему обвинения. В Совете, особенно среди крестьянских депутатов, данная новость вызвала взрыв. Крестьяне заявили, что для деревни это станет искрой в пороховом погребе. Воинственные помещики поднимут голову, а крестьяне, потерявшие всякую надежду на законное решение насущных для них вопросов, станут полагаться на собственные силы и предпримут самые отчаянные действия; результатом станет всероссийский погром помещиков. Чернов успокоил их только с большим трудом, заверив, что клеветники будут быстро разоблачены. На заседании губернских крестьянских съездов царяла тревога. Тамбовский съезд заявил: «Отставка Чернова и задержка в принятии его временных законов неизбежно приведет к беспорядкам и анархии в деревне». Воронежский съезд телеграфировал: «Чернов должен остаться министром земледелия, крестьянским министром. Он — наша поддержка, крестьяне верят ему, надеются на него как на своего главу, который проведет социализацию земли». Кризис в министерстве земледелия вызвал отклик в армии: поток телеграмм требовал ареста Милюкова и грозил, что военные сами накажут клеветников и дезорганизаторов.

После заявления Бурцева и Щеголева о том, что никаких уличающих Чернова документов у них нет, и соответствующего доклада министерства юстиции правительство поняло, что фактическая база обвинения отсутствует. В новом коалиционном кабинете Чернов снова занял пост министра земледелия. Для частичного удовлетворения кадетов Керенский принес в жертву Церетели — видимо, не без тайного удовольствия; более умеренный, чем Чернов, Церетели был опасным

соперником Керенского, поскольку пользовался в правительстве большим влиянием.

30 июля Чернов созвал совещание представителей министерства земледелия, курировавших губернские земельные комитеты. Все как один настаивали на том, что обязанности, возложенные на земельные комитеты, требуют соответствующих полномочий. Без таких полномочий и новых законов комитеты будут бессильны перед судом, и их придется распустить. К Керенскому направили специальную делегацию, которая должна была разъяснить ему всю опасность ситуации. «Глава правительства заявил, что ответить на все вопросы сразу невозможно, и попросил сообщить местному населению, что новые законы будут приняты в ближайшие дни»⁶.

Тем не менее попытка Чернова воспользоваться этим обещанием и заставить правительство принять закон, регулирующий использование общинных лесов, как и прежде, потерпела неудачу. Леса были одной из больших проблем деревни, поскольку спекулянты вздули цены на древесину до такой степени, что она стала крестьянину не по карману. После резких стычек на нескольких заседаниях правительства рассмотрение законопроекта было прервано, а потом передано в согласительную комиссию. Проект вернулся в правительство только 10 октября.

Главный земельный комитет сделал еще одну попытку повлиять на правительство. Председатель комитета, умеренный беспартийный профессор Постников, направил Керенскому новое предупреждение. В письме содержалась жалоба на «нерешительность Временного правительства в принятии мер по наведению порядка в новых земельных отношениях». В таких условиях «земельные комитеты, предоставленные самим себе, без определенных правил и ограничений, пытаются каждый по-своему удовлетворить неотложные требования действительности», результатом чего становится хаотический набор местных решений. Ситуация обостряется попытками органов правительства исполнять существующие законы и применять рискованные меры, включающие аресты местных земельных комитетов». Жизнь двигалась быстро; медлительность правительства могла только обострить сложившуюся ситуацию.

Председатель Главного земельного комитета предсказывал, что продолжение такой политики приведет к полной анархии и саботажу всей аграрной реформы.

«9 августа Временное правительство наконец провело заседание, посвященное аграрному вопросу. Заслушав двухчасовой доклад В.М. Чернова, правительство не приняло никакого решения»⁷.

На этом заседании Чернова атаковало правое крыло. Его обвинили в опубликовании многочисленных (всего их было четырнадцать) проектов законов, еще не одобренных Временным правительством, после чего в губерниях все Советы, земельные комитеты и местные отделения партии эсеров пользовались этими проектами как законами и начинали выполнять их. Чернов ответил, что он будет продолжать публиковать свои проекты (так же поступали и все остальные министерства), потому что считает, что общественность должна знать о деятельности Временного правительства. Идея пассивного сопротивления непреодолимо надвигавшейся аграрной революции была вредной и безнадежной одновременно. Можно было либо законодательно закрепить эти колоссальные изменения в сельском хозяйстве страны, либо с помощью упрямого, но тщетного сопротивления спровоцировать взрыв, хаос, крестьянский пугачевский бунт. В Ельнинском уезде Смоленской губернии было арестовано 14 местных земельных комитетов; в другом уезде — еще 70 человек, охарактеризованных уездным земельным комитетом как «самые лучшие, самые опытные люди, которым доверяет местное население». Если так будет продолжаться и дальше, заявил Чернов, под суд придется отдать три четверти России. Каждый, кто думает, что такое возможно в стране, сотрясаемой революцией, слеп.

Но Чернов и большинство Временного правительства были, по выражению Лассаля, «варварами друг для друга»; они разговаривали на разных языках.

Дальнейшее пребывание Чернова во Временном правительстве стало абсолютно бесполезным. Он несколько раз заявлял об этом Центральному комитету партии эсеров и каждый раз получал один и тот же ответ: его отставка станет катастрофой. Но у руководства партии начало складываться мнение,

что политику Чернова удастся спасти, пожертвовав им лично. Причиной, как и в случае с Церетели, было то, что Керенский не терпел в своем правительстве независимых людей.

Открытый конфликт Керенского с главнокомандующим, генералом Корниловым, обнаживший их сложные и двусмысленные отношения, дал Чернову повод решительно порвать с Керенским и вернуться в Совет.

Первым результатом его отставки стал новый удар, нанесенный земельным комитетам. 8 сентября Временное правительство издало постановление, согласно которому деятельность земельных комитетов и комитетов по заготовкам должна была осуществляться под контролем специальных административных судов.

Казалось, что после этого наступило некоторое улучшение. Министром земледелия стал беспартийный С.А. Маслов, обласканный Керенским. Министр юстиции Малянтович пообещал освободить арестованных членов земельных комитетов. Однако осуществление этой странной необъявленной амнистии задерживалось. Некоторые арестованные были выпущены из тюрьмы только Октябрьской революцией.

Чернов начал энергично защищать свою политику в прессе. Он использовал все способы, включая призывы к элементарному здравому смыслу помещиков:

«Предупредительную роль земельных комитетов не понимали, их работу не ценили, а больше всех были недовольны землевладельцы — те, кого они фактически спасали от куда худшей участи... Они продолжали считать земельные комитеты главным виновником происшедшего. Но земельные комитеты лишь принимали на себя все крестьянские требования. Землевладельцы не понимают, что рубят сук, на котором сами сидят».

На крестьянском съезде относительно спокойной Тамбовской губернии делегаты с тревогой отмечали резкий рост числа помещичьих погромов. Секретариат съезда сделал вывод, что задержка выполнения декларации правительства делает «такие беспорядки неизбежными: начавшись в одном месте, они вызовут взрыв и распространятся по всей стране. Если эта декларация не даст результата, деревня скоро прогонит и

Советы крестьянских депутатов, и земельные комитеты; до сих пор мы не получили ничего, кроме слов».

Чем быстрее развивались события, тем настойчивее Чернов вел свою кампанию. Наконец он издал глас вопиющего в пустыне: «Мы не можем ждать. Ответственность правительства в такой момент слишком велика. Предотвратите пожар и передайте землю под контроль земельных комитетов!»

Но правительство до самого конца двигалось со скоростью улитки. Только в середине октября Маслов представил законопроект «о регулировании земельных и аграрных отношений земельными комитетами». Чтобы провести его через «игольное ушко» Временного правительства, Маслов внес ряд изменений в политику Чернова. Обрадованный Ленин тут же ударил в набат: «Эсеры... предали крестьян, предали крестьянские Советы и перешли на сторону землевладельцев»⁸ Но даже это не помогло. Правительство собралось для обсуждения данного проекта 24 октября, однако ему пришлось решать более неотложный вопрос защиты столицы. Начался государственный переворот: большевики триумфальным маршем шли по улицам.

Тем временем отсутствие ясной и четкой правительственной политики вело аграрную проблему к неминуемому столкновению между максимализмом крестьян и максимализмом помещиков. «Мы не признаем возможности отчуждения земли без выкупа, — заявил граф Олсуфьев на Саратовском губернском съезде землевладельцев, — потому что это будет не актом государственной власти, а форменным грабежом». Иными словами, с точки зрения поместного дворянства, его «земельный суверенитет» был выше суверенитета государства.

Однако крестьяне считали, что это помещики должны платить за многолетнее использование «общей», «Божьей» или «царской» земли; они ни за что не согласились бы платить дворянам за землю, «политую кровавым мужицким потом». Крестьянин с его полумистической идеей Матери-Земли категорически отвергал мысль о выкупе. Но у него были и другие мотивы, чисто практические.

В самом начале революции профессор Каценеленбаум подсчитал стоимость выкупа земли. «Общая сумма компенсации равнялась бы пяти миллиардам рублей»⁹. Государство находи-

лось на краю банкротства. Россия была обязана либо отказаться от земельной реформы, либо провести ее без выкупа.

У этого вопроса была и другая сторона. Профессор Каценеленбаум подсчитал, что «после завершения выкупа казне пришлось бы выплачивать триста миллионов рублей годовых процентов по старым и новым долгам». Крестьяне платили дворянам около трехсот миллионов рублей в год за аренду. После реформы помещики получали бы те же триста миллионов рублей в год, но под другим названием.

«Разве для этого мы боролись десятки лет? Разве для этого мы делали революцию?» Именно так выражались крестьяне, когда сторонники выкупа пытались объяснить, как можно организовать финансовую сторону земельной реформы.

«Такие ораторы нашему мужику не нравились. Долой ораторов, которые хотят нас заставить платить помещикам; на черта нам такая свобода?»¹⁰

Без положительного решения вопроса о выкупе временная «умиротворительная» политика не имела для землевладельцев смысла. Предлагали ли им компромисс? Возможно, помещики согласились бы на него, если бы компромисс обеспечивал им надежное будущее. Но такой компромисс был бы временным, поскольку окончательное решение по земельному вопросу должно было принять Учредительное собрание. А какое решение оно могло принять? Только об уничтожении частной собственности на землю. Что мог дать помещикам такой компромисс и что они теряли, отвергая его? Они бы ничего не приобрели, а терять им было нечего, потому что надеяться на Учредительное собрание не приходилось.

Конечно, при политике компромисса все прогрессивные имения и более развитая агротехника, применявшаяся помещиками, сохранились бы и влились в новый сельскохозяйственный порядок. Сменилась бы только вывеска. Такие поместья стали бы образцовыми хозяйствами, которыми управляли бы государство, земства или уездные кооперативные общества. Государство, прогрессивные крестьяне и министр земледелия Чернов стремились добиться этого с помощью плана государственной земельной реформы. А что же обиженное помещичье дворянство? Разве у него не было искушения сказать: «Если все

это перестанет быть моим, так не доставайся же ты никому»? Чем хуже, тем лучше! Пусть они вламываются в особняки, растаскивают их по кирпичику и делают плоды своей «уравниловки», пусть грабят леса, ломают и жгут!

На всероссийском Государственном совещании официальный представитель Союза землевладельцев закончил свою речь знаменитой фразой: «Вы говорите, что с нашей собственностью на землю покончено? Пусть так! Мы понимаем, что раздел земли неизбежен. Пусть будет дележ, пусть будет «черный передел», но только не дележ по-черновски!»

У общественного класса, которому грозит полное уничтожение, неизбежно развивается «героизм отчаяния». Среди многочисленных призывов, ходивших в кругах землевладельцев, особенно любопытен один документ. «Будущие пролетарии, российские землевладельцы, соединитесь!» — таким лозунгом начинался призыв Союза обездоленных землевладельцев. А заканчивался он следующим образом:

«Так же, как социалисты не признавали самодержавие, когда его признавали все, мы не можем признать преступную, грабительскую республику. Мы не можем избежать разрушения, не можем избавить наших детей от голода, но никогда не подчинимся приказам преступного правительства, которое хочет узаконить всеобщий разбой, грабеж и воровство. Нам не будет места в нашем несчастном отечестве так же, как его не было у социалистов. Но когда у социалистов не осталось выбора, они перешли к тактике террора и мести. Разоренных землевладельцев будут сотни тысяч; у десятой части этих несчастных хватит мужества однажды темной ночью прийти с коробкой спичек и бутылкой керосина в десятки тысяч бандитских сел и деревень, где вскоре состоится трогательное братание рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые побегут туда после банкротства заводов и фабрик, и устроить всероссийский пожар, после которого не останется ни домов, ни лесов, ни полей. И в этой страшной, неминуемой мести мы найдем свое единственное утешение»¹¹.

Подобные документы считались таким же курьезом, как анонимные угрозы, ежедневно поступающие по почте министру-социалисту Чернову. Часто это были грозные смертные

приговоры от имени существующих или придуманных организаций, где прописные буквы для вящего эффекта были написаны кровью.

Угроза партизанской войны в деревне могла бы стать реальностью, если бы помещики могли объединиться с зажиточными элементами деревни. Речь идет не столько о кулаках, классе ростовщиков-паразитов, которых в деревне ненавидели (этот класс был экономически важен, но рассеян и малочислен), сколько о группе «хуторян», составившей почти четверть крестьянской России. Они появились благодаря политике Столыпина, целью которой было создание в России класса экономически сильных фермеров западноевропейского типа. Помещики действительно планировали объединиться с этими элементами в национальный Союз землевладельцев, который вышел на политическую арену с большим шумом и треском. Но за немногими исключениями, результаты его деятельности не стоили потраченных усилий. Хуторяне, вынужденные выбирать между обреченным поместным дворянством и многими миллионами крестьян, обычно долго не медлили. И в самом деле, медить они не могли.

Газеты того времени пестрели следующими заметками:

«В деревне Свищевка Спажковского округа Саратовской губернии владельцы мелких крестьянских хозяйств и хуторяне объединились и решили поддержать партию социалистов-революционеров. Чтобы избежать споров из-за земли до созыва Учредительного собрания, они решили оставить каждому землю, которой тот владеет в настоящий момент, но тот, кто не в состоянии обрабатывать свой надел собственными силами, должен передать ее в коммуну с помощью земельного комитета».

«Решение. 14 июля 1917 г. мы, нижеподписавшиеся жители деревни Анастасино Широко-Уступского округа Аткарского уезда, все владельцы хуторов, узнали, что крупные землевладельцы и помещики создали союз для защиты своей частной собственности и для количества хотят привлечь в него нас, хуторян. Возмущенные наглостью части землевладельцев, заявляем, что мы, хуторяне, никогда не предадим наших несчастных безземельных братьев-крестьян и не вступим ни в

какой союз с нашим общим врагом. Мы ждем Учредительного собрания, чтобы отдать наши земли членам коммуны, у которых нет своих хуторов. Мы не возражаем и никогда не возражали против превращения наших хуторов в коммуну»¹².

Однако Союз землевладельцев сумел найти отклик в определенных кругах. На съезде рязанского филиала этой организации местный предводитель движения землевладельцев Казаков обрадовал делегатов следующей новостью: «Совет Всероссийского союза землевладельцев установил тесный контакт с Советом съездов представителей торговли и промышленности и достиг взаимопонимания с банками, особенно земельными». В Тамбовской и Пензенской губерниях организации землевладельцев и промышленников работали рука об руку. Из Тулы в адрес министерства внутренних дел пришла телеграмма, описывавшая анархию в губернии и требовавшая прислать кавалерийский полк. Она была подписана Союзом землевладельцев, Союзом промышленников и Союзом духовенства Тульской епархии.

В самой деревне российские землевладельцы добились определенных успехов. Например, в июле их Новгород-Северское отделение насчитывало свыше 3000 членов, Полтавское — 2500, а Сергиевское, Одесское, Екатеринославское и некоторые другие — около 500 членов каждое. Конечно, по сравнению с количеством мужиков в серых шинелях это была мелочь. Возможно, главным направлением деятельности этих отделений был поток жалоб в адрес Временного правительства, осуждавших действия крестьян и требовавших восстановить нарушенные права собственности. Министерство внутренних дел отвечало на жалобы таким же потоком телеграмм своим губернским комиссарам, а ответы последних снова и снова доказывали надуманность этих жалоб. Комиссар очень беспокойного Раненбургского уезда Рязанской губернии докладывал:

«Тщательное расследование не подтвердило ни одной из огромного количества жалоб. Из-за фальшивых обвинений труд людей и финансовые средства потрачены зря. Несомненно, это было попыткой подорвать силы земельного комитета и посеять раскол среди населения, что в первые два месяца революции сделать было очень легко»¹³.

На второй сессии Главного земельного комитета представитель Нижне-Новгородской губернии доложил, что крестьяне говорят только об одном: мы устали ждать, мы ждали триста лет, а теперь, когда мы завоевали власть, больше ждать не хотим.

А чего им было ждать? Им сказали: Учредительного собрания. К несчастью, это собрание с удручающей регулярностью откладывалось. Лучшего способа вызвать у крестьян ненависть к Учредительному собранию нельзя было придумать.

Именно поэтому идея о том, что Учредительного собрания ждать не нужно, а нужно взять землю сразу, нашла множество сторонников. На второй сессии Главного земельного комитета представитель Смоленска сообщил о разговорах крестьян Сычевского уезда: «Они все толкуют об Учредительном собрании. Небось Николашку свергли без всякого Учредительного собрания; почему бы и нам не стереть помещиков с лица земли тоже без него?» Большевики оказались тут как тут и начали их подзуживать: «Это можно. Надо только установить диктатуру рабочих и крестьян, и все проблемы будут решены в два счета, одним росчерком пера на революционном декрете».

Однако помещиков это ничуть не пугало. Диктатура, большевизм — какая разница, если Учредительное собрание все равно не оставит им землю и решит не платить за нее? «Чем хуже, тем лучше» — пусть все идет самым кровавым и деспотичным путем. На этом *reductio ad absurdum* [доведении до абсурда (лат.). — Примеч. пер.] революция и свернет себе шею.

Позже даже прогрессивный и осторожный крупный землевладелец и октябрист Шидловский писал:

«Я думаю, что большевики, сами того не подозревая, со служили России огромную и незабываемую службу, разогнав Учредительное собрание под председательством Чернова. Ничего хорошего из этой затеи не вышло бы все равно; оно было не менее вредным, чем большевизм, хотя без диктатуры и террора; я чувствую, что если стране было суждено пережить суровый кризис, то уж лучше выпустить наружу всех чертей сразу, чем делать это постепенно»¹⁴.

Если так говорили люди, уже пережившие ужасы диктатуры и террора, то тем легче им было придерживаться «не-

гативного максимализма», когда «диктатура пролетариата» была всего лишь туманной абстрактной идеей, еще не выразившейся в крови и терроре.

На какое-то время у помещиков возник луч надежды, связанный не с созданием сильной организации, способной подавить крестьянское движение, а с расколом и дезорганизацией внутри этого движения.

Крестьяне присоединились к советской демократии. Они добавили к существовавшим Советам рабочих и солдатских депутатов свои Советы крестьянских депутатов, в которых большинство принадлежало эсерам. Раньше, в 1905 г., существовал беспартийный Всероссийский крестьянский союз. Теперь после трений с Крестьянским союзом партии социалистов-революционеров его лидеры решили восстановить организацию с прежним названием.

12 марта назначивший сам себя Главный комитет Крестьянского союза обратился к народу со своим первым воззванием. Без всяких угрызений совести он объявил себя «священным союзом всех классов» и убеждал крестьян «не мешать частным собственникам и не вмешиваться в их дела... Пусть и помещики засевают свои поля». Обращение заканчивалось словами о необходимости «восстановления свободного обмена, нарушенного царским правительством» — иными словами, отмены политики твердых цен на сельскохозяйственную продукцию. Защита промышленного капитализма соответствует интересам страны, так как торговля и промышленность, «свободные от вмешательства государства», обогащают страну и казну. Если же капитал «не находит выгодных условий», он «легко перетекает в другие страны» и даже попадает «в банки наших врагов».

Крестьянский союз не дерзал нападать на Советы крестьянских депутатов с открытым забралом. Он даже участвовал во Всероссийском съезде крестьянских Советов. С его точки зрения, Советы были органом, существовавшим только до Учредительного собрания, чтобы наблюдать за Временным правительством и поддерживать министров-социалистов. Напротив, Крестьянский союз должен был стать постоянной политической организацией, представляющей интересы деревни. Главный комитет Крестьянского союза ясно давал понять,

что в отличие от Советов, поддерживающих социалистов, он безоговорочно поддерживает все Временное правительство в целом.

Логика ситуации диктовала Крестьянскому союзу, что он должен созвать свой Всероссийский съезд сразу за Всероссийским съездом крестьянских Советов. Эта сепаратистская тенденция союза вызвала тревогу у вождей крестьянских Советов. Крестьянское движение оказалось решительно расколотым. Лидерам союза пришлось выбирать между союзом и Советами. Многие из наиболее видных представителей союза выступили за его ликвидацию. Министры-социалисты Пешехонов и Чернов также отказались участвовать в съезде союза. Остальные члены Главного комитета упорно защищали свою позицию и все же сумели созвать съезд 31 июля в Москве. После того как президиум отказался предоставлять слово тем, кто выступал против самостоятельного существования союза и за его слияние с Советами, меньшинство демонстративно покинуло съезд. Часть делегатов разъехалась. Оставшиеся в количестве ста пятидесяти человек (к концу их было меньше сотни) настояли на выборах Организационного комитета. Московский съезд закончился полным провалом. Он не поддерживал никакого сравнения со Всероссийским съездом Советов крестьянских депутатов, на котором присутствовали 1353 делегата. После съезда в провинции началась борьба между Советами крестьянских депутатов и местными отделениями союза, которую выиграли первые, после чего последние почти полностью потеряли влияние. Исключениями были Дон и Украина.

Характерно, что после сильного давления слева съезд Крестьянского союза выражал свой «правый» характер только в области абстрактной политики. В общественном смысле он жестоко обманул надежды цензовой демократии. Вместо «свободы обмена» он потребовал установления твердых цен на промышленные товары, «передачи всей земли в пользу трудящегося крестьянства без выкупа» и отмены «частной собственности на землю».

Теперь помещикам оставалось только одно: попытаться отсрочить созыв Учредительного собрания, а тем временем вы-

жать из своих имений все что можно. Именья можно было закладывать и перезакладывать; это давало их владельцам намного больше, чем правительственная компенсация. Можно было «снять сливки», вырубив ценные леса, продав породистый скот и механическое оборудование. Можно было реально или фиктивно разделить имение на части, чтобы скрыть излишки земли по сравнению с нормой, гарантированной после конфискации. Землю можно было продать иностранцам, права собственности которых защищали другие государства. Безудержная спекуляция земельными участками стала обычным делом.

Крестьянство тут же почувствовало новую угрозу. «Берегитесь, хозяева, вы больше не обведете нас вокруг пальца. Только попробуйте украсть у нас землю», — слышалось повсюду. Теперь первым и всеобщим требованием деревни стал запрет на всю продажу, заклад, дарение земли и т. д. до Учредительного собрания; вторым — передача имений со всем скотом, оборудованием, лугами и прочим под контроль земельных комитетов, которые должны были не допустить их краха. К старым спорам об арендной плате, военнопленных, оплате труда батраков, покосах и лесах добавились новые. Это предполагало постоянное присутствие крестьян в имении. Не продал ли землевладелец свой племенной скот? Правда ли, что он заложил землю или продал лес? Считая дворянские имения законным наследством победившего народа, деревня установила их охрану. Там, где дворяне были более стоворчливы, восстановились мирные и даже соседские отношения. Но там, где помещики сопротивлялись — а где они не сопротивлялись? — их максимализм провоцировал ответный максимализм крестьян.

Почва для большевиков была подготовлена. Большевизм начал проникать в нее, пользуясь примитивными инстинктами, царившими в примитивной среде.

Крестьянин-большевик так описывает рождение сельского большевизма в Тамбовской губернии:

«На сходке крестьяне разделились на две группы. Одна предлагала забрать землю у дворян в соответствии с каким-то порядком и пропорционально разделить ее среди насе-

ления, но сохранить помещичьи постройки для культурных целей. Вторая предлагала немедленно сжечь имения, не оставив от них камня на камне. Они говорили: «Если все делать по порядку, мы никогда не прогоним помещиков из их имений».

Вторую группу, группу пролетариев, составляли бедняки, и их было большинство. Примерно в десять часов вечера толпа, ощутившая свою громадную силу, отправилась в имение Романова. Она вломилась в дом, вытащила хозяина на улицу в одной ночной рубашке, и началась месть... Они сожгли засеянные поля и имение, а потом принялись грабить дом.

Набат разбудил другие деревни; крестьяне села Ярославка отправились грабить и жечь имение Давыдова, крестьяне Тидворки и Екатеринина сожгли имения Ушакова и Комарова, в деревне Бажово сожгли имение Волосатова-Заева, а в ночь с 7 на 8 сентября начались пожары в имениях и нашего округа. Утром 8 сентября толпа людей шла по дороге в деревню с краденым имуществом: кто с мешком пшеницы, кто с кроватью, кто со скотом, а кто со сломанным креслом»¹⁵.

В Черниговской губернии толпа ворвалась в имение бывшего предводителя дворянства Судьенко. «Имущество, мебель, утварь и т. д. разделили между крестьянами; каждый взял что мог. Землю тоже поделили, а все постройки сожгли. В особняке было много редкостей и огромная библиотека, которую крестьяне пустили на самокрутки. Перед тем как сжечь дом, картины знаменитых художников разрезали на куски, чтобы сшить из них штаны...»¹⁶

Дворяне ни за что не хотели «передела по-черновски». Они предпочли «черный передел» и получили его.

О да, они думали, что все выйдет по-другому. Они считали, что дикие крестьянские эксцессы заставят Временное правительство расстаться с нерешительностью и послать на усмирение крестьян военные части.

Это было бы настоящим безумием. Нет лучшего способа деморализовать армию, чем послать ее, на 90% состоящую из крестьян, подавлять движение миллионов своих братьев.

В Самарской губернии восстание подняли солдатские жены: «Дайте нам косить помещичью траву. За что наши мужья страдают третий год? Помещики привели из Хвалынска отряд солдат. Но когда солдаты — сами крестьяне — увидели, что мужики косят сочную траву, то тоже начали косить; они устали от винтовок. Крестьяне кормили солдат, беседовали с ними, а потом работали еще усерднее».

В Тамбовской губернии солдат вызвал князь Вяземский. Крестьяне встретили их криками: «Что вы делаете? Пришли защищать князя и убивать своих отцов? В реку их!» Командиру пришлось в голову выстрелить в воздух. Получив удар камнем, он приказал солдатам рассеять толпу, но те не сдвинулись с места. Офицер пришпорил лошадь и ускакал от разъяренных крестьян на другой берег реки. Его отряд рассеялся и позволил толпе схватить князя. Они арестовали Вяземского и послали на фронт как «уклоняющегося от призыва». На ближайшей железнодорожной станции князя линчевал отряд сибирских ударных частей, направлявшийся на фронт.

В Славуте Изяславского уезда Волынской губернии отряд из пятидесяти казаков был послан в имение князя Сангушко, чтобы умиротворить крестьян. Неподалеку была расквартирована пехотная часть, вернувшаяся с фронта. Как только казаки уехали на разведку в лес, солдаты «присоединились к крестьянам. Сначала они вломались во дворец князя. Князь пытался бежать. Солдаты быстро рассредоточились и начали его искать. Обнаружив Сангушко у крутого моста, они взяли его на штыки, трижды подняли в воздух, а на четвертый раз штык вонзился ему прямо в сердце. Не трата времени даром, солдаты и крестьяне вытащили из особняка три несгораемых ящика с несколькими миллионами рублей золотом, серебром и ассигнациями, раздали деньги бедным, а потом сожгли княжеские хоромы. Затем крестьяне, никого не боясь, начали дерзко делить землю»¹⁷.

Крестьян в серых шинелях, возбужденных городской революцией, посылали против крестьян, которые не могли и не хотели продолжать жить по царским аграрным законам после свержения самодержавия. Более самоубийственной политики нельзя было себе представить.

Глава 14

ТУПИК В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

Знаменитый французский географ Элизе Реклю в 1905 г. писал:

«Московское восстание, как и Французская революция, займет достойное место среди выдающихся периодов истории человечества... Борьбу за равноправие начнет рабочий класс. Крестьяне также втянутся в процесс великой революции. Но наряду с классовым возникает другой вопрос, который, несомненно, глубоко волнует народы России, говорящие на разных языках и находящиеся на разных уровнях национального развития. То, что называют Россией, представляет собой бесконечное пространство, завоеванное царем и населенное разными угнетенными народами; наконец, есть огромная страна под названием Украина, лишенная права на собственный язык и литературу. Финны, племена туранского происхождения [то есть с Туранского нагорья в Центральной Азии. — *Примеч. пер.*], башкиры, татары, калмыки... Шесть миллионов евреев, вынужденных жить в пределах черты оседлости... Грузины, которым царь всерьез обещал уважать их независимость; армяне... Ряд угнетенных народов в глубинах Азии... Все они ждуг свободы, которую принесет им революция!»

Казалось, маститый географ предсказал тот состоявшийся в сентябре 1917 г. грандиозный Съезд народов России (поляков, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, грузин, мусульман, молдаван и казаков), который объявил федеральную форму правления единственной, которая достойна новой России. Съезд приветствовали специальные представители Временного правительства, выразившие полное сочувствие этой основополагающей идее. Но в то же самое время Временное правительство переживало острый конфликт с крупнейшим из «субъектов» будущей федерации — Украиной.

Изю всех великорусских партий пункт о федеральном устройстве государства имелся только в программе партии социалистов-революционеров. Ему отчаянно сопротивлялись все буржуазные партии, включая самую прогрессивную из них — кадетскую. Кадетские лидеры и юристы сыграли важную роль

в том, что все или почти все малые народы отвернулись от Временного правительства. У российских социал-демократов (как большевиков, так и меньшевиков) идея федерации также не пользовалась популярностью.

Существовали доктринеры единого Государства с большой буквы, идолопоклонники централизации власти — единственной, которая могла определять весь спектр местного самоуправления «по своей милости». Были доктринеры экономического объединения и централизации, а также концентрации «не имеющего отечества» пролетариата благодаря росту концентрации «не имеющего отечества» капитала.

Ни те ни другие не обращали внимания на важный факт: если Французская революция дала миру Декларацию прав человека, то Великая русская революция должна была дать такие же права национальностям — тем живым коллективным сущностям и агентам культурной истории человечества, которые ни один доктринер в мире не смог бы убедить отказаться от их основополагающей идеи «не человек для субботы, а суббота для человека»; иными словами, национальная экономика и государство существуют для людей, а не люди существуют для государства и национальной экономики.

Центром украинского национального движения был Киев. Революция произошла там абсолютно бескровно. Местные общественные лидеры — от торговых палат и военно-промышленных комитетов, земств и муниципальных органов до редакций газет и студенческих организаций, кооперативных обществ и профсоюзов — создали Совет объединенных гражданских организаций. Этот совет избрал Исполнительный комитет, ответственный перед своими выборщиками и одновременно выступавший местным представителем во Временном правительстве. Украинские города были сильно русифицированы. Это повлияло на национальный состав Исполнительного комитета, подавляющее большинство которого было чуждо украинскому национальному движению. В сущности, Исполнительный комитет Совета объединенных гражданских организаций был сборным пунктом русского меньшинства на Украине.

Одним-двумя днями позже возникла другая организация — на первый взгляд, очень скромная. Она включала делегатов от

Украинского научного общества, Украинского педагогического общества, Национального украинского союза, кооперативных и студенческих организаций. Организация назвала себя Центральной Украинской радой (то есть советом). Она направила приветственную телеграмму князю Львову и Керенскому и выразила надежду на то, что «в свободной России будут удовлетворены все законные права украинского народа». Одновременно она обратилась ко всем губернским организациям с просьбой послать делегации во Временное правительство, чтобы заявить о неотложных нуждах украинского народа, создать культурные и образовательные организации и собрать деньги для национального культурного фонда.

На первых порах эта организация не привлекла к себе большого внимания. Луч прожектора был наведен на Гражданский комитет, Совет рабочих депутатов и Совет солдатских депутатов. Прежняя цензовая городская дума была преобразована и включила представителей демократических организаций. В Советах вспыхнула борьба между большевиками и меньшевиками. Стремительно росли профсоюзы. Украинское национальное движение, находившееся в стороне от этих чисто городских движений, росло почти незаметно. Его базой было крестьянство, та скрытая часть народа, которая сохранила неизменный национальный жизненный уклад, идущий из далекого прошлого. В конце марта киевское губернское земство заявило о своем стремлении стать «национальным украинским земством». Был создан Центральный украинский совет кооперативов. На празднике в честь революции впервые появились национальные украинские знамена и плакаты с лозунгом «Хай живе вільна Україна! (Да здравствует свободная Украина!)». Съезд украинских офицеров объявил себя «Офицерской военной радой». Был создан клуб военных независимой Украины. Начался набор добровольцев в полк имени Богдана Хмельницкого.

В апреле украинское движение вышло на авансцену. Была организована первая чисто украинская демонстрация, в которой участвовали десятки тысяч человек. Ее политический спектр был очень широк. Лозунги «Ура федеральной республике» и «Свободная Украина в свободной России» соседство-

вали с лозунгом «Независимая Украина со своим гетманом!». Перед портретом украинского национального поэта Тараса Шевченко толпа поклялась не прекращать борьбы до тех пор, пока не будет создана свободная автономная Украина. Была принята резолюция о поддержке центрального правительства; выражалась надежда на то, что оно признает украинскую автономию и примет меры по украинизации местных органов. Эта демонстрация сильно способствовала подъему украинского национализма.

К середине апреля Центральная рада очень окрепла; к ней присоединилась Украинская социал-демократическая партия. В первой декаде мая рада объявила о созыве Украинского национального съезда. На него приглашались представители всех культурных, политических, профсоюзных и прочих организаций, которые поддерживали идею автономии Украины. Эта новость вызвала сенсацию. Первым забил тревогу Киевский комитет большевиков, узнавший от еврейских социалистических организаций, что рада собирается объявить свой съезд украинским Учредительным собранием. Однако у ведущих партий рады хватало политической интуиции. Большевики принципиально возражали против разделения пролетариата национальными барьерами и государственными границами. Они решили вступить в борьбу с украинским сепаратизмом и заставить Украинскую социал-демократическую партию противостоять «центробежным силам»¹. Этот вопрос обсуждался на конференции всех социалистических партий, а также на совместной конференции Советов и беспартийных политических ассоциаций. Председатель рады историк Грушевский привел убедительные разъяснения. Украинскому национальному съезду предшествовали съезды Украинской социал-демократической партии и вновь образованной Украинской партии социалистов-революционеров; последняя добавила к требованию украинской автономии требование создать отдельный украинский земельный фонд. Обе партии с небольшими расхождениями выступили за автономию Украины и федеративное переустройство России. Эта точка зрения и была принята за основу Украинским национальным съездом, на котором преобладали умеренные украинские националис-

ты (так называемые поступовцы, то есть постепенновцы), радикальные демократы и автономисты-федералисты. Съезд приветствовал киевский комиссар Временного правительства, а председатель съезда Грушевский в ответной речи пообещал «полную поддержку» петроградскому Временному правительству.

Однако несмотря на обмен официальными приветствиями, факт оставался фактом: движение городской революционной демократии (оно же движение русского национального меньшинства на Украине) и украинское национальное движение, по преимуществу сельское, казалось, существовали в разных измерениях, наблюдая друг за другом с недоверием и непониманием.

Для проявления этого недоверия требовался повод. Он вскоре нашелся. На пересылочном пункте скопилось около трех тысяч солдат, ожидавших формирования частей и отправки на фронт. Возникла идея, тут же поддержанная радой, о формировании полностью украинской части — полка имени Богдана Хмельницкого. Рада заявила властям, что национальное единство сильно повышает боеспособность части; что украинцы, рассредоточенные по всей армии, страстно желают объединиться; что лучше руководить этим стремлением, чем не удовлетворить его и тем самым создать почву для агитации. Рада предприняла несколько попыток сформировать украинские полки среди тыловых частей. Она также объясняла свои действия требованиями фронта, но призывала сделать это без лишнего шума, который могли неправильно понять.

Через день после принятия радой соответствующей резолюции идею создания специального украинского полка единодушно отвергло объединенное собрание исполнительных комитетов Советов, Гражданского комитета, Комитета депутатов частей Киевского военного округа и Объединенного совета студентов. Это был настоящий «вотум недоверия». Ответ последовал быстро. Через два дня, 1 мая, состоялся украинский военный праздник. Его устроили солдаты, объявившие себя первым украинским полком и принявшие лозунг «За войну до победного конца под знаменем Украины». Полк выразил доверие Временно-

му правительству, Совету рабочих депутатов и даже Государственной думе. Когда председатель «ненационального» Совета солдатских депутатов, социал-демократ Таск попытался убедить солдат отказаться от лозунга «украинизации», его едва не арестовали. Командующий Киевским военным округом генерал Ходорович попросил солдат разойтись и вновь собраться вечером для обсуждения этого вопроса. На собрании, продолжавшемся до поздней ночи, представители солдат наотрез отказались перестать считать себя украинским полком.

Русское революционно-демократическое меньшинство не понимало того, что происходило у них на глазах; своими протестами оно, как и военное командование, только подливало масла в огонь. Причина волнений украинцев была ясна: создание национальных частей из польских солдат. В свое время украинцы сильно страдали от поляков и помогли России одержать историческую победу над Польшей, поэтому они были недовольны этой несправедливостью; даже в свободной России украинцам не позволяли делать то же, что позволили полякам. Украинский социал-демократ Неронович был вдвойне прав, когда заявлял, что работу по организации украинских полков русской и украинской демократии следует вести совместно, потому что иначе «этим воспользуются украинские «твердолобы» и используют для своих шовинистических целей». Еще один член этой партии, Винниченко, предупреждал, что любое другое решение вопроса «может вызвать беспорядки в тылу и на фронте». Но даже генерал Брусиллов, единственный постепенновец среди военного командования, разделял чрезвычайно упорное предубеждение против создания частей по «национальному принципу». Он заявил: «Киевский гарнизон достаточно силен для того, чтобы командующий военным округом мог с его помощью подавить беспорядки». Легко представить себе, как эти слова действовали на украинцев и какую реакцию вызвал у них приказ «отправить три тысячи украинцев на фронт в составе обычных частей».

Это было характерной чертой времени. Люди, считавшие себя, в отличие от «партийных фанатиков», сторонниками «реалистической политики» в революции, постепенно прини-

мали все более жесткие решения во имя «государственности», не думая о том, выполнимы ли эти решения или от них придется отказаться. Произошло именно последнее. 5 мая украинская рада «с удовлетворением приняла заявление главного командования о формировании первого украинского полка». Случись это на неделю раньше, оно вызвало бы в украинских кругах вспышку энтузиазма. Однако после упрямого, но короткого сопротивления данное заявление было воспринято как признак слабости, подорвало авторитет власти и заставило людей думать, что у правительства можно вырвать уступки, ставя его перед свершившимся фактом.

После этого украинские «сепаратисты» (в то время все украинские партии отрицали любые связи с этой не пользовавшейся влиянием, но агрессивной группой) подняли голову. Узнав о предстоящем региональном съезде Советов, они убедили мелкие организации направить туда как можно больше делегатов. На съезд прибыло около двухсот делегатов, большинство которых составили представители националистов. Тут организаторы съезда потеряли голову. Они заявили, что окружные собрания не являются Советами, и решили признать лишь двух представителей от каждого уезда и четырех от каждой губернии. Крестьяне заволновались и потребовали признать полномочия всех делегатов. После долгих и утомительных переговоров всех делегатов допустили к участию в первом торжественном заседании. Вместо объединения крестьянства с городским населением и украинцев с неукраинцами съезд успешно разделил их на два лагеря. Крестьянская секция съезда приняла резолюцию, требовавшую создания федеративной республики с национальной и территориальной автономией Украины, создания центрального украинского земельного фонда и постепенной украинизации воинских частей. Когда организаторы съезда заявили, что на следующие заседания будет допущено только по два делегата от уезда, крестьянская секция расценила это как издевательство над крестьянами, решила бойкотировать съезд и разъехаться по домам. Формальный разрыв стал свершившимся фактом.

Группы, представлявшие национальное меньшинство и бывшие по симпатиям великорусскими, пытались опроверг-

нуть красноречивое напоминание украинской деревни, что они являются не хозяевами страны, а такими же иммигрантами, как украинцы в Великороссии. Но деревня была не одинока. Конференция украинских студентов, проходившая в то же время, заявила, что все украинские партии без исключения приняли общую программу-минимум: «Россия должна стать федерацией свободных демократических республик, одной из которых будет Украина». Это был непрямой «вотум недоверия» российским демократическим партиям.

Перед закрытием регионального съезда выяснилось, что создан Украинский генеральный военный комитет, который обратился к военному министру с просьбой предоставить ему список генералов, офицеров и унтер-офицеров, которые считают себя украинскими солдатами и офицерами. Кроме того, он попросил министра сформировать украинскую дивизию со всеми положенными последней частями, позволить Украинскому генеральному военному комитету завершить формирование частично созданного полка Богдана Хмельницкого и т. д. Затем состоялся съезд Сельского кооперативного союза, решивший принять участие во Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, чтобы добиться «немедленного и клятвенного» признания Временным правительством права Украины на автономию. Был создан Всеукраинский союз кадетов. Наконец, 18 мая состоялся Украинский военный съезд, на который прибыло около семисот представителей украинских групп и организаций армии и флота.

Состоявшиеся на съезде дебаты продемонстрировали, что Керенский может рассчитывать на украинское национальное движение. Многие ораторы выступали за войну до победного конца и присоединение Галиции и Прикарпатской России к Украине. Шаповал, Масюк, Белоконь, Луценко описывали, с какой решимостью украинцы, объединенные в национальные полки, будут сражаться, чувствуя за спиной автономную Украину, а впереди — еще не завоеванные естественные западные границы.

Слышались и новые голоса, раздраженные и агрессивные. «Независимость Польши и автономия Финляндии уже объявлены. Польша была завоевана, а мы воссоединились с Росси-

ей как равные с равными. Так почему у нас меньше, а не больше прав, чем у поляков?» В этой благожелательной атмосфере подали голос и украинские шовинисты: «Все великорусские крестьяне, рабочие и интеллигенция враждебно настроены к украинцам»; «украинский народ принимал активное участие в революции не для того, чтобы ждать милостей Учредительного собрания, которое без украинского большинства может отказать нам в автономии — так же, как сейчас поступают разные Советы рабочих и солдатских депутатов»; «нам говорят, что сейчас не время, что отечество в опасности. Но что такое отечество? Наше отечество — Украина, а не Россия. Время ждать и просить милостыню прошло. Мы — сила, у нас тоже есть штыки».

Украинская социал-демократия выступила с серьезным предупреждением:

«Революцию совершили рабочие и солдаты; только благодаря им мы смогли собраться и организовать. Мы не должны бросать своего союзника, российскую демократию, хотя в некоторых вопросах с ней не согласны. Лучшие люди России, включая Советы рабочих и солдатских депутатов, встревожены внешними и внутренними событиями. Давайте выберем более подходящий момент; мы связаны с Российским государством тесными политическими и экономическими узами».

Винниченко воззвал к здравому смыслу большинства военных делегатов:

«Да, сейчас у нас есть силы, которые продолжают расти. Но мы не должны забывать, что украинские солдаты рассеяны по всей стране. Будет ли достаточно наших сил для вооруженной борьбы? Мы должны организовать... Мы не собираемся нападать на русскую демократию со штыками и не должны позволить ей напасть на нашу».

Съезд воздержался от принятия сверхагрессивных решений. Он направил Временному правительству просьбу признать «в принципе» автономию Украины, добавив пожелание создать пост специального министра по украинским делам и направить представителя от Украины на будущую мирную конференцию. Последнее требование вызвало особое недо-

вольство русских кругов на Украине. Их позиция кардинально противоречила поведению буржуазии и националистического правительства Англии, которые охотно позволяли участвовать в мирных конференциях представителям всех своих доминионов.

Военный съезд провел совместное заседание со съездом кооперативов. На нем была зачитана телеграмма, поступившая от Исполнительного комитета Петроградского совета. Вопрос о создании национальных частей обсуждался специальной комиссией с помощью генерального штаба и национальных организаций. Его включили в повестку дня Первого Всероссийского съезда Советов. Исполнительный комитет попросил съезд обратиться с призывом ко всем украинским солдатам воздержаться от «произвольных и несанкционированных действий» до решения Всероссийского съезда. После этого вновь последовал взрыв. Заключительное заседание Военного съезда решило послать в Петроград специальную делегацию для обсуждения вопроса о создании украинских военных частей. Одновременно оно призвало солдат «ради спасения Украины и России воздержаться от самовольного оставления своих частей».

В начале июня Киев посетил Керенский. Лидеры Центральной рады Грушевский и Шульгин были откровенны; хотя когда-то Украина была самостоятельным государством, «мы не стремимся к независимости», мы хотим лишь «автономии в составе Российской федеративной республики». В такой форме «украинское движение является для России не угрозой, а сильной поддержкой; Временное правительство должно пользоваться ею, если хочет спасти Россию». Короче говоря, «только децентрализация может спасти Россию, иначе страна погибнет». Керенский пообещал сделать все возможное «в соответствии со своим долгом и совестью». Он указал, что в этом вопросе вынужден «сражаться с нетерпением, подобным тому, что царит в рядах русской демократии». «Вы говорите о том, что Учредительное собрание должно санкционировать свершившийся факт, а нам хотелось бы, чтобы оно подготовило почву для этого факта». Переговоры закончились заявлением Грушецкого о том, что удовлетворение насущно-го желания всего народа нельзя откладывать до бесконечнос-

ти. Если это случится, Центральная рада «не отвечает за последствия». Керенский ответил, что он в любом случае останется «другом» украинцев.

10 июня начался Всеукраинский крестьянский съезд, а 17 июня — Второй Военный съезд. Конфликт с правительством перешел в открытую стадию. Новый командующий Киевским военным округом генерал Оберучев, правый эсер и сторонник Керенского, издал специальный приказ о многочисленных случаях произвольных действий при формировании украинских частей и выборах украинских офицеров, которые «граничат с гражданской войной». Украинская делегация в Петрограде успеха не добила. «К несчастью, — говорил Винниченко, — украинская делегация встретила не с министрами-социалистами, а с Лазаревским и Котляревским, которые фактически настроили правительство против нас»*.

11 июня в Киев пришла телеграмма от Керенского, в которой Украинский военный съезд объявлялся «несвоевременным». Поскольку проходившим практически одновременно Польскому, Казачьему, Авиационному и Всероссийскому военному съездам никаких препятствий не чинилось, этот запрет можно было расценить только как удар по украинскому национальному движению. На Крестьянском съезде это вызвало бурю страстей. Солдаты призывали съезд «последовать примеру доблестных предков, которые умели бороться за свою свободу и права с мечом в руке». Призывавших «идти в ногу с теми русскими социалистами, которые признают права всех народов, в том числе и украинского, не на словах, а на деле», слушали равнодушно. Оратора, который заявил, что Украина «получит свободу и землю только тогда, когда их получит Россия», зашикали. Незадолго перед этим наименее влиятельная группа «сепаратистов» призвала отозвать украинских депутатов со Всероссийского крестьянского съезда, объ-

* Лазаревский и Котляревский были видными членами юридической комиссии Временного правительства, целиком кадетской по своему составу; эта комиссия устраивала важным вопросам похороны по первому разряду, со всеми церемониями юридического формализма. Министров-социалистов украинская делегация не посетила; некоторые из них узнали о визите украинцев только после отъезда последних.

явить Центральную раду временным украинским правительством, созвать украинское Учредительное собрание и призвать всех украинских солдат присоединиться к национальной украинской армии. Теперь съезд едва не принял эти предложения. Ситуацию спасли украинские социал-демократы и социалисты-революционеры. «Решение об автономии Украины не может быть принято без согласования с другими народами, проживающими на ее территории», — доказывал социал-демократ Мартос. «Берегитесь лозунгов сепаратистов, — убеждал украинский социалист-революционер Заливчий. — Если мы объявим независимой только свою республику, то потеряем свою демократию и не получим землю... Мы должны оказывать давление не только на русскую буржуазию, но и на свою собственную. Не думайте, что если землевладельцы говорят на нашем языке, то они находятся на нашей стороне». Напоминание о социальном антагонизме крестьян с украинскими землевладельцами сыграло свою роль, и съезд отказался следовать за группой сепаратистов, которую возглавлял Степаненко. Во время голосования по вопросу, должны ли украинцы стремиться к автономии или к независимости, за независимость проголосовали лишь девятнадцать сторонников Степаненко, но против нее выступило всего четырнадцать человек. Украинское национальное движение оказалось на распутье.

17 июня три тысячи человек протестовали против запрета Керенским Военного съезда и едва не приняли предложение Союза украинской независимости немедленно провозгласить политический суверенитет Украины. После митинга толпа, к которой присоединился 1-й украинский полк, пришла на Софийскую площадь и подняла над городской думой и памятником Богдана Хмельницкого украинское желто-голубое знамя; под звон соборных колоколов она поклялась «не возвращаться в свои части, не добившись автономии Украины».

Городская демократия, верная своей великорусской ориентации, недооценила значение случившегося. На пленарном заседании Исполнительного комитета Совета две партии обменялись резкими словами. Люди узнали, что Временное правительство отказало украинцам в просьбе, повторив все ту же

священную формулу: «Дождитесь Учредительного собрания». Кадеты, меньшевики и правые эсеры защищали Временное правительство. Украинскую раду обвиняли в лицемерии: что она оправдывала свои действия стихийной силой национальных чувств, а на самом деле разжигала эти чувства. Меньшевик Доротов спрашивал, где гарантия, что завтра украинцы не выгонят из Совета неукраинцев штыками.

Представителям других национальностей, проживавшим главным образом в городах и придерживавшимся русской ориентации, было трудно перестать считать себя хозяевами положения и смириться со статусом меньшинства, удовлетворенного обычными гарантиями прав национальных меньшинств. Они боялись призраков и своей отчаянной борьбой только увеличивали реальную опасность.

Керенский отказался отменить запрет, не подумав о том, как добиться подчинения. Этот отказ только обнажил банкротство Временного правительства — теперь уже коалиционного.

На этот раз Второй Украинский военный съезд постановил: «Поскольку право созыва и проведения съездов принадлежит украинцам так же, как и всем другим свободным народам, запрет проведения съезда военным министром не может считаться законным; следовательно, съезд правомочен принимать решения». Неуклюжие действия командующего Киевским военным округом Оберучева только подлили масла в огонь. Поверив фальшивым слухам о том, что «Украинский съезд в 2.00 утра принял решение о немедленном захвате местных отделений Государственного банка и казначейства», он вывел войска в полном боевом снаряжении и занял эти здания. Затем он быстро издал коммюнике, выразив надежду, что сможет избежать решительных действий, неизбежных «в случае попыток чересчур возбужденной части украинцев призвать народ к гражданской войне». Он предложил гражданам «соблюдать спокойствие», которое потерял сам, и «не верить слухам», которым так опрометчиво поверил. На Военном съезде действия Оберучева и начальника полиции Лепарского расценили как провокацию. Обоих объявили «главарями контрреволюции, антиукраинской гидрой». Среди украинского населения возникло нездоровое возбуждение. Уличные митинги

проходили с утра до вечера. Тем не менее на съезде Винниченко успешно защищал тезис о том, что Украина не готова объявить себя независимым государством. Но украинцы уже не могли ждать Учредительного собрания, ибо, как пессимистически заявил оратор, «вопрос о том, будет ли когда-нибудь создано Учредительное собрание, до сих пор остается открытым». Съезд провозгласил своей целью достижение автономии Украины и решил добиваться ее «с помощью прямых действий»; он пообещал Центральной раде поддержку всех украинских солдат, находящихся как в тылу, так и на фронте.

По предложению украинских социалистов-революционеров этот манифест опубликовали с большой помпой. Был проведен парад 1-го украинского полка. Звучали колокола кафедрального Софийского собора и Михайловского монастыря. Священники устроили службу и провозгласили «многая лета» украинскому народу, украинскому правительству, солдатам и старейшинам. Толпа прокричала «ура!» в честь украинского народа и Центральной рады, а потом, преклонив колени, хором прочитала «Символ веры» Тараса Шевченко.

В Совете каждая сторона обвиняла другую. Русские эсеры и меньшевики обвиняли украинских социалистов в забвении социализма ради национализма и присоединении к шовинистической буржуазии. Украинские социалисты винули их в том же: коалиция с русской буржуазией в рамках Временного правительства заразила русских социалистов духом буржуазной централизации и великорусского национализма. После голосования украинцы и большевики, оставшиеся в меньшинстве по разным вопросам, в знак протеста покинули зал.

В кругах русской буржуазии быстро росло недоверие к раде. Оно частично подкреплялось тем, что еще до войны небольшая и неоднородная группа украинских эмигрантов (Басок-Меленевский, Скоропис-Иолтуховский и другие) попыталась скопировать тактику поляков, которые в ожидании мировой войны и поражения России решили перейти на сторону австро-германцев и с их помощью добиться возрождения независимой Польши. Украинская группа организовала Союз освобождения Украины, установила связь с австро-германским генеральным

штабом и начала формировать отряды добровольцев, сначала из галицко-украинских, а позже из русско-украинских военнопленных. После русской революции Союз освобождения Украины распался; его индивидуальные члены обратились с петицией, чтобы им позволили вернуться на родину. Тот, кто сумел это сделать, столкнулся с открытым недоверием украинских демократических кругов. Их представителей не допустили в Центральную раду. Даже в мае рада отказывалась от любых связей с Союзом освобождения Украины. Когда Скоропис-Иолтуховский прислал из Стокгольма в Украинский национальный фонд деньги, собранные среди военнопленных в Германии и Австрии, Центральная рада отказалась принять их. Однако это не помешало лидерам и публицистам кадетов снова и снова обвинять украинское национальное движение в «австрийской ориентации» — иными словами, в измене государству и революции.

Неожиданно обнаружилось, что большевики пытаются сменить позицию. Вместо «непримиримой борьбы с сепаратизмом» они решили «поддерживать прямые действия, провозглашенные украинскими революционерами». На Военном съезде они критиковали его запрет еще яростнее, чем украинцы, и обличали «империалистическую политику центрального правительства». Они агитировали украинцев порвать с их национальной буржуазией и присоединиться к большевикам в их борьбе за власть. Социалистический максимализм большевиков выражался в их желании объединиться с националистическим максимализмом на Украине и вместе атаковать правительство. Дело принимало серьезный оборот. В Советах и Гражданском комитете раздавались голоса, объяснявшие этот абсурдный союз ошибочной политикой русских организаций, не желавших сделать шаг навстречу требованиям украинцев, которые следовало удовлетворить в любом случае.

Министры-социалисты Временного правительства хотя и не всегда одобряли политику рады, но в принципе считали борьбу украинского народа за автономию справедливой. И Церетели, и Чернов признавали право каждой нации, включая украинцев, на самоопределение. То, что украинцы настаивали на автономии, а не на полном разрыве связей с Великороссией,

было доказательством их политической зрелости и предусмотрительности. Великоросс Чернов, задолго до революции ставший федералистом, был решительнее в своих убеждениях, чем грузин Церетели. Но они были в меньшинстве, а кадетские министры защищали противоположную точку зрения, выступая за беспощадную централизацию. Решение правительства зависело от группы центристов — триумвирата «Керенский—Терещенко—Некрасов» и их сторонников. Триумвират склонялся к принятию предложения министров-социалистов. Двух министров послали на Украину: Церетели от социалистического крыла и Терещенко от буржуазного. В последнюю минуту к ним по собственной инициативе присоединились Керенский и Некрасов. В результате переговоры вел триумвират, к которому примкнул Церетели.

Главное бремя достижения политического согласия легло на Церетели, в результате чего переговоры прошли относительно легко. Рада, на первых порах орган сугубо национальный, превратилась в подобие регионального предпарламента, куда вошли представители и других национальностей, проживающих на Украине (пропорционально их количеству). У рады появился собственный исполнительный орган — секретариат. Секретариат также был местным отделением Временного правительства и получил от последнего формальное подтверждение своего статуса. Таким способом автономию Украины удалось совместить с единством революционного фронта общенародной демократии. Эта временная ситуация должна была сохраняться до Учредительного собрания; к тому времени Центральной раде следовало подготовить проект статуса автономной Украины и закона об украинском земельном фонде.

Переговоры по военному вопросу, которые вел главным образом Керенский, приняли совсем другой оборот. Против этой части договора «резко возражали Украинская социал-демократическая партия и Украинский генеральный армейский комитет». Керенский отверг систему территориального формирования частей, которая означала бы пересмотр общего плана мобилизации. Он принял только «более тесный национальный союз» украинцев, служащих в разных частях, при условии, что военный министр сочтет это «технически воз-

можным и не опасным для воинского духа армии». Прямая деятельность в этой сфере любых украинских национальных организаций запрещалась, но к военному министру, генеральному штабу и главнокомандующему прикреплялись специальные украинские делегаты, назначенные по согласованию с Центральная радой.

Во время этих трудных переговоров командующий округом Оберучев запретил частям участвовать в церемонии в честь рады, хотя Генеральный армейский секретариат уже выделил их для этого мероприятия. Несмотря на официальный запрет, украинские части вышли на демонстрацию в честь создания украинской армии. Авторитет власти снова и снова страдал из-за принятия решений, которые она не могла выполнить.

Наконец соглашение было одобрено радой всего ста голосами против семидесяти при множестве воздержавшихся. Его еще должно было утвердить центральное правительство. Хотя «министры доложили об этом правительству в Петроград по прямому проводу... подтверждение согласия, которого ожидали в тот же вечер, не прибыло».

В отсутствие четырех министров в Петрограде оставались четыре министра-социалиста (сторонники соглашения), четыре кадета (его противники) и трое колеблющихся. Все зависело от случая. Отсутствующим министрам пришлось срочно вернуться. В Петрограде эти четверо представили текст «декрета», согласованного с украинцами, предупредив, что они с огромным трудом добились его одобрения радой и что любые изменения к невыгоде Украины будут автоматически означать разрыв соглашения.

Кадетские министры расценили это как «грубое нарушение фундаментальных основ коалиции» и «явное доказательство невозможности ее дальнейшего существования» (Милюков). Демонстративная отставка четырех министров-кадетов вызвала большой шум в столице; на улицу вышли стихийные демонстрации с требованием передать власть Советам. Не меньшее возмущение она вызвала и на Украине. Антикадетские чувства были там так сильны, что Украинскому комитету кадетов пришлось отречься от своих петроградских лидеров и заявить: «Создание единого органа местной власти на

Украине возможно и желательно», в то время как «уход кадетов из правительства является необдуманым шагом, опасным для блага страны».

Партия Милюкова терпела одно поражение за другим. Даже ее внутренняя целостность оказалась под угрозой. Министрам-социалистам пришлось поставить Некрасова и Терещенко перед альтернативой: либо разорвать коалицию вообще, либо попытаться создать на базе левых кадетов и их союзников новую партию, которая могла бы плодотворно сотрудничать с демократией трудящихся. После долгих колебаний они заявили, что не смогут заручиться поддержкой никаких влиятельных групп.

Предложение было сделано не по адресу. Левую, но несоциалистическую партию мог бы создать только Керенский с активной помощью Некрасова, Терещенко и других. Но Керенский по каким-то непонятным причинам считал себя социалистом-революционером, и партия эсеров разделяла его иллюзию. В результате по мере развития событий ситуация становилась все более двусмысленной: Керенский и партия находились в постоянном негласном конфликте, но для многих Керенский был воплощением политики эсеров, и партия была вынуждена нести ответственность за все его «слова и дела».

Кризис коалиции, вызванный уходом кадетов из правительства из-за украинского вопроса, уходом представителя промышленных кругов Коновалова из-за политики в вопросах труда и ультиматумом князя Львова из-за аграрного вопроса, был полным. Центральный комитет партии кадетов поставил условие: либо повысить однородность правительства, либо отказаться от принятия решений с помощью голосования (поскольку кадетов в правительстве было меньшинство). Второе на практике означало, что кадетское меньшинство в каждом вопросе получало бы право вето.

После долгого правительственного кризиса Керенский пришел к выводу, что создать широкое коалиционное правительство с участием кадетов и торгово-промышленных кругов на узкой платформе революционной демократии невозможно. Он также наотрез отказался создавать унитарное правительство из одних трудовиков. Умеренные советские партии не отважива-

лись создать собственное правительство. Им пришлось бы столкнуться с объединенной атакой всех буржуазных партий с беззащитным тылом, откуда в решающий момент могли нанести удар большевики с их безответственной демагогией.

Поэтому когда в Петроград прибыла новая делегация Центральной рады, в которую входили члены Генерального секретариата Украины, для конкретизации соглашения, она обратилась, что все нужно начинать заново.

Автора соглашения Церетели больше в правительстве не было. Его отправили в отставку ради сохранения коалиции с кадетами (вместо Чернова, которым отказалась пожертвовать партия эсеров). На сцене вновь появилась кадетская «юридическая комиссия», которая хоронила все новшества. Решающий голос в ней принадлежал правоведам старой школы Кокошкину и барону Нольде. Как говорил Милюков, Кокошкин «старался насколько возможно исправить вред, причиненный России соглашением от 2 июля». Полномочия Генерального секретариата, регионального органа Временного правительства, были сильно урезаны. Он мог управлять неполными пятью губерниями вместо девяти. Заготовки, почта и телеграф, юстиция, железные дороги и война не подлежали его юрисдикции. Третью оставшихся портфель следовало отдать неукраинцам. В экстренных случаях Временное правительство могло иметь дело непосредственно с местными властями, через голову Генерального секретариата. Кроме того, существовало множество других ограничений, мелких, но очень обидных. Иногда комиссия Временного правительства устраивала закрытые совещания, на которые украинские делегаты не допускались. «Было ясно, — докладывал Винниченко раде, — что некоторые министры провоцируют срыв переговоров». Однако у ведущих партий рады хватило политического чутья не доводить дело до разрыва между Украиной и остальной Россией в тяжелейший момент, когда последняя оказалась меж двух огней: с минуты на минуту мог вспыхнуть корниловский мятеж, а большевистский путч находился в процессе подготовки.

Рада утвердила для Генерального секретариата инструкции, которые остро критиковали даже те, кто проголосовал за их

принятие. Украинские социалисты-революционеры назвали эти инструкции «позорным документом». Пленум губернского Совета крестьянских депутатов охарактеризовал их как «оскорбление демократии». Объяснения рады только подлили масла в огонь. Она заявила, что первоначальное соглашение было нарушено новыми требованиями, отражающими тенденции великорусского империализма; предоставив неукраинским национальностям непропорциональное представительство в органе региональной власти, Временное правительство подорвало единство украинской и неукраинской демократии.

Все усилия Церетели по умиротворению оказались тщетными. Но хуже всего было публичное доказательство того, что на слово Временного правительства полагаться нельзя. Его тактика всегда была одинаковой — шаг вперед, два шага назад.

Второй крупнейшей национальной проблемой после украинской была финская. При попытках ее решить каждое крыло Временного правительства тоже говорило на собственном языке.

Цензовое правительство с самого начала вступило в юридический спор с финнами: кто после падения самодержавия унаследовал права русской короны в Финляндии?

Согласно правому кадету Маклакову, «финны представили предложения, которые предусматривали передачу финскому сейму прав русского императора и великого князя Финляндского после отречения последнего... Это было логично, но на практике означало независимость как *de facto*, так и *de jure*. Кадеты этого не хотели и пытались доказать, что Временное правительство, признанное российским народом, унаследовало все права самодержца, включая его права на Финляндию».

Чем это можно было доказать? Тем, что Николай отрекся в пользу Михаила, а Михаил — в пользу Учредительного собрания? Тем, что князь Львов был назначен премьером Временного правительства по указу Николая II? Эти документы нельзя было считать законной основой власти Временного правительства — тем более что состав последнего несколько раз менялся. Если русский царь был одновременно великим князем Фин-

ландским и если все совместные финско-русские отношения решались русским и финским законодательством параллельно, то тогда конец царского самодержавия означал и конец русско-финского двоевластия. Прерогативы русского царя могли перейти к Думе, к Учредительному собранию, к Временному правительству и вообще к кому угодно. В таком случае прерогативы великого князя Финляндского должны были перейти к финской стороне. Маклаков признает, что в юридическом смысле «закон был на стороне финнов; наши попытки доказать, что права великого князя Финляндского перешли к Временному правительству, не имели под собой юридической основы».

Для министров-социалистов этот диспут был чистой схоластикой. Русский император, как все монархи, коронованные «Божьей милостью», носил очень длинный и многословный титул. По каким-то древним, почти доисторическим правам он именовал себя также «наследником норвежского престола». Выходит, и Временное правительство должно было коллективно претендовать на «норвежское наследство»? Для русских социалистов Финляндия являлась независимым государством, которому, как и России, революция предоставила возможность решать свою судьбу самостоятельно. Русское Учредительное собрание и финский Учредительный съезд, обладавшие одинаковой конституционной властью, должны были заключить соглашение об их будущих связях как равное с равным. При этом Финляндия могла стать членом Российской федерации, ее союзником или просто соседом.

Министры-социалисты легко заключили бы с финнами такое соглашение, но во Временном правительстве они составляли меньшинство и со стороны следили за долгим законодательным диспутом между виднейшими кадетскими специалистами в области государственного права и столь же квалифицированными финскими юристами. Маклаков говорил о Временном правительстве:

«Оно защищало российские интересы так же, как когда-то их защищал Столыпин. Но теперь кадетским юристам пришлось оспаривать ту самую теорию, которую они защищали при Столыпине. Когда финны начали настаивать на полномочности их сейма, Временное правительство, как Столыпин или

Бобриков, используя силу, повесило замок на двери этого сейма, как однажды поступил Столыпин с Таврическим дворцом. Временное правительство прибегало к мерам, которые никого не успокаивали и в то же время вели к расколу между двумя странами»².

Министры-социалисты, заложники коалиции, неохотно убеждали себя в том, что роспуск сейма означает лишь подготовку к новым выборам. Когда депутаты Финской социал-демократической партии принципиально пришли в здание сейма, сорвали с двери печать и провели там демонстративное собрание, министрам-социалистам пришлось удовлетвориться тем, что ни один буржуазный министр не высказал своего осуждения данного шага. Этого не потерпели бы русские части в Финляндии.

Министры-социалисты и лидеры Совета часто, но обычно безуспешно пытались служить посредниками между финской демократией и Временным правительством. Чернов также участвовал в этих попытках; он встретился с делегацией финских партий, которая дала ему честное слово, что если Временное правительство примет без изменений подготовленный ими законопроект о расширении прав сейма, то они не будут предъявлять новых требований или создавать новые трудности до созыва Учредительного собрания или окончания мировой войны. Однако большинством голосов законопроект был направлен во все ту же пресловутую «юридическую комиссию».

Мелочные споры с каждой национальностью, начавшей осознавать себя, постоянный страх совершить невыгодную сделку, упрямое стремление отложить или избежать уплаты по векселям, предъявленным историей, — вот какую политику оставили в наследство Временному правительству буржуазные партии. У коалиционного правительства просто не хватило сил отказаться от этого наследства.

Непреодолимое влияние революции заставляло это правительство произносить громкие слова. Но его поступки, мелкие и недальновидные, этим словам совершенно не соответствовали.

Национальной политике Временного правительства не хватало широты взгляда. Думские «революционеры поневоле» в

глубине души надеялись, что если царская Россия была такой же «тюрьмой народов», как Австрия Габсбургов, то будет достаточно уничтожить этот тюремный режим, чтобы народ ощутил всеобщий энтузиазм и удовлетворение и сохранил прежнее централизованное государство. Они не понимали, что, чем тяжелее был гнет, пытавшийся задавить упрямые ростки национальных чувств, тем сильнее было стремление освободиться от гнета. Им не пришло в голову объявить новую Россию свободным союзом всех народов, союзом, в котором их не будет связывать ничто, кроме «взаимных гарантий», выгодных для всех, добровольной ассоциацией, созданной для блага общества и углубления культурных и социальных связей.

Временное правительство было вынуждено неохотно согласиться на реорганизацию армии по принципу национальных территорий. Но эта украинизация, эстонизация и т. д. полков и дивизий могла либо воссоздать армию на новых принципах, либо разложить ее еще сильнее. Все зависело от того, будет ли найдено общее решение национального вопроса для всех народов России. Временное правительство могло помочь решить этот вопрос, создав специальный Совет национальностей. В первый период революции вожди пробуждавшихся угнетенных народов в целом были далеки от пережестов сепаратизма, к которому они пришли позже. У народов была полная возможность идти по новому пути рука об руку. Но вместо проводника, который вел бы их по пути национального возрождения, они нашли в лице Временного правительства упрямого, холодного и лицемерного защитника исторических привилегий «преобладающей» великорусской нации. Добиться от правительства уступок можно было только шансажем, ставя его перед свершившимися фактами, когда обратного пути уже нет. Это вызывало дезорганизацию в тылу, а дезорганизация, царившая на фронте, становилась еще сильнее. Национальные части внимательно прислушивались к тому, что творилось у них дома, повторяли все происходившие там споры и обсуждали принятые решения. Давление со стороны национальных меньшинств, которое могло стать мощным побудительным стимулом к дальнейшей совместной работе, превратилось в разрушительную силу.

ТУПИК ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

Кроме тупика во внутренних делах существовал еще и тупик во внешней политике.

Революционная демократия ожидала, что Терещенко станет проводить активную политику, пересмотрит дипломатическое наследие самодержавия, печально известные тайные договоры и для этого устроит конференцию с союзниками. Кроме того, советская демократия была готова осуществлять собственную активную внешнюю политику. Она собиралась созвать международную конференцию рабочих организаций и социалистических партий, чтобы начать одновременное движение во всех странах за отказ от агрессивных целей и достижение подлинно демократического мира. Такой мир означал бы не произвольное расширение границ одного государства за счет других, а создание новой Европы на основе закона, исключение повторения мировой войны и стремление к экономическому сотрудничеству всех стран.

Действия правительства и советской демократии должны были сочетаться и дополнять друг друга.

Первые ответы английского и французского правительства на предложения коалиции оказались неутешительными: Милюков правильно предупреждал, что «для нового правительства реакция союзников будет тяжелым ударом». Ответные ноты демонстрировали нарушение политического единства в рядах союзников, а политическое единство было сердцевинной единства стратегического. Франция и Англия требовали выполнения существующих соглашений. У России был только один логичный курс. Если она не хотела заключать немедленный сепаратный мир с Германией, то могла объявить Германии и Австро-Венгрии *сепаратную войну* — то есть такую войну, цели которой абсолютно отличались от целей ее бывших союзников. Эта идея уже появилась в определенных социалистических кругах. Политическое разделение Восточного и Западного фронтов со стратегической точки зрения обеспечило бы России чрезвычайно необходимую свободу действий. Вся война она была вынуждена служить подручным союзников. Она начинала на-

ступления не так, как это было предусмотрено ее собственным генеральным планом, а там и тогда, где и когда это вызывалось военными трудностями того или иного союзника. Это ломало всю русскую стратегию и заставляло ее таскать из огня каштаны для других. С другой стороны, разрыв с союзниками мог ударить Россию в самое больное место: лишить ее военных поставок, которые Англия осуществляла через Мурманск. Конечно, для Англии сепаратная война России против Германии и Австро-Венгрии была бы лучше, чем сепаратный мир; их искусные дипломаты могли бы сыграть на этом. Завершение сепаратной войны России с немцами и австрийцами сепаратным миром предоставляло две возможности. Первая: заключение нового договора с союзниками и новое превращение сепаратной войны в союзническую на основе позитивной мирной платформы; публикация последней разрядила бы душную атмосферу, которой дышала Европа. Вторая: сепаратное, но одновременное заключение мира. Действительно, Соединенные Штаты после отказа ратифицировать Версальский договор официально завершили войну с Германией отдельным актом, словно эта война была сепаратной. Но когда в России говорили о сепаратном мире, обычно имелось в виду нечто совсем иное: быстрый выход из войны в ее критический момент, что для российского общественного мнения означало замаскированное предательство Европы Германии Гогенцоллернов. При этом никто не думал о сепаратном мире американского типа.

Позиция Франции и Англии была не такой непоколебимой, как казалось с виду. Делегация французских социалистов во главе с Марселем Кашеном и Мариусом Муте покинула Россию с совсем другим настроением. С помощью Альбера Тома они провели закрытое заседание французской палаты депутатов, на котором обсуждались цели войны. Именно тогда стало впервые известно о последнем тайном договоре с царской дипломатией, заключенном меньше чем за месяц до свержения самодержавия. Он предусматривал ни больше ни меньше как разделение Германии и создание буферного государства Рейнланда. Этот договор вызвал в палате настоящую сенсацию. У него нашлись сторонники. Но атаки на договор были столь яростными, что глава правительства Рибо объявил:

поскольку Россия отказалась от претензий на Константинополь и черноморские проливы, Франция может не выполнять февральский договор, который должен был служить ей «компенсацией».

Английская дипломатия пошла по тому же пути. Через лондонского корреспондента петроградских «Биржевых ведомостей» было передано умно составленное полуофициальное коммюнике: «Ни разделение Турции, ни разделение Австро-Венгрии не являются краеугольными камнями европейской военной политики»; это «всего лишь уступка российской военной программе». Все другие вопросы пересмотра внутренних европейских границ (Эльзас-Лотарингия, Трентино, автономия Польши и Богемии) «имеют отношение к Англии лишь с точки зрения интересов ее союзников». Конечно, ссылка на первородный империалистический грех царской дипломатии как причину собственного падения была лишь маневром, но революционной России не было дела до того, каким образом английская дипломатия оправдывала свое прошлое. В заключительной части коммюнике ясно указывалось: «Если русское правительство желает, британское правительство согласо возобновить и при необходимости пересмотреть условия договоров со своими союзниками».

В принципе путь к такому пересмотру открылся, но до цели было еще далеко. Гордиев узел тайных договоров был сильно запутан. Военная мощь России значительно снизилась. Проблема заключалась в том, сможет ли Россия найти настоящих союзников в ее борьбе за демократический мир. После вступления в войну Соединенных Штатов для нее открылись новые горизонты.

Центральный орган крупнейшей русской политической партии социалистов-революционеров «Дело народа» опубликовал статью Чернова, призывавшую к немедленному и радикальному изменению внешней политики новой России за счет максимального сближения с Соединенными Штатами, основанного на сходстве целей. Эта идея вызвала отклик даже у профессиональных дипломатов старой школы. Бывший посол в Вашингтоне барон Розен лично явился в штаб-квартиру эсеров, чтобы выразить Чернову свою поддержку.

При Терещенко российская официальная дипломатия не сумела проявить необходимую гибкость и активность. Согласно русскому «вице-послу» в Лондоне К.Д. Набокову, «Временное правительство продемонстрировало прискорбную близорукость, не использовав этот момент для налаживания тесных связей не только с правительством Соединенных Штатов, но и со всей этой страной в целом. Открывались огромные возможности. В тот момент мы могли завоевать вечную симпатию американского народа. Но Временное правительство ограничилось лишь простой заменой одного посла (Бахметьева) на другого такого же»¹.

Виновата в этом была не только Россия. Если не Терещенко и официальная дипломатия, то умеренные партии советской демократии были готовы протянуть руку Вудро Вильсону, но он не нашел с ними общего языка. Милюков не без злорадства замечал, что «самым неприятным для Терещенко был текст американской ноты, в которой Френсис [американский посол. — *Примеч. пер.*] отказался изменить хотя бы слово» и которая «явно была рассчитана на то, чтобы выбить почву из-под ног российской внешней политики; тут Вильсон был беспощаден»². Но у Вильсона не было такой цели; произошло колоссальное недоразумение. Только что отказавшийся от политики нейтралитета и решивший принять участие в мировой войне, плохо осведомленный о политике Совета, президент Соединенных Штатов не понял стремления последнего вырваться из тенет тайных договоров и его твердого намерения избежать послевоенного устройства Европы, отравленного продолжающимся неравенством победителей и побежденных. Вильсон ответил на русскую ноту целым трактатом, посвященным совсем другой теме: почему нужно вести войну с Германией Гогенцоллернов, а не заключать с ней мир. Но Совет в таком объяснении не нуждался. Россия давно вела войну, и Совет давно прилагал усилия к тому, чтобы усилить мощь русской армии. Вместо ответа на глубокие и мучительные вопросы, стоявшие перед новой Россией, президент США ответил описанием полемики, в которой Вильсон, решивший принять участие в войне, побеждает Вильсона — сторонника нейтралитета, представляя себе, что таким образом он настав-

ляет русских на путь истинный. Но проповедь была направлена не по адресу. Она не попала в цель и вызвала чувство взаимного непонимания. Германские круги в Соединенных Штатах, резко критиковавшие Вильсона за отказ от политики нейтралитета, использовали популярные пацифистские лозунги, поэтому Вильсон отождествляла пацифизм с прогерманизмом; в России это лило воду на мельницу крайне правых шовинистов, злейших врагов и клеветников демократии. Вильсон не подозревал такого исхода, но это дела не меняло. Он получил резкий ответ. Объединившиеся кадеты и большевики злобно радовались возникшему непониманию. Кадеты видели в этом доказательство правильности политики Милюкова. Большевики высмеивали надежды, возлагавшиеся на Вильсона; он — такой же империалист, как и все остальные, только маскируется ханжескими проповедями, а умеренное большинство Совета имело глупость поверить в эту иллюзию.

Но в данном вопросе у Совета никаких иллюзий не было. Его лидеры хорошо помнили обращение Вильсона к конгрессу в декабре 1914 г., призывавшее Соединенные Штаты заниматься внутренними делами и снабжать свой народ и другие народы мира. Америка понимала преимущества нейтралитета для богатой капиталистической страны. Она захватила все мировые рынки. Ее собственная промышленность быстро развивалась, поскольку продукция последней требовалась странам, вынужденным приспособлять свою промышленность к нуждам войны.

Лидеры Совета прекрасно понимали логику дальнейших событий. Заокеанское государство должно было иметь дело с воюющей стороной, которая владела океаном, то есть с Антантой. Чем дольше продолжалась война, тем больше становилось значение кредита. Долг Антанты Америке рос не по дням, а по часам. Америка вложила в Антанту такой большой капитал, что просто не могла позволить уничтожить ее, а это неизбежно случилось бы, если бы союзники проиграли мировую войну или если бы война продолжалась до полного взаимного истощения.

Независимо от Германии, поставившей ва-банк на абсурдно провокационное объявление беспощадной подводной вой-

ны торговому судоходству нейтральных стран, настал момент, когда из-за спины должника должен был выйти его кредитор и положить на весы истории «меч Бренна». Вожди Совета не собирались требовать от американцев романтического альтруизма. Напротив, крупные материальные интересы Соединенных Штатов были залогом постоянства ее внешнеполитического курса. Кредитору недостаточно спасти своего должника от гибели. Мир не должен содержать зародыш новой войны или заставлять должника подрывать свои силы непродуманными тратами на гонку вооружений.

Какой бы прозаической ни была причина желания влиятельных деловых кругов Америки как можно скорее восстановить порядок в Европе, само наличие этого желания было положительным фактором. Без него президент Вильсон мог бы так же мечтать о Лиге Наций, о праве на самоопределение, о «верховенстве закона» в международных отношениях, как это делали многие до него. Без него он не смог бы привести в действие огромную мощь Соединенных Штатов и включить хотя бы часть этих глубоко чуждых Европе принципов в Версальский мирный договор.

В своих планах умиротворения Европы президент Вильсон имел только одного абсолютно искреннего и надежного союзника: новую Россию, Россию демократии трудящихся, Россию «Обращения к народам мира».

Но Вильсон этого не понял. Результатом роковой ошибки стала его трагедия, его изоляция во время переговоров в Версале, его фиаско (несмотря на незначительный внешний успех) и быстрое падение популярности.

Альбер Тома уехал из России, оставив Терещенко следующее послание: «Русская революция — не просто перестройка внутренней структуры России, но могучее движение идеалов, показывающее желание русского народа бороться за равенство, свободу и справедливость как у себя на родине, так и в сфере международных отношений». Этим объясняется его настойчивое стремление «добиться общего мира на условиях, исключающих всякое насилие (независимо от его причин) и

империалистические цели (независимо от их формы)». Единство России с ее союзниками должно «обеспечить общее согласие по всем вопросам, основанное на принципах Русской революции». Послание заканчивается одобрением принципиального согласия союзников пересмотреть свои военные цели и предложением созвать специальную межсоюзническую конференцию «в ближайшем будущем, когда для нее возникнут благоприятные условия».

Уверенная в искренней поддержке Терещенко, советская демократия поторопилась создать эти «благоприятные условия», одним из которых должен был стать международный социалистический съезд в Стокгольме. Социалисты стран-союзников приехали в Россию, чтобы попросить активизировать войну против Германии и Австро-Венгрии и помешать встрече социалистов вражеского лагеря перед заключением мира. Они уехали из России, увозя сильное впечатление от моральной атмосферы Великой русской революции, и были готовы сделать шаг ей навстречу. Альбер Тома и Хендерсон вернулись домой с твердым намерением помочь Стокгольмскому съезду добиться успеха. Специальная делегация Совета должна была выехать за границу. Даже посол Бьюкенен советовал своему правительству выдать английским лейбористам паспорта для поездки в Стокгольм ради сохранения мира между Временным правительством и Советом³.

Но попытка организовать Стокгольмский съезд провалилась. Она встретила неожиданное препятствие. Временное правительство пером Терещенко красноречиво объяснило желание русского народа преодолеть стремление к завоеваниям. Оно публично заявило, что «это желание придает сил членам русского Временного правительства; в службе ему они видят свой долг». Кто мог предположить, что в этой невинной фразе скрывается бомба?

3 августа русский поверенный в делах в Лондоне К. Набоков направил Терещенко длинную телеграмму, известая его о течениях, враждебно настроенных к Стокгольмскому съезду, и в частности о высказываниях лидера британских консерваторов Бонара Лоу. Телеграмма заканчивалась следующим образом:

«Для сохранения союзнических отношений с Англией, общественное мнение и большинство правительства которой выступают против конференции, я думаю, чрезвычайно желательным ясно сказать мистру Бальфуру [британскому министру иностранных дел. — *Примеч. пер.*], что русское правительство так же, как британский кабинет, считает ее частным, а не государственным делом и что решения конференции, если она состоится, ни в коей мере не будут определять дальнейший курс России по отношению к ее союзникам».

Желание Набокова, дипломата царской школы, помочь антистокгольмской агитации в Англии и усилить позиции консерваторов против Хендерсона в правительстве было понятно. Но кто мог представить, что вместо жестокого нагоняя Набоков получит у Терещенко сочувствие? 8 августа Набоков, ждавший ответа «с горячим нетерпением», получил от министра иностранных дел следующую телеграмму:

«Я полностью одобряю ваше предложение сделать заявление английскому правительству. Можете передать министру иностранных дел, что русское правительство не в состоянии запретить русским делегатам участвовать в Стокгольмской конференции социалистов, однако эта конференция является исключительно частным делом и ее решения ни в коем случае не ограничат свободу действий правительства».

На дипломатическом языке сие означало, что для русского министерства иностранных дел Стокгольмский съезд был в лучшем случае неизбежным злом. Но этого Набокову показалось мало. Он добавил к ответу Терещенко собственные комментарии, направленные против усилий Хендерсона и Макдональда. Последний только что совершил специальную поездку в Париж, чтобы помочь созыву Стокгольмского съезда. Кроме того, Набоков напал на радикальную прессу, которая уже заявила, что Россия боится превращения Стокгольмского съезда во «всеобщую социалистическую мирную конференцию».

На следующий день Набокова пригласил к себе Ллойд Джордж, на столе которого уже лежала телеграмма от Альбера Тома, доказывавшая, что Набоков не одинок. Она была короткой и ясной: «*Kerensky ne veut pa de conference*» [«Керенский на конференцию не приедет»] (*фр.*). — *Примеч. пер.*].

«Злобный маленький валлиец» назвал ноту Набокова Бальфуру «документом огромного значения», который дает ему «полное право запретить конференцию». Ллойд Джордж известил Набокова, что он уже потребовал от Хендерсона как члена правительства оказать необходимое давление на партийную конференцию лейбористов. Хендерсон ограничился обещанием сообщить коллегам о «небольшом изменении отношения русского правительства к конференции»; свою позицию он не изменил и продолжал защищать идею съезда. Тогда Ллойд Джордж, понимая, что на телеграмму Тома сослаться нельзя, попросил Набокова разрешить Бальфуру напечатать российскую ноту. По мысли британского премьер-министра, это должно было доказать, что поведение Хендерсона на конференции лейбористов было «нарушением его долга перед страной; следовательно, он должен выйти из правительства». Зная, что Керенский в глубине души на его стороне, Набоков согласился на выборочную публикацию ноты. После этого Ллойд Джордж с ликованием сослался на «официальное сообщение, доказывающее, что отношение русского правительства к Стокгольмской конференции изменилось намного сильнее, чем было объявлено». Бальфур назвал эту публикацию «новым подтверждением общности взглядов русского и британского правительств в вопросе Стокгольмской конференции». Под этим предлогом английским лейбористам было отказано в выдаче паспортов для поездки в Стокгольм.

Так Набоков совершил подкоп под Хендерсона. Но кнопку нажали в другом месте, о чем свидетельствует телеграмма Тома. Как француз узнал об этом? Набоков сообщает: «Позже Терещенко сказал мне, что Керенский в личной беседе с ним высказался против конференции и что он, Терещенко, конфиденциально сообщил об этом мсье Пети, сотруднику французского посольства в Петрограде, который поддерживал прямую связь с Томом». Терещенко прекрасно знал, для чего существуют такие «конфиденциальные связи».

Так с помощью Пети и Набокова Керенский и Терещенко блокировали организаторов Стокгольмского съезда, уверенных в их поддержке, и исподтишка убрали Хендерсона, который делал все возможное, чтобы укрепить Временное правитель-

ство. Это как нельзя лучше показывает, чего стоило их обещание «черпать силы из желания русского народа создать справедливые международные отношения».

Мы снова и снова вспоминаем более позднее заявление Керенского, что в глубине души он был «самым консервативным из министров». Он имел на это право. Несчастье заключалось в том, что он тщательнее притворялся самым революционным из министров. Это несоответствие между внешностью и сущностью передалось и Терещенко. «При Терещенко, — говорит Милюков, — дипломаты союзников знали, что «демократическая терминология» его депеш была неохотной уступкой требованиям момента, и относились к ней снисходительно, так как главным для них было содержание, а не форма... В сущности, политика Терещенко просто продолжала политику Милюкова»⁴.

Иными словами, во внешней политике коалиционное правительство вновь вернуло революцию к ситуации, которая спровоцировала первый кризис. Раньше нейтрализовали друг друга две внешние силы: цензовое правительство и Совет. На сей раз ту же ситуацию создали две фракции правительства. Нейтрализуя друг друга, они обрекали внешнюю политику коалиции на топтание на месте.

Внешняя политика советской демократии зашла в тупик. Но тогда демократия так и не узнала правды. Она даже не подозревала, кто именно провалил идею Стокгольмского съезда. На правительства союзников рассчитывать не приходилось, поскольку в этих странах народное движение за демократию было еще недостаточно развито, чтобы оказать на них давление. Советские круги начинали ощущать, что влияние русской революции было таким слабым, потому что сама Россия все больше теряла вес на международной арене. Похоже, и ее враги, и союзники думали, что стремление русской революции к миру было всего лишь неосознанным выражением ее военной слабости. Из этого следовал опасный вывод: нужно помочь военному министру организовать наступление, которое докажет, что революция способствовала росту военной мощи России и что ее голос в международных делах должен звучать намного громче, чем прежде.

Тем временем было решено провести межсоюзническую конференцию по пересмотру военных целей. Временное правительство планировало послать туда делегацию, в которую должны были войти и специально избранные представители Советов. Советская демократия, боявшаяся полного фиаско и этой конференции, на этот раз торопиться не стала. Сначала нужно было повысить свой авторитет. Легче всего этого было достичь с помощью победы, одержанной революционной армией на фронте.

Такой поворот революционной мысли в кругах врагов революции восприняли с живейшим одобрением. Он соответствовал духу времени. Многие давно подтачивали революционную демократию на этот путь. В Россию прибывали делегации социалистов стран-союзников, тесно связанных со своими правительствами и получавших от последних тайное задание уговорить русских предпринять более активные действия на фронте. Особенно сильное впечатление произвела на русских бельгийская делегация во главе с Вандервельде и Де Маном. Она тронула сердца многих рассказом о трагической судьбе бельгийского народа и просьбой спасти его, проведя наступление. Вся цензовая Россия стояла за это. Для нее единственным оправданием революции было то, что последняя могла спасти страну от военного поражения и национально-го унижения, к которым вел Россию царизм. В частности, обеспокоенные круги считали военную победу и связанный с ней подъем шовинизма единственным способом избежать дальнейшего усугубления социальной революции. Кроме того, имелись промежуточные элементы, для которых Керенский был рыцарем в сверкающих доспехах, поставившим на кон честь революции, чтобы в бою доказать превосходство свободной России над Россией царской.

Воинственные призывы прессы звучали все громче. Она умоляла, педа гимны и трубила: наступление, наступление, наступление! Одного трезвого слова, сказанного против этого единодушного хора, было достаточно, чтобы заработать репутацию большевика, предателя, даже германского агента.

Но логика ситуации была ясна. Либо высшее командование действительно готовит наступление на фронте, либо оно

считает наступление преждевременным. В первом случае шум, поднятый прессой, является преступным предупреждением врага. Во втором безответственная газетная шумиха представляет собой преступную попытку дешевых политиканов с помощью шантажа заставить армию провести операцию, которая с военной точки зрения нецелесообразна.

На съезде социалистов-революционеров, состоявшемся в конце мая, лидер партии Чернов сознательно заострил этот вопрос. Он сказал: «У нас нет революционной армии, а есть дезорганизованная масса, из которой можно создать армию; эта работа еще не завершена. Почему в такой момент, когда данная работа началась и развивается, люди в тылу кричат о наступлении и подталкивают к действию, последствия которого трудно предугадать, тем более штатскому человеку? Что это значит? Это значит толкать армию на военную авантюру, которая может закончиться ее полным уничтожением. Тогда «краснобаи буржуазной прессы» первыми выразят свое злорадство и обвинят революцию в крахе армии. Возможно, они уже надеются погреть руки в огне, который поглотит русскую армию, если та позволит вовлечь себя в незрелую авантюру»⁵.

Но это предупреждение только еще больше испортило отношения внутри правительства, в том числе между Черновым и правительственным большинством во главе с Керенским.

Позже выяснилось, что его мнение совпало с мнением многих военных специалистов, включая нескольких военных атташе союзников. Они поделились своими опасениями с рядом влиятельных лиц, в том числе с Милюковым. Кроме того, Милюкова посетила специальная делегация ставки во главе с полковником Новосильцевым, пытавшаяся с его помощью отговорить правительство от плана немедленного наступления. В выступлении Брусилова на прошедшем в ставке совещании командующих армиями читаем: «В начале операции я показывал вам, что на успех рассчитывать не приходится». Однако все эти предупреждения не вышли за пределы четырех стен.

Армия продолжала страдать от скрытого антагонизма между командованием и солдатской массой, а полевые командиры находились между молотом и наковальней. Покончить с таким

положением можно было только двумя способами. Либо пойти по пути Французской революции и дать революционной армии революционных лидеров, в том числе из полевых командиров, близость к солдатам и революционный энтузиазм которых могли бы компенсировать их неопытность. Либо применить противоположный метод: повернуть часы назад, доверить старым генералам беспощадную чистку армии и принудить оставшихся к безоговорочному повиновению. Коалиционное правительство не могло применить первый способ: соглашение со старыми генералами было непременно условием компромисса, на котором была основана коалиция. Второй способ означал политическое самоубийство: если бы старым генералам удалось полностью подчинить себе армию, с ее помощью они бы легко задушили революцию. Было принято промежуточное решение. У солдат имелись свои «комитеты». Между ними и командованием нужно было создать «коалицию». Эта роль отводилась комиссарам Временного правительства, миниатюрным Керенским, по его примеру балансирующим между двумя враждебными партиями. Как армия могла стать сильной и единой, если в таких условиях оказывалось слабым и раздробленным даже гражданское правительство?

Главный комиссар фронта Станкевич задавал тон всем комиссарам и офицерам, имевшим влияние на солдатские комитеты. Его верный сторонник Виленкин, председатель комитета 5-й армии, сформулировал отношение к комитетам следующим образом: «Задача нашего комитета заключалась в том, чтобы привести армию в такое состояние, чтобы по приказу командующего армией любая часть могла без колебаний арестовать комитет. Тогда мы, руководители комитета, могли бы сказать: «Наш долг перед страной выполнен». Керенский, Станкевич, Виленкин и им подобные с задачей не справились, и только благодаря этой неудаче генерал Корнилов не арестовал их всем скопом во время своего мятежа. На практике вышло совсем наоборот: «Любой полк был готов арестовать своих командиров, но аресту комитетов сопротивлялся»⁶. Вести такую армию в наступление означало заранее обрекать себя на поражение.

Результаты наступления Керенского были разными. В некоторых секторах «наступать было абсолютно безнадежно» с

самого начала. В районе Двинска «генерал Данилов пытался убедить ставку, что у наступления нет ни малейшего шанса на успех. В беседе со мной, — пишет Станкевич, — командиры корпусов и дивизий открыто говорили, что они не видят шансов на успех у этого наступления, вызванного, по их мнению, исключительно «политическими причинами». Солдаты, которых вели в бой люди, не видевшие в наступлении никакого смысла, также относились к предстоящему делу без всякого энтузиазма. Однако все (или почти все) подчинились приказу — естественно, не без помощи заградительных отрядов. Но потом началась всеобщая сумятица. «Они взяли несколько населенных пунктов, кое-где продвинулись вперед, откуда-то привели пленных, а затем попали под сильный огонь противника. Никакой общей концепции атаки не было. Роты сбивались с курса и теряли своих офицеров. Никто не командовал наступлением, все шло по инерции, но сила инерции скоро выдыхалась». В результате части возвращались на исходную позицию.

Однако в некоторых секторах у частей боевого духа хватало. «Начало атаки выглядело великолепно: части охотно шли вперед под красными флагами». 2-й армии «австрияки, как обычно, сдавались целыми полками». На участке 7-й армии все обстояло куда хуже; энтузиазм атакующих быстро выдохся. В некоторых местах солдаты наткнулись на проволочные заграждения, не уничтоженные артиллерией, и оказались беспомощными: «Они не были обучены и оснащены для преодоления таких препятствий». На главного комиссара армии произвело сильное впечатление отсутствие необходимой техники. «С таким оборудованием атака под сильным артиллерийским огнем противника не имеет шансов на успех даже в том случае, если боевой дух частей высок как никогда».

Наступление «на авось» начали люди, которые заставили себя поверить в его успех. Даже Керенский, «вернувшись в ставку после инспектирования фронта, сказал Брусилову: «Я не верю в возможность успеха наступления»⁷. В такой обстановке он должен был отдать приказ о прекращении наступления. Но Керенскому не хватило на это смелости. После провала наступления, австро-германского контр наступления и катас-

трофы на Юго-западном фронте он ухватился за телеграмму Корнилова как за якорь спасения. Генерал сообщил: «Я заявляю, что отечество гибнет, а потому по собственной инициативе требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах для сохранения армии и ее реорганизации на основе строгой дисциплины, чтобы не жертвовать жизнями многих героев, которые имеют право увидеть лучшие дни».

Хотя Керенский ненавидел всех, кто в то время предупреждал его, что наступление — это опасная авантюра, однако автора этого запоздалого осуждения он награждал высшим военным титулом, назначив Корнилова верховным главнокомандующим. Однако Керенский никогда не отличался последовательностью. Комиссии, которая расследовала мятеж Корнилова, он сказал: «Я помню, что комментарий генерала Корнилова в его телеграмме от 11 июля о необходимости немедленного прекращения наступления на всех фронтах сыграл важную роль в его назначении верховным главнокомандующим»⁸.

Это было свидетельством слабости. Слишком тщеславный, чтобы вовремя остановиться или осудить свои действия, Керенский с радостью свалил на Корнилова ответственность за прекращение наступления.

Станкевич продолжает: «Армия перенесла случившееся более спокойно», в то время как «Керенский воспринял это чуть ли не как крах революции. Я не знаю, было ли это пониманием истинного значения поражения или сожалением о возможностях, которые могли бы открыться в случае успеха наступления как во внешней, так и во внутренней политике... Внезапно он впал в острейшую депрессию»⁹. Деникин выражается еще конкретнее: «Несомненно, Керенский сделал это от отчаяния». Отчаяние — плохой советчик. Назначение Корнилова верховным главнокомандующим открыло новую главу в истории революции.

Провал «наступления Керенского» был лишь итогом всей деятельности коалиционного правительства. В рабочем, аграрном, национальном вопросах, во внешней политике и, наконец, в военном вопросе коалиционное правительство только и делало, что топталось на месте.

А тем временем жизнь шла вперед. Приближалась катастрофа.

Революционная страна испытала цензовое правительство и отвергла его. На смену цензовому пришло коалиционное правительство: оно было создано слишком поздно и сумело справиться с новыми проблемами не лучше лидеров Думы.

Что оставалось?

Ответ прост: создать однородное правительство из тех элементов, которые составляли меньшинство в коалиционном кабинете. Иными словами, оставалось испытать только правительство Церетели — Чернова и дать ему возможность осуществлять политику, ради которой социалисты и их сторонники вошли в правительство Львова и Керенского. В отличие от правительства широкой коалиции, оно было бы правительством «узкой коалиции», объединенным фронтом демократических партий. В него могли бы войти социалисты-революционеры, социал-демократы, трудовики, народные социалисты, лидеры кооперативного движения, а также люди, отколовшиеся от правых (вроде Некрасова) и от левых (вроде Красина).

Такое правительство имело бы большинство в Советах, в городских думах и земствах и на предстоящем Учредительном собрании: это доказывают неопровержимые статистические данные выборов. Оно могло бы усилить свои позиции еще до Учредительного собрания, созвав «предпарламент», состоящий из делегатов земств и городских дум; иными словами, парламент, основанный на всеобщих, но не прямых выборах; до созыва Учредительного собрания оно могло бы объявить себя ответственным перед этим органом. Это было бы единственно возможное демократическое правительство, правительство большинства, контролируемое большинством населения.

При других вариантах были возможны только правительства меньшинства — либо правого, либо левого. В любом случае такое правительство было бы диктаторским, подавляющим большинство и превращающим его в меньшинство; это была бы диктатура либо правых, либо левых. Правая дикта-

тура была бы военной, направленной против рабочего класса, против революционного крестьянства, против получивших равные права национальностей, против демократизировавшейся армии и выступающей за войну до победного конца, который польстил бы национальному тщеславию, компенсировал военные жертвы за счет побежденных.

Одно время многие со страхом или с надеждой верили, что ход событий заставит Керенского объявить себя диктатором. Ленин всегда называл его «маленьким Бонапартом». Троцкий отмечал, что хотя Керенский и не Бонапарт, но он является «математической точкой приложения бонапартизма в России». Позже, на Демократическом совещании, созванном Советами, Керенский заявил, что многие люди не раз предлагали ему стать диктатором. Но он не соглашался. Почему? Потому что этого нельзя было достичь? Или потому, что он сам не видел себя диктатором? Видимо, не поэтому. 27 августа, во время корниловского мятежа, он потребовал у членов своего кабинета письменных заявлений об отставке, оправдывая эту «концентрацию власти» в его руках — непродолжительной, но личной властью — следующим образом: «В борьбе с заговором, во главе которого стоит человек с сильной волей, государство должно противопоставить ему власть, обладающую способностью к быстрым и решительным действиям. Такая власть не может быть коллегиальной, а еще менее коалиционной». Керенский обладал необыкновенным талантом изрекать прописные истины торжественным тоном и снабжать их иллюстрациями, не имеющими никакого отношения к «тексту». На самом деле мятеж Корнилова, как мы вскоре убедимся, был ликвидирован именно «коллегиально». Правда, коллегия была слишком большая; в нее вошли Советы и солдатские комитеты. Керенский стоял на пачке заявлений об отставке — развалинах его с таким трудом созданной «коалиции», — как Марий на развалинах Карфагена, приняв красивую позу «рокового мужчины», оказавшись в гордом одиночестве. Но он был сделан не из того теста, из которого лепят диктаторов. Керенский мог лишь копировать интонации и жесты диктатора и мечтать о том, каким благоклонным диктатором он будет. Вот что пишет об этом генерал Лукомский:

«В своих поездках на фронт Керенский забывал страх перед Советом рабочих и солдатских депутатов, который он ощущал в Петрограде, набирался мужества и часто обсуждал со своими спутниками вопрос создания сильного правительства, формирования директории или передачи власти диктатору. Поскольку большинству этих спутников и сопровождающих ставка была ближе, чем премьер, содержание этих бесед тут же докладывали нам»¹⁰.

Согласно показаниям морского министра Лебедева, Керенский говорил ему тоном человека, который делится своей самой заветной мечтой: «Ах, если бы только *они* [лидеры Совета и Думы, собравшиеся вместе. — *Примеч. авт.*] доверили мне власть, настоящую полную власть» В то время он нейтрализовал думские элементы в правительстве с помощью министров, пришедших из Совета, а советские элементы — думскими. Опираясь на центральную группу своих личных сторонников, он мог делать практически все, что хотел, постоянно перемещая большинство от правых к левым и наоборот и решая судьбу всех декретов с помощью Некрасова и Терещенко (которых называли тайной директорией или триумвиратом). Диктаторскую власть предлагали Керенскому только значительно более узкие группы. Он упоминал казачьи круги и неких «представителей общественного мнения», не имевших большого веса. Все изменилось бы, если бы июльское наступление Керенского оказалось успешным и его автор вернулся в ореоле победы. Тогда политическая ситуация сделала бы невозможное возможным. С этой точки зрения «острейшая депрессия», в которую, по словам Станкевича, Керенский впал после провала наступления, несколько не удивительна. Похоже, объяснение, данное в том же отрывке («сожаление о возможностях, которые могли бы открыться в случае успеха наступления как во внешней, так и во внутренней политике»), имеет намного большее значение, чем думал сам автор.

Естественно, правые элементы могли согласиться на диктаторство Керенского только очень неохотно и лишь в случае отсутствия более подходящего кандидата. Прошлое Керенского слишком тесно связывало его с революцией и даже с Советами, чтобы он мог сразу начать воевать против них. Их надеж-

да основывалась частично на логике новой ситуации, которая заставляла Керенского следовать по пути наименьшего сопротивления, а частично на понимании того, что Керенский станет заложником тех, кто поможет ему получить диктаторскую власть. Правые испытали большое облегчение, когда Керенский расстался с мечтой о личной диктатуре и передал верховное командование Корнилову, предложив им нового, вполне оперившегося кандидата и неожиданный шанс овладеть армией, а значит, и властью.

Естественно, все сторонники правой диктатуры начали тут же группироваться вокруг человека, который внезапно получил полную возможность захватить власть.

Что же касается сторонников левой диктатуры, большевиков, то им было гораздо выгоднее ждать своей очереди, *rescuer pour mieux sauter* [студить свое жаркое (*фр.*). — *Примеч. пер.*]. Трудно было придумать более удачный трамплин для их «прыжка к власти», чем подавление силами вооруженного народа контрреволюционного генеральского путча, а особенно путча, дорогу которому расчистило само Временное правительство, назначившее Корнилова верховным главнокомандующим. Инерция вооруженного подавления контрреволюции должна была привести к собственному наступлению и победе.

Тем временем армия, которая во время революции живет мыслями и надеждами всей страны, не оставалась безучастной к происходящим событиям. Политика топтания на месте в военном вопросе была такой же роковой для революции, как и нежелание правительства решать рабочий, крестьянский и национальный вопросы.

Глава 16

АРМИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Когда разразилась революция, все тайное стало явным. Армия, этот бессловесный великан, внезапно обрела язык и начала митинговать. Крайности слепого подчинения, рабской покорности, идиотского «пожирания глазами начальства» привели к похожему, хотя противоположным крайностям — отрицанию

всякой дисциплины, стремлению видеть старый режим в самом простом и законном желании покончить с вопиющей расхлябанностью и преступной небрежностью. Поскольку за провалы военной стратегии и отсутствие снаряжения было заплачено горами пушечного мяса, все сильнее становилось желание отомстить командованию и обеспечить собственную безопасность, которое временами превращалось в трусость, опасную для смежных частей. Так как бездарность командования была ясна всем, рядовые настаивали на обсуждении приказов, что уничижало саму основу существования армии. Чем сильнее рядовых унижали рукоприкладством и телесными наказаниями, тем сильнее они стремились унижать и даже терроризировать офицеров. Кроме того, структура каждой армии неизбежно повторяет социальную структуру страны. Когда революция разрушает социальную и политическую структуру общества, это неминуемо отражается и на структуре армии. В военное время, когда армия становится «вооруженным народом», фронт либо живет теми же чувствами и мыслями, что и тыл, либо вступает с этим тылом в вооруженный конфликт. Попытки старых командиров сохранить нетронутой структуру старой армии во время всех революций приводили к «карательным экспедициям» фронтовых частей против революционных столиц; во время всех удачных революций дело кончалось временным «обезглавливанием» армии, кризисом, радикальной реформой и полной сменой высшего командования.

В результате революции на русском фронте возникло очень сложное положение. Начало переговоров думских лидеров с высшим командованием показало, что между правительством «прогрессивного блока» и генералами непримиримых противоречий нет. И те и другие неохотно расстались с царем, рассчитывая такой ценой спасти династию. На конференции «прогрессивного блока» 1 октября 1916 г. Милюков искренне говорил: «В глубине души мы все монархисты». Поэтому не всем членам блока было так же легко расстаться с монархией в целом. Более того, «прогрессивному блоку» пришлось опереться на свое левое крыло и искать союзников среди левых партий, даже рискуя утратить поддержку правых. В результате возникло непонимание. Начальник штаба ставки генерал

Алексеев в конце концов пожалел, что поддержал отречение Николая. Он пришел к собственным выводам, неблагоприятным для Родзянко; даже этот типичный старорежимный политик казался ему неискренним и подозрительным из-за его связей с людьми «слева». Родзянко тоже чувствовал, что ему будет трудно наладить политическое сотрудничество с Алексеевым. Но согласно военному кодексу во время отсутствия главнокомандующего этот пост автоматически занимал начальник генерального штаба; поэтому генерал Алексеев стал фактическим главой армии, а вскоре был утвержден в этом качестве официально. Временное правительство не согласилось с указом царя*, который назначил своим преемником на этом посту великого князя Николая Николаевича; оно не могло бы этого сделать даже при всем желании. Наименее болезненным способом была замена Николая Николаевича генералом Алексеевым, поэтому главнокомандующим назначили именно последнего. Возникла парадоксальная ситуация: 19 марта более консервативный Временный комитет членов Государственной думы обратилась к более радикальному Временному правительству с серьезным предупреждением. Изучив предыдущую деятельность Алексева и его «неспособность понять текущий момент», комитет настойчиво советовал «освободить генерала Алексева от должности главнокомандующего». 18 марта председатель комитета Родзянко писал председателю кабинета министров:

«Это назначение не приведет к успеху в войне. Поймите, генерал Алексеев всегда считал, что армия должна командовать тылом, что армия должна командовать волей народа и что армия должна руководить правительством и всеми его мероприятиями. Вспомните обвинения генерала Алексева против представителей народа [Государственной думы. — *Примеч. авт.*], что главным виновником приближавшейся катастрофы был русский народ в лице его представителей. Вспомните, что генерал Алексеев категорически настаивал на немедленном установлении военной диктатуры...»

* Точнее, оно использовало тот же способ фиктивного соблюдения законного наследования, попросив великого князя отказаться от главного командования и таким образом избежав необходимости возврата к «августейшему царскому командованию».

Теперь благодаря записям того времени, сделанным в «Дневнике» генерала Алексеева, мы знаем, что первый командующий русской революционной армией про себя всегда называл Совет солдатских депутатов Советом *собачьих* депутатов! Генерал Алексейев был до мозга костей пропитан старой психологией, диктовавшей вывеску «Вход нижним чинам и собакам воспрещен».

Алексеев не отличался сильным характером. В начальники штаба ему придали Деникина — человека темпераментного, резкого, упрямого, решившего полностью игнорировать существование всех солдатских коллективов или организаций. Отличавшемуся таким же характером генералу Крымову предлагали несколько высших постов, но он отказался, после чего жаловался Деникину:

«Как можно работать в таких условиях, когда Советы и непокорная солдатская масса не позволяют правительству сделать ни шагу? Я предложил в два дня очистить Петроград силами одной дивизии — конечно, не без кровопролития... Ни в какую! Гучков возражает, Львов кричит: «Боже упаси! Это вызовет такие сложности, такие беспорядки!»

Когда заседание правительства утвердило командующим Петроградским военным округом генерала Корнилова (от общественности скрыли, что Корнилов был назначен на этот пост самим царем), «он охарактеризовал политическую ситуацию так же, как Крымов: правительство не имеет власти, а потому необходима суровая чистка Петрограда»¹.

Временный комитет членов Думы, еще не считавший, что он отыграл свою роль, сделал любопытную попытку выяснить истинное состояние армии, направив на фронт специальных делегатов. Один из них писал:

«Мы говорили со многими офицерами. Многие абсолютно не понимали ситуации и спрашивали нас: «Неужели вы не могли посоветоваться с армией, прежде чем делать революцию?» Они недовольны тем, что это было сделано без спроса, так сказать, «с кондачка», штатскими, которые не советовались с ними. Некоторые командиры были очень тактичны. После революции, отречения и т. д. они без шума убрали все портреты [царствующих особ. — *Примеч. авт.*];

однако в некоторых частях эти портреты все еще демонстративно висят на прежних местах. Когда солдаты потребовали убрать портреты, командиры отказались — не потому, что привязаны к этим портретам или обожают старый режим, но потому, что, по их мнению, этого не позволяет дисциплина: «С какой стати мы будем подчиняться требованиям солдат?» Такое поведение грозит опасными последствиями. Некоторые солдаты говорили прямо: «Мы уьем командира такого-то; мы уже договорились об этом». Мы отвечали им: «Успокойтесь, Временное правительство так или иначе решит этот вопрос, оно примет меры, чтобы вами командовали подходящие люди».

И правительство их приняло; но это были не меры, а полумеры. Настоящие меры были приняты снизу.

«Некоторые из них [командиров. — *Примеч. авт.*] сознавали свою задачу, но другие не желали понимать, что все изменилось и что они сами должны измениться. Они злятся на новые приказы, в том числе на приказ Гучкова обращаться с солдатами вежливо: они говорят, что такие вещи делают только тыловые крысы, которые не имеют с армией ничего общего».

Обсуждая с членом Думы приказ о вежливом обхождении с рядовыми, командир дивизии выразился коротко и энергично: «Я порол этих мерзавцев и буду пороть, а если кто-нибудь пикнет, я сам дам ему пятьдесят ударов плетью».

После данной поездки не социалисты, не Совет, а сам Временный комитет Государственной думы заявил: «Это контрреволюционные настроения».

Но могло ли быть по-другому? Нет.

Ближайший помощник великого князя Николая Николаевича генерал Данилов признает в своей книге «Россия в мировой войне», что еще до падения самодержавия «кроме оппозиции единственной реальной силой была армия, воспитанная своим единым командованием в духе беззаветной преданности отечеству, которая отождествлялась с древней российской системой управления». Это «единое командование», тщательно отбиравшееся в течение нескольких веков, понесло огромные потери на полях сражений и было сильно разбавлено мо-

лодыми поручиками, происходившими из всех классов общества. Чем выше был ранг армейской иерархии, тем более «единым» он являлся. Немногие исключения не всегда бывали счастливыми: высшие офицеры поддерживали новый режим чаще из-за соглашательства, беспринципности и личного честолюбия, чем из-за искренней внутренней перестройки. Генерал Деникин не отрицает, что «русское профессиональное офицерство в целом придерживалось монархических убеждений». Особенно тяжелая ситуация сложилась в императорской гвардии.

«Гвардейские офицеры, замкнутые внутри своей касты и преданные устаревшим традициям, набирались исключительно из знати; правда, часть конногвардейцев принадлежала к плутократии... Несомненно, гвардейские офицеры, за немногими исключениями, были монархистами *par excellence* [по преимуществу (*фр.*)]. — *Примеч. пер.*] и в неприкосновенности пронесли свои идеалы через все революции, испытания, эволюции, борьбу, падения, большевистские и добровольческие армии, иногда тайно, иногда явно... Храбро, а иногда и героически они [гвардейские офицеры. — *Примеч. авт.*] чаще всего сохраняли и в военной, и в гражданской жизни нетерпимость закрытой касты, архаичное классовое высокомерие и убежденный консерватизм, иногда выражавшийся в склонности к большой политике, но гораздо чаще — в глубокой реакционности»².

Эти офицеры не могли не сопротивляться революционному духу, проникшему в армию. Столкновение было неизбежно. Рядовые чувствовали высокомерное отношение и внутреннее отвращение своих командиров к событиям, которые для них самих стали лучом света в темном царстве. Они чувствовали это и тогда, когда офицеры скрывали свои взгляды, а тем более тогда, когда о них заявлялось открыто.

Армия существует только благодаря своему единству. Старый режим создавал это единство *сверху*, а новый режим должен был создать его *снизу*. Старый режим принуждал старших офицеров и рядовых отождествлять свои чувства с чувствами высшего командования, но революция все поставила с ног на голову; высшие командиры должны были отождествлять себя с армейской демократией или уступать дорогу новым командирам, назначенным этой демократией. По мере

развития революции такая необходимость осознавалась все острее. Сначала голос рядовых звучал робко («они все еще боятся старого режима», — говорилось в одном письме); они подавали жалобы и просьбы, но вскоре стали дерзкими и нетерпеливыми. Командир 182-й пехотной дивизии писал: «Нервы солдат напряжены до крайности... Я не знаю, как справиться с приближающимся взрывом». В марте члены Думы после поездки на фронт доложили, что «солдаты чего-то ждут». Но вскоре это ожидание кончилось; солдаты сами взялись за чистку своих командиров.

Генерал Драгомиров жаловался:

«Аресты офицеров и командиров не прекращаются. К старым обвинениям добавились новые: здесь и преданность старому режиму, и несправедливости по отношению к рядовым... Аресты генералов и офицеров рядовыми привели к устранению неудобных командиров; безнаказанность рядовых на практике означает, что они могут сместить кого угодно, угрожая ему силой».

Опытный военный специалист Драгомиров был абсолютно прав. Обновление командного состава нельзя было предоставлять рядовым. Революционная армия требует строгого соблюдения дисциплины не меньше, чем старорежимная, но эта дисциплина должна соблюдаться не из страха перед наказанием, а по убеждению, благодаря *новому осознанию своего гражданского долга*. Эта дисциплина может восторжествовать без физического принуждения; ни в коем случае не должно возникнуть искушение нарушать ее по зову «революционного сознания». Революционизировать армию необходимо целиком — как высшее командование, так и рядовых.

Генералы старой школы только скептически смеялись, когда им говорили, что армию можно перестроить с помощью революционного энтузиазма. «Вы думаете, что солдат охотнее пойдет навстречу смерти, если ему скажут, что он умрет за революцию? Думаете, что это магическое слово избавит его от страха за свою шкуру?» Однако только революционный дух (не вместо дисциплины, а как основа новой дисциплины) мог заменить устаревший лозунг «За веру, царя и отечество».

Позже большевики показали, что революционная армия может существовать только на основе беспощадной дисциплины, абсолютного единства командования и устранения всех комиссаров и солдатских комитетов; однако все это происходит не по мановению волшебной палочки, а после процесса перестройки. Такую перестройку могли провести лишь люди, которые не имели ничего общего с ненавистным старым режимом и говорили с солдатами на языке революции и от имени революции. Большевики показали, что революционную армию можно вести вперед только в том случае, если продолжается сама революция; перехлесты последней наносят армии меньше вреда, чем попытки остановить революционный процесс.

На первых порах в конфликте между рядовыми и высшим командованием старшие офицеры часто переходили на сторону рядовых. Была возможность объединить офицеров с солдатскими массами и начать совместную борьбу с высшим командованием и его приверженцами из числа привилегированных офицеров. Одного такого союза было бы достаточно, чтобы перестроить старую армию и возродить ее как армию революционную. «Оказать доверие боевым офицерам, которые вели ту же рюкзачную жизнь и установили дружеские отношения с подчиненными!» «Смелее выдвигать способных офицеров на командные должности, выбирать из них настоящих вождей революционной армии!» С такой программой выступило бы настоящее революционное правительство. Именно эти лозунги помогли лидерам Французской революции реорганизовать королевскую армию. Но цензурное правительство не могло выбрать этот путь, не могло последовать призыву Дантона: «*De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace!*» [«Дерзость, дерзость и дерзость»] (фр.). — Примеч. пер.]. Нет, оно выбрало лозунг осторожных консерваторов: «*Quia non movere!*» [«Поспешай медленно»] (ит.). — Примеч. пер.]. Его программа была компромиссной. Она сохраняла двоевластие в армии, недоверие между командирами и подчиненными и ставила офицеров в самое невыгодное положение — между молотом и наковальней. Новое правительство не сделало ставку на молодых; лишённые поддержки, младшие офицеры сначала служи-

ли буфером, а в конце концов стали козлами отпущения за чужие грехи.

Первый военный министр Временного правительства Гучков сделал попытку «освежить» командирский корпус. Он исключил из списка тех, кто, как признавал Деникин, был «помехой», отправив в отставку около сотни генералов. В высших армейских кругах ходили пугающие слухи о гучковских «прискрипциях» (как их назвал тот же Деникин). Уволенные генералы и офицеры, бежавшие из своих частей или изгнанные самочинной властью солдатских комитетов, буквально затопили ставку, которую вскоре прозвали «осиным гнездом реакции». Однако меры Гучкова были детской игрой по сравнению с тем, что сделала с армией Французская революция. К июлю 1793 г. в отставку были отправлены 593 генерала. Причем не следует забывать, что тогдашняя французская армия была крошечной по сравнению с русской армией времен мировой войны.

Справиться с задачей Гучков не смог и уступил свой пост Керенскому. От последнего ждали, что он проявит кипучую революционную энергию и решительность. Но он даже не прикоснулся к этой задаче. Ревностный сторонник и помощник Керенского Станкевич прямо говорит: «С целью избавить генералов от «чувства неуверенности после гучковской чистки я с особым консерватизмом относился к высшему командованию, давая понять, что каждый новый человек хуже старого именно своей новизной»; этот консерватизм он проявлял по прямому указанию Керенского»³.

Нет, не для красного словца Керенский сказал, что был «самым консервативным министром».

Конечно, кульминационным пунктом брожения и развала старой армии был Петроград. Там солдатские массы не следили за революцией со стороны, как те, кто был на фронте. В Петрограде они варились в котле революции и были там главными действующими лицами. Раскол между солдатами и командирами достигал максимального накала; бежать было некуда; царил лозунг «Кто не с нами, тот против нас».

В Петрограде революционность солдат определялась нарушением дисциплины, для которого в военном кодексе не

было другого наказания, кроме смертной казни. Офицеры и солдаты сражались не с помощью слов, а с помощью оружия. Во многих полках мятеж начинался с расстрела собственных командиров. По-другому и не могло быть; с первых дней восстания командиры выводили своих солдат на улицу, выстраивали их в шеренгу приказывали: «Товсь! Пли!» «Серые шинели осаждали захваченные рабочими фабрики и иногда по приказу командиров брали их с помощью штыхов. Даже в феврале 1917 г. стрельба на Невском проспекте была такой ожесточенной, что мостовая была усыпана трупами безоружных людей, в том числе стариков, женщин и детей. Три полка, первыми примкнувшие к революции — Вольнский, Литовский и Измайловский, — убили нескольких офицеров и прогнали остальных; их привел к Думе штатский, адвокат Соколов. Поэтому один вид офицерской шинели или погон приводил толпу в ярость. Запоздавая попытка офицера Станкевича примкнуть к восставшим едва не кончилась трагически; его предложению идти к Таврическому дворцу никто не поверил.

Это было страшным ударом по всей структуре армии, ударом, от которого не было спасения. Офицерский чин не помешал Станкевичу понять трагедию случившегося. Рядовых, которые нарушили дисциплину и убили своих командиров, общественное мнение сделало героями, освободителями страны от векового гнета. Через несколько дней это признали официальные власти и довели до сведения всех командиров. Главная беда заключалась не в том, что некоторые офицеры пытались помешать солдатам примкнуть к восставшим и были убиты, а в том, что многие офицеры промолчали и впоследствии присоединились к хору славословий. Почему они позволили охваченным гневом солдатам схватить винтовки и толпой высыпать на улицу?

Теперь случившееся объявили победой революции, и офицеры согласились с этим. Но насколько искренним было их согласие и сколько оно могло продлиться? В первые минуты они потеряли голову, спрятались и замаскировались. Но что было бы, если бы все офицеры на следующий день вернулись в казармы? Некоторые присоединились к хлынувшим на ули-

цу солдатам с пятиминутным опозданием. Почему солдаты вели за собой офицеров, а не наоборот? Именно в эти пять минут между ними возникла зияющая пропасть.

Лучшим доказательством этой пропасти является знаменитый Приказ номер 1 частям Петроградского гарнизона, изданный во время революционного «междоусурствия» Петроградским советом по предложению комиссии делегатов революционных частей.

Для высшего командования этот приказ тут же стал жупелом, страшным злом, губительным для армии: бомбой, сознательно брошенной рукой преступника и подорвавшей основу армейской дисциплины. Однако большинство людей, знакомых с воинской дисциплиной современных зарубежных армий, не видело в этом приказе ничего страшного.

Идея авторов приказа была проста: «Строжайшая дисциплина соблюдается военными только при исполнении их обязанностей»; за пределами казармы, строя и окопа рядовые пользуются теми же правами, что и все граждане.

Пересмотр чисто внешних признаков дисциплины (вроде запрета «тыкать» солдатам и грубить им, использования обращения «гражданин генерал» вместо помпезного «ваше превосходительство» и т. д.) мог напугать лишь тех, кто почитал не содержание, а форму.

Чуть более серьезной была отмена обязательной отдачи чести не при исполнении служебных обязанностей, превращавшая в настоящую пытку жизнь рядового, который шел по улицам, заполненным офицерами; достаточно было не заметить одного из них, чтобы угодить на гауптвахту.

Три пункта приказа регулировали отношения рядовых с избранными ими *политическими* организациями — Советами и комитетами. Конечно, с точки зрения принципа «армия вне политики» эти пункты были ересью. Но армию, которая только что совершила революцию и защищала ее, нельзя было объявить «вне политики» — это было бы просто глупо. Во-вторых, офицеры, которые требовали, чтобы их солдаты оставались вне политики, сами от политики не отказывались. Напротив, они мечтали о «суровой чистке Петрограда» и даже предлагали провести ее, собираясь использовать в каче-

стве тарана именно те части, которые были равнодушны к политике и беспрекословно подчинялись своим командирам.

Еще один пункт приказа требовал выполнять только те приказы военной комиссии при Временном комитете Думы, которые не противоречили приказам Совета солдатских депутатов. Но эта комиссия была таким же политическим и самозванным органом, как и сам Совет; ограничение ее полномочий не противоречило никаким военным законам.

Но центральный пункт (пятый) в армии был бы невозможен. «Все оружие, в том числе винтовки, пулеметы, броневики и т. п., должны находиться в распоряжении ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованию». Этот пункт являлся во-тумом недоверия офицерам, выраженным рядовыми.

Хуже всего было то, что этот пункт был более чем справедливым.

Приказ номер 1 был подписан 1 марта. В тот день генерал Иванов, которому были даны диктаторские полномочия для покорения Петрограда, доставил в Вырицу эшелон с отдельным батальоном георгиевских кавалеров. На следующий день, арестовав и запугав железнодорожников, он попытался добраться до расположения Тарутинского полка, чтобы с его помощью захватить Царское Село. 1 марта туда было направлено еще несколько эшелонов с Северного и Западного фронтов. Только 3 марта Милюков наконец предложил «собрать части, необходимые для защиты великого князя» (Михаила) и возведения его на трон. Родзянко и Милюков, все еще поддерживавшие кандидатуру Михаила, сорвали голоса, пытаясь убедить одну часть за другой «вернуться в казармы», «найти своих офицеров и выполнять их приказы», потому что эти офицеры «не научат солдат ничему плохому и будут действовать в полном контакте с Думой». «Временный комитет» Думы, «единственное правительство, которому все должны подчиняться», нуждается «в содействии вооруженных сил, действующих организованно». В то время, по мнению офицеров, близких к Деникину, «один надежный батальон под командой офицера, знающего, чего он хочет, мог бы изменить всю ситуацию».

Видимо, думские лидеры испугались собственной спешки; того же 1 марта полковник Энгельгардт, назначенный главой военной комиссии Временного комитета, издал специальный приказ. Тем, кто попытался бы забрать оружие у рядовых, этот приказ грозил «самыми решительными мерами» вплоть до расстрела! Это было куда более серьезно, чем простой отказ выдавать оружие офицерам, сформулированный в Приказе номер 1 Петроградского совета.

5 марта генерал Иванов попрощался со своим батальоном георгиевских кавалеров и велел ему служить Временному правительству так же исправно, как он служил царю. В тот день Петроградский совет издал Приказ номер 2, объяснявший, что он не намерен вводить выборность офицеров. Приказ номер 1 для фронта не предназначен. Солдаты, политически подчинявшиеся своему Совету, для законных военных властей были дезертирами.

Могли ли эти запоздалые меры навести хотя бы временные мостки через роковую пропасть, которая разделила офицеров и рядовых в незабываемые дни конца февраля — начала марта 1917 г.?

Эта пропасть осталась. С каждым новым толчком она становилась все шире, пока окончательно не разделила армию и страну, заставив их начать гражданскую войну.

Высшее офицерство требовало, чтобы все оставалось прежним, чтобы армия забыла про события в тылу и вернулась к своей прежней цели: войне до победного конца. Оно примирилось со свержением Николая II только из-за своих профессиональных военных интересов; старый режим явно вел и армию, и страну к гибели. Оно приняло бы и революцию, если бы та обеспечила лучшие условия для ведения военных действий и увеличила шансы на победу.

Николай II отрекся; в правительство пришли новые люди. Что дальше? Пусть они покажут себя.

Мышление настоящего офицера в корне противоположно «гражданскому». Для него вся страна — это лишь «тыл» армии, придаток, который обслуживает ее нужды. А как же быть с Великой революцией? Что ж, если она того заслужит,

найдется место и для нее: на подножке вагона с провиантом и боеприпасами, идущего в сторону фронта.

Поэтому армейское командование считало, что после смены фасада власти «инцидент исчерпан».

Но был ли он исчерпан для страны? Для трудящихся масс? Для них все было наоборот: революцию совершали не для того, чтобы она служила войне; наоборот, война должна была служить революции. Но это могло произойти только в одном случае: если бы революция не ограничилась сменой фасада.

До революции взывать к массам было бесполезно. Никакого патриотизма у них не осталось. Бедность и рабство, перешедшие всякие пределы, убили в них любовь к отечеству. В этой стране просто *нечего было защищать*. Даже жупел вражеского завоевания никого не пугал. Терять нечего. Хуже все равно не будет.

Теперь задача революции заключалась в том, чтобы вдохнуть новое содержание в голую *форму* объявленной свободы и внутри этой формы создать ценности, которые народ стал бы защищать, не жалея собственной крови.

Глава 17

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ И ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ

Драма Корнилова — одна из самых захватывающих страниц в истории революции. Страсти, поднявшиеся вокруг этого движения, еще не улеглись. Некоторые расценивают его как безумную попытку, уничтожившую внутреннее равновесие страны и ставшую прелюдией к большевизму. Другие считают, что при удачном завершении это было бы единственное средство предупредить большевистскую катастрофу. Для одних мятеж был политической авантюрой упрямого и честолюбивого человека, для других — безнадежным, трагическим, жертвенным взрывом «героизма отчаяния». Одни думают, что это был хладнокровный заговор со «злым умыслом». Другие называют его «величайшей провокацией» врагов и недоброжелателей генерала, стремившихся возвыситься за его

счет и выполнить программу генерала ценой его гибели. Одни считают его симптомом созревавшей в тиши контрреволюции; другие видят в нем самоотверженную борьбу, лишенную политических или социальных нюансов, за создание на фронте условий, которые сделали бы возможной если не победу, то хотя бы избавление России от уничтожения (в том числе и от уничтожения революцией).

Историку русской революции приходится иметь дело как с «легендой о Корнилове», так и с «загадкой Корнилова».

Склонный к авантюрам, нетерпеливый и недисциплинированный, плетей по происхождению, Корнилов многим казался бессребреником, человеком большого усердия, скромных привычек и огромного личного мужества. Другие называли его резким, несдержанным, болезненно чувствительным и самоуверенным. По словам представителя левого крыла, революционного генерала Верховского, Корнилов «производил сильное впечатление... У Корнилова львиное сердце, в его жилах течет горячая кровь бойца... но когда он начинает говорить о политике, чувствуешь, что это не его стихия»¹.

Корнилов начал свою карьеру как разведчик-одиночка и закончил ее горькой, блестящей и все же безуспешной партизанской войной против многочисленных, но плохо организованных большевистских банд на Северном Кавказе. Корнилов чувствовал, что может совершить нечто необыкновенное, и был совершенно прав. Он ошибся только в одном — в масштабе и характере этого подвига.

В 1915 г. Корнилов грубо нарушил приказ и попал в плен. Осенью 1916 г. он бежал. Слухи и их позднее раздувание превратили этот побег в легенду. Действительность была более прозаической. Как позже выяснил австрийский военнопольной суд, чех Франц Мрناк за 20 000 крон золотом, которые Корнилов пообещал заплатить ему, когда окажется в России, достав ему форму австрийского солдата, забрал из военного госпиталя и довел до границы. Мрناк был задержан, но Корнилов бежал и впоследствии слишком многое рассказывал российским репортерам. Мрناк был осужден на двадцать пять лет военной тюрьмы. Чеху дорого обошлась словоохотливость человека, которому он помог.

После Февральской революции председатель Временного комитета Думы Родзянко попросил царскую ставку «для восстановления полного порядка и спасения столицы от анархии» назначить «боевого генерала, доблестного героя, известного всей России, генерал-лейтенанта Корнилова» командующим Петроградским военным округом. Генерал Алексеев «почтительнейше доложил» об этом царю по телеграфу и попросил «согласия его величества государя императора» на это назначение с целью «успокоить столицу и навести порядок в частях», которые уже нарушили существующий «порядок». Николай II написал на телеграмме: «Исполнить».

Прибыв в Петроград, Корнилов первым делом посетил Совет. Разговор был любопытный. Конечно, Совет не имел ни малейшего понятия, что обсуждает совместную задачу с генералом, назначенным «по августейшему повелению» защитить «порядок». Такие вещи тщательно скрывались.

Во время пребывания в австрийском плену Корнилов часто выражал желание «вздернуть всех этих Милюковых», а сейчас был вынужден помогать этим «висельникам» против еще худших — лидеров Совета. Вся Россия полевела, и Корнилов повелел до уровня Милюкова и Гучкова. Когда в апреле буйные демонстрации рабочих и крестьян требовали отставки Милюкова, Корнилов быстро выкатил пушки и повел кавалерию к Мариинскому дворцу. Чтобы предотвратить гражданскую войну, Совет был вынужден действовать как революционное правительство и запретить все демонстрации и выход частей на улицу. Даже части, подчинившиеся Корнилову, спрашивали у Совета, что означают приказы генерала и следует ли их выполнять.

Едва ли в то время Корнилов собирался стать диктатором. Но он был глубоко оскорблен тем, что Совет одним росчерком пера восстановил порядок там, где он сам оказался бессилён. Его петроградская миссия полностью провалилась. «Несомненной слабостью Корнилова была его неспособность организовать административную сторону дела», — пишет Станкевич². Кроме того, стоило Корнилову потерять прямой контакт с солдатами, как его авторитет среди них тут же упал. Его суровость и «временами грубое обращение» с подчиненными были есте-

ственны на фронте, но в тылу выглядели совсем по-другому. «Если на фронте ему часто удавалось управлять частями с помощью личного мужества и живописных выражений, то теперь настали времена, когда части отказывались выходить из казарм приветствовать своего командующего, свистели ему и даже срывали георгиевский флаг с его машины». Корнилов очутился в чересчур сложной ситуации; «он не мог ни повлиять на правительство, ни требовать уважения со стороны Совета». Чувствуя, что Совет узурпировал его власть, Корнилов решил подать в отставку. Деникин добавляет, что у него была для этого еще одна причина: «Командующий Петроградским военным округом подчинялся не ставке, а военному министру... Гучков ушел в отставку, а подчиняться Керенскому, заместителю председателя Совета, Корнилов не желал». Но хуже всего было то, что Корнилов покинул столицу с твердым убеждением, что «безжалостная чистка Петрограда неизбежна»³.

Перед своей отставкой Гучков пытался назначить Корнилова командующим Северным фронтом вместо Рузского, который был уволен Алексеевым за «слабость и оппортунизм», то есть за попытки демократизировать армию. Алексеев решительно воспротивился назначению Корнилова, заявив, что у последнего «недостаточно командного опыта». Гучков настаивал на необходимости «сильной руки» на Северном фронте и «желательности нахождения Корнилова в непосредственной близости от столицы на случай будущих политических возможностей». Алексеев отказался приносить стратегию в жертву политике. «Гучков настаивал, Алексеев отказывал. Главкомандующий еще никогда не был так неуступчив. Алексеев сам угрожал подать в отставку». Создатель стратегии участия России в мировой войне боялся доверить целый фронт такому управлению, импульсивному и неуравновешенному человеку.

Спор закончился компромиссом: Корнилов стал командующим 8-й армией (на Юго-западном фронте). «Он тут же подружился с Борисом Савинковым, комиссаром Временного правительства в этой армии, и начал подкапываться под командующего Юго-западным фронтом, которого вскоре сменил», — говорит Брусиллов, следуя лишь внешней форме событий. Корнилов ни под кого не подкапывался. Просто он

принадлежал к «воинственным» и «непримиримым» генералам, которые естественно противостояли «оппортунистам», а еще больше — генералам, которые хотели демократизировать армию. А Савинков не «подружился» с Корниловым; он нашел в этом человеке тот самый таран, который долго искал.

Некогда выдающийся революционер, создатель террористической Боевой организации партии социалистов-революционеров, сейчас Савинков был внутренне пуст. Он потерял веру в людей, смотрел на них сверху вниз и враждебно относился к бывшим друзьям, которые подозревали его в склонности к авантюризму. Обладавший ослепительными талантами и еще более ослепительными недостатками, дерзкий, самоуверенный, беспокойный, молчаливый, но иногда склонный к высокопарному красноречию и трагической экзальтации, он переоценивал свои силы и верил, что на горизонте революции его звезда будет сиять ярче всех остальных. Во время войны этот потенциальный цареубийца, бывший социал-демократ, позже социалист-революционер, заигрывавший с индивидуалистическим анархизмом, поразил своих бывших друзей заявлением, что в военное время каждый шаг против царизма или капитализма является преступлением против отечества. Ближайшие помощники Савинкова повернулись к нему спиной, и он отплатил им той же монетой; некоторые продолжали хранить ему верность, но он сам с презрением оттолкнул их. Воинственность, развившаяся в нем за годы террористических партизанских действий, незаметно переросла в страсть к войне как к таковой, в неестественную, нездоровую, «апокалиптическую» страсть. Он не имел четкой политической программы и жил только отрицанием. Старые друзья, к которым он питал враждебность ренегата, с головой погрузились в работу Советов; лейтмотивом политики Савинкова стало стремление освободить правительство от влияния Советов и, конечно, партий, потому что в собственной партии Савинков чувствовал себя отверженным. В правительстве он нашел человека, который, казалось, был создан для целей Савинкова. Для Савинкова Керенский был долгожданным воплощением революционной личности, способной сопротивляться всем партиям, Советам и комитетам, некоего «сверхчеловека», стоящего над партиями. Савинков понял

внутреннюю слабость этого «сверхчеловека» и предоставил себя в его распоряжение, рассчитывая овладеть его волей и воспользоваться его популярностью. Керенский мечтал о «диктатуре слова». Савинков, душа которого была опалена (а возможно, и сожжена) пламенем сурового терроризма, намекал ему, что пока все в порядке, но настанет такой момент, когда *gegen Demokraten helfen nur Soldaten* [вместо демократов помогут солдаты (нем.). — Примеч. пер.]. Ему был нужен генерал, не слыхавший искусственный в общественных делах, требующий политического руководства, но способный не моргнув глазом отдать приказ «Товщи! Пли!» независимо от того, сколько людей перед ним стоит и что это за люди. Внезапно Савинков открыл Корнилова; более подходящий инструмент нельзя было себе представить. Так аббат Сийес когда-то надеялся руководить молодым Наполеоном Бонапартом.

В книге о Корнилове Савинков описывает свой план избавления правительства от влияния советской демократии. «Первым шагом было назначение генерала Корнилова командующим Юго-западным фронтом». Этому шагу мешало то, что у Корнилова была репутация неудачника; как деликатно выразится Станкевич, «судьба не дала ему возможности проявить свои стратегические таланты». Но когда генералу улыбнулся успех (8-я армия прорвала оборону австрийцев и взяла Калуш и Галич), Савинков воспользовался этим как трамплином, чтобы вместе с Корниловым прорваться в высшее военное руководство. «Галичские лавры не без основания оспаривал генерал Черемисов», но это Савинкова не смущало. Позднее он писал: «Конечно, военный успех генерала Корнилова был для меня только предлогом»⁴. Теперь стратегию можно было принести в жертву политике, что и случилось. Но с этим примирились далеко не все. Керенский признается, что «он столкнулся с таким же сопротивлением Брусилова, с каким Алексеев сопротивлялся Гучкову»⁵. Но сопротивление только подстегивало Керенского. Например, он доверял Савинкову; никакие предупреждения руководства партии эсеров не могли изменить намерения Керенского сделать Савинкова своей правой рукой в военных вопросах. «На назначении Корнилова командующим Юго-западным фронтом настоял Керенский»⁶.

Как Корнилов и его сторонники относились к Савинкову? «Я не верю Савинкову», — однажды обмолвился Корнилов. А Деникин описывает Савинкова следующим образом:

«Сильный, жестокий, не признающий никаких моральных ограничений, презиравший Временное правительство и Керенского, но поддерживавший обоих, как он говорил, «из соображений выгоды», Савинков был готов в любой момент свергнуть кабинет. Он считал Корнилова только орудием в своей борьбе за сильное революционное правительство, в котором он сам играл бы первостепенную роль».

Впрочем, ничто не мешало Корнилову попытаться сделать Савинкова своим орудием.

Учитывая это, и Савинков, и Корнилов предприняли меры против своего потенциального оппонента. Один из помощников Корнилова, Завойко, обратился к Филоненко, который был правой рукой Савинкова: существует заговор, целью которого является провозглашение великого князя Николая Николаевича диктатором; эту опасность нужно предотвратить; готовы ли Савинков и Филоненко поддержать Корнилова? Встревоженный Савинков советуетса со своими помощниками. Один из них, эсер Гобечиа, предлагает разрубить узел: как старый революционер, он готов при необходимости пожертвовать собой, пойти и убить генерала Корнилова. Но Корнилов тоже не дремлет: перед решительным разговором с Савинковым он призывает верный ему Текинский полк. Савинков говорит Корнилову: «Генерал, я знаю, что при необходимости вы расстреляете меня не моргнув глазом, а вы знаете, что я хладнокровно сделаю то же самое, если приду к выводу, что вы рветесь к власти и стремитесь стать диктатором. На основе этой взаимной оценки можно создать прочный союз; цель у нас одна, и мы должны достичь ее вместе, а для гарантии успеха подключим Керенского». Корнилов соглашается, союз заключен. Савинкову не нужно посылать Гобечиа с револьвером, а Корнилову не нужно поднимать в ружье Текинский полк.

Союзники начинают кампанию. Всего через два дня после своего назначения командующим Юго-западным фронтом Корнилов предъявляет ультиматум Временному правительству.

Момент выбран очень удачно: на фронте катастрофа. За несчастным «наступлением Керенского» последовало крупное контрнаступление немцев. Единственной армии, которой удалось добиться успеха (8-й Корнилова, которой теперь командовал Черемисов), грозил обход с флангов, окружение и уничтожение. Корнилов требует для командования чрезвычайных полномочий, право на которые одновременно следует включить в боевые уставы. «Если правительство не согласится на меры, которые я предлагаю, и лишит меня единственного средства спасения армии... я, генерал Корнилов, сложу с себя обязанности командующего».

Корнилов не жалеет правительство. Он бьет прямоком в Керенского, с презрением говоря о людях, которые «думают, что могут с помощью слов командовать на поле боя, где царят смерть, измена, трусость и эгоизм». Он угрожает: «Либо революционное правительство покончит с этим безобразием, либо история неизбежно выведет вперед других людей». Кто же эти «другие люди»? Нетрудно догадаться: «Я, генерал Корнилов, посвятивший всю свою жизнь беззаветному служению отечеству, по собственной инициативе заявляю, что отечество гибнет». Тем самым он выдвигал свою кандидатуру на роль спасителя.

Позже выяснилось, что эту телеграмму отредактировал Савинков. В первоначальном тексте содержалась «скрытая угроза в случае невыполнения Временным правительством предъявленного требования установить на Юго-западном фронте военную диктатуру». Получив согласие Корнилова на удаление этой фразы, Савинков заявил Керенскому, что он «поддерживает каждое слово» заявления генерала.

Телеграмма от 11 июля была секретной, и Керенский смирился с ее содержанием, включая нелицеприятные высказывания о самом себе. Однако 12 июля она была опубликована в газете «Русское слово». Все пошло насмарку. Керенский пришел в бешенство. В ставке было назначено совещание командующих всеми фронтами, но Корнилову сообщили, что его присутствие не требуется.

Казалось, что план Савинкова «поженить» Корнилова и Керенского и создать новый, чисто военный триумvirат для

решения судьбы революции с треском провалился. Однако на совещании произошло два недоразумения, которые пришли ему на выручку.

Первое недоразумение, самое пустяковое, произошло между Керенским и Брусиловым. Вот как его описывает последний:

«Нам сообщили, что министр прибудет в 14.30, но он приехал на час раньше, когда мы с начальником штаба готовили оперативные приказы. Приехать на станцию вовремя, чтобы приветствовать его, я уже не успевал. Ввиду срочности решавшихся вопросов мы решили никуда не ехать; генерал Лукомский посоветовал то же самое... Нашу работу прервал адъютант Керенского, передавший требование министра, чтобы мы с начальником штаба немедленно прибыли на станцию. В тот же день я услышал, что на станции Керенский кипятился и выходил из себя, говоря, что генералы совсем распустились, что с них следует снять стружку, что я сознательно игнорировал его, что он требует уважения к себе, что «бывших» встречали на станции в любую погоду и стояли там часами до самого конца... Все это было очень мелко и смешно, особенно на фоне трагической ситуации на фронте, которую я в то время обсуждал со своим начальником штаба.

Этот эпизод так же описывают другие участники совещания Деникин, Лукомский и Алексеев. На следующий вечер Алексеев пришел к выводу, что «дни Брусилова сочтены», но он не догадывался, что «сочтены не дни, а часы Брусилова»⁷.

Второе недоразумение произошло с генералом Корниловым. Его отсутствие на совещании из-за опалы превратилось в преимущество. Совещание было нервным, споры — острыми и бесплодными. Выступление Деникина было официальным предъявлением обвинения правительству, которое «втоптало русские знамена в грязь», и лично Керенскому, который должен был бы покаяться в случившемся, «если бы у него была совесть». Выговор, который Керенский устроил Рузскому, был резким и даже истеричным. Никаких конкретных выводов сформулировано не было. На этом фоне «девять пунктов» Корнилова казались чудом практичности. В одном пункте Корнилов, принципиальный враг комиссаров и комите-

тов, на сей раз, в полном согласии с Савинковым, выступил за создание института «корпусных комиссаров, без которых никому подписывать похоронки». В другом пункте он предлагал «немедленно провести тщательную и беспощадную чистку командного состава». Керенский, который только что вступил в острый конфликт с этим командным составом и выслушал множество нареканий на работу комиссаров и комитетов, на правительстве и Совете, решил, что в ультиматуме Корнилова содержится «более широкий взгляд на вещи». Он жестоко ошибся: Корнилов всего лишь хотел скинуть на плечи комиссаров неприятную обязанность рассылать извещения о смерти, а под чисткой командного состава имел в виду избавление от «оппортунистов» и их замену непримиримыми консерваторами.

Колеса истории завертели. По дороге из ставки в Петроград в личном поезде Керенского состоялась беседа Керенского и Терещенко со специально приглашенными Савинковым и Филоненко, в ходе которой обсуждались меры «по спасению армии и страны». Было решено убрать из правительства левых министров Чернова и Скобелева и заменить «слабого» Брусилова. Савинков свидетельствует: «Керенский прямо спросил меня, кто может заменить последнего. Я назвал Корнилова. Генерал Корнилов был назначен главнокомандующим». Продвигавших его кандидатуру тоже не забыли: Савинков стал военным министром, а беспринципного авантюриста Филоненко, «второе я» последнего, сделали верховным комиссаром ставки.

В тот момент Керенский и не подозревал, что меняет «кукушку на ястреба». Но ястреб быстро показал свои когти. В ответ на свое назначение Корнилов телеграфировал: «Как солдат, обязанный соблюдать воинскую дисциплину, я принимаю назначение, но как главнокомандующий сообщаю, что принимаю это назначение на следующих условиях: 1) я несу ответственность перед моей совестью и всем народом; 2) никто не будет вмешиваться ни в мои оперативные приказы, ни в назначения высшего командного состава». Кроме того, Корнилов требовал использования в тылу всех карательных мер, применяемых на фронте, и (самое главное) выполнения

«программы из девяти пунктов», которую он представил «военному совету».

Даже такой убежденный сторонник Корнилова, как генерал Деникин, только пожимал плечами, говоря об «очень оригинальном с точки зрения конституции взгляде на роль главнокомандующего вплоть до Учредительного собрания», выраженном Корниловым в крылатой фразе об «ответственности перед моей совестью и моим народом». Но точка зрения конституции волновала Корнилова меньше всего на свете; он претендовал на диктаторскую власть во всех военных делах. Керенский и сам довольно любопытно определил свои обязанности в первом приказе, изданном от имени военного министра: «Принимая в свои руки военную власть страны, я заявляю, что отечество в опасности... Я не буду принимать прошений об отставке, продиктованных желанием избежать ответственности». Таким образом, Корнилов частично вступал в завуалированную полемику с Керенским, а частично пародировал высказывания последнего. Савинков говорит, что он снова успокоил Керенского, заверив его, что этот новый бунтарский документ подсунули Корнилову какие-то интриганы, что генерал подписал его по беспечности и что беспокоиться не о чем. «Тогда мне даже понравилась мстительность Корнилова, — позже признавался Керенский. — Я продвигал его упорно, несмотря на сопротивление высшего командования и враждебность левых групп». Керенского не волновало, что он назначил Корнилова главнокомандующим, «несмотря на мнение военных авторитетов»⁸. В этом весь Керенский; он всегда считал себя «сверхавторитетом».

Однако на этом сложности не кончились. Назначив Корнилова главнокомандующим, Керенский одновременно назначил его преемником на посту командующего Юго-западным фронтом генерала Черемисова. Но Корнилов был абсолютно серьезен, когда требовал единоличного права назначения на высшие командные должности. Он отказался признавать Черемисова и поставил на этот пост генерала Балужева. Два человека, назначенных разными властями, должны были неминуемо столкнуться между собой. Что делать? Дуумвират в лице Савинкова и Филоненко взялся за работу. Как верхов-

ный комиссар, Филоненко позвонил Черемисову по телефону: исправить ситуацию может только «добровольное» заявление Черемисова, что он может принять назначение только от Корнилова. Изумленный генерал ответил, что он служит не лично Корнилову или кому-то другому, а России и что приказы Временного правительства не могут отменить закулисные интриги каких-то «зловещих сил». «Можете включить в эти «зловещие силы» и Савинкова с Филоненко», — иронически ответил верховный комиссар ставки и повесил трубку.

Тем временем комиссар 8-й армии забил тревогу. Во время наступления Керенского» наибольшего успеха добился именно 12-й корпус Черемисова. Казалось, на горизонте восходит новая военная звезда; тем более что этот человек полностью принял революцию. Комиссар заявлял, что «ситуацию могут спасти только такие люди, как генерал Черемисов». Филоненко ответил, что в таком случае Корнилов может подать в отставку, но это не произвело никакого впечатления на комиссара армии, которой Корнилов командовал до Черемисова; из этих двоих комиссар предпочитал последнего.

Конфликт между Керенским и Корниловым должен был чем-то закончиться. Разыгралась комедия. Двадцать четвертого числа Корнилов вступил в должность главнокомандующего. На следующий день в штаб-квартиру Юго-западного фронта прибыл Черемисов. Не успев выйти из поезда, генерал получил телеграмму Керенского, освобождавшую его от должности командующего фронтом и отбывавшую «в распоряжение Временного правительства»; иными словами, Черемисов лишился не только армии, которую спас в решающий момент, но и корпуса, с которым добился блестящей победы.

С того момента его мнение о Керенском было непоколебимым. Во время большевистского переворота Черемисов, к тому времени командовавший Северным фронтом, не ударил палец о палец, чтобы спасти беспомощное правительство Керенского.

Теперь Керенский и Корнилов столкнулись лицом к лицу. Керенский еще не раскусил Корнилова. Он видел лишь его «трудный характер», но не наличие четкого плана и решительной политики. Вызывающее поведение Корнилова стало сиг-

налом для его сторонников и союзников. Главный комитет Союза офицеров ставки публично заявил, что если он не сумеет выполнить корниловскую «программу из девяти пунктов» — единственное, что может спасти армию, — то члены Временного правительства «ответят за это своими головами». Вокруг кандидата в диктаторы начали группироваться реальные силы, впервые давшие себя знать за все время революции и возникшие как из-под земли.

Во время «медового месяца» революции все защитники царского режима словно бесследно испарились. Но в действительности они просто залегли на дно и стали ждать неизбежного раскола в рядах победителей. Первый правительственный кризис и замена цензового правительства коалиционным заставили контрреволюционные силы пробудиться. С начала лета антиправительственные и антисоветские общества и союзы расплодилось как грибы после дождя. Из-за незнания конспирации многие из них существовали открыто, замаскировавшись под легальные, однако за фасадом легальности скрывались постепенно сужавшиеся круги подпольщиков, напоминая круги дантовского ада. Поскольку в армии были представлены все классы общества, большинство этих организаций стремились привлечь в свои ряды офицеров и собирались действовать, как говорил Милюков, «теми средствами, которые были в распоряжении военных». Однако конкретный план еще не прояснился. Между ними существовало согласие, но не на позитивной платформе (большинству данной публики такое было не по зубам), а на том, что именно нужно остановить и кого конкретно уничтожить. Все сходилось на том, что нужно остановить революцию, разогнать Советы, заодно свергнуть Временное правительство, если оно вступится за Советы, а там — «как Бог даст».

Деникин был близок к истине, когда писал:

«Они были готовы к любому повороту событий: большевистской атаке, падению правительства, катастрофе на фронте, поддержке диктатуры, а некоторые и к восстановлению самодержавия; но сначала ни о претенденте на трон, ни о диктаторе речи не шло».

Неугомонный Пуришкевич руководил одной подпольной группой, которая называлась Обществом русской географичес-

кой карты. Позже, выступая перед большевистским революционным трибуналом, он описывал свое трудное положение:

«Как я мог пытаться восстановить монархический порядок — который, как я глубоко убежден, будет восстановлен, — если у меня даже на примете не было человека, который, по моему мнению, должен был стать монархом? Скажите мне, кто бы мог им стать? Николай II? Женщина, которую я ненавижу больше всех на свете? Больной цесаревич Алексей? Моя трагедия как монархиста состоит в том, что я не вижу никого, кто мог бы привести Россию в тихую заводь».

Не найдя подходящей кандидатуры в императорской фамилии, эти люди начали искать в другом месте, мечтать о диктаторе, русском Бонапарте или на худой конец Кавеньяке.

Бонапартизм всегда был демократичнее легитимизма. Он не отвергает революцию, но считает себя ее наследником. В результате некоторые из этих групп и тайных организаций со склонностью к бонапартизму временами мечтали о «бескровном путче» и «законной диктатуре», объявленной Временным правительством или узаконенной задним числом по крайней мере частью этого правительства или его главой. Одним из лучших способов совершения «бескровного путча» казалось навязывание Временному правительству беспощадной борьбы с большевиками, в которой не было бы и намек на уступки революционной демократии и которая заставила бы восстать даже небошевистские и антибошевистские партии, входившие в Совет. Логика событий делала борьбу с большевиками борьбой с Советами. Это превратило бы Временное правительство в заложника сил, которые обеспечили ему победу, и волей-неволей заставило бы принять их требование об установлении диктатуры. Диктатура рассматривалась как временная мера, чистилище, ведущее в рай монархии — может быть, конституционной, но все же монархии.

Керенскому идея «диктатуры» должна была импонировать. В.Н. Львов, член одного из его кабинетов, позже говорил: «Он же хотел быть диктатором; что ж, в таком случае мы бы сделали его им сами». Согласно Деникину, «первоначальные смутные надежды и офицеры, и либеральные демократы возлагали на генерала Алексева». Еще накануне падения царизма Алек-

сеев до смерти напугал Родзянко своей идеей военной диктатуры. «Позже или, возможно, одновременно многие организации делали предложение адмиралу Колчаку во время его пребывания в Петрограде». В частности, Республиканский центр, который принимал активное участие в корниловском движении, «наладил связь с адмиралом». Согласно Новосильцеву, главному конспиратору Союза офицеров ставки, «конфиденциальные переговоры с Колчаком вел также лидер партии кадетов». И тут на авансцену с помощью Савинкова вышел Корнилов. Все дальнейшие поиски тут же прекратились. «Имя» было найдено. Какие силы объединились вокруг него?

Первой свои услуги Корнилову предложила «офицерская организация, созданная по инициативе генерала Крымова на Юго-западном фронте; в нее входили главным образом части 3-го кавалерийского корпуса и киевского гарнизона, полк Конной гвардии, офицерская и техническая школы и т. д.». Эта организация ждала стихийной катастрофы вроде развала фронта. На случай наступления немцев Крымов планировал медленно отступать внутрь страны, ведя арьергардные бои и сохраняя железную дисциплину. Вопрос формы правления для организации Крымова был необыкновенно труден: в нее входило большое число монархистов, поэтому Крымову как лидеру сильно мешало его прошлое организатора заговора против династии. Пришлось принять политику «неоказания предпочтения» ни монархии, ни республике. Крымов поддерживал тесную связь со своим партнером по первому заговору против Николая II Гучковым и был связан с Временным правительством через Терещенко, тоже участника антимонархического заговора.

Второе место принадлежало Главному комитету Союза офицеров ставки. Под разными легальными предлогами он тайно отправлял «надежных» офицеров в Петроград для создания ударной части. Комитет также пытался контролировать формирование добровольческих ударных батальонов в армейских дивизиях и на узловых железнодорожных станциях, но это продолжалось лишь до тех пор, пока Брусилов не утвердил проект полковника Манакина, который позволял Советам прямо участвовать в этом деле. Комитет установил широкие контакты с родственными организациями и буржуазными партиями. Его

возглавлял полковник Новосильцев, за спиной которого маячила гораздо более крупная фигура — генерал Алексеев.

Деникин пишет:

«Во время московского Государственного совещания между главнокомандующим и Алексеевым состоялась знаменательная беседа:

— Генерал Алексеев, мы должны быть уверены в вашем детище, Союзе офицеров. Примите над ним команду, если считаете, что так будет проще.

— Нет, генерал Корнилов, так будет проще для вас, как главнокомандующего».

В-третьих, существовал ряд петроградских тайных обществ и кругов, позже объединившихся в «военную секцию» при Республиканском центре, созданном в июне. На первых порах Центр заявлял, что поддерживает Временное правительство против большевиков, но затем начал планировать его свержение. Согласно свидетельству председателя Союза воинского долга Ф. Винберга⁹, его военной секцией руководил некий полковник генерального штаба N., а в его отсутствие — другой полковник, Дю Семетьер. В нее входило от двух до четырех тысяч активных членов (иными словами, имевших оружие). Это была реальная сила. Позже выяснилось, что в ее состав входило слишком много «золотой молодежи», которая играла в конспирацию и тратила деньги, собранные для «дела». Согласно генералу Лукомскому, Корнилов установил контакт с этими тайными обществами через полковника Лебедева, основателя Военной лиги. По инициативе Лебедева Корнилов встретился в ставке с двумя петроградскими делегатами (оба были инженерами). «Было решено, — говорит Винберг, — приступить к активным мерам совместно и с разрешения генерала Корнилова, который должен был стать диктатором. Было достигнуто соглашение, что власть в Петрограде захватит генерал Крымов, как только доберется до столицы со специальными частями». Ко времени прибытия отрядов Крымова «главные силы революции уже будут сломлены, так что Крымову останется только установить порядок».

Лукомский добавляет, что представители Республиканского центра говорили о 2000 вооруженных членов, но просили

к концу августа прислать в Петроград 100 офицеров. «Генерал Корнилов согласился и добавил, что офицеры будут присланы с передовой, якобы в отпуск... Удалось достичь соглашения, что все должно быть готово к 26 августа»¹⁰.

Многие участники заговора были убеждены, что в конце августа большевики планируют захватить власть. Эта информация противоречит всему, что мы знаем о реальных намерениях генерального штаба большевиков. Несомненно, этот слух распространялся сознательно, чтобы оправдать готовившийся переворот. Но часть заговорщиков прекрасно знала, что сведения о большевистской акции являются преднамеренной ложью, и даже пыталась сфальсифицировать такую попытку.

В этой связи необходимо упомянуть четвертую группу заговорщиков: Совет Союза казачьих частей, возглавлявшийся беспринципным, но энергичным демагогом, атаманом Дутовым, и Экономический клуб — легальную организацию, за которой скрывалась нелегальная монархистская организация П.Н. Крупенского. В.Н. Львов (позже вызвавшийся быть посредником между Корниловым и Керенским, но потерпевший неудачу) после мятежа Корнилова слышал собственное признание Дутова: «27 августа в Петрограде я должен был действовать как большевик». Псевдобольшевистская демонстрация сорвалась, потому что, согласно словам Дутова, когда в решающий момент он «прибежал в Экономический клуб и позвал людей на улицу, никто за мной не пошел».

Провокация Дутова не состоялась благодаря усилиям противоположной стороны. Накануне три крупнейшие рабочие организации — Исполнительный комитет Совета, Петроградский совет профсоюзов и Центральный союз фабричных комитетов — опубликовали следующее предупреждение:

«Товарищи и граждане, по городу ходят слухи о планирующихся демонстрациях. Говорят, что 27 августа состоится уличная рабочая демонстрация. Контрреволюционные газеты пишут о бойне, которая назначена на 28 августа... Мы, представители рабочих и солдатских организаций, заявляем: эти слухи распространяются *провокаторами* и врагами революции. Они хотят выманить массы на улицу и утопить револю-

цию в море крови. Мы заявляем: ни одна партия рабочего класса и демократии не зовет вас на демонстрацию. Пролетариат и гарнизон Петрограда не поддадутся на провокацию».

Еще раньше с таким же предупреждением выступил Центральный комитет большевиков: «Злоумышленники распространяют слухи о приближающейся демонстрации и ведут агитацию с провокационными целями, якобы от имени нашей партии. Центральный комитет призывает солдат и рабочих не поддаваться на эту провокацию и сохранять полную дисциплину и спокойствие».

Эти маневры позволяют увидеть в другом свете деятельность искусной демагогической газеты «Живое слово», называвшей себя народной и социалистической. Газета хорошо финансировалась. Она из номера в номер призывала к диктатуре, и только к диктатуре. Она выдвигала чисто гитлеровские лозунги за десять лет до появления Гитлера в Германии. Умело спекулировавшая на невежестве и озлобленности низших классов столицы, а особенно на чувствах «раздраженной мелкой буржуазии», эта газета продавалась как горячие пирожки и вызывала недовольство всем и вся.

Корнилову оставалось только соединить все эти элементы в стройный план. Сформулировать его военную составляющую было поручено полковнику Лебедеву и капитану Роженко, в то время как подполковник Голицын и адъютант Завойко отвечали за техническую сторону плана. Искать помощников Корнилову не пришлось. Его вызывающее поведение стало сигналом для всей России. «Представители Союза офицеров во главе с Новосильцевым явились сами и выразили желание работать ради спасения армии. Прибыли делегаты от Казачьего совета и Союза георгиевских кавалеров. Республиканский центр пообещал Корнилову поддержку влиятельных кругов и передал в его распоряжение военные силы петроградских организаций. Генерал Крымов прислал в комитет Союза офицеров гонца с поручением выяснить, правда ли, что «что-то затевается», и сообщить, должен ли он принять 11-ю армию, предложенную ему Деникиным, или остаться с 3-м корпусом, которому предстоит, как он выразился, «куда-то отправиться». Его попросили остаться с 3-м корпусом».

Военный и конспиративный аспекты корниловского движения были очерчены, но его политическая и социальная стороны остались за кулисами.

Существует множество рассеянной по разным источникам информации, свидетельствующей, как тесно он был связан с землевладельцами и плутократией. Если ее собрать и обобщить, то от мифа о том, что движение Корнилова волновала лишь судьба страны и что его члены не имели ни личных, ни партийных, ни классовых, ни кастовых интересов, не останется камня на камне.

Во время ликвидации мятежа газеты опубликовали следующую новость:

«Москва, 7 сентября. При обыске дома некоего Петрова было найдено 6500 брошюр корниловского содержания. Брошюры конфискованы. Милиция обыскала помещение администрации Союза землевладельцев. Обнаружены плакаты и четыре прокламации генерала Корнилова, распространявшиеся в дни его мятежа».

Это сообщение заставляет вспомнить приказ Корнилова, запрещавший нарушать права землевладельцев в прифронтовой полосе. Этот приказ пытались объяснить исключительно заботой о снабжении фронта, которое зависело в первую очередь от помещичьих имений. Корнилов обещал делегации польских землевладельцев «выделить им части для защиты урожая, необходимого армии». Цели такого выделения интерпретировались совершенно по-разному. На пленарном заседании Главного совета Союза землевладельцев граф Чапский заявил, что подписание приказа было прямым результатом деятельности союза: «Мы получили от командующего декрет о наказании тех, кто мешают нам жать пшеницу и косить сено»¹¹.

Тому, что Корнилов и его сторонники поддерживали кампанию воинствующих русских землевладельцев, удивляться не приходится; правая рука Корнилова Завойко сам был крупным землевладельцем и предводителем дворянства Гайсинского уезда Подольской губернии. Некоторые тайные общества, группировавшиеся вокруг Корнилова, также имели явный аграрный уклон. Совет Союза казачьих частей, возглавлявшийся Дутовым, имел собственную аграрную программу с лозунгом «ни пяди

казачьей земли крестьянам». Говоря более конкретно, этот лозунг означал, что казацкие старшины, отделив рядовых казаков от остального крестьянства и раздувая вражду между казаками и «иногородними», собирались не только сохранить в неприкосновенности земельную собственность своих высших офицеров в целом, но и удерживать в своих руках прибыльное распоряжение незанятыми «военными землями», которые они сдавали в аренду*. «Республиканский центр считает, что земельная собственность должна сохраниться», — читаем мы в «Воззвании к крестьянам», составленном центральным Корниловским обществом в Петрограде. В нем говорится о том, что эти земли «политы потом отцов и дедов» нынешних владельцев, а потому о передаче данной собственности безземельным не может быть и речи. Военная лига заявила, что решение таких насущных вопросов, как аграрный, рабочий и т. д., является «делом будущего, а не настоящего». Деникин признавался, что «многие участники петроградских организаций принадлежали к правым кругам; эти круги были тесно связаны с дворянством и крупными землевладельцами».

Существует еще одно свидетельство закулисной роли русских землевладельцев в корниловском движении, ускользнувшее от внимания историков революции. О «голландском» эпизоде этого движения, когда В.Н. Львов (бывший прокурор Священного синода во Временном правительстве) предпринял неудачную попытку примирения, написано много. Львов был человеком искренним, но чрезвычайно бестолковым. Намерения у него были добрые, однако его неловкость привела к чудовищной силе взрыву. В.Н. Львов был родным братом председателя Совета Союза землевладельцев Н.Н. Львова, человека куда более способного. «После моей первой беседы с Керенс-

* С середины 1840-х годов донские казацкие офицеры вместо денежных пенсий начали получать участки земли, принадлежавшей Войску Донскому, сначала на пятнадцать лет, а затем пожизненно. Старшие офицеры получали по 200 десятин, высшие офицеры — по 400, отставные генералы — по 800, а действующие генералы — по 1600 десятин. «Казацкие старшины» предложили сделать эти пожизненные владения наследственными, и царское правительство согласилось. Таким образом, смысл лозунга был совсем другим — «ни пяди офицерской земли трудящимся», — но говорить о «казаках и крестьянах» союзу было удобнее.

ким и получения от него согласия расширить коалицию и включить в нее еще более правые партии, чем кадетов, — пишет В.Н. Львов, — я не виделся ни с кем из гражданских лидеров, а просто послал моего брата, Н.Н. Львова, поговорить с разными гражданскими представителями, сообщив ему, что Керенский дал свое согласие». Отсюда следует, что самого В.Н. Львова «послал» к Керенскому именно Н.Н. Львов.

Корнилов также обзавелся своим «аграрным теоретиком», профессором Яковлевым. Тот составил собственный аграрный проект, чтобы подорвать земельную реформу, основанную на проекте Чернова. Суть этого проекта заключалась, во-первых, в том, что землю нужно безвозмездно передать не всем крестьянам, а только солдатам с передовой, честно исполнявшим свой долг, или их семьям; во-вторых, при «национализации» земли предлагалось делать многочисленные и сильно растяжимые исключения в пользу землевладельцев. Эти две особенности делали проект полезным орудием диктатуры.

Вожди российской плутократии также пытались прятаться за кулисами, но все же не смогли скрыть свое участие в корниловском движении.

Британский посол Бьюкенен писал, что он узнал о заговоре от его участника, «крупного финансиста». Керенский жаловался, что еще в апреле, а то и раньше владельцы банков и директора финансовых организаций создали специальный фонд для поддержки тайных антиправительственных и антисоветских групп. По его сведениям, эти люди поручили Завойко «подыскать генерала», который предложит им свой меч. До революции Завойко был связан с кружком Распутина; говорили, что, если бы не убийство Распутина, он стал бы министром финансов. Во всяком случае, он претендовал на данный пост в кабинете Корнилова.

Керенский обвинял эти круги, не имея твердых доказательств; они были найдены только впоследствии. В реестре московского филиала Союза офицеров ставки за № 19 мы находим расписку в получении от Всероссийского союза торговли и промышленности 10 000 рублей. После специальной миссии Главного комитета Союза, проведенной в Москве и Петрограде, были получены «добровольные пожертвования от штатских

лиц» в размере 3500, 4000, 10 000 и 16 000 рублей. Анонимное Общество экономического возрождения России через нашего старого знакомого Родзянко передало 100 000 рублей, предназначенных для помощи не менее таинственной и, возможно, фиктивной Партии свободы и порядка с лозунгом «Кто против порядка, тот против свободы». Вскоре выяснилось, что это была вовсе не партия, а «беспартийная военная организация», созданная «для борьбы с влияниями, деморализующими армию»; иными словами, одна из групп, тяготевших к Республиканскому центру. О последнем Деникин говорит, что тот имел одно важное преимущество над всеми остальными: у него были финансовые средства. Эти средства обеспечивала богатая буржуазия, которая «подняла тревогу после июльских дней, доказавших слабость Временного правительства, и предложила [Республиканскому центру. — *Примеч. авт.*] свой первый финансовый взнос, чтобы спасти Россию... от неминуемо надвигавшейся опасности большевизма». Представители банковской, торговой и промышленной аристократии не вступали в ряды таких организаций «из страха быть скомпрометированными в случае неудачи»¹².

Но кто именно входил в их число? Летом 1917 г. представители Союза офицеров ставки доложили о серии шагов, предпринятых для установления связей с гражданскими организациями. «Русские гражданские группы, особенно кадетские, обещали нам свою полную поддержку. Мы встречались с Милоковым и Рябушинским. Обе группы сулили нам помощь союзников, правительства, прессы, в том числе и финансовую... Московская группа приняла нас радушно, петроградская держалась уклончиво. Группа Рябушинского была более стоворчива».

Во время триумфального приема Корнилова в Москве на открытии Государственного совещания представительница одного из старейших купеческих родов, миллионерша госпожа Морозова встала перед ним на колени.

Троих представителей, торгово-промышленной буржуазии — Третьякова, Сироткина и Рябушинского — пригласили на тайное совещание ставки для обсуждения вопроса о формировании правительства Корнилова.

Позже, 12 сентября, когда «люди Корнилова» уже сидели в тюрьме, генерал Алексеев писал Миллюкову: «Я не знаю адресов господ Вышнеградского, Путилова и т. д. Семьи арестованных офицеров начинают голодать. Я очень прошу помочь им. Нельзя позволить голодать тем, кто был связан с тобой общностью идеалов и планов». Иначе «генерал Корнилов будет вынужден подробно объяснить суду все приготовления, все сделки с лицами и кругами и рассказать об их участии, чтобы показать русскому народу, с кем он шел рука об руку».

Было упомянуто только несколько имен. Но Вышнеградский, Путилов, Рябушинский, Сироткин, Третьяков и клан Морозовых были сливками российского делового мира.

Слияние корниловского движения с классовыми организациями крупной буржуазии и землевладельцев требовало своего логического завершения — союза с прежними политическими представителями этих кругов, остатками царской Государственной думы.

Шидловский пишет:

«Примерно в это время группа молодых офицеров ставки выразила желание провести конфиденциальные переговоры с некоторыми из наиболее видных членов Думы. Было создано небольшое и абсолютно тайное совещание. Офицеры заявили, что они уполномочены Корниловым сообщить Думе: на фронте и в ставке все готово для свержения Керенского; требуется лишь согласие Думы на заявление о том, что переворот совершается в ее пользу и, так сказать, при ее поддержке. Члены Думы отнеслись к этому предложению очень осторожно и после тщательных расспросов пришли к выводу, что дело организовано недостаточно серьезно»¹³.

В этом свидетельстве речь явно идет о московском визите специального эmissара ставки полковника Роженко, состоявшемся в первой декаде августа. Согласно Деникину, «в апартаментах видного кадетского лидера прошло совещание влиятельных членов Думы и других политических вождей». После очень поверхностного доклада Роженко о назревшем конфликте между Корниловым и Керенским, возможном использовании кавалерийского корпуса для предотвращения большевистского путча, ликвидации Советов, а заодно и правительства

стало ясно, что «все сочувствовали, но никто не верил в успех или не желал связывать с ним себя или политическую группу, которую он представлял». Через несколько дней дискуссия возобновилась «в более широком кругу либеральных и консервативных гражданских лидеров». Миллюков от имени партии кадетов выразил «сердечное сочувствие намерению ставки положить конец засилью Советов и разогнать их, но чувства масс таковы, что партия не может оказать ставке никакой помощи». Родзянко также заявил, что Государственная дума абсолютно «бессильна», но в случае успеха может быть «гальванизирована» и сумеет принять участие в «организации правительства».

Корниловские офицеры не были удовлетворены приемом, который встретили в этих кругах. Симпатии мятежу выражались сугубо платонически. Выслушав их, один офицер заключил: «Как ни прискорбно, но приходится признать: мы одни». Вывод был правильным. В критический момент политические круги, приветствовавшие переворот, не смогли бы вывести на улицу ни одного человека. У этого политического штаба уже давно не было и намек на армию, которая могла бы ответить на его призыв. Контрдемонстрация в защиту Миллюкова перед его отставкой, прозванная «демонстрацией котелков», была предпоследней попыткой оживить эти силы. Последней стала попытка организовать приветственную встречу Корнилова, прибывшего на московское Государственное совещание; но на эту встречу собрались почти исключительно молодые офицеры — те самые, которые тщетно искали эффективной поддержки со стороны гражданского населения. Корниловское движение приобрело фасад, который украшали имена вчерашних звезд «высокой политики»; этот фасад обладал большими связями и влиянием, пользовался авторитетом у союзников и журналистов и имел деньги. Он мог оказать моральную поддержку, выдвинуть лозунг государственного переворота, создать для него благоприятную общественную и политическую атмосферу, «нажать» на правительство — вот и все. Если бы заговор удался, эти круги утвердили бы его результаты, увенчали лаврами его лидеров и двинулись вперед с открытым забралом; но в случае неудачи они попытались бы спасти свою шкуру и вновь затаиться до лучших времен.

В таких условиях фасад начал действовать. Он сделал попытку мобилизовать практически те же силы, которые когда-то мобилизовал против самодержавия, всего-навсего сдвинув свой фронт слегка налево. Все несоциалистические силы объединились в общий антисоциалистический блок. Как и раньше, его душой стал Милюков, а формальным лидером — Родзянко. Блок был создан на «малом совещании гражданских лидеров», предшествовавшем московскому Государственному совещанию. «Участовавшие в нем три с небольшим сотни человек, — пишет Милюков, — представляли самые разные политические группы и тенденции, от лидера кооперативного движения Чайнова до землевладельца князя Кропоткина». Его положительная платформа была определена как «создание сильного национального правительства для спасения единства России» (формула князя Трубецкого); отрицательная — как «борьба с влиянием Советов на правительство»¹⁴. Керенский рвал и метал. Он говорил Кокошкину: «Милюков организовал «прогрессивный блок» против Временного правительства так же, как однажды организовал его против Николая II». Деникин соглашался с Керенским: «Если многие представители нового «прогрессивного блока» — каким в сущности было «совещание гражданских лидеров» — не были поставлены в известность о точных датах, то они, по крайней мере, сочувствовали идее диктатуры; одни догадывались, другие знали о предстоящих событиях».

Состав нового блока практически совпадал с составом старого; его лидеры были теми же. Но на сей раз это был либерально-консервативный блок. Например, главной на совещании была речь Алексеева; этот человек, выдвинувший идею военной диктатуры еще при царизме, в старом «прогрессивном блоке» был бы невозможен. То же самое можно сказать о лидере Союза землевладельцев князе Кропоткине (которого не следует путать со знаменитым теоретиком революции). Теперь, когда этот блок выступал не против Николая, а против Временного правительства, его следовало бы называть не «прогрессивным», а «регрессивным».

Во время «малого совещания» распространился слух, что между Керенским и Корниловым произошел конфликт и что

Корнилову грозит увольнение. Это расстроило бы все планы заговорщиков. Союз офицеров ставки уже назвал «врагами народа» всех, кто смел критиковать Корнилова, и поклялся поддерживать его «до последней капли крови». Совет Союза казачьих частей объявил Корнилова «бессменным» командующим; в случае его увольнения совет угрожал «снять с себя всякую ответственность за поведение казачьих частей на фронте и в тылу». Союз георгиевских кавалеров высказался еще более воинственно: «Это станет сигналом, после которого все георгиевские кавалеры присоединятся к казакам». «Малое совещание» поторопилось «добавить свой голос к голосам офицеров, георгиевских кавалеров и казаков». Его обращение к Корнилову звучит как призыв к действию: «В этот грозный час суровых испытаний вся Россия смотрит на вас с надеждой и верой».

Когда Корнилов приехал в Москву, бард кадетов Родичев закончил свое приветствие следующими подстрекательскими словами: «Спасите Россию, и благодарный народ коронует вас».

Деникин правильно пишет: «Не приходится удивляться тому, что эти люди иногда испытывали угрызения совести. Маклаков говорил Новосильцеву: «Скажите генералу Корнилову, что мы подталкиваем его к действию, особенно М. Но если что-нибудь пойдет не так, никто из них не поддержит Корнилова, они все убегут и попрячутся»¹⁵.

Маклаков говорил горькую правду. Первым убежал формальный лидер нового блока Родзянко. Как только стало ясно, что замысел Корнилова провалился, Родзянко через газету «Русское слово» тут же отрезался от всякого участия в движении.

Позиция Милюкова была более трудной. Во время паники, поднятой мятежом Корнилова, он едва не поднял забрало. В кадетской газете «Речь» от 30 августа вместо его обычной редакционной статьи красовалась купюра. Но наборщики тут же принесли в Совет доказательство того, что статья была спешно убрана, когда поступила последняя новость об изменении ситуации. В ней Милюков чрезвычайно тепло приветствовал нового диктатора. Позже кадетская пресса писала о «преступных» методах корниловского движения, смягчая это утверждение упоминанием о его благородных целях. Краси-

вым такое поведение не назовешь. Сам Милюков предпочел на время покинуть политическую арену и уехал в Крым.

В начале июня 1917 г. В.Н. Львова пригласил к себе в квартиру Шульгин, который еще в марте мечтал расстрелять толпу из пулеметов. При этой встрече присутствовал полковник Новосильцев, один из вождей заговора. «Шульгин ошеломил меня, сказав, что для переворота все готово; он хотел предупредить меня, что после 15 августа я должен немедленно подать в отставку». Львов сразу же согласился последовать совету. 21 августа, когда он уже не был членом правительства, такое же предупреждение через него доставили одному из кадетских министров. Инициатива исходила от генерала Лукомского. Кадетам было рекомендовано подать в отставку к 27 августа, чтобы затруднить позицию правительства и спасти собственные шкуры. Слова Львова подтверждает В.Д. Набоков, бывший генеральный секретарь Временного правительства. Он передал предупреждение Львова трем кадетским министрам — Кокошкину, принцу Ольденбургскому и Карташеву. Другим членам правительства таких предупреждений не поступило: именно это называлось у кадетов «практичной коалицией». Все четыре министра-кадета подали в отставку вечером 25 августа, буквально выполнив указание ставки. Правда, Кокошкин еще до того по собственной инициативе испробовал метод «подрыва правительства». 11 августа, накануне московского Государственного совещания, он внезапно сказал Керенскому, что «подаст в отставку, если программа Корнилова не будет принята сегодня же». Керенский «был ошеломлен». Уход кадетов из правительства «сделал бы дальнейшее поддержание равновесия в стране невозможным». После этого Государственное совещание стало бы ареной ожесточенной борьбы; можно было бы ожидать какой-нибудь авантурной выходки со стороны правых вроде требования создать «сильное правительство» — иными словами, установить диктатуру.

Корнилов считал, что в его движении принимает участие вся кадетская партия. После провала мятежа генерал, находившийся в могилевском госпитале под охраной, передал через князя Трубецкого следующий приказ: «Скажите им, что ни один кадет не должен войти в правительство». Деникин излагает содер-

жание беседы между князем Трубецким и Корниловым: «Политику и публичному оратору пришлось потратить много времени, чтобы убедить военного, что предъявить такое требование может только человек, получивший от партии кадетов очень конкретные обещания». Такие обещания давались только Корнилову-победителю, но не Корнилову-неудачнику.

Борьба между Корниловым и Керенским началась. Третий элемент, Савинков, включился в нее с самого старта.

Савинков и его «второе я» Филоненко утверждали, что «Корнилова создали они». Корнилов должен был стать тем мечом, который разрубит гордые узлы восстановления боеспособности армии и решения вопроса войны и мира. Савинков со своей громкой славой революционера и террориста должен был стать «демократическим щитом» Корнилова и защищать его от ударов слева. Во-вторых, Савинков и Филоненко, имевшие влияние на Керенского, могли легко добиться выполнения требований Корнилова. Без Керенского успех становился сомнительным. Его участие должно было устранить все препятствия. Савинков рассчитывал, что выполнение главных пунктов программы Корнилова с помощью Керенского (как члена триумvirата) и поддержки, обещанной кадетами, «заставит меньшинство, включая Чернова, подать в отставку. Кроме того, проголосовав за законопроект, Керенский бы *ipso facto* [в силу самого факта (*лат.*)]. — *Примеч. пер.*] занял позицию, враждебную Петроградскому совету»¹⁶. Правительство и Совет объявили бы, что в стране произошел кризис власти, что кабинет министров будет восстановлен после окончания войны, а до того времени назначается реальная или формальная директория из трех—пяти человек, куда непременно вошел бы и Корнилов. Псевдолегальный государственный переворот достиг бы той же цели, что и личная диктатура, но при этом без всяких опасностей, связанных с установлением последней. Видимо, Корнилову внушили, что «директория» будет всего лишь переходом к настоящей диктатуре. Разницы он не чувствовал. «Пусть будет директория, но мы должны действовать быстро, время ждать не будет». 25 августа Корнилов договорился с Филоненко о составе будущей директории из трех человек — Керенского, Корнило-

ва и Савинкова. На следующий день после более продолжительной беседы с Филоненко Корнилов и два его политических *ciceroni* [туда (*ит.*)]. — *Примеч. пер.*] Завойко и Аладьин разработали проект Совета национальной обороны, председателем которого должен был стать Корнилов, заместителем председателя Керенский, а членами — Алексеев, Савинков, Колчак и Филоненко.

С точки зрения революционной демократии эти планы были преступлением против революции, хотя Керенский с такой оценкой не согласился бы. Справедливости ради напомним, что после подавления мятежа сам Керенский, продолжавший быть премьер-министром, военным и морским министром, а теперь еще и исполнявший обязанности главнокомандующего, принял «правительственную схему» Корнилова, но только сам занял место Корнилова. Затем с четырьмя министрами он действительно создал директорию, или «совет пяти». В конце концов, идея Корнилова о Совете национальной обороны была всего лишь развитием идеи самого Керенского о триумvirате.

Собственно говоря, борьба между «людьми Корнилова» и «людьми Керенского» была борьбой личностей, а не идей. Ясно, что причиной конфликта являлась военная программа Корнилова. В разгар «подковерной борьбы» триумvirат устами Некрасова объявил, что у Керенского и Корнилова нет двух разных программ, а есть только два разных метода осуществления одной и той же программы. После подавления корниловского мятежа Керенский пытался доказать, что он всегда был против введения смертной казни в тылу и милитаризации фабрик и железных дорог. Однако секретная телеграмма Бьюкенена Бальфуру (№ 1332) доказывает обратное:

«Керенский, как меня заверил Терещенко, соглашался с Корниловым и в принципе одобрял использование смертной казни для некоторых типов преступлений против государства, совершенных солдатами и гражданскими лицами, но кадетские министры возражали против последнего, боясь, что смертная казнь может быть использована в политических целях против тех, кто содействовал контрреволюции».

Керенский все больше и больше склонялся к «политике Корнилова без Корнилова». Если раньше Керенский продолжал продвигать Савинкова, несмотря на предупреждения Центрального комитета партии эсеров, то теперь он резко изменил свое отношение к нему. Савинков «хотел, чтобы государственную политику вершил не один человек, Керенский, а трое — Керенский, Корнилов и я; Керенский заявил, что он никогда не позволит этого»¹⁷.

Конечно, Керенский предпочитал старый триумvirат (он сам, Некрасов и Терещенко) новому. Им было легче управлять. Но старый триумvirат уже раскололся. Некрасов стал его левым флангом, а Терещенко — правым. Преемник Милокова Терещенко был импровизацией, шуткой или капризом истории. Изюм всех качеств, необходимых дипломату, он обладал одним-единственным: умением одеваться и изящными манерами. Его способность ориентироваться в ситуации и приспособляться к ней не знала себе равных; в этом отношении он был гением. «Как министр иностранных дел он стремился следовать политике Милокова, но так, чтобы Совет рабочих депутатов не мешал ему. Он хотел дурачить всех, и временами это ему удавалось... Но нигде, ни в одном социальном кругу он не сумел пустить корни, никто не принимал его всерьез. *Ce n'était pas un caractere* [Это был не тот человек (*фр.*)]. — *Примеч. пер.*]»¹⁸.

16 июля Бьюкенен тайно сообщил Бальфуру о любопытном образе мыслей Терещенко: «Удар, полученный нами на Юго-западном фронте, может пойти на пользу России, — заявил он. — Несомненно, враг спас Россию... Он помог правительству восстановить смертную казнь, усилить свои позиции, подчинить себе крайние партии и восстановить единство страны». Это «пораженчество» заставило Терещенко перейти на платформу Корнилова. 21 июля Бьюкенен телеграфировал в Лондон:

«Терещенко... сказал Керенскому, что он не останется в правительстве, если оно не начнет действовать решительно. Остается только одно: введение военного положения во всей стране, использование военно-полевых судов против железнодорожников и принуждение крестьян к продаже зерна. Правительство должно признать генерала Корнилова; несколько

членов правительства должно оставаться в ставке для постоянной связи с ним. На мой вопрос о том, разделяет ли его взгляды Керенский, Терещенко ответил утвердительно, но сказал, что у премьера связаны руки»¹⁹.

Все расчеты Савинкова и Филоненко основывались на этих взглядах Керенского и его друзей. Но чем сильнее они пытались стать верховными арбитрами в споре Корнилова и Керенского, тем меньше им доверяли и тот и другой. Корнилов «никогда не знал, кому Савинков собирается нанести удар в спину — ему или Керенскому». У генерала были собственные осведомители. Сам он плохо разбирался в людях. Кроме того, Корнилов жаловался, что ему не из кого выбирать. Его политическому окружению были свойственны «авантюризм и легкомыслие», доходящие «до абсурда». Согласно Керенскому, Завойко был при Корнилове эмиссаром банкирских и промышленных кругов. Аладьин, экс-член Думы, лидер фракции трудовиков, был демагогом чистой воды. После столыпинской реакции он тайно перешел на сторону правительства и работал в «Новом времени» Суворина. Он был специально вызван в Россию секретной телеграммой Бьюкенена Бальфуру²⁰. Не приходится сомневаться, что его поездки и деятельность финансировались британским правительством. Аладьин пытался встретиться с Керенским и убедить его провести изменения в правительстве, необходимые «для завоевания доверия класса промышленников, землевладельцев, умеренных партий и военного командования»²¹.

Бьюкенен не скрывал, что «все его симпатии находятся на стороне Корнилова». Однако он утверждал, что был против военного переворота и настаивал на соглашении между Корниловым и Керенским. Мы уже знаем о его переговорах с «финансистом, который был участником заговора». Как дауиен дипломатического корпуса, Бьюкенен предлагал от имени последнего стать посредником между Временным правительством и генералом. В своем дневнике Бьюкенен писал: «Делать больше нечего, остается только ждать развития событий и верить, что у Корнилова хватит сил преодолеть сопротивление, которое ему окажут в ближайшие дни»²². Иностранцы военные представители при ставке были еще откровен-

нее: «Многие из них в те дни встречались с Корниловым, задевали его в своем уважении и желали ему успеха; особенно трогательно это выразил британский атташе»²³. Генерал Нокс был так тесно связан с Завойко и Аладьиным, что практически являлся участником заговора. Эта связь пережила корниловский мятеж. Во время Версальской мирной конференции лорд Милнер предложил ее участникам выслушать «представителя России», некоего «капитана Курбатова»; единственным человеком, которому позволили выступать в Версале от имени России, был не кто иной, как Завойко. Из телеграмм Бьюкенена явствует, что британский посол очень встревожился, когда одна московская газета сообщила об участии английских представителей в движении Корнилова, и выразил Терещенко благодарность за обещание заткнуть этой газете рот.

Помощники Корнилова уже прикидывали состав будущего кабинета, не забывая при этом и себя. Завойко претендовал на портфель министра финансов, Аладьин — на портфель министра иностранных дел; для уверенности в поддержке Савинкова и Керенского они оставили места и для последних. Оставаясь наедине, они вели откровенные разговоры. Утолить гнев офицеров могла бы только смерть Керенского. Хотя Корнилов приглашал Керенского в ставку и гарантировал ему в Могилеве полную неприкосновенность, однако всегда оставался шанс, что его убьет кто-нибудь из случайных добровольцев. С другой стороны, во время каждого визита Корнилова в Петроград по вызову правительства ставка волновалась, вернется ли он оттуда живым. Корнилов ездил в Зимний дворец в сопровождении двух машин с пулеметами. Верный ему Текинский полк держал пулеметы в вестибюле дворца и ожидал там.

В этот трудный момент Керенский, который не мог оставаться равнодушным к падению собственной популярности, попытался восстановить ее. Он созвал так называемое Государственное совещание с участием всех организованных сил России. Разделение мест между организациями, неравными по размерам и значению, имело практически одну цель: сохранить количественное равновесие между рабочими и буржуазными партиями. Нейтральная группа кооператоров (единственная, в которой был уверен Керенский) должна была

обеспечить небольшое преимущество той или иной стороне. Это шаткое равновесие противоборствующих сил оставляло за правительством ту же роль верховного арбитра, которую Керенский и его триумvirат играли в самом Временном правительстве, балансируя между равными по силам левым (советским) и правым (цензовым) крылом.

Перед Государственным совещанием все внутренние и внешние отношения правительства были очень напряженными. Керенлов истощил запасы терпения Керенского, несколько раз публично назвав последнего слабым, неискренним и недостойным доверия. Кадеты предъявили премьеру свой ультиматум. Импульсивность Савинкова перешла все границы. Наконец Керенский решил позволить ему уйти в отставку. Временами Чернов в одиночку воевал против всех и, ничего не добившись, грозил с шумом уйти из правительства и вернуться в Совет. Большевизм набирал силу в обеих столицах. Умеренные советские партии все яснее ощущали необходимость сдвига правительственного курса влево. Керенский нуждался в поддержке, чтобы сопротивляться этому требованию, но «малое совещание» вырыло пропасть на его правом фланге. Разделение участников Государственного совещания на два непримиримых лагеря было неизбежно.

Керенский планировал напугать два эти лагеря их непримиримостью и предложить себя на роль «верховного судьи». («Он уехал в Москву короноваться», — шутили журналисты.) Он хотел противопоставить реалиям классовой, национальной и партийной вражды некий священный предмет — нет, мистическое Высшее Существо по имени «Государственность» и себя самого в качестве его первосвященника. Он хотел потребовать подчинения огромной, простой, всеобщей и всеобъемлющей силе национально-огромного самосохранения. Временное правительство согласилось с Керенским. Лишь два министра сочли этот замысел мелким и бесполезным, хотя и грандиозным с виду: крайне правый Кокошкин и крайне левый Чернов. В первый и последний раз они вместе голосовали против большинства.

По мере приближения совещания Керенский все более четко видел свою вторую практическую цель: точно определить угрожающую ему опасность. Его верный помощник Некрасов,

выйдя в Москве из поезда, с тревогой спросил пришедшего на вокзал москвича, что здесь замышляется. Милоков, руководивший всей кампанией по моральной и политической поддержке заговора Корнилова, утверждает, что «ничего определенно не планировалось... не было сделано ни одной попытки создать так называемое «сильное правительство» или что-нибудь в этом роде ни на самом совещании, ни силой»²⁴.

Этому утверждению противоречит широко известный инцидент. Во время московского совещания на Петроград начал наступление корпус одного из участников корниловского мятежа, князя Долгорукого. Оно было вовремя остановлено генералом Васильковским, командующим Петроградским военным округом. 7-й Оренбургский казачий полк одновременно двинулся на Москву, но его перехватил командующий Московским военным округом генерал Верховский. Противоречат ему и показания семи юнкеров, охранявших здание, в котором проходило совещание. Командир охраны капитан Рудаков сказал им, что совещание решит, кто из трех генералов (Алексеев, Брусиллов или Корнилов) станет военным диктатором, что Советы, «развалившие и развратившие армию и народ», будут уничтожены, а нынешнее Временное правительство заменят «честные и способные люди, заслуживающие высокого звания правителей народа». Часть юнкеров обратилась к Московскому совету с протестом против их «использования в качестве слепой физической силы для осуществления некоей политической интриги с целью нанести ущерб революции и свободе, которую они завоевали»²⁵.

Возможно, во время Государственного совещания ни одна сторона не собиралась нападать на другую. Но каждая сторона ожидала атаки противника и «готовилась» к ней. Обращает на себя внимание, что после прибытия в Москву Корнилов и Керенский не встретились. Когда курсанты 6-й офицерской школы, юнкера Александровского училища и неизменно верный Текинский полк кричали «ура» и несли Корнилова на плечах, Керенский принимал парад частей Московского гарнизона, устроенный в его честь революционным генералом Верховским. Казалось, что военный министр и главнокомандующий демонстрировали друг другу свою военную мощь.

Ситуация была ясна; московское совещание лишь подвело ее итоги. Правые обвиняли рабочих в чрезмерных требованиях и расхищении государственной казны, крестьян — в захвате земли, национальные меньшинства — в «выборе смертельно опасного момента для нашей общей родины, чтобы разорвать узы, связывавшие нас веками», а правительство — в «потворстве» чрезмерным требованиям всех трех групп. «Правительство должно признать, — требовали правые, — что оно вело страну по неверному пути, и перестать служить утопиям». Милюков высмеивал желание советских партий «направить буржуазную революцию в социалистическое русло руками так называемой буржуазии». Представитель Союза землевладельцев заявлял, что он предпочитает «черный передел» «черновскому переделу». Генерал Каледин и Маклаков нападали на Чернова косвенно, требуя, чтобы «на министерской скамье не было ни одного циммервальдца». Левая часть зала ответила им овацией, устроенной Чернову. Генерал Каледин протестовал против «кражи государственной власти» произвольно созданными местными органами и требовал «упразднения всех Советов и комитетов». Все левые ответили ему хором: «Долой контрреволюцию!»

Атаки старых генералов отразил представитель организаций солдат-фронтовиков Кучин. Он выступил за демократизацию армии и показал, что без помощи комитетов и комиссаров командование будет бессильно. Представитель казаков-фронтовиков Ногаев отрицал право атаманов выступать от имени простых казаков. Его выступление прерывали оскорбительными выкриками, один из которых едва не закончился серией дуэлей. В знак протеста солдаты остались сидеть, когда весь зал встал с мест, чтобы приветствовать генерала Корнилова.

Но полемика и стычки для левых интереса не представляли. Чхеидзе перечислил совещанию то, что правительство должно было сделать, но не сделало: принять широкую программу неотложных реформ, которые позволили бы создать единый фронт демократии трудящихся. Такая программа была подписана организациями, не входившими в Советы, поддержана большинством представителей Всероссийского союза земств и

городов, Союзом служащих государственных, гражданских и частных учреждений, Исполнительным комитетом Объединения гражданских организаций, представителями Всероссийского железнодорожного съезда, центральным и столичными комитетами Всероссийского союза инвалидов войны, представителями организаций фронтовых и армейских частей и, наконец, представителями российских кооперативов. В стороне остались только высшие круги общества. Их изоляция была удручающей.

Церетели пытался сделать политические выводы. Он обратился к буржуазной части аудитории со следующими вопросами: готова ли она работать с демократией рука об руку, чтобы победить экономическую анархию с помощью планового хозяйства и ускорить перемены в обществе? Его речь вызвала аплодисменты даже у правых; представитель деловых кругов Бубликов ответил, что рука, протянутая демократами, не встретит пустоту; однако их символическое рукопожатие осталось всего лишь жестом.

Вступительная и заключительная речи Керенского были настоящим гимном власти — власти, которая объединяет людей в государство и имеет собственные требования и интересы. Однако эта абстрактная власть величественно игнорировала социальное содержание, которое только и придает значение форме. Керенский так и не удосужился объяснить позицию правительства по отношению к программе демократии. В старомодном риторическом стиле проповедей и царских манифестов он требовал подчинения «Воле Верховной Власти» и ему самому, «как Верховному Главе». Он злобно обрушился на тех, кто «дерзал произносить против Верховной Власти и Российского Государства слова, за которые их формально следовало бы призвать к ответу по обвинению в *lese majeste* [оскорблении величия (*фр.*)]. — *Примеч. пер.*]. Он грозил «кровью и железом» защитить порядок от его насильственного нарушения как правыми, так и левыми, «заставить людей вспомнить то, что когда-то называли автократией», а если понадобится, «погубить свою душу, но спасти государство». В заключительной речи Керенский пытался развить этот лейтмотив до трагических высот, переходя от пате-

тического шепота к бессвязным восклицаниям. Вместо обсуждения своей политики он обсуждал свою психологию. Он хотел управлять с помощью убедительных слов, способных пробудить гражданскую совесть, но теперь вынужден прибегнуть к суровым мерам. Если понадобится, он вырвет из своей души самые лучшие, самые нежные цветы мягкости, доброты и кротости и растопчет их ногами. Его сердце превратится в камень, он запрет его на замок и выбросит ключ в море. Истерика оратора начала вызывать истерику в ложах, где сидели женщины. Встревоженные члены правительства, сидевшие рядом с Керенским, ждали, что его речь вот-вот закончится нервным приступом. Вместо того чтобы продемонстрировать силу, он показал свою горячую слабость, пытаясь искупить ее властными интонациями и преувеличенной жестикуляцией.

Согласно плану правительства, принятие общего решения совещания голосованием предусмотрено не было — даже в том случае, если бы кто-то выразил такое желание. Десятки ораторов выступали по очереди, но никто не пытался подвести итог этих выступлений. Цель совещания так и осталась неясной, а его ценность — проблематичной. Его искусственно подобранный состав и туманное назначение вызвали недоумение. Возникло подозрение, что Государственное совещание должно было заменить бесконечно откладывавшееся Учредительное собрание. В рабочих районах Москвы враждебное отношение к Государственному совещанию было столь сильным, что большевикам, которые решили бойкотировать его, не составило труда организовать всеобщую забастовку в знак протеста.

Советская демократия, отнесшаяся к идее проведения совещания без энтузиазма, попала в неблагоприятное положение. Она неохотно выполнила свой долг перед коалиционным правительством, в котором коалиция была лишь голой формой, лишенной содержания, и сделала на совещании все, что могла. Керенский достиг своей цели. Он пригрозил и правым, и левым, и организаторам военного путча, и большевикам, но достиг только одного: вызвал у обоих люютую ненависть.

Глава 18

МЯТЕЖ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Московское Государственное совещание крайне раздосадовало Корнилова. Его личные связи с Керенским были на грани разрыва. Керенский не мог забыть, как часто он намекал главнокомандующему, что его дело — следить за фронтом, а не играть в политику в Москве. Он с величайшим неудовольствием позволил Корнилову выступить на совещании и только при условии, что тот будет говорить об армии и фронте как военный специалист и не касаться высокой политики. Но во время революции границы между двумя этими понятиями практически нет, и впоследствии Керенский обвинил Корнилова в нарушении соглашения. В ушах Корнилова еще звенели завуалированные угрозы Керенского, нестерпимые для генерала, не привыкшего к околичностям. Наконец, отставка Савинкова, на которую Керенский согласился, несмотря на возражения главнокомандующего, была воспринята последним как завершающий удар по «программе Корнилова».

Доволен был только Крымов. Ему давно надоели все эти переговоры, соглашения, компромиссы, посредники и ходатаи, сложная политика, напоминающая игру в шахматы, в которой Корнилова всегда переигрывали в эндшпиле. Крымов не верил ни единому слову Керенского и Савинкова. Его собственный план был прост. Существовал «стратегический резерв главнокомандующего», в который входили наиболее надежные части. Под каким-нибудь благовидным предлогом их следовало подвести ближе к столице, а лучше к обеим столицам. Затем одним молниеносным ударом уничтожить Советы, захватить власть и продиктовать свою волю всей стране.

3-й кавалерийский корпус и Туркестанская кавалерийская дивизия были сконцентрированы в районе Невеля, Нижних Сокольников и Великих Лук. Они были очищены от частей, вызывавших сомнение, и усилены более «надежными». Начальник штаба генерал Лукомский тут же понял, что за этим скрывается некая цель, чуждая интересам фронта. Место было самое удобное для броска на Петроград или Москву, но совер-

шенно не подходящее для усиления Северного фронта. Поэтому он попросил либо оказать ему полное доверие, либо отправить на фронт. Корнилов раскрыл карты. Да, его цель — защитить Временное правительство от нападения большевиков и Советов даже против воли самого правительства. Он «повесит германских агентов и шпионов во главе с Лениным» и разгонит Советы. Корнилов хотел доверить эту операцию Крымову, так как знал, что тот «не колебался развесит на фонарях всех членов Совета рабочих и солдатских депутатов». Возможно, в последний момент он сумеет заключить соглашение с Временным правительством, но, если согласия последнего добиться не удастся, ничего страшного не случится: «потом они сами скажут мне спасибо».

Цель этой операции была ясна и командирам некоторых участвовавших в ней частей. Согласно князю Ухтомскому, составившему «хронику корниловского похода», хотя в полевым приказе местом назначения был крошечный населенный пункт Усьва на берегу Балтийского моря, «общее мнение склонялось к тому, что мы идем на Петроград... Мы знали, что скоро должен состояться государственный переворот, который покончит с властью Петроградского совета и объявит либо директорию, либо диктатуру с согласия Керенского и при его участии, которое в данных условиях было гарантией полного успеха переворота». Полк был «в полной боевой готовности».

После московского Государственного совещания цели заговора изменились. Теперь он был направлен и против Керенского. Но произошло два события, которые заставили заговорщиков вернуться к первоначальному варианту.

Германские войска форсировали Двину, прорвали Северный фронт и взяли Ригу. Фронт передвинулся ближе к Петрограду; ставке пришлось переместиться на территорию прифронтового Петроградского военного округа, подчинявшегося непосредственно военному министру. Не выполнить это требование было невозможно. Но Керенский боялся, что Корнилов, как он выразился, «сожрет» правительство. Конечно, тут он был прав. Он подумывал перевести правительство в Москву, но понимал, какое впечатление это произвело бы на всю Россию. Все реши-

ли бы, что правительство ударились в постыдную панику, испугавшись еще далекого врага. Поэтому Керенский пришел к другому решению: резко свернуть направо, заключить мир с Корниловым, сделать последнему большие уступки и гарантировать полное выполнение его программы. В ответ Керенский хотел, чтобы Корнилов очистил ставку от членов Союза офицеров и других подозрительных личностей. Он решил передать под командование Корнилова весь Петроградский военный округ, кроме самого Петрограда с его пригородами, где Временное правительство будет пользоваться экстерриториальностью и управлять по законам военного времени. Керенский настаивал на том, чтобы Корнилов передал ему абсолютно надежную часть вроде 3-го кавалерийского корпуса, но во главе с командиром, лично преданным ему, Керенскому. Принятием программы Корнилова Керенский рассчитывал убить сразу двух зайцев. Это обезопасило бы его от новой атаки левых: самые распропагандированные части Петроградского гарнизона можно было бы отправить на фронт и заменить их свежими, «неиспорченными», а цитадель большевизма Кронштадт разружить и эвакуировать. Отставку Савинкова Керенский отменил, вернул его на пост военного министра и отправил в ставку со специальной миссией: подготовить окончательное соглашение с Корниловым.

Следующей угрозы правительству Керенский ждал справа. Он отчаянно стремился к военной экстерриториальности Петрограда, вводу туда надежных частей и был готов пойти на все, чтобы добиться своей главной цели. Напротив, Савинков боялся угрозы слева. Он хотел уничтожить Кронштадт и центр столицы, поддерживавшие Совет, избавить правительство от влияния революционно-демократических партий и осуществить в армии программу Корнилова. Савинков сообщил ставке, что правительство намерено принять меры против Кронштадта и «революционного» петроградского гарнизона, чему станут противиться не только большевики, но и все партии, входящие в Совет. На тайном совещании главных заговорщиков — Корнилова, Лукомского, Крымова, Завойко и Аладына — было сказано: «Все выглядит слишком хорошо; возникает опасение, что нас обманывают». До сих пор план заговорщиков осуще-

стваялся в рамках закона. Можно было сказать, что ими командуют сверху. Его выполнению мешало только одно: Керенский и Савинков требовали отстранить генерала Крымова от командования 3-м кавалерийским корпусом. Корнилову пришлось согласиться на это условие. Но в его характере присутствовало восточное вероломство. Он заранее знал, что нарушит обещание. Наступление 3-го кавалерийского корпуса на Петроград и введение военного положения в городе должны были произойти одновременно.

Вторым событием стала «миссия» В.Н. Львова. Этот благонамеренный, но назойливый человек решил, что может и должен предупредить приближавшуюся схватку Керенского и Корнилова. Керенского нужно было спасти от «роковых» последствий его собственного поведения. Керенский боялся разрыва с Советами и поэтому не мог рассчитывать на силы, которые были способны оказать ему поддержку. «Во-первых, — сказал Львов Керенскому, — это кадеты; во-вторых, торговцы и промышленники; в-третьих, казаки; в-четвертых, регулярные части; наконец, Союз офицеров и многие другие». Он подчеркнул, что Советы медленно, но верно переходят в руки большевиков и больше не станут помогать Керенскому; одновременно «озлобление против Советов нарастает... оно уже прорывается наружу и закончится бойней».

Согласно Львову, услышав о «бойне», грозящей Советам, Керенский воскликнул: «Отлично!», вскочил и потерял руки. Он также не возражал против расширения правительства за счет правых и замены «советских социалистов» теми, кого он называл «социалистами сильного правительства». Это убедило Львова, что Керенский поручает ему ведение переговоров с правыми элементами, которых следует привлечь в правительство. Но позже Керенский прямо сказал, что «не давал Львову никаких поручений и никакой власти». Тем не менее Львов поспешил в ставку. Он заверил Корнилова, что Керенский не цепляется за власть, что он не против реорганизации правительства за счет включения в него «всех элементов общества». Львов, в голове которого кружился вихрь идей и планов, рекомендовал одновременно и расширить правительство, и сузить его, создать широкую коалицию и узкую «директорию»,

установить военную диктатуру — конечно, во главе с Корниловым — и снова возвращался к идее объединения власти главнокомандующего с властью главы правительства. Корнилов сказал, что он больше не доверяет ни Керенскому, ни Савинкову, но согласен оставить за последними посты министра юстиции и военного министра. Наконец Львов и Корнилов сошлись на том, что в Петрограде будет объявлено военное положение, как предлагал Савинков; кроме того, правительство по собственному желанию подает в отставку; текущими делами в Петрограде будет заниматься коллегия заместителей министров, а Керенский и Савинков прибудут в ставку. Там Корнилов получит от них всю полноту гражданской и военной власти и создаст новое правительство с их участием. После соглашения с Савинковым Корнилов считал, что Керенский хочет сделать еще один шаг к выполнению собственной программы Корнилова, и не сомневался, что он ведет переговоры с действительным представителем Керенского. Однако для Керенского Львов был всего лишь нечаянным лазутчиком, которого можно было использовать для раскрытия секретов противника.

Львов возвращается к Керенскому. На этот раз он признается, что «реальной силой», от которой он привез конкретные предложения, является главнокомандующий. Керенский настаивает на том, чтобы Львов выкладывал ему все, что знает: Корнилов приглашает Керенского в ставку — единственное место, где может гарантировать ему безопасность (хотя, как признавался Завойко, сторонники Корнилова хотели принести Керенского в жертву «народному гневу» офицеров). Керенский чувствует, что на кону стоит его голова. Он напуган и одновременно глубоко оскорблен тем, что при Корнилове ему хотят поручить незначительную должность министра юстиции. Он превращается в Ната Пинкертон и устраивает ловушку своему обожателю: он делает вид, что согласился, и заставляет Львова все рассказать снова в присутствии спрятавшегося свидетеля. Когда Львов в порыве энтузиазма достает «документ» с записанными предложениями Корнилова, Керенский дает сигнал, и Львова арестовывают. Затем Керенский пытается получить от Корнилова прямое доказательство вины. Он звонит ему по прямому про-

воду и представляется Львовым. Не повторяя утверждений Львова, он требует от Корнилова подтверждения всех его предложений. После этого он снова разыгрывает комедию, уже говоря от своего лица и притворяясь, что хочет идти с Корниловым до последнего. Паук премьер сплетает свою сеть, и большая оса, главнокомандующий, летит прямо в нее.

Но оса едва не удалось разорвать паутину.

В последующие дни настроение в Петрограде и ставке царило совершенно разное. Корнилов понимал, что первый шаг — самый трудный. Приехав в ставку, Савинков и Керенский сожгли бы за собой мосты. Трудности, трения и компромиссы внутри планировавшейся «директории» были неизбежны. Но переход от директории к диктатуре был намного легче, чем переход от коалиционного полусоветского правительства к директории, контролируемой ставкой. После окончательного решения в пользу директории Корнилов конфиденциально сообщил Добринскому: «Я по-прежнему собираюсь стать военным диктатором, но никто не должен знать об этом раньше времени».

В Петрограде все было по-другому. Для Временного правительства доклад Керенского об ультиматуме Корнилова и наступлении 3-го кавалерийского корпуса Крымова на Петроград стал взрывом бомбы. К тому времени от правительства остались рожки да ножки. Кокошкин и его друзья вышли из него, потому что не могли действовать против Корнилова. Чернов ушел в отставку, потому что теперь, когда ветер приподнял край занавеса, скрывавшего от левого крыла правительства длинную историю подозрительных заговоров, сделок и соглашений между Керенским, Корниловым и Савинковым, ему было бы трудно вместе с Керенским бороться против Корнилова.

В величайшей спешке, без соответствующего коллегиального решения, без соблюдения формальностей Корнилову была послана телеграмма, снимавшая его с должности главнокомандующего. Ее отправили не от имени правительства и даже не от имени премьера, без титула подписавшего, без номера и обычного адреса «Главверху, Ставка». Она напо-

минала частную телеграмму, была подписана «Керенский» и адресована «генералу Корнилову, Могилев».

Корнилов отказался сложить с себя полномочия, а начальник штаба генерал Лукомский, которому эти полномочия должны были перейти по уставу, не принял их. Керенский приказал командующему Северным фронтом генералу Клембовскому остановить эшелоны с отрядами генерала Крымова. Ответ гласил, что у генерала нет таких полномочий, поскольку эти части относятся к стратегическому резерву главнокомандующего. Тогда Керенский назначил Клембовского главнокомандующим; Клембовский отказался. Все остальные командующие фронтами телеграфировали, что отставка Корнилова будет роковой для армии и России; он должен оставаться главнокомандующим независимо от политических осложнений.

Эшелоны с отрядами генерала Крымова приближались к столице. Им навстречу спешно выслали части петроградского гарнизона. Солдаты и офицеры были ошеломлены случившимся; они относились к борьбе между Керенским и Корниловым как к семейной ссоре, которая им безразлична и не стоит того, чтобы проливать из-за нее кровь.

Дублер Савинкова Филоненко, по пути из ставки в Петроград проехавший этот импровизированный «антикорниловский фронт», позже саркастически говорил: «Поведение петроградских частей было ниже всякой критики». Мнение генерала Верховского, высказанное впоследствии, было не лучше: «Во время корниловского мятежа одна кавалерийская дивизия или полк тяжелой артиллерии могли бы разогнать весь Петроградский гарнизон».

После выхода из правительства Керенского Чернов взял с собой офицера генерального штаба Бойера и бывшего волонтера французской армии Каллистова и отправился на передовую. Вернувшись оттуда, он доложил Центральному исполнительному комитету, что против отрядов, наступающих со стороны фронта, были выдвинуты пехотные части без передовых конных развозов, не имеющие между собой никакой связи. Солдаты жаловались на отсутствие пулеметов и до смешного скудный боезапас. Части расположились на пересеченной местности, где пехота могла легко обороняться против кавалерии с помощью

самых элементарных полевых укреплений; однако по каким-то непонятным причинам у них не было ни лопат, ни колючей проволоки, ни саперов. Согласно полученным приказам, при приближении врага они должны были отступить с пересеченной местности, трудной для действий кавалерии, на равнину перед Петроградом и стать идеальной мишенью для артиллерии Корнилова, которая могла бы накрыть их огнем с холмов и лесистых возвышенностей. Это дало бы корниловской кавалерии полную возможность гнать беспорядочно отступающие правительственные части перед собой и ворваться в город на их плечах. Все это напоминало план не обороны Петрограда, а его как можно более безболезненной сдачи мятежному генералу. Совет направил специальную делегацию в военное министерство, где Савинков с ледяной вежливостью ответил Войтинскому, Чернову и другим: «Не извольте беспокоиться, до вооруженного столкновения не дойдет, все закончится мирно».

Остатки правительства пришли в ужас. Савинков сообщает:

«Терещенко подал в отставку. Некрасов предложил передать всю власть Совету рабочих и солдатских депутатов. Некоторые министры предпочли не ночевать дома. Та же самая паника владела и Советом [? — *Примеч. авт.*]. Только так я могу объяснить поездку Чернова в Царское Село с «инспекцией» обороны, требование Войтинского, чтобы я разоружил юнкеров, и настояния Церетели и Гоца, чтобы делегаты Всероссийского центрального исполнительного комитета присутствовали на совещании штаба военного округа — видимо, для того, чтобы следить за моими инструкциями».

Однако все это говорит не о панике, а об энергичных мерах предосторожности, которые принимал Совет, не доверявший военным властям. Не только Корнилов, но и лидеры Совета не знали, кому Савинков вонзит нож в спину — Керенскому и Корнилову. Савинков сообщает, что даже его коллега, морской министр Лебедев, сообщил Керенскому о «беде преступного характера», состоявшейся в эти дни по прямому проводу между Савинковым в Петрограде и Филоненко в ставке. Тем не менее Савинков оставался военным губернатором столицы вплоть до 31 августа, то есть в самые критичес-

кие дни наступления Крымова. Правда, стремясь обелить себя, именно Савинков первым публично заявил, что с Корниловым «следует обращаться как с изменником».

Напротив, думские лидеры «регрессивного блока» набрались смелости. В Петроград прибыл генерал Алексеев. Керенский предложил ему пост главнокомандующего. Алексеев отказался и в свою очередь предложил ему свои услуги для примирения с Корниловым. То же требование примирения между Керенским и Корниловым выдвинули главные лидеры кадетов. Аналогичный совет дал британский посол Бьюкенен. Именно это и добивались Савинков с Филоненко.

Но о примирении не могло быть и речи; обе стороны слишком далеко зашли. Как и Савинков, Керенский публично назвал Корнилова «изменившим своей стране». Корнилов не остался в долгу; он сообщил на всю Россию, что «Временное правительство действует в полном соответствии с планом германского генерального штаба»; он «не может предать Россию немцам», потому «противостоит Временному правительству и его безответственным советчикам, которые продают свое отечество»; он «предпочитает с честью погибнуть на поле боя, чем видеть позор своей родной земли».

Савинков и правый кадет Маклаков попытались повлиять на Корнилова, позвонив ему по прямому проводу. Грубый и бесцеремонный Корнилов заподозрил ловушку. «Я вижу в этом давление Совета, в котором есть люди, запятнавшие себя изменой. В этот грозный для отечества час я не покину свой пост».

Керенский тоже испытывал странный приступ смелости от отчаяния. Он отверг предложения Милюкова и Алексеева отправиться в ставку в качестве посредников. Кроме того, он отклонил аналогичное предложение делегации Совета Союза казачьих частей, заподозрив, что казаки просто хотят присоединиться к мятежному генералу.

28 августа начальник дипломатического департамента ставки князь Трубецкой передал Терещенко свои наблюдения, типичные для настроений, царивших в буржуазных кругах:

«Трезвый анализ ситуации показывает, что все высшее командование, подавляющее большинство других офицеров и

лучшие боевые части последуют за Корниловым. В тылу его поддержат все казачьи части, большинство военных училищ и опять-таки самые боеспособные части. К этой физической силе следует присовокупить превосходство военной организации над слабыми гражданскими органами, симпатии всех несоциалистических слоев населения, постоянно растущую неудовлетворенность существующими условиями среди низших классов и безразличие основной массы людей, равнодушных ко всему и готовых подчиниться нагайке... Люди, находящиеся в данный момент у власти, должны решить, готовы ли они сделать шаг навстречу, согласиться на сотрудничество и смириться с неизбежными изменениями; тогда все пройдет безболезненно; но в случае сопротивления им придется принять на себя ответственность за новые неисчислимые бедствия».

Кадетская партия под руководством Милюкова подготовила план добровольной отставки Керенского и его компаньонов в пользу генерала Алексеева. Последний должен был сформировать новое правительство и мирно завершить корниловский «инцидент». Они умоляли Керенского и его нескольких уцелевших сторонников уступить место единственному человеку, который в состоянии спасти ситуацию: предотвратить гражданскую войну, внутренний конфликт в армии, катастрофу на фронте и уничтожение России. В конце концов и последние сторонники Керенского, Терещенко и Некрасов, тоже стали уговаривать его уйти в отставку и передать власть генералу Алексееву. Вокруг Керенского образовывался ужасающий вакуум. Одиноким премьер бродил по Зимнему дворцу, недавно столь шумному, а теперь пустынному, и размышлял над тем, как короток путь от Капитолия до Тарпейского утеса [В Древнем Риме на Капитолийском холме располагались органы государственной власти, а с Тарпейского утеса сбрасывали преступников, приговоренных к смертной казни. — *Примеч. пер.*].

В самый критический момент бесконечные, изматывающие нервы переговоры с министрами и кандидатами на министерские посты, когда в чеходанчике Керенского лежали заявления об отставке всех министров и он обладал «всею полнотою власти», не зная, что с ней делать, и ничем не напоминая счастли-

вого диктатора, к нему пришла официальная делегация Совета. Она предложила Керенскому помощь с одним-единственным условием: мятеж должен быть подавлен беспощадно. Совет не тратил время на слова. Он действовал — действовал, как в лучшие дни революции.

Чтобы разбить воинские части, собранные Савинковым и его помощником Пораделовым, было бы достаточно одной Дикой дивизии Крымова. Питерские вояки тут же разбежались бы, потому что считали Керенского заодно с Корниловым и не собирались страдать из-за их ссоры. Но последнее слово в борьбе Корнилова с революцией еще не было сказано. Все предместья Петрограда оцетинились баррикадами и были готовы встретить врага. Кронштадт прислал столько людей, что Савинков пытался отослать 2000 матросов обратно, сказав, что «в них нет необходимости». Рабочие брались за оружие, создавали отряды Красной гвардии и готовились превратить в крепость каждую фабрику, каждый дом. В первые же дни в рабочую милицию вступило 25 000 человек. В части Крымова были направлены десятки агитаторов.

У Совета не было времени легализовать свою деятельность. Он функционировал как истинная революционная власть. Не дожидаясь, когда начнут действовать многочисленные корниловские тайные общества, он начал массовые аресты. Штаб заговорщиков в гостинице «Астория» был уничтожен. Председателя Военной лиги Федорова арестовали. Общее число арестованных превысило 7000. Во многих домах провели обыски и нашли списки заговорщиков. Неопытных конспираторов охватила паника. Их организации страдали от недостатка фондов, потому что деньги были растрачены. Полковник Сидорин, посланный Корниловым для руководства заговорщиками, «испугавшись расстрела, бежал в Финляндию и забрал с собой остатки казенных денег — около 150 рублей», — писал Деникин.

Организованное Советом Железнодорожное бюро работало с остервенением, мешая продвижению эшелонов с частями Крымова так же эффективно, как в марте, когда оно остановило эшелоны генерала Иванова. Некоторые части отправили совсем в другом направлении, но, когда они это поняли, было уже слишком поздно. Станционные пути были забиты вагонами

ми. Котлы паровозов выходили из строя. В трех местах были повреждены рельсы, и груженные вагоны опрокинулись. Батальон ремонта путей бесследно исчез. Крымов отдал приказ продвигаться дальше пешком, но из этого ничего не вышло, так как не удалось решить вопрос с питанием. Солдат буквально забрасывали прокламациями Временного правительства и Советов, а корниловские контрдеklarации до них не доходили. Местные Советы и гарнизоны — например, в Луге — угрожали расстрелять эшелоны из пушек. Телеграф и телефон приходилось захватывать силой. Отдельные части теряли связь друг с другом и со ставкой. Солдаты Корнилова начали отказываться отправляться туда, где была опасность столкнуться с местными гарнизонами. Они выбирали комитеты, которые требовали объяснений от офицеров и лишали последних свободы действий.

К Чернову, тогда находившемуся в Гатчине, и военруку местного Совета Винценту Соколову ночью пришла делегация от нескольких присланных с фронта частей, включая 3-й донской казачий артиллерийский батальон. Узнав, что никакого большевистского мятежа в Петрограде не было и что их везут туда не для того, чтобы защищать Временное правительство, артиллеристы сказали, что хотят подготовить всех своих товарищей к принятию делегации Совета, и пообещали в случае попытки какой-нибудь воинской части арестовать делегатов открыть по ней огонь. На следующий день перед позицией частей Петроградского гарнизона конная разведка Дикой дивизии столкнулась с Черновым, осматривавшим позиции с группой офицеров. Вместо того чтобы взять их в плен, разведчики выслушали Чернова, объяснившего им общую ситуацию, и усаkali обратно.

Дикую дивизию должна была встретить большая мусульманская делегация, организованная Советом. Огромное количество прокламаций от мусульманских организаций и Совета было напечатано на основных языках народов Кавказа. Автомобиль министра земледелия тут же доставил их в Царскую Славянку, где произошел контакт между корниловскими разведчиками и частями Петроградского гарнизона. Место Чернова заняли два представителя казачьей военной секции Со-

вета. Они смело подъехали к передовой линии корниловских частей, где всадники охотно разобрали прокламации. Бессильные офицеры выходили из себя, но вмешаться не посмели.

Ничего этого Петроград не знал. Он жил либо в страхе, либо в надежде военного штурма. Генерал Алексеев «думал, что часы правительства сочтены. Нужно было решать, что станет делать Корнилов после своей победы»¹.

Но те, кто заранее считал, что революция потерпела поражение, жестоко ошиблись. Советы и комитеты действовали активно. 29 августа на Юго-восточном фронте Деникин и его начальник штаба были арестованы армейским комитетом. На Северном фронте Клембовский передал свой пост революционному генералу Бонч-Бруевичу. Под фальшивым именем и с письмом от Корнилова Завойко отправился «поднимать Дон», но по пути был арестован гомельским Советом. Оттуда Завойко отправил Савинкову дерзкую телеграмму, словно тот состоял с ним в одном заговоре: «Я считаю, что продолжение моей поездки необходимо для всеобщего блага. Жду возможности сделать это». Командира кавалерийского корпуса, князя Долгорукого, отбывшего из ставки в Финляндию (что было предусмотрено общим планом), арестовали по дороге. В самом Могилеве тоже все пошло не так. Солдаты, работавшие в военной типографии, которая печатала прокламации Корнилова под присмотром туркестанских частей, воспользовались неграмотностью своей охраны и вместо этого напечатали прокламации Керенского, в которых Корнилов был назван изменником. Батальон георгиевских кавалеров заявил, что поддерживает Советы, и устраивал постоянные стычки с туркестанцами. В собственном полку Корнилова семь офицеров пришлось арестовать за неподчинение приказу. 28 августа во время осмотра гарнизона одни части приветствовали Корнилова громким «ура!», а другие отвечали ему гробовым молчанием. Под угрозой забастовки рабочие железнодорожных мастерских добились освобождения станционных телеграфистов, арестованных за то, что приняли телеграмму Керенского. В ставку перестали привозить оружие, продукты питания и фураж. Революционный контроль над почтой и телеграфом практически изолировал ее от остальной России.

Командующий Кавказским фронтом генерал Пржевальский уже передал по телеграфу, что осудит того, кто первым начнет гражданскую войну. Командующий Румынским фронтом генерал Щербачев, генералы Парский, Данилов и другие заявили, что они поддерживают правительство.

Сомнений больше не оставалось: звезда Корнилова закатилась. Советы еще раз спасли Керенского, который ответил В.Н. Львову, предсказавшему бойню Советов: «Вот и отлично. Нам останется только сказать, что мы были бессильны предотвратить ее».

Но если Советы рассчитывали, что теперь Керенский перейдет на их сторону и порвет с группой, которая была готова отдать его в руки Корнилова или сменить на генерала Алексева, то они тоже сильно ошиблись. По его мнению, теперь Советы стали слишком сильными. Соединившись с ними, он рисковал стать их заложником. Напротив, «регрессивный блок» был абсолютно скомпрометирован своим участием в заговоре и боялся последствий. Тем выгоднее было выступить в роли их всепрощающего защитника. Если бы Советы потерпели поражение, возможно, Керенский попытался бы сыграть ту же роль и по отношению к ним. Естественно, сторонники Корнилова этого не допустили бы. Могла ли советская демократия поступить по-другому?

Ждать первого испытания пришлось недолго. Брожение в отрядах Крымова достигло пика. Солдатское собрание обвинило своих офицеров в обмане, потребовало провести расследование и наказать виновников этой авантюры. Офицеры сошлись на миссии Савинкова и Львова и заявили, что они вели войска на Петроград с разрешения Керенского. Тогда солдаты решили провести расследование сами и послали в Совет многочисленную делегацию. Их направили к Чхеидзе, Церетели и Чернову. Керенский тоже принял делегацию, но быстро прервал первого, кто заявил, что солдаты ждут увольнения и наказания предавших их командиров.

29 августа генерал Алексеев сказал капитану кавалерии Шапрону: «Только что здесь был Терещенко. Меня уговаривают занять пост начальника штаба с Керенским в роли главнокомандующего. Если я откажусь, назначат Черемисова. Вы

понимаете, что это значит? На следующий день они казнят сторонников Корнилова. Отведенная мне роль отвратительна, но что я могу сделать?»

30 августа Корнилов, все еще не знавший, что случилось с его отрядами, но чувствовавший неладное, стал на всякий случай готовить себе путь к отступлению. Посредником между ним и Керенским стал генерал Лукомский. Обе стороны прекращают выпускать декларации против друг друга; Деникина и других выпускают на свободу; генерал Алексеев приезжает в ставку как посредник. В доказательство своего бескорыстия Корнилов готов передать верховное командование Алексееву при условии, что тот создаст «сильное правительство, независимое от безответственных организаций». Корнилов все еще думал, что он может ставить условия.

Алексеев жадно ухватился за шанс достичь компромисса. Он хотел как можно скорее прибыть в ставку и безболезненно принять верховное командование. Он «горячо убеждал Корнилова сохранять власть» до своего прибытия и отправил по радио приказ правительства «всем, всем, всем» «выполнять оперативные приказы генерала Корнилова».

Восстановив присутствие духа, Корнилов тут же попытался воспользоваться этим полуоправданием своей измены Временному правительству. Он отправил Крымову письмо, иронически сообщая последнему о случившемся и спрашивая, «есть ли еще возможность оказания сильного давления средствами, находящимися в его распоряжении». В конце он просил Крымова держать ставку в полном курсе происходящего, чтобы та могла дать ему соответствующие инструкции. «Если обстоятельства позволяют, действуйте независимо в духе инструкций, которые я вам дал».

Иными словами, марш на Петроград и Временное правительство нужно было продолжать. Корнилов не подозревал, что этот приказ уже некому было передать и некому выполнять. Но 31 августа его последние иллюзии развеялись.

В тот день генерал Алексеев снова разговаривал с Лукомским по прямому проводу. Крымов был в Петрограде и ждал аудиенции Керенского. У мятежников стало еще одной надеждой меньше. Лукомский спросил, посланы ли части для штур-

ма ставки. Да, но сам Алексеев тут ни при чем; сначала он должен выяснить, в какой роли Корнилов примет его в ставке — как посредника или как преемника. Согласен ли Корнилов на прибытие в ставку чрезвычайной комиссии по расследованию во главе с Шабловским? Лукомский ответил, что Корнилов не собирается превращать ставку в крепость. Он примет Алексева как официального командующего, но тот должен прекратить военные действия против ставки. Вопрос о комиссии остался без ответа: он был слишком болезненным.

Между тем к Могилеву уже двигались отряды. С разрешением комиссара Западного фронта Жданова полковник Коротков, эсер и член временного революционного комитета Западного фронта, 29 и 30 августа сформировал в Орше отряд из 3000 штыков и 800 сабель, с 3 полевыми батареями и 300 пулеметами. В Витебске был создан отряд в 1500 человек с 16 пушками. Корнилов мог противопоставить им 2500 штыков своего полка (правда, несколько сотен его солдат уже отказалось защищать ставку), 5 батальонов поляков и 500 сабель (главным образом туркестанских, потому что русская часть кавалерии уже объявила о своей лояльности по отношению к Временному правительству). Но даже этим ничтожным силам грозил удар в спину со стороны враждебно настроенного батальона георгиевских кавалеров, не говоря о рабочих, которые все до одного поддерживали эсеровско-меньшевистский местный Совет. Борьба была бы неравной. В Москве генерал Верховский уже подготовил к отправке на Могилев 15 воинских эшелонов. «Сегодня, — сообщил он 1 сентября Алексееву, — я выезжаю в ставку с сильным отрядом, чтобы покончить с этой насмешкой над здравым смыслом. Корнилов, Лукомский, Плющик-Плющевский и Сыхаров должны быть немедленно арестованы и смещены со своих постов. Я звонил вам по телефону, надеюсь услышать, что это уже сделано». Алексеев прервал его: «Помощь вашего отряда не требуется. Приказ на отправку эшелонов может отдать только главнокомандующий». После этого он пригрозил Керенскому подать в отставку, если тот не остановит Верховского.

То же самое случилось и с Коротковым. «Я встретился с генералом Алексеевым; кажется, он был недоволен моими

военными приготовлениями. Он думал, что решительные шаги ни к чему, и заявил, что если бы считал нужным применить военную силу, то не поехал бы в ставку. После такой беседы я сам почувствовал себя мятежником. Она произвела на меня угнетающее впечатление».

Отряд Короткова был остановлен. Верховский также получил приказ «распустить свои части». Но разгрузить эшелоны оказалось труднее, чем нагрузить их. Солдаты Верховского и Короткова горели желанием штурмовать мятежную ставку. Передовая роптала. Комиссар 2-й армии докладывал: «Части сильно возбуждены телеграммой Керенского о необходимости выполнять приказы Корнилова, пока тот не передаст свои полномочия. Они считают этот приказ фальшивкой».

Но приказ был подлинным: единственной фальшивкой являлась репутация, которую солдаты создали Керенскому. Она рассеивалась как мираж.

Алексеев прибыл в ставку и нанес официальные визиты Корнилову и Лукомскому. С первым он спорил в Москве о том, кто должен возглавить движение. Теперь один должен был сменить другого. Выслушав программу Алексева «корниловщина без Корнилова», Лукомский ответил, что все эти обещания были даны правительством, потому что только Алексеев мог ликвидировать ставку без кровопролития; после этого Керенский уберет его самого. Военное министерство из Петрограда сообщило Алексееву: «Правительство обвиняют в бездействии. Советы выходят из себя; атмосферу можно очистить, только проявив власть и арестовав Корнилова и других». С тяжелым сердцем бедный Алексеев сделал вид, что проявил власть: вечером 1 сентября Корнилов, Лукомский, Романовский и Плющик-Плющевский были отправлены под домашний арест. Деникин признает, что это «было необходимой предосторожностью от отрядов правительства и революционной демократии», враждебно настроенных к мятежникам.

Алексеев обратился к Могилевскому гарнизону. Он публично объявил Корнилова невиновным в приписываемых тому преступлениях и обвинил часть, верные правительству, в том, что им заплатили за это «еврейскими деньгами». «Похоже, он считает мятежниками нас, а не Корнилова. Этот человек не

лучше Корнилова; ворон ворону глаз не выклюет», — говорили солдаты, стискивая кулаки.

Но долго на своем посту Алексеев не пробыл. Он жаловался (возможно, не без оснований), что Керенский перехватывает его корреспонденцию, что Керенский дал ему слово простить Корнилова, но так и не поставил этот вопрос на заседании правительства и т. д. Корнилов сказал, что, если Алексеев примет назначение, это будет означать, что он морально поддерживает позицию Керенского. Кончилось тем, что Алексеев подал в отставку.

2 сентября в Могилев прибыла чрезвычайная следственная комиссия. Внешне она действовала по всем правилам. Продин, Роженко, Аладбин, Сахаров, заместитель министра связи Кисляков и весь Главный комитет Союза офицеров были арестованы. Сначала их отправили в гостиницу «Метрополь», а затем перевели в военную тюрьму на станции Быхово. «После первого допроса следственной комиссии стало ясно, что все ее члены настроены в нашу пользу... и что следственная комиссия будет затягивать свою работу как можно дольше». Корнилова вообще допрашивать не стали, но позволили написать заявление об отставке, которое немедленно перепечатала газета Бурцева «Общее дело». Эта газета тут же начала кампанию за прощение Корнилова и быстро собрала тысячи подписей. Внутренняя охрана тюрьмы была доверена туркестанским частям, которые любовно называли Корнилова «наш бай». «Все знали, что, если генерал Корнилов захочет, он не только сможет выйти из тюрьмы когда угодно, но и *арестовать Керенского, если последний прибудет в ставку*»².

В быховской тюрьме «была быстро установлена связь с Петроградом, Москвой и Могилевом; мы получали сведения обо всем происходившем и связывались с людьми, которые были нам нужны. Штаб главнокомандующего также сообщал нам обо всех вопросах, которые нас интересовали»³.

Генерал Лукомский писал: «При Керенском если бы мы захотели, то могли бы бежать из Быхова без всякого труда». Но зачем им было пытаться бежать? Львов, арестованный лично Керенским, полковник Лебедев и многие другие были освобождены Шабловским еще раньше; 18 октября был освобожден

казачий капитан Родионов, 20-го — Завойко, 22-го — Новосильцев, 24-го — еще пять членов Главного комитета Союза офицеров, и только пять главных обвиняемых — Корнилов, Лукомский, Романовский, Марков и Деникин — вышли потом на свободу без формальностей, вместе со своей туркестанской охраной скрывшись от отряда большевиков, который двинулся на Быхово после Октябрьской революции.

Трудно сказать, что сильнее возбуждало фронт: сама по себе авантюра Корнилова и Крымова, обнаружение тесной связи корниловского мятежа с «пониманием» Керенского или комедия с арестом мятежников и их заключением под стражу.

На московском Государственном совещании некоторые хвастались тем, что за нарушение воинской дисциплины без колебаний приказывали *расстреливать целые полки*. Они действовали беспощадно, восстанавливали смертную казнь на фронте и ратовали за ее применение в тылу. Солдаты требовали, чтобы эти меры применили к тому, кто их защищал. Когда стало ясно, что дисциплина и смертная казнь существуют только для нижних чинов, а не для генералов, фронт почернел от гнева, как море перед бурей. Большевикам оставалось только дожидаться попутного ветра и поднять паруса.

Так закончился корниловский мятеж. Он нанес новый и, как казалось, последний удар по единству офицеров и рядовых. «В результате мятежа возросло недоверие к офицерам, все предыдущие приказы Корнилова начали подвергать сомнению». На банкете 44-го Сибирского полка капитан Зуев предложил тост в честь Корнилова; после этого солдаты арестовали двенадцать офицеров. В соседних 60-м и 61-м Сибирских полках семнадцать человек были ранены гранатой, брошенной в офицерское собрание, а один из командиров полков был смежен солдатами «за корниловщину». «Обсуждение военных приказов стало хроническим и всеобщим»; «общее состояние армии ухудшилось настолько, что его можно было описать только как приближение полной катастрофы». Ставка то и дело сообщает о случаях, подобных аресту пятидесяти офицеров 126-й дивизии Особой армии. Командующий 12-й армией описывал своих подчиненных следующим образом: «Это огромная усталая, плохо обмундированная, голодная, озлобленная масса лю-

дей, объединенная стремлением к миру и отсутствием всяких иллюзий». Военно-политический сектор ставки добавлял от себя: «Это определение можно без всякого преувеличения использовать для характеристики всего фронта»⁴.

Корниловский мятеж был ликвидирован. Что дальше?

Керенский снова удивил страну непонятным назначением. Человек штатский по образованию и характеру, он назначил главнокомандующим самого себя. Это было образцом дурного тона. Он нечаянно напомнил народу старый режим, когда цари *номинально* возглавляли армию независимо от того, обладали ли они нужными для этого познаниями и складом ума. Еще одним проявлением дурного тона стал переезд Керенского в Зимний дворец. Чем быстрее таяла его огромная и беспримерная популярность, тем быстрее он терял самоконтроль и искал новые внешние атрибуты, которые могли бы подчеркнуть его необыкновенно высокое положение. Это вызывало пожатие плечами, сарказм и рассеивало последние иллюзии.

Оказавшись сразу и главнокомандующим, и главой правительства, Керенский был вынужден уступить пост военного министра кому-то другому. Все говорило в пользу генерала Верховского, который хорошо зарекомендовал себя энергичными мерами против правых заговорщиков и левых анархистов. Он пользовался огромной популярностью у демократических партий Советов и даже у умеренного крыла большевиков. Его назначение на пост военного министра означало окончательный разрыв с корниловщиной и борьбой старых генералов с Советами и правительством за контроль над армией, свежую струю в военной политике, достижение реальной однородности армии путем ее слияния с революционным и демократическим движением. Сенсационное назначение на пост морского министра вместо послушного дилетанта Лебедева адмирала Вердеревского, незадолго до того арестованного по приказу Керенского за «соучастие» в конфликте моряков с правительством, также немного смягчало отношение советской демократии к некоторым министрам кабинета Керенского.

Судя по дневнику генерала Верховского, опубликованному под названием «Россия на Голгофе», он понимал психологию масс лучше остальных генералов. Верховский первым пошел на риск широкомасштабной чистки высшего командования. «Я думаю, — писал он 30 сентября, — что побудить наши массы не препятствовать организации обороны может только одно: отказ Германии заключить справедливый и демократический мир, предложенный нами и союзниками... Только тогда наши люди поверят в необходимость для русского народа продолжить войну и превратить ее в революционную войну». 14 октября он отмечал: «Тот, кто сейчас взял бы в свои руки вопрос быстрого заключения мира, получил бы контроль над правительством». Понимая важность проблемы, он решительно обратился к Временному правительству. Нужно «заставить союзников согласиться на мирные переговоры, так как иначе это причинит им огромный вред». Но это никоим образом не означало, что Верховский, как утверждали впоследствии, подталкивал правительство к *сепаратному миру*. Напротив, 27 сентября он писал: «Мы должны сделать все, но не капитулировать; за нами огромная территория. В случае необходимости мы можем отступить за Волгу, но не выходить из войны и не заключать сепаратный мир». На заседании правительства он заявил, что нужно немедленно сократить колоссально раздутую армию; ее невозможно прокормить; со дня на день она сама разбежится от голода; правительство должно отказаться от своей наступательной тактики; «мы должны быть готовы к тому, что враг оттеснит нас на восток и займет многие важные территории».

У людей, которые могли оставаться патриотами только с шпорами на глазах, требования революционного генерала вызвали гнев. Но даже генерал Алексеев отказался представлять Россию на межсоюзнической конференции в Париже, ибо чувствовал, что «игра безнадежно проиграна и что морочить голову союзникам больше нельзя».

Характерно, что после неудачи Корнилова правое крыло общества моментально потеряло вкус к войне и заговорило о мире.

В.Д. Набоков пишет:

«Я вспоминаю, что во время многих поездок с Милюковым на автомобиле выражал мнение — тогда Милюков еще был министром иностранных дел, — что одной из главных причин революции была изнурительная война. Милюков решительно возражал. «Кто знает, может быть, именно благодаря войне все еще как-то висит на волоске, а без войны оно бы уже давно рухнуло». Конечно, от одного понимания того, что война разрушила Россию, легче не становилось. Но если бы все ясно понимали, что война Россией проиграна и все попытки продлить ее никуда не ведут, то в этом важнейшем вопросе победила бы другая ориентация. Кто знает, может быть, тогда мы сумели бы предотвратить катастрофу».

Эта фраза помогает понять чувства всей российской либеральной буржуазии. Страх перед социальными последствиями революции заставлял ее цепляться за войну как за якорь спасения. Война требовала народного единства, а потому позволяла отложить все решительные экономические реформы. Поэтому ура войне! В то время либеральная буржуазия претендовала на монополию в области патриотизма. Но патриотические фразы были бессильны против «красной угрозы». Напротив, война, один день которой стоил 88 000 000 рублей (не считая 8 000 000 рублей на общие расходы) и держал под ружьем 10 000 000 солдат, хотя министерство заготовок заявляло, что может прокормить максимум 7 000 000, безмерно напрягала все общественные связи. Они грозили лопнуть, что стало бы всеобщей катастрофой. Чем глубже понимание этого проникало в сознание правого крыла общества, тем сильнее это крыло сомневалось в правильности своей первоначальной тактики. Но резко сменить курс было трудно. Поэтому либеральная и националистическая пресса по инерции продолжала хвастаться и клеветать на каждого, кто считал полезным устроить международную демонстрацию, предложив демократический мир. Однако за кулисами вчерашние буржуазные приверженцы Антанты уже готовили почву для перехода на *германофильскую ориентацию*.

Левый центр советской демократии (в партии эсеров к нему относилась группа Чернова) поддерживал идею генерала Верховского о том, что война еще не проиграна, что иногда

«кутузовская» политика отступления более рациональна, чем «наполеоновская». Россия больше не могла содержать армию численностью свыше десяти миллионов и по требованиям союзников компенсировать германское превосходство в военной технике горами трупов. Но она могла ослабить силы врага с помощью своих огромных территорий. Чем дальше продвинулся бы враг, тем большая армия понадобилась бы ему, чтобы удержать завоеванное. В стране, охваченной революцией, на оккупационную армию начинает действовать неизбежный закон разложения. С другой стороны, психология русского солдата, воюющего на пограничных территориях Латвии, Литвы, Польши, Галиции, коренным образом отличается от психологии солдата, сражающегося с врагом на исконно русских землях. Оккупационные силы волей-неволей попытались бы задуть завоевания революции; национальная революция и ее зарубежный душитель впервые сошлись бы лицом к лицу, не мысленно, а фактически. Только в таких условиях был возможен спонтанный взрыв народного энтузиазма и гнева; именно так произошло в революционной Франции, когда войска герцога Брунсвика вторглись в страну, чтобы спасти короля и аристократов от революции и «установить порядок».

Эти круги чувствовали, что «в любом случае исход войны будет решен не на Востоке, а на Западе».

«Чем дальше армии Гогенцоллернов вторгнутся в глубь России, тем более беспорядочным и паническим будет их отступление, когда рухнет Западный фронт. Они не только побегут назад; они арестуют своих командиров; вместо знамени Империи они поднимут красный флаг революции; они будут брататься с бойцами революционных русских армий, следующих за ними по пятам. Эти армии смогут дойти до Берлина, но не как завоеватели, а как союзники германской революции, как помощники в деле заключения почетного для Германии мира, на который старая Германия рассчитывать не могла. Это будет означать новую эру для Германии и для всего мира», — писал Верховский.

Конечно, такие исторические перспективы могли только напугать русскую буржуазию. Сама идея «впустить» германские армии в сердце России казалась бардам либерального на-

ционализма кощунственной. Туманная перспектива *отечественной и революционной войны*, которая заставила бы высшие и привилегированные классы сначала спрятаться под крыло оккупационных армий, а потом стать свидетелями того, как во вражеском лагере произойдет взрыв социального и политического радикализма, была не по нутру тем, кто представлял в Думе «оппозицию его величества».

Генерал Верховский видел две возможности: либо немедленные решительные социальные реформы, которые умеренные социалисты тщетно пытались протащить сквозь «игольное ушко» коалиционного правительства (что означало бы создание левого правительства, радикального, популярного в массах благодаря энергичной деятельности, выбивающей почву из-под ног большевизма); либо попытку прийти к соглашению с большевиками, достижение компромисса с ними ценой щедрых уступок, если такой ценой можно будет предотвратить дальнейший развал армии. Если ни одна из мер не поможет, все будет потеряно; настанут полная разруха, большевизм и гражданская война.

8 сентября генерал Верховский изложил свою программу Всероссийскому центральному исполнительному комитету Советов. Он сослался на свою деятельность в Московском военном округе, где эта программа прошла предварительную проверку в миниатюре. «За это время, — заявил он, — я ни разу не вступил в конфликт с большевиками, которые в Москве оказывали мне всю необходимую поддержку даже в тех случаях, когда речь шла о подавлении мятежей». После этого сознательно сделанного заявления начались переговоры с большевиками. Но петроградские большевики, находившиеся под влиянием Ленина, были не такими сговорчивыми, как московские, относившиеся к правому крылу их партии. Достичь соглашения с большевиками Верховскому не удалось. Их программа предусматривала выборность армейского командования снизу доверху. Минимальными требованиями большевиков были следующие: 1) право рядовых утверждать всех своих командиров; 2) право оспаривать назначение негодных командиров; 3) право делегатов, избранных рядовыми, принимать участие в разработке планов военных операций. Верховский тщательно пытался

доказать, что, если бы завтра большевики пришли к власти, им пришлось бы немедленно отменить все эти меры, как разрушающие единство армии и ее движущую силу. История подтвердила его предсказания. Но переубедить большевиков не удалось. Возможно, они были искренни.

Одна возможность — соглашение с большевиками — исчезла.

Оставалась вторая: создание правительства, популярного в массах, не боящегося провести революционные реформы в промышленности и сельском хозяйстве сверху, чтобы предупредить анархическую революцию снизу, способного порвать с высшими классами и заставить их подчиниться «диктатуре демократии». Верховский обещал быстро выполнить эту программу, если Временное правительство даст ему необходимые полномочия.

В сущности, эта программа не была новой; она являлась странным полудиктаторским способом выполнения той самой программы, которую в демократической форме могло и должно было реализовать правительство Церетели—Чернова. Эту программу диктовало само развитие событий, но она была отвергнута из-за нерешительности умеренных партий Совета.

Большинство правительства ответило Верховскому решительным *non possunt* [вето, букв. «не пройдет» (*лат.*). — *Примеч. пер.*]. Он с грустью отмечает в дневнике, что Керенский и его группа «в данный момент не думают о требованиях ситуации... Массы сворачивают налево, а интеллигенция направо. Керенский стоит на месте, и под ним образуется пропасть».

Керенскому казалось, что в России «повторяется история Французской революции». К несчастью, у него сложилось ложное представление об этой революции.

Кропоткин давно заметил, что истинная история четырнадцати революционных месяцев — с начала июня 1793 по конец июля 1794 г. — еще не написана; люди изучали внешнюю сторону событий, царство террора, в то время как их глубинная сущность заключалась не в терроре, а в массовом переделе земельной собственности, аграрной революции. Отмена феодальных привилегий и льгот *безо всякой компенса-*

ции «и была завершением революции». Именно она создала новый революционный патриотизм, которым горел народ⁵.

В России того же можно было достичь аграрными законопроектами, предложенными Черновым и Главным земельным комитетом. Однако им сопротивлялись сильнее всего. Они были теми самыми мерами, которых боялась буржуазия. Инертная масса средних классов быстро устала от революции.

То же самое можно сказать о национальном вопросе. Хотя не приходится сомневаться, что благодаря группировке по национальностям боевой дух военных частей поднялся, Керенский согласился на такой принцип формирования армии с крайней неохотой. Почему? Потому что военные власти боялись национального сепаратизма как нового источника уничтожения единства армии. В самом деле, «украинизация», «эстонизация» и т. д. военных частей — это палка о двух концах: она может либо усилить армию, либо развалить ее; все зависит от состояния национального вопроса в тылу. Царская Россия была «тюрьмой народов»; теперь стены этой тюрьмы рухнули. Имелись две возможности. Либо демократическая Россия продолжила бы проведение имперской политики централизации и насильственной ассимиляции. Если так, то борьба против национальных меньшинств не кончилась бы никогда; в такой обстановке позволять «национализацию» армейских частей было бы самоубийством. Либо революция раз и навсегда отменила бы деление национальностей на правящие и подчиняющиеся и без задержек и проволочек объявила новую Россию *добровольным союзом* всех национальностей под одной крышей. Тогда, и только тогда можно было бы дерзко решиться на тщательную «национализацию» организации армии. Структура армии должна соответствовать структуре страны. Любая дисгармония чревата конфликтами и разложением.

Таким образом, проблема создания революционной армии для революционной страны была тесно связана с правильною ориентацией внешней и внутренней политики. Именно об этот камень и споткнулся генерал Верховский. Революционная политика не была определена, а без нее чисто военные меры не могли дать результата; назначения новых командиров или сокращения раздутой армии для этого было недоста-

точно. Временное правительство, в котором больше не было ни Церетели с Черновым, ни даже Скобелева с Авксентьевым, не горело желанием творчески решать социальные или национальные вопросы. Его социалистическое крыло теперь состояло либо из «бывших социалистов», либо из бесцетных личностей, послушных «спутников», вращавшихся вокруг главной «звезды» — Керенского. Идея Керенского была проста: продолжать политику предыдущего цензового правительства (возможно, в слегка урезанном виде), но осуществлять ее руками «левых» и с помощью демократической фразеологии делать ее приемлемой для масс.

В трех лекциях, прочитанных в Париже в 1920 г., Керенский больше не скрывал своего величайшего удовлетворения работой первого Временного правительства. Его члены «заложили основы новой России»; они понимали, что «должны представлять народ, нацию, а не класс» и что «государство может быть создано только на базе широких социальных реформ». Керенский сумел обнаружить все эти качества в правительстве, пустота и беспомощность которого привели в уныние всю Россию.

«Тот первый период был временем напряженной творческой работы. Вся позднейшая работа состояла в ее *сужении и ограничении*... Обычно говорят, что первый период революции был буржуазным [до мая. — *Примеч. авт.*], после которого настали коалиционный и социалистический. Это ошибка. Сущность заключается не в данных изменениях, а в готовности левых к работе; *коалиционное правительство не расширяло программу; напротив, оно постоянно сужало ее границы*»⁶.

Вместо того чтобы подставить паруса ветру революции, последнее Временное правительство наконец выбрало тактику *торможения*. Вся страна левела, а правительство правело. Приближался момент, когда корабль перестанет слушаться руля и превратится в игрушку стихии.

Временими Керенский понимал это. На предпарламенте у него вырвалась знаменательная фраза: «Я знаю, что обречен». Но красивая поза ничего не значила для страны, которой он пытался управлять методами, «обреченными» на провал.

В конце сентября Верховский написал в дневнике, видимо имея в виду министра Третьякова: «Один из наших круп-

ных промышленников, член Временного правительства, думает, что мы должны прекратить борьбу и *позволить анархии восторжествовать*. Тогда люди поймут, к чему это ведет, и вернуться к здравому смыслу».

Принять тактику доведения социальной демократии до абсурда означало бы сыграть на руку большевизму. Это было бы использованием правила «чем хуже, тем лучше». С этой точки зрения важным было не позволить взять власть умеренным партиям Совета. Пусть волна смоеет их и поднимет на гребень самых левых, мысли и дела которых «левее здравого смысла».

Естественно, все попытки Верховского были бессильны против этого двойного кордона: стремления Керенского осуществлять «правую политику руками левых» и блаженного «чем хуже, тем лучше» буржуазного фланга правительства.

Доведенный до отчаяния, Верховский сделал два неосторожных шага. На тайном совещании комиссии вновь созданного совещательного предпарламента Терещенко уговорил его описать истинную ситуацию в армии, и по-солдатски прямой Верховский нарисовал обескураживающую картину состояния последней и ее неспособность воевать в таких условиях. Затем на заседании Временного правительства Верховский заявил, что «власть, данная военному министру, слишком ограничена» для того, чтобы создать условия, необходимые для возрождения армии и спасения страны от уничтожения.

Позже даже такие правые кадеты, как Владимир Набоков, признавали, что в первом вопросе «он был, к несчастью, абсолютно прав». В сущности, во втором вопросе он был прав тоже. Армию можно было сохранить и возродить не той или иной чисто военной мерой, которая была в компетенции военного министра, а лишь новой политикой, проводимой всем Временным правительством.

Но Верховский, который сотрудничал с Советами и, казалось, унаследовал испарившуюся популярность Керенского, стал для большинства правительства такой же одиозной личностью, какой прежде был Чернов. Легче было от него избавиться. Буревское «Общее дело», нарушив секретность заседаний кабинета министров, опубликовало сенсационный, намеренно фальшивый отчет о том, что генерал Верховский

толкал правительство на заключение сепаратного мира с Германией. Кроме того, неназванный источник во Временном правительстве намекнул, что генерал Верховский предложил сделать его диктатором.

Судьба Верховского была решена. Правительство отправило его в «двухнедельный отпуск». Керенский потребовал от Верховского обещания немедленно покинуть Петроград. Взамен появилось сухое официальное коммюнике, отрицавшее, что Верховский предлагал сепаратный мир.

Единственный человек во Временном правительстве, который еще пытался (возможно, неуклюже) проявить творческую инициативу, был выброшен за борт.

Глава 19

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Яркой особенностью 1917 г. был беспрецедентный рост партии социалистов-революционеров. На первом Съезде городских Советов социалисты-революционеры и сочувствующие им имели больше 300 представителей — почти втрое больше, чем фракция большевиков. В новой Петроградской думе эсеры были самой многочисленной фракцией: сначала они имели 54 места, а после дополнительных выборов — 75. В Московской думе они имели 226 мест, то есть около 60% от ее общего состава. В обеих столицах эсерам принадлежало большинство.

На Первом Всероссийском съезде крестьянских Советов 776 опрошенных делегатов разделились следующим образом: социал-демократы (большевики, меньшевики и т. д.) — 103, беспартийные — 136, социалисты-революционеры — 537. Когда большинство в Петроградском совете перешло к большевикам, 5 мест в президиуме осталось за оппозицией, в том числе 3 за эсерами и 2 за меньшевиками. На августовских выборах в Петроградскую городскую думу большевики почти удвоили свое представительство, получив 67 вместо 37 мест. Несмотря на полный крах народных социалистов (2 места вместо 17) и меньшевиков (8 вместо 40), социалисты-рево-

люционеры не только сохранили свое представительство, но получили еще 21 место.

Даже октябрьский переворот не смог сразу выбить эсеров из седла. Несмотря на поток заманчивых декретов нового правительства, несмотря на все меры давления, применявшиеся Военно-революционными комитетами, вера масс в эсеров еще раз принесла им блестящую победу на выборах в Учредительное собрание. Сам Ленин признал, что из 36,2 миллиона голосов большевики получили только 9 миллионов, в то время как за русских социалистов-революционеров проголосовало 15,5 миллиона, а с учетом эсеров других национальностей почти 21 миллион, то есть 58% от общего количества.

Но сама сила партии была источником ее слабости. В ряды эсеров неудержимо устремилась пестрая и многоликая улица. Это напоминало бегство овечьего стада. Люди, которые вчера понятия не имели ни о каких партиях, сегодня называли себя социалистами-революционерами и решали вопросы партийной жизни. Ничтожная горстка старых эсеров тщетно пыталась справиться с сырой, неоформленной массой, которая заполонила партию. Ни в какой другой партии переход от старого «скелета» к новому живому организму не был таким беспорядочным; тем более что в предшествующий период смертельной борьбы с самодержавием ни одна партия не понесла столько жертв и не была так обескровлена. Григорий Гершуни — возможно, величайший революционер на свете, организатор партийных боевых групп — умер в царской тюрьме десять лет назад, Михаил Гоц, человек замечательных способностей и неиссякаемой энергии, прозванный «партийной совестью», умер от таинственной болезни, обострившейся в неаполитанской тюрьме, куда его посадили по настоянию царского правительства. После этих потерь Виктор Чернов, создатель «военной доктрины» партии, теоретик движения, чувствовал себя в полном одиночестве.

В годы мировой войны его изоляция усилилась. Как все партии Второго интернационала, социалисты-революционеры резко разделились на две части, одна из которых считала эту войну «своей», а другая — «чуждой» социалистам. Подавляющее большинство лидеров эсеровской эмиграции заняло ту же

позицию, что Шейдеман и Носке в Германии. Напротив, Чернов приветствовал лозунги Ромена Роллана и других пацифистов, которые пытались подняться *audessus de la melee* [над схваткой] (*фр.*) — *Примеч. пер.*] и поддержать антивоенные протесты Либкнехта в Германии и Фридриха Адлера в Австрии. Он участвовал в Циммервальдской антивоенной конференции социалистов. Однако его группа была ослаблена стремлением части ее примкнуть к так называемым «крайне левым циммервальдцам» — отдельной фракции, созданной Лениным, Радеком и Платтенем и поддерживавшей парадоксальную идею о том, что пролетариат каждой страны должен бороться за поражение своего правительства. Чернов пытался провести партию между Сциллой и Харибдой, между лозунгами «Все для победы», «Война до победного конца» и их противоположностью, которой стала тактика «пораженчества».

Естественно, лозунг «Война до победного конца» толкал его сторонников к коалиции с промышленной буржуазией, которая, в свою очередь, отказывалась порывать с поместной аристократией и кастой генералов. Для сохранения такой коалиции требовалось отложить социальные реформы. Противоположный фланг, в который входили молодежь, рабочие, а местами даже крестьяне, стремился к другой крайности. Стремление как можно скорее остановить войну заставляло их примыкать к большевикам. Недовольное концепцией «революции трудящихся», занимающей промежуточное положение между классической буржуазной и всеобщей социалистической революциями, левое крыло эсеровской партии начало мечтать о дерзком эксперименте «введения социализма» с помощью одного радикального декрета.

К этим внутрипартийным разногласиям добавлялось еще одно. Почти во всех социалистических партиях их парламентская фракция была более правой, чем центр. Долго существующее и прочное правительство стремится сгладить эту разницу, но при зарождении представительных органов власти она бывает очень велика. В партии социалистов-революционеров между центром, которым руководил Чернов, и думской группой Керенского существовало сильное расхождение. Партия, которая вела террористическую борьбу с правительством, не

имела своего представительства в Думе. Керенский, называвший себя социалистом-революционером, руководил думской фракцией трудовиков — наполовину социалистической, наполовину мелкобуржуазной группой с примесью народничества; в этой группе он играл роль карликового диктатора, с которой никогда не мог расстаться.

Внутри партии эсеров он с начала и до самого конца оставался «вещью в себе», самовольным и капризным политическим партизаном. Естественно, его псевдоромантическая личность и громкое имя привлекли в партию так называемых «мартовских эсеров» — гибридную группу, руководившуюся стадным инстинктом, модой на эсеровскую философию, ореолом прошлой героической борьбы или просто соображениями карьеры. Эти люди сделали Керенского живым знаменем, восхищаясь его умением сколачивать коалиции и манерами диктатора. Все они присоединялись к правому флангу партии, который оставался эсеровским только по названию.

В мае был созван Третий Всероссийский партийный съезд. Он должен был показать мощь этих двух центробежных сил и проверить на прочность центр партии. Перед началом съезда часть правого крыла основала в Петрограде новую газету под названием «Воля народа», конкурировавшую с официальным органом партии «Дело народа». На съезде та же группа впервые в истории партии сделала попытку организовать фракцию сочувствующих «Воле народа». Попытка оказалась безуспешной, но она заставила левых создать свою фракцию, отдельную и намного более многочисленную. Встревоженные сторонники партийного единства могли ответить на это только одним — созданием фракции центра. Борьба была нешуточная, но за резолюции, предлагавшиеся центром, голосовало подавляющее большинство. В итоге политика, сформулированная Черновым, получила одобрение съезда. Эта политика основывалась на борьбе за мир, при котором побежденных не будет и ко всем станут применять общие нормы международного права, а также на стимулировании нового революционного правительства с помощью конструктивной социалистической политики в области рабочего и аграрного законодательства. Целостность партии проявилась в поддержке программы, предложенной

центром. Казалось, единодушие съезда гарантировало всеобщее стремление к демократическому миру и социальному прогрессу внутри страны.

Таковы были итоги Третьего съезда. Однако в период между маем и октябрём 1917 г. намеченную им программу выполнить не удалось. Эсеровские министры не были единой группой. Попытки Чернова реализовать аграрную политику партии привели к его изоляции внутри правительства, а затем и к отставке. Лидеры партии принесли политику Чернова в жертву коалиции. Вместо того чтобы перенести центр тяжести в сторону социализма, как происходило во всей стране, Керенский постоянно перекраивал правительство, заменяя социалистов, преданных партии, угодливыми беспартийными «социалистами». Партия терпела это положение так долго, что падение Временного правительства, которое она тщетно пыталась защитить, стало катастрофой и для нее самой.

Партия эсеров не реализовала собственную политику, политику Третьего съезда. Ее курс сместился вправо. Чем было вызвано это смещение? Следующий партийный съезд осудил Центральный комитет за слабое руководство, терпимость к нарушениям партийной дисциплины и неумение воплотить в жизнь решения партии. Но для историка это несущественно; он ищет не конкретных «виновников», а объективные причины. Четвертый съезд назвал причиной случившегося неоднородность Центрального комитета, который превратился в «парламент мнений» с нестабильным и зыбким большинством. Третий съезд, собравшийся после пугающе долгого перерыва, избирал Центральный комитет вслепую. Кроме того, во время революции взгляды многих видных членов партии претерпели эволюцию. Теоретически левые лидеры, приняв на себя ответственность за всю сложную закулисную «кухню», межпартийные и внутриправительственные соглашения и комбинации, все сильнее и сильнее сворачивали вправо. Многие теоретически правые (как самарская группа), вынужденные руководить крестьянским движением в своих губерниях, принимали тактику доморощенного местного революционного законодательства и объявляли декреты коалиционного правительства «ничтожными». Все это подрывало позиции центрального руководства.

Победа центробежных сил над центростремительными, характерная не только для русской, но и для других революций, ставших результатом военного поражения, произошла во всех ведущих партиях, выразившись в ослаблении центра и усилении флангов. Судьба партии социалистов-революционеров, если смотреть на нее *sub specie aeternitatis* [с точки зрения вечности (*лат.*)]. — Примеч. пер.], стала только отражением судьбы революции.

Отдельные группы и личности были всего лишь более или менее слепым орудием этого исторического процесса. Едва ли Керенский, который на короткое время стал кумиром улицы, живым знаменем «мартовских социалистов», хотел сознательно лишить революцию ее прочного фундамента — единой партии социалистов-революционеров, чувствовавшей биение пульса русской истории. Если сначала он ненавидел Милюкова, затем перенес эту ненависть на Церетели, а в конце концов — на Чернова, то лишь потому, что искренне считал каждого из них партийным сектантом, неспособным «мыслить по-государственному». Себя же он считал непонятым, жертвой бесчисленных завистников. Исчерпав изобретательность адвоката, энергию маньяка и красноречие невротика в попытке совершить невозможное — объединить буржуазию и националистов с революционерами и интернационалистами, — Керенский пришел ко вполне естественному для него выводу: партии и классы со своими отдельными интересами, а особенно вожди партий и классов являются лишь препятствием на пути настоящего государственного деятеля. Невозможность создать коалицию *партий* привела Керенского к идее ее замены коалицией *людей*. Поэтому от «правительства народного доверия» следовало перейти к «директории», диктатуре трех—пяти человек, от которой оставался один шаг до индивидуальной диктатуры. В глубине души Керенского всегда тянуло к диктатуре, но внешне он сопротивлялся этому желанию.

То, что Керенский формально числился эсером, создавало для партии огромные сложности. Она несла за него ответственность как за одного из своих вождей, хотя в рядах партии он был таким же чужеродным элементом, как человек с другой

планеты. Его политика полностью противоречила платформе социалистов-революционеров. Но порвать с ним становилось все труднее и труднее, поскольку это означало бы попытку сформировать относительно однородное правительство демократии трудящихся с оттенком социализма. Это означало бы разрыв с партией меньшевиков, которая оспаривала данную идею с пеной у рта. Существовала и опасность раскола внутри партии, создания «национальной партии социалистов-революционеров» и ухода многих людей с громкими именами. Раскол накануне выборов в Учредительное собрание мог лишить партию всех ранее достигнутых успехов. Группа центра во главе с Черновым не могла с этим мириться. Больше всего ее ограничивала ненадежность сильно раздутого левого фланга, который демонстрировал сильный психологический «крен к большевизму». Левые эсеры уже приняли лозунг «Вся власть Советам», имея в виду вовсе не формирование правительства из лидеров советских партий, а превращение Советов в орган непосредственного осуществления государственной власти. Они ощущали соблазн немедленной реализации общей программы построения социализма, установления диктатуры партии эсеров и Учредительного собрания под дулами кронштадтских пушек; иными словами, выполнения программы большевиков под маской народничества.

По закону психологической реакции энтузиазм левого крыла толкал часть центристов направо, в то время как корыстная и капитулянтская коалиционная политика правых толкала других членов центра в объятия левых. Поляризация усиливалась, и центр таял с каждой минутой.

В таких условиях центру приходилось нелегко. Ему было бы нелегко даже в том случае, если бы сохранилось старое ядро партии во главе с Черновым, Михаилом Гоцем и Григорием Гершуни. Но оставался один Чернов, больше теоретик, оратор, публицист, лектор и ученый, чем профессиональный политик. Истинно славянская широта натуры, мягкость и уступчивость сочетались в нем с тенденцией уходить в мир идей, социальных диагнозов и прогнозов, умственной инициативы и творческого воображения и предоставлять конкретную организацию текущей работы другим.

Чернов доверял людям больше, чем следует политику. На первых порах он с более молодым Гоцем протянул руку Керенскому, юная сила и огромная популярность которого могли пойти на пользу партии. Однако популярность Керенского была неглубокой, ей еще только предстояло проникнуть в массы. Гоц и Чернов строили планы: Керенский возглавит правительство, подпишет декрет, запрещающий все сделки с землей, свяжет свое имя с традиционной крестьянской мечтой об изъятии земли у помещиков, с мечтой о свободном доступе к земле для тех, кто ее обрабатывает. Казалось, Керенский с этим согласен, но выяснилось, что нет. Он не хотел терять популярность у цензовой публики. В конце концов с этими планами и надеждами пришлось расстаться. Чернов долго не желал приносить в жертву надежды, которые он возлагал на Керенского. Он написал декларацию, которая должна была определить связь Керенского с партией, без ведома коей последний вошел в буржуазное правительство. На Третьем съезде Чернов искренне заступался за Керенского перед ненавидевшими его левыми и произнес целую речь в его защиту. Однако это не спасло Чернова от подозрений восторженных поклонников Керенского в том, что именно из-за него Керенского не выбрали в Центральный комитет. Смертельно обиженный Керенский готовно поверил в эту легенду, поскольку впоследствии (особенно после того, как он убрал из правительства Церетели) Чернов жестоко разочаровался в нем, а после корниловского мятежа начал считать связь с ним роковой для партии.

После ухода из правительства четырех кадетов, а затем князя Львова Чернов пришел к следующему выводу: если мы хотим, чтобы великороссы жили в мире и дружбе с национальными меньшинствами под властью одного правительства, то должны предложить тщательно разработанный проект федерального государственного устройства; это означает, что правительству придется обойтись без кадетов. Если мы хотим избежать пугачевщины, то должны вести энергичную и радикальную политику, облегчающую доступ крестьянина к земле; это опять же означает, что придется управлять без кадетов. Если мы хотим избежать дальнейшего падения пострадавшей от войны наци-

ональной экономики за счет забастовок и локаутов, то должны ввести контроль над производством, ограничение прибыли и фиксацию заработной платы; следовательно, мы должны править без кадетов. Если мы хотим поднять боеспособность армии, то должны опровергнуть дезорганизующую мысль о том, что если Россия отказывается от аннексий и контрибуций для себя, то армия вынуждена воевать за аннексии и контрибуции для союзников; поэтому мы должны оказать сильное давление на союзников, чтобы опубликовать условия подлинно демократического мира; следовательно, в международных отношениях нам придется представлять Россию без кадетов. Чернов сделал об этом доклад перед многочисленной аудиторией на частном «собрании старых партийных лидеров».

Однако в Центральном комитете партии, избранном Третьим съездом, он столкнулся с сопротивлением, которого трудно было ожидать после принятых съездом резолюций. Позиция партийного руководства оставалась неопределенной до самого корниловского мятежа. Только после этого произошли давно ожидавшиеся перемены. В частности, попытка Керенского сделать свое правление еще более неподотчетным с помощью концентрации власти в руках узкой «директории» встретила решительное и единодушное сопротивление. Центральный комитет партии принял резолюцию Чернова, отвергавшую возможность любого союза с кадетами.

Однако 4 и 12 сентября Центральный комитет вновь подтвердил желательность расширенной коалиции с цензовой демократией, которая будет подотчетна предпарламенту; при этом резолюция о невозможности коалиции с кадетами оставалась в силе. Резолюция также предусматривала принцип *единого голосования для всех членов Центрального комитета*; несогласным предоставлялось право «воздержаться без объяснения причин». Через две недели к этому решению добавился пункт о том, что все члены Центрального комитета должны активно проводить его политику и обязаны полностью воздержаться от индивидуального голосования против мнения Центрального комитета*.

Эти решения, принятые накануне Демократического совещания, связали Чернова по рукам и ногам и еще более ос-

лабили его позицию. Он был наиболее последовательным политиком в партии эсеров, но ему мешало множество препятствий. Несмотря на его упорство, временами доходившее до порывистости, несмотря на решимость защищать свои главные цели, он не всегда проявлял эти качества в повседневной политике. Это требовало большей концентрации воли и большего умения не разбрасываться, чем было свойственно его типично русской натуре. Для профессионального политика он придерживался слишком демократических привычек и не обладал честолюбием и властолюбием, которые необходимы для успеха на политической арене. Его полностью удовлетворяли успехи на поприще лектора и публициста, не имеющие политического веса. Он пытался личным примером показывать, как следует соблюдать партийную дисциплину; возможно, это было благородно, но непрактично. Когда конференции и съезды Советов решали насущные вопросы, ему часто приходилось молчать или воздерживаться при голосовании, чтобы не нарушать то или иное противоречивое решение Центрального комитета, принятое незначительным большинством голосов, в то время как другие члены комитета не обращали на эти решения никакого внимания. Он все еще жил по законам того времени, когда лидеры партии были морально едины. Но те времена остались в далеком прошлом.

В 1917 г. верхи партии были столь далеки от низов, что человек с характером Ленина мог бы многого достичь, ставя ультиматумы руководству партии, подкрепляя эти ультиматумы призывом к рядовым членам. Критические обстоятельства слишком часто требовали резкого поворота руля, но усилия Чернова ослаблял страх за судьбу партии. Он действовал менее твердо и решительно, чем требовалось для принятия его точки зрения, иногда опасаясь разорвать и без того ослабевшие партийные узы, иногда боясь сбить с толку местные партийные организации своей личной борьбой с Керенским, иногда надеясь, что тактика выжидания и откладывания конфликта поможет выяснить, кто был прав, а кто нет, и безболезненно выправить партийную линию. Возможно, эти причины были уважительными, но следует признать, что Чернов принес в жертву фетишу недостижимого партийного единства

активную защиту той самой программы, которую партия формально одобрила по его инициативе.

Через полгода после Третьего съезда партийная линия еще больше сместилась вправо. Дело дошло до того, что цикл статей Чернова, предупреждавших о приближении катастрофы, не был опубликован в центральном органе партии даже как его личное мнение. Центральным комитетом решено, что партия слишком привыкла воспринимать статьи Чернова как официальную позицию руководства, что их отклонение от курса комитета может сбить с толку рядовых членов. Но и тут Чернов подчинился дисциплине и стал терпеливо ждать созыва Четвертого съезда. Съезд состоялся и единодушно поддержал резолюции черновского «левого центра», осудил колебания Центрального комитета и его неспособность добиться соблюдения партийной дисциплины. К несчастью, скорость развития исторических событий опередила ход неповоротливой партийной машины. Съезд удалось собрать лишь после большевистского переворота. Линию партии выправили, но было уже слишком поздно.

Глава 20

СПОЗНАНИЕ К БОЛЬШЕВИЗМУ

У партий, составлявших большинство в Совете, оставался еще один козырь: Демократическое совещание.

Оно открылось 14 сентября. Керенский сделал сенсационное заявление: роль диктатора предлагали ему еще до Корнилова. От ответа на вопрос, кто именно сделал ему такое предложение, он ушел. Он заверил совещание, что хотя утвердил закон о восстановлении смертной казни на фронте, но вычеркнул из него одну фразу; таким образом была спровоцирована совершенно не нужная шумиха вокруг закона.

Затем начались бурные дебаты. Совещанию были представлены две резолюции. Одна предлагала исключить из коалиции «те элементы конституционно-демократической партии [кадетов. — *Примеч. авт.*] и других партий, которые были замешаны в корниловском мятеже». Вторая резолюция была

более радикальной: она объявляла дальнейшую коалицию с кадетами невозможной. Вместо того чтобы поставить на голосование вопрос о том, какую из двух резолюций принять за основу для дискуссии, президиум совещания, стремясь спасти коалицию, прибег к способу скорее хитрому, чем честному. Он заявил, что предварительно нужно решить голосованием вопрос в принципе: кто за коалиций, а кто против. Протесты Чернова и других, что «коалиций вообще» не бывает и что такое голосование будет двусмысленным и неопределенным, приняты не были. Во время голосования Чернов, связанный резолюциями собственного Центрального комитета, мог только воздержаться, не имея права даже объяснить свои мотивы. Это вызвало большое недоумение. Враги Чернова расценили это как признак нерешительности. Две трети делегатов от Советов и национальных организаций, три четверти делегатов от земств, четыре пятых делегатов от профсоюзов проголосовали против коалиции; голоса делегатов от городов разделились практически поровну; и только представители кооператоров почти единодушно выступили за коалицию, обеспечив очень незначительное большинство одобрению принципа «абстрактной коалиции».

Затем было поставлено на голосование предложение вышвырнуть за борт «элементы», замешанные в мятеже Корнилова. Казалось, тут и спорить не о чем, но голоса разделились следующим образом: 797 за, 139 против при 196 воздержавшихся. Президиум пытался закончить голосование, но делегаты, которые предлагали исключить из коалиции всю кадетскую партию, протестовали так бурно, что их резолюцию также пришлось поставить на голосование. Она набрала 595 голосов за и 493 против при 72 воздержавшихся. Тогда сторонники коалиции решились на отчаянную меру: президиум, перестав притворяться нейтральным, заявил, что голосование по принципиальному вопросу было главным, а два других являлись лишь поправками к резолюции, поэтому теперь он предлагает проголосовать за «резолюцию в целом». Начались новые протесты. Такая интерпретация была объявлена произвольной; голосование за или против абстрактного принципа — совсем не то же самое, что голосование за резолюцию; поправки никогда не

ставятся на голосование после принятия главной резолюции. Президиум поставил вопрос на общее голосование. Теперь цель маневра стала ясна. Нарушив все постановления Центрального комитета своей партии о едином голосовании, правое крыло социалистов-революционеров заявило, что оно будет голосовать против резолюции в целом. Дан объявил, что меньшевики присоединяются к ним, а Беркенгейм — что кооператоры сделают то же самое.

Именно этого и хотели большевики. Они боялись создания однородного правительства трудящихся. Такое правительство могло бы завоевать популярность и помешать большевистской резолюции. Отобратить власть у коалиционного правительства, ослабленного внутренними разногласиями и возглавляемого «конченным человеком» Керенским, было бы намного легче. От имени большевиков Троцкий провозгласил, что хотя они голосовали за обе конкретные резолюции, но сейчас вынуждены признать абстрактный принцип коалиции, а потому тоже отвергают «резолюцию в целом». Такое же заявление сделали левое крыло эсеров и интернационалисты, испугавшиеся, что их обвинят в радикализме. Правые и левые объединили усилия, чтобы помешать Демократическому совещанию принять какое бы то ни было решение. Три основных голосования плюс три дополнительных голосования в итоге дали минус один. Было доказано, что совещание может создать лишь зыбкое большинство, каждый раз основанное на новой комбинации голосов. Единое большинство исчезло. На совещании присутствовали два разросшихся крайних фланга, в то время как центр исчез.

«Президиум обсудил ситуацию и пришел к единогласному решению, что среди организованной демократии не выкристаллизовалось единства воли», — заявил Церетели после перерыва. Демократия трудящихся не могла нанести себе более убийственного удара. Она не только расписалась в своем банкротстве, но и косвенным образом признала, что в данных условиях единственным выходом из положения является диктатура. В тот день победителем оказалась самая малочисленная фракция — большевики.

Поскольку Демократическое совещание не смогло решить вопрос о правительстве, Керенский сохранил свободу дей-

ствий. Он быстро слепил новое правительство, заменив петроградских кадетов московскими и вновь силой притащив в кабинет Коновалова, до того дважды подававшего в отставку. Он ввел в кабинет Третьякова, широко известного своими замаскированными призывами к закрытию промышленных предприятий. Он окружил себя несколькими «бледно-розовыми псевдосоциалистами». Конечно, в таких условиях ни о формальной подотчетности предпарламенту, ни о выполнении решений московского Государственного совещания не могло быть и речи. Керенский угрожал подать в отставку. Центральный комитет партии эсеров решил «послать к Керенскому новую делегацию, чтобы попытаться убедить товарища Керенского удовлетворить требования демократии» (резолюция от 1 октября). Большевики требовали отложить рассмотрение этого вопроса до Второго съезда Советов. Сторонники коалиции были готовы принять любое урезание их программ и любое самое пестрое правительство при условии, что оно доживет до Учредительного собрания. Продолжались бесконечные переговоры, сделки и торговля, приобретавшие то драматический, то комический оборот.

Какое-то время казалось, что никакого соглашения достичь не удастся и единственным выходом является создание однородного «правительства трудящихся». На одном из совещаний Центральный комитет партии эсеров даже передал своим делегатам, которые вели переговоры с Керенским, примерный список кандидатов на министерские посты. Церетели должен был стать премьер-министром и министром иностранных дел, В.А. Ржевский (бывший «прогрессист», председатель финансовой комиссии Государственной думы, присоединившийся к эсерам в 1917 г.) — министром финансов, министром торговли и промышленности — правый большевик Красин, министром труда — социал-демократ Колокольников, министром земледелия — помощник Чернова, известный агроном П.А. Вихляев, министром заготовок — кооператор Беркенгейм, министром внутренних дел — эсер Тимофеев или эдек Богданов, министром юстиции — Керенский, а в случае его отказа Гендельман, министром народного просвещения — Тимирязев или Бехтерев, военным министром — генерал Вер-

ховский, морским министром — адмирал Вердеревский. Чернов предпочел остаться вне правительства, но при необходимости мог вернуться в министерство земледелия или возглавить новое министерство национальностей.

Однако возможно, что этот список Гоц и Авксентьев взяли с собой только для того, чтобы сбить спесь с Керенского, помахав перед его носом проектом, который будет реализован, если Керенский начнет упрямыться. Даже неохотные сторонники коалиции были загипнотизированы близостью выборов делегатов Учредительного собрания. Все новые правительственные комбинации следовало отложить. Никто не хотел компрометировать себя в оставшийся небольшой промежуток времени, неизбежно неопределенный и трудный.

Видимо, никто не понимал, что вопрос о правительстве должен был решить, состоится ли Учредительное собрание вообще и дождется ли его страна без новой революции. Если бы революция состоялась до Учредительного собрания, это наверняка означало бы конец последнего.

Увы, повсюду до революции было податься рукой. Медлительность была характерна для всей деятельности правительства, но тяжелейшим из его грехов стала задержка с созывом Учредительного собрания.

6 марта Бьюкенен телеграфировал в Лондон: «На мой вопрос относительно Учредительного собрания его превосходительство [Милуков. — *Примеч. авт.*] ответил, что будет издано обращение к народу, объявляющее о его созыве в самое ближайшее время, но без указания даты»¹. Во время переговоров с Советами о создании правительства представители Думы обещали созвать Учредительное собрание «как можно скорее». Временное правительство заверило, что оно «ни в коем случае не собирается пользоваться ссылками на военное время для откладывания вышеупомянутых реформ и мер». Однако, согласно Милукову, сразу вслед за этим «у членов первого Временного правительства возникло мнение, что это можно сделать только во время затишья в военных действиях, то есть не раньше осени». Иными словами, основанием для задержки действительно стало военное время. Два месяца чисто буржуазное правительство не созывало Специальное

совещание, которое должно было собраться и начать работу над проектом закона о выборах. 13 марта на «комиссии по контактам» между Временным правительством и Советом состоялась «долгая беседа относительно Учредительного собрания. Правительство неохотно подтвердило свои обещания... Мы согласились, что Учредительное собрание должно быть создано в течение лета»².

Делегаты Исполнительного комитета чувствовали, что даже этот срок слишком долг, и они были правы. Все более поздние революции, от германской 1918 г. до испанской 1931 г., показали, что только немедленное Учредительное собрание может оказать формирующее влияние на революцию, иначе судьба революции и Учредительного собрания может быть решена до проведения последнего и без него. В своей речи от 24 марта Чхеидзе прямо требовал, чтобы Учредительное собрание созвали немедленно. Московское окружное совещание Советов было право, когда несколько дней спустя настаивало на том, что «дата созыва ни в коей мере не должна зависеть от того, когда кончится война»³.

Но в апреле на Всероссийском совещании Советов правая рука Керенского Станкевич неожиданно заявил, что «Учредительное собрание не может быть создано раньше сентября». В доказательство он привел календарь. Избирательные списки должны были составить «законные» органы местного самоуправления. Первое Временное правительство так и не удалось издать закон о новом городском самоуправлении, оставив его первой коалиции; уже одно это привело к двухмесячной задержке. С законом о выборах в Учредительное собрание они «поспешали медленно». После напыщенного заявления о том, что «необходимо ускорить созыв», первая сессия подготовительного совещания была назначена на 25 мая. Однако о дате выборов не было сказано ни слова. Почему избирательные списки для выборов в Учредительное собрание нельзя было составить тем же способом и в то же время, что и списки для выборов в земства и городские думы? Этот дерзкий вопрос либерально-буржуазное крыло правительства и его ученая юридическая комиссия считали оскорблением священных принципов государственного права. Толь-

ко 14 июня, через три с половиной месяца после революции, Временное правительство под давлением Церетели и Чернова наконец назначило день выборов на 17 сентября, а открытие Учредительного собрания — на 30 сентября. Кадеты заявили, что это «абсолютно невыполнимо» (Милюков). Вторая коалиция, как выразился тот же Милюков, «поторопилась исправить политическую ошибку первой, которая назначила явно нереальный срок выборов в угоду социалистам левого крыла». Несмотря на то что пресса и Советы называли это саботажем, 9 августа с согласия Исполнительного комитета Совета выборы были назначены на 12 ноября, а созыв Учредительного собрания — на 28 ноября. Во время переговоров с Керенским о «третьей коалиции» поступило предложение отложить выборы на еще более поздний срок. 12 сентября Центральный комитет партии эсеров «единогласно решил, что выборы в Учредительное собрание не должны быть отложены». Однако это, если так можно выразиться, было «беседой в царстве теней»: и новая, и старая даты превысили лимит времени, отпущенного Временному правительству многострадальной историей.

Черновский план создания «правительства трудящихся», так часто отвергавшийся или клавшийся на полку, был наконец принят. Центральный комитет партии эсеров единодушно проголосовал за эту резолюцию в отсутствие Чернова и без давления с его стороны. «Признано необходимым немедленно сформировать однородное социалистическое правительство с представителями всех социалистических партий». Так гласила резолюция, принятая 14 ноября 1917 г. Но слово «немедленно» возникло слишком поздно. Оно появилось через три недели после свержения Временного правительства и прихода к власти большевиков.

Медлительность была главной болезнью революции 1917 г. В какой-то степени она была эхом замедленного исторического развития России.

Сначала царь опоздал создать «правительство народного доверия» и отречься от престола ради спасения династии. Затем гучковы, кримова и терещенко опоздали со своим планом дворцового переворота, который должен был опередить

народную революцию. А потом революция, тоже запоздавшая с приходом, стала опаздывать раз за разом. Она промедлила и с созданием коалиционного правительства, и с созданием правительства однородного. Медлительное коалиционное правительство не успело решить рабочих, крестьянский и национальный вопросы. Рассмотрение всех злободневных вопросов неизменно откладывалось «до Учредительного собрания». Но верхом медлительности стал постоянный перенос выборов делегатов последнего. Он дал большевикам один из их сильнейших козырей, позволив им заявить, что созыв Учредительного собрания систематически саботируется, что кадеты, видя усиление левых партий и ослабление собственной, не хотят созывать Учредительное собрание до победного окончания войны, рассчитывая на взрыв народного тщеславия и шовинистической алчности; что Корнилов открыл свои карты, пообещав «привести страну к Учредительному собранию через победу»; что весь план наступления был продикутован желанием либо создать атмосферу победного ликования, либо в случае неудачи операции довести страну «до белого каления» и этим оправдать похороны Учредительного собрания «по первому разряду». Если бы историк распознал в шумной кампании большевиков «величайшее лицемерие», то не потому, что в этих утверждениях не было правды, а потому, что большевики втихомолку сами похоронили Учредительное собрание, но обвиняли в подготовке к этому других.

Что происходило внутри партии большевиков? Как она готовилась к роли, отведенной ей историей?

Согласно широко распространенному мнению, с самого начала революции внутренняя история советской демократии была историей отчаянной борьбы между меньшевизмом и большевизмом. Это мнение нуждается в серьезных уточнениях. Даже разделение социал-демократии на две самостоятельные партии, одна из которых впоследствии стала называть себя «коммунистической», было не начальной точкой, а всего лишь результатом хода событий.

Троцкий напомнил миру, что «в таких рабочих центрах, как Екатеринбург, Пермь, Тула, Нижний Новгород, Сормово, Коломна, Юзовка, большевики отделились от меньшеви-

ков только в конце мая 1917 года. В Одессе, Николаеве, Елизаветграде, Полтаве и других центрах Украины большевики не имели собственных организаций даже в середине июня. В Баку, Златоусте, Бежецке, Костроме большевики отделились от меньшевиков только в конце июня»⁴.

В двух столицах события развивались быстрее. Однако, согласно словам одного видного большевика, в Московском совете в первой половине марта «все вопросы решались Исполнительным комитетом и пленумом Совета без деления на фракции... Ни одной организованной фракции не было; рабочие не любили фракционную работу. Это чувство было сильным не только среди беспартийных, но и среди товарищей по партии»⁵.

В Петрограде, где фракционная борьба велась максимально остро, этот вопрос решался более сложно. Но, несмотря на антагонизм правого и левого флангов и деление фракций на подфракции, результат в Петрограде был тем же самым: влияние партий на работу Совета было ничтожным. А большевики были готовы к оказанию такого влияния меньше, чем кто бы то ни было. Им еще нужно было осознать себя духовно и политически.

Первые попытки оказать давление на Совет создавали впечатление случайности, необязательности, «искривления линии». Сначала большевистская организация не имела «конкретного ответа на вопрос об организации правительства»⁶. 28 февраля Центральный комитет партии большевиков призывал рабочих и солдат немедленно «выбрать своих представителей во Временное революционное правительство, которое должно быть создано под защитой восставшего революционного народа и армии». Этот туманный призыв не имел никаких последствий. В Исполнительном комитете Совета «никто и не упомянул о правительстве советской демократии, несмотря на большевистский манифест, вышедший накануне»⁷. Все, даже большевики, были удовлетворены своим правом исключать из Временного правительства одиозных личностей.

Даже такой твердый большевик, как Сталин, говорил на партийной конференции 27 марта:

«Фактически Временное правительство создано для того, чтобы закрепить завоевания революционного народа. Совет

рабочих и солдатских депутатов мобилизует силы и осуществляет руководство; Временное правительство пусть неохотно, со скрипом, но закрепляет завоевания, которых народ уже добился фактически. У такой ситуации есть как отрицательные, так и положительные стороны: в настоящий момент нам невыгодно торопить события и идти на разрыв с буржуазными слоями, которые рано или поздно неизбежно сами порвут с нами».

Позже Троцкий осуждал за это Сталина. Он заявлял, что, пока Ленин не приехал из-за границы, Сталин был всего лишь «обычным революционным демократом».

В такой форме большевизм мог быть только более радикальной частью общего социал-демократического фронта, какой и оставался вплоть до приезда Ленина. На Петроградской городской конференции меньшевиков в начале марта обсуждался вопрос об объединении с большевиками. На конференции большевиков в марте Сталин склонялся к принятию предложения Церетели, поскольку «заглядывать слишком далеко вперед и ждать расхождений было бы неправильно»; эти расхождения можно будет «преодолеть внутри партии». Сначала в военном вопросе «большевики, собственно говоря, не выдвигали независимой программы». Сталин говорил буквально следующее: «Один лозунг «Долой войну!» абсолютно бесполезен как практическое средство». В середине марта из Сибири вернулся Каменев. Вместе со Сталиным они руководили большевистской фракцией в Совете и издавали центральную газету «Правда». Однако это не привело к созданию пропасти между большевиками и центристским руководством Совета; скорее наоборот. «Правда» потеряла свою обычную демагогическую окраску. Даже в жгучем вопросе о войне она утверждала: «Война будет продолжаться, потому что германская армия еще не последовала примеру русской армии и продолжает подчиняться своему императору»; в таких условиях для русских солдат «возвращение домой было бы политикой не мира, а рабства, политикой, которую вольный русский народ отвергнет с негодованием». Газета защищала необходимость «ответа пулей на пулю и снарядом на снаряд» и призывала не позволять «никакой дезорганизации военных

сил революции». Требуя начать переговоры, чтобы «найти способ покончить с мировой войной», «Правда» постоянно настаивала на том, что «до тех пор каждый должен оставаться на своем посту».

Все это мало чем отличалось от официальной позиции большинства меньшевиков и эсеров. Действительно, примерно в то же время (в конце марта или начале апреля) «состоялось общее совещание меньшевиков и большевиков, на котором то и дело затрагивался вопрос об объединении». Еще раньше в Москве «на партийной конференции [большевиков. — Примеч. авт.] среди прочих рассматривался и вопрос о возможности объединения с меньшевиками, поскольку в провинции существовало сильное стремление к этому»⁸. Переговоры об объединении шли до тех пор, пока из-за границы не вернулся Ленин, быстро положивший этому конец. В то время Ленин иронически говорил, что знает только двух настоящих большевиков: себя и жену.

Но приписывать лично Ленину последующее изменение курса большевиков было бы неверно. Одному человеку не под силу вызвать столь резкое изменение линии всей партии. Некоторым пролетарским слоям Петрограда нравился дух старой «Правды», ее «непоследовательный, примитивный, но левый», как говорил Троцкий, или хаотический, «демагогический и погромный» тон, как говорил Суханов.

Шляпников писал: «15 марта, когда вышел первый номер обновленной «Правды», стало днем триумфа группы оборонцев. Весь Таврический дворец облетела новость: наконец-то разумные и умеренные большевики одержали победу над экстремистами... Когда этот номер «Правды» дошел до фабрик, он вызвал полное замешательство у членов нашей партии и сочувствующих и саркастическое облегчение у наших оппонентов. Озлобление в некоторых районах было огромным. Узнав, что «Правду» захватили три ее бывших редактора, только что вернувшиеся из Сибири, пролетарии потребовали, чтобы их исключили из партии»⁹.

Конечно, Шляпников видел этих «пролетариев» сквозь собственные очки. Есть пролетарии и пролетарии. О прежней, «дореформенной» «Правде» Каменев говорил Суханову, что

«она была абсолютно недостойной по тону, неприемлемой по духу и пользовалась скверной репутацией»; «даже в наших рабочих кругах были ею сильно недовольны». Но, естественно, существовали и другие рабочие круги, довольные «бешеными статьями, игравшими на необузданных инстинктах». Квалифицированные рабочие — это одно, а неквалифицированные, только что попавшие на фабрику, — совсем другое; это примитивная и пестрая толпа, живущая главным образом чувствами и импульсами.

Во всех капиталистических странах наряду с пролетарским *demos* [народ (греч.). — Примеч. пер.] существовал пролетарский *ochlos* [толпа (греч.). — Примеч. пер.], огромная толпа деклассированных, хронических нищих, люмпен-пролетариев, которых можно считать «капиталистически избыточной резервной армией промышленного труда». Как и пролетариат, этот слой является продуктом капиталистической цивилизации, но он отражает разрушительные, а не созидательные аспекты капитализма. Угнетенный и эксплуатируемый, он полон горечи и отчаяния, но не имеет ни традиций, ни того стремления к новому сознанию, новым законам и новой культуре, которое отличает истинного, «потомственного» пролетария.

В России сильнее всего развивались именно разрушительные, хищнические аспекты капитализма, а созидательные, наоборот, тормозились. Это сопровождалось катастрофическим ростом «охлоса», огромной массы бродяг, лишенных корней. Временами ложно идеализировавшаяся (как в ранних рассказах Горького), эта толпа была источником сил, устраивавших время от времени вспыхивавшие массовые бунты, а также еврейские и прочие погромы, которыми славилась старая Россия.

Во время войны толпа деклассированных неимоверно увеличилась. Источником этого роста были массовые эвакуации, проводившиеся военными властями в грубой и бесцеремонной манере. Кроме евреев, массами вывозившихся из прифронтовых областей из-за общего и ни на чем не основанного подозрения в шпионаже и помощи врагу, кроме правительственных чиновников и добровольных беженцев существовала еще одна группа (самая большая по численности), состоявшая из тех,

кого вывели силой, чтобы обезлюдить территории, оставляемые врагу.

Яхонтов писал: «Военные власти совершенно потеряли голову; казалось, этот хаос создавался намеренно... Людей отрывали от их родных деревень и перевозили в далекие и незнакомые места... Брошенные вещи и даже их собственные дома сжигали у них на глазах... По всем дорогам нескончаемым потоком текла огромная толпа... Люди умирали сотнями от голода, холода и болезней... Второе великое переселение народов, организованное армейской ставкой, кончится для России несчастьями, революцией и гибелью»¹⁰.

Во время войны кадровый состав промышленности резко изменился. Ряды фабричных рабочих, сильно поредевшие из-за повальной мобилизации, пополнились человеческим материалом, который был под рукой: крестьянами, мелкими лавочниками, служащими, привратниками, половыми, людьми без определенной профессии — словом, всеми, для кого работа на оборонных предприятиях была единственным способом избежать отправки на фронт. Настоящие пролетарии утонули в пестрой толпе люмпен-пролетариев и люмпен-буржуазии.

А затем настала периодическая безработица из-за недостаточного снабжения топливом и сырьем, внутренних конфликтов и, наконец, открытого применения локаутов. На возраставшую безработицу и усиление темпов инфляции отчаявшаяся толпа деклассированных реагировала не организованной классовой борьбой, а требованием социального чуда — обеспечения работой «за хорошие деньги» и всеобщего процветания по указу правительства.

Кроме того, существовала толпа солдат, в основном из тыловых гарнизонов. В последние годы царизма Россия кишела этими разросшимися тыловыми гарнизонами. Плохо обученная, недисциплинированная и страдающая от недостатка офицеров, эта толпа была всего лишь громадной лабораторией по превращению неформившихся деревенских парней в морально опустошенных людей, озлобленных монотонным и скучным существованием среди городских соблазнов.

В столицах ситуация была еще хуже. Сначала гарнизоны с недоумением наблюдали за революционными событиями. За-

тем они начали принимать в них участие — иногда с большим опозданием и в основном благодаря стадному чувству. Все они внезапно стали «героями борьбы за свободу». Советы твердо гарантировали им «революционную» привилегию в виде избавления от отправки на передовую. В действительности формирование фронтовых батальонов из запасных полков продолжалось. Но чем успешнее оно велось, тем быстрее из гарнизонов уходили лучшие люди и тем более ненадежными становились оставшиеся части. «Естественный отбор» превращал многие казармы в кормушку для бесстыдных корыстолюбцев, сквозь пальцы смотревших на лузганье семечек, игру в карты, пьяные дебоши, самовольные выходы на улицу и участие в многочисленных митингах. Среди этой отсталой и невежественной толпы попадались группы, принципиально выступавшие против войны; эхо этих речей подхватывали массы, находившие в них оправдание собственной лени и неряшливости. Постепенно такое состояние умов передавалось фронтовым частям, регулярно пополнявшимся из резерва.

Кроме того, существовали самые деклассированные из деклассированных — дезертиры. Согласно официальным данным, количество дезертиров с фронта еще до революции составляло больше 195 000, а на 1 августа 1917 г. их насчитывалось уже 365 000. Вместе с теми, кто уклонялся от мобилизации и прятался в лесах, полях и оврагах («зелеными»), их общее количество, по данным Родзянко, составляло до революции около 1 500 000, а к 1 октября 1917 г. — около 2 000 000. И наконец, революция совершила красивый жест, более прекраснодушный, чем практичный, почти повсюду открыв двери тюрем и выпустив на свободу даже уголовников.

Такими были главные источники пополнения бесформенной толпы. Скорее жертва, чем виновник собственного общественного положения, эта толпа ощущала всеобщий энтузиазм революции. Но ее праздничное настроение не могло пережить «медовый месяц» нового порядка. Суровая проза жизни требовала своего. Чем более примитивными были эти люди, тем скорее они начинали ощущать беспричинную злобу. Все эти элементы составляли аудиторию нескончаемых митингов. В больших городах эти митинги проходили на каж-

дой площади, бульваре, перекрестке и в сквере, причем выступали на них ораторы безграмотные, но страстные. «Улица» жила своей собственной шумной политической жизнью. В Петрограде местом постоянных митингов была площадь у дворца Кшесинской, ныне занятого большевиками. Именно там большевистские агитаторы научились приспособляться ко вкусам определенных слоев городского населения, но не пролетариев, а безработных нищих. Это диктовало изменение арсенала большевистской фразеологии. Страстные революционные призывы теперь были обращены к социальной категории, никогда не пользовавшейся любовью сторонников марксизма: «городской и деревенской бедноте». Партия тут же стала выпускать популярную газету «Беднота». Классовой основой большевизма вместо пролетариата стал люмпен-пролетариат; большевизм совершил грех, в котором всегда обвиняли *анархистов*.

Первая речь Ленина перед марксистской и социал-демократической элитой, делегатами недавно состоявшейся Всероссийской конференции Советов, вызвала всеобщую оторопь. Долой Временное правительство! Долой мелкобуржуазные Советы; долой буржуазную демократию; долой парламентскую республику; никакого правительства, кроме прямой власти Советов беднейших классов, власти, завоеванной пролетариатом. Долой социал-демократическую партию; да здравствует созданная вместо нее коммунистическая партия! Долой интернациональный мирный съезд социалистов в Стокгольме; да здравствует мир с помощью братания на фронте, ура переговорам революционных сил с обеих сторон, эскадрона с эскадронам и батальона с батальонам! Да здравствует гражданская война, которая покончит с империалистической войной! После этой речи старый большевик Гольденберг заявил с места: «Ленин претендует на европейский трон, который пустует уже тридцать лет: трон Бакунина. Новое слово Ленина является переложением старой истории примитивного анархизма. Ленина — социал-демократа, Ленина — марксиста, вождя нашей боевой социал-демократии больше нет!» Другой большевик, представитель левой фракции «Вперед» Богданов (Малиновский) вышел из себя и крикнул, что речь Ленина — это

бред сумасшедшего; бледный от гнева и презрения, он резко бросил аплодировавшим: «Как вам не стыдно хлопать этой чуши? Позор! И вы еще смеете называть себя марксистами!»

Несмотря на явное стремление Ленина сорвать начавшиеся переговоры об объединении меньшевиков и большевиков, эта речь привела скорее к обратному. Спровоцировав громкий скандал, Ленин покинул собрание. Вслед за ним ушли пятнадцать большевиков в знак протеста против враждебного приема их апостола. Оставшиеся практически единогласно признали необходимость проведения объединительного съезда всей российской социал-демократии и выбрали его организационный комитет, включая представителей большевиков. «Даже ближайшие товарищи Ленина, люди, которые работали с ним десятилетиями, начали возражать ему... Споры, особенно в кабинетах редакторов «Правды», были чрезвычайно острыми»¹¹.

Многие авторы склонны приписывать полную победу, одержанную Лениным над его сторонниками, исключительно личности вождя большевиков. Однако нельзя считать, что Ленин, типичный параноик, изменил все концепции левого крыла когда-то единой российской социал-демократии призывом к анархистскому мятежу только из-за капризных поворотов своей индивидуальной мысли. Напротив, Ленину, с юности фанатично проповедовавшему догмы марксизма, было очень нелегко перейти с пути Маркса на путь Бакунина и сделать главную ставку не на социально зрелый промышленный пролетариат, а на деклассированные толпы «бедноты», «угнетенных классов», моряков и солдат — иными словами, на пеструю и ненадежную «улицу». Временами он испытывал сомнения и пытался удержать это движение в разумных границах. Но толпе не терпелось избавиться от всяких ограничений. Бросить ее и сконцентрироваться на пролетарском «демосе» означало бы обресть себя на бесконечную и практически безнадежную борьбу с меньшевиками, считавшими главной движущей силой революции именно квалифицированных рабочих.

Колебания Ленина отражались в решениях его партии. Апрельская Всероссийская конференция большевиков постановила (тем самым определив всю будущую программу действий большевиков): «Пролетариат России, действуя в одной из са-

мых отсталых стран Европы, среди масс мелких крестьян, не может бороться за немедленную социалистическую перестройку». Она решила, что «эта война не может закончиться отказом солдат только одной стороны идти в бой и прекращением военных действий одной из воюющих сторон». Обвинение в том, что большевики склоняются к сепаратному миру с Германией, было отвергнуто как «чистая клевета». Массовое братание она объявила способом достижения не сепаратного мира, а одновременной рабочей революции по обе стороны фронта. В апреле большевистский Центральный комитет опроверг лозунг «Вся власть Советам!». После «милюковского кризиса» Ленин в специальной статье критиковал «слишком торопливых личностей». «Кризис нельзя решить ни индивидуальным насилием, ни разрозненными действиями небольших вооруженных отрядов, ни бланкистскими попытками захватить власть, арестовать Временное правительство, и т. д.»¹².

Но Ленину нужно было справиться не только с «леваками» в собственной партии, быстро откликнувшимися на ультрареволюционную платформу, которая так удивила его самых близких товарищей сразу после возвращения в Россию. За этими «леваками» стояла стихийная сила деклассированных. Поведение большевиков в апрельские дни разочаровывало их. Они начинали искать других вождей. Их поиски встретили отзыв в определенных анархистских кругах.

Всероссийский съезд Советов открылся тогда, когда в Петрограде произошла сенсация. Под полуанонимной подписью «Исполнительный комитет по ликвидации газеты «Русская воля» была издана листовка, в которой оправдывался самовольный захват вооруженной группой типографии Березина. Эта группа довольно бессвязно объяснила, что данный захват является не покушением на свободу прессы, а просто попыткой «вернуть народу его собственность» и покончить с ненормальным положением, когда многие друзья народа не имеют ни денег на оплату типографских услуг, ни печатных станков. Конфискованную типографию окружила враждебно настроенная толпа. На место действия прибыли также два батальона солдат. Лидеры съезда стремились любой ценой избежать кровопролития, которое могло бы омрачить начало столь важно-

го мероприятия. Они настаивали на том, что революционный порядок запрещает самовольные действия, что реквизиция помещений для нужд разных революционных организаций требует утверждения специального комиссара Временного правительства и одобрения Совета, в котором представлены все революционные течения, включая анархистов. Типография Березина должна быть освобождена. Делегация съезда, в которую входил и правый большевик Каменев, предотвратила столкновение. Расследование привело власти на дачу Дурново, также захваченную самовольно и превращенную в штабквартиру, из которой совершались налеты под анархистским флагом. Попытка властей освободить дачу встретила вооруженное сопротивление. На некоторых фабриках Выборгской стороны была объявлена забастовка в знак протеста против «контрреволюционных действий» правительства. Тут в дело вмешался Петроградский совет. Он велел открыть парк Дурново для рабочих, а само здание передать профсоюзам, приказал рабочим Выборгской стороны прекратить забастовку, подтвердил необходимость удаления с дачи Дурново группы мятежников, которая, прикрываясь анархистскими лозунгами, собралась вокруг себя невежественных полууголовников и открыто заявила о намерении захватить типографии газет «Новое время», «Русская воля», кадетской «Речи» и передать их анархистским и социалистическим организациям, известным только им. Съезд подавляющим большинством голосов одобрил действия Петроградского совета. Но Каменев от большевиков и Луначарский от «объединенных интернационалистов» заявили, что их фракции хотя и не одобряют поведение анархистов, но не могут голосовать за резолюцию. Некоторые из них голосовали против одобрения действий Петроградского совета, некоторые воздержались, несмотря на общее негодование и крики с мест: «Лицемеры»

Все это случилось 8 июня. Сразу вслед за этим выяснилось, что Центральный комитет большевиков, воспользовавшись продолжавшимся шумом из-за захвата дачи Дурново, назначил на 10 июня демонстрацию под лозунгами «Долой министров-капиталистов!» и «Вся власть Советам!». Съезд Советов забил тревогу. Впервые советская партия пыталась повлиять на реше-

ния Советов с помощью уличной демонстрации. Вопрос стоял очень остро: либо большевики признают «единый фронт трудящихся», созданный Советом, и подчиняются общей революционной дисциплине, либо они будут исключены из Совета. Во время жаркого обсуждения этого вопроса большевики дважды покидали зал заседаний, но в конце концов вернулись и отменили демонстрацию. В отместку они издали подстрекательский призыв с жалобой на то, что народ лишают его главного элементарного и законного права: выражать свои политические мнения с помощью мирной уличной демонстрации.

Петроградский совет решил выбить у них почву из-под ног. Дождавшись восстановления спокойствия, он не только позволил, но сам организовал огромную демонстрацию с полной свободой выбора лозунгов. Большевистская организация жадно ухватилась за эту возможность. Люди шутили, что у большевиков больше знамен, чем демонстрантов. Но они добились своей цели. Огромное количество плакатов, требовавших удаления из правительства «десяти министров-капиталистов», производило сильное впечатление. Тут большевики были правы: участие в правительстве буржуазных министров не давало решить ни один насущный вопрос. Но большевистские демонстранты, которые требовали свободы для себя, одновременно покушались на свободу других, затеяв кулачные драки и разрывая плакаты, призывавшие к доверию Временному правительству. Впрочем, таких плакатов на демонстрации почти не было. Большинство Совета защищало коалицию с буржуазией неохотно, словно неся на себе тяжелый крест. Хотя большевики частично отыгрались за недавнее поражение, все же оно заставило их соблюдать осторожность. Мятежный дух был чересчур силен, а вокруг находилось слишком много горячего материала. Кроме того, им грозила опасность исключения из Совета, а без защиты революционной демократии они оказались бы бессильными перед преследованиями правительства.

1 июля состоялась Петроградская городская конференция большевиков. Подсчитав свои силы — 32 000 официальных членов, 2000 из которых были вооружены и входили в военную организацию, 4000 официальных «сочувствующих» и око-

ло 260 000 голосов на выборах в городскую думу, — они воспрянули духом. На третий день конференции появилась сенсационная новость: четыре кадетских министра вышли из Временного правительства, наступил правительственный кризис, ведутся переговоры о восстановлении коалиции с кадетами. Одним словом, «революция в опасности». Затем пришли два представителя пулеметного полка и возбужденно доложили: «Временное правительство боится, что его скинут; пора действовать». Один из руководителей конференции, Володарский, заявил, что «партия решила не принимать участия в происходящем, поэтому члены партии, имеющиеся в полку, должны подчиниться этому решению». Недовольные представители полка ушли. В 16.00 собрался Центральный комитет. Прибыли телеграммы с фронта о начале наступления, и комитет боялся, что уличные беспорядки дадут правительству повод обвинить большевиков в его возможной неудаче. Предпочтительнее было дождаться конца наступления, а затем получить свободу рук. Сталин предупредил бюро Центрального исполнительного комитета Советов о предложении пулеметчиков и о том, что делегаты полка отправились на фабрики с целью организовать демонстрацию. Тут большевики действовали заодно с большинством и в полном соответствии с предыдущими решениями Совета. В 17.00 городская конференция большевиков решила закончить работу и направить делегатов на все промышленные предприятия Петрограда, чтобы остановить рабочих. Однако демонстрация с самого начала была не столько рабочей, сколько солдатской. Согласно «Правде», «рабочие спрашивали: кто зовет нас на улицу? Никто не мог дать ясного ответа»¹³. Но местные большевики уже потеряли голову. На Путиловском заводе рабочие-большевики «выразили недовольство медальностью Центрального комитета». В Московском полку «большевика, который выступал против демонстрации, назвали «ликвидатором» и не дали говорить». В 19.00 ко двору Кшесинской подошли два отряда солдат-демонстрантов. Члены большевистской военной организации Лашевич и Кураев пытались переубедить их, но были встречены криками «Долой!». Похожая сцена повторилась, когда ко двору подошла демонстрация рабочих¹⁴. Под-

войский, Свердлов, Невский и другие пытались уговорить пулеметчиков удовлетвориться посылкой специальной делегации в Совет с требованием взять власть в свои руки и вернуться в казармы. Но «отношение к ораторам было столь враждебным, что многие пулеметчики, стремясь продемонстрировать свои чувства, взвели курки»¹⁵. «Все усилия военной организации, — доложил Подвойский, — оказались тщетными. Видимо, тут поработали другие силы».

Что же это за таинственные силы? Несомненно, большую агитационную работу в пулеметном полку провели анархисты — те же самые элементы, которые пытались захватить типографию Березина и дачу Дурново. Они были выбиты оттуда военной силой после вооруженного сопротивления и ареста нескольких человек, в том числе кронштадтского матроса Железняка [Василия Железнякова. — *Примеч. пер.*], анархиста, впоследствии большевика, прославившегося тем, что он разогнал Учредительное собрание. Среди кронштадтских моряков распространился слух, что их товарищей арестовали и чуть ли не расстреляли. Некоторые злонамеренные элементы подговаривали их найти человека, отвечающего за освобождение дачи Дурново (министра юстиции Переверзева) и линчевать его. Если его не удастся отыскать, то следует взять в заложники других министров. Перед зданием Совета они сделали попытку схватить Церетели, но тому удалось бежать. Рассчитывая на свою популярность, министр земледелия Чернов попытался переубедить их. Тогда те же злонамеренные элементы с помощью группы матросов схватили его и начали затакивать в автомобиль, но не смогли этого сделать из-за вмешательства народа. Большевик Рязанов и левый эсер Камков, пытавшиеся освободить Чернова, были избиты. По требованию Совета прибыл Троцкий и добился освобождения Чернова. Позже Троцкий случайно встретил в тюрьме нескольких людей из тех, которые схватили Чернова; он утверждал, что это были обычные уголовники. Но в докладе Сталина на Шестом съезде большевиков этот случай был описан в идеальном тоне; прозвучала знаменательная оговорка: «...до тех пор, пока мы не включим [вместо «исключим». — *Примеч. пер.*] выходки банд хулиганов и уголовников».

Но одни уголовники не могли бы вызвать массовое неповиновение призывам Совета и даже большевиков. Позже авантюрист казачий атаман Дутов и его приспешники пытались сымпровизировать «большевистскую» демонстрацию, чтобы облегчить проведение корниловского мятежа. В конце концов, здесь было сделано практически то же самое. Выпущавшаяся Советом газета «Известия» еще до первой большевистской демонстрации опубликовала предупреждение: «По Петрограду ходят зловещие слухи о готовящейся демонстрации «черной сотни». В трактирах, чайных, на рынках можно услышать встревоженные разговоры о том, что на 23 апреля, день рождения бывшей императрицы, ныне арестованной, назначен погром. В общественных местах и дворах наиболее неустойчивым людям раздавали деньги»¹⁶. Позже большевики пытались доказать, что черносотенные элементы использовали демонстрации, проведенные 21 апреля за и против Милокова, для своих собственных провокационных целей¹⁷. Несомненно, германские агенты тоже старались провоцировать и раздувать все внутренние волнения и беспорядки.

Немалую роль в этих демонстрациях сыграли внезапно раздавшиеся неизвестно откуда провокационные выстрелы холостыми патронами. Возбужденная и неорганизованная толпа солдат ответила им беспорядочной панической стрельбой. Подвойский докладывал, что даже в рядах большевистских демонстрантов это едва не привело к боине. В своем докладе Сталин высоко оценил дисциплину гренадерского полка, «в частности, тех батальонов, которые через свою организацию были наиболее близки нам [большевикам. — *Примеч. авт.*]». Он уточнил: «Когда пулеметчики поддались на провокацию и открыли огонь, гренадеры заявили, что будут стрелять в них, если те не остановятся».

Все это типично для действий деклассированной толпы, «охлоса»: стихийность, насилие, эксцессы, хулиганство, преступность, провокации и, наконец, появление зловещих и таинственных сил, трудно определенных, но ощущаемых. Именно в это время начали выходить две газеты, «Маленькая газета» и «Живое слово», — боевые, дерзкие до нахальства, талантливые, использовавшие чисто большевистские способы полемики, ря-

дившиеся в одежды социализма, под которыми скрывался разнузданный национализм. Сначала они льстили Керенскому, подбивая его стать революционным диктатором, но позже полностью отвергли его и начали называть «спасителем России» адмирала Колчака. Наружу рвался русский «гитлеризм» — демагогический, насквозь лицемерный и авантюристический «национал-социализм». Большевики (и частично анархисты) были обязаны покончить с ним, чтобы сохранить влияние на мятежную толпу, которой ничего не стоило одолеть столичный пролетариат, ныне психологически неустойчивый и размытый притоком чуждых элементов.

Июльские дни застали большевиков врасплох — тем более что Ленина в это время в Петрограде не было. Растерянные и неспособные справиться со стихийным движением, большевики устремились вперед сломя голову. Сначала состоялось отдельное совещание Петроградского комитета большевиков, затем объединенное собрание Центрального комитета, общегородская конференция депутатов полков и районов и, наконец, совещание рабочей секции Совета, после демонстративного ухода меньшевиков и эсеров превратившееся в совещание большевистской фракции последней. Все эти мероприятия постановили вновь поднять вопрос о руководстве движением, которое грозило выйти из-под их контроля. После своего возвращения Ленин одобрил это решение. Но за прошедшее время психологическая обстановка в рабочих районах изменилась. Подавленные солдаты, которые бесцельно бунтовали и палили наугад, вернулись в свои казармы. Полки, остававшиеся нейтральными (Семеновский, Преображенский и Измайловский), собирались защищать Совет. Тем временем с фронта в Петроград была направлена сводная часть под командованием социалиста, лейтенанта Мазуренко, чтобы восстановить порядок. Большевикам оставалось только одно: заявить, что великая петроградская демонстрация достигла своей цели, громко провозгласив волю пролетариата и революционной армии, поэтому забастовку можно прекратить, а солдатам вернуться в казармы.

Сначала казалось, что беспорядочный ход забастовки, ее крайности, кровь случайных прохожих нанесли сильный удар

по популярности большевиков. Во время июльских дней на фабричных митингах большевистских ораторов часто освистывали. Успешно продвигалось расформирование наиболее мятежных частей. В большевистских районах Петрограда были конфискованы горы оружия. Началось расследование заговора. Ленин и Зиновьев скрылись, избегая ареста и суда.

В тот момент поаностью подавить большевистскую организацию не составило бы большого труда. Тем не менее Совет на это не пошел. Он даже не исключил большевиков из своего состава. Почему? Потому что предпринять решительные шаги против левых, продолжая поддерживать коалицию с правыми, в тот момент, когда начал свои политические демонстрации генерал Корнилов, означало бы навсегда порвать с демократией и открыто присоединиться к контрреволюции. Полностью разоружить большевиков и сочувствующих им могло бы только правительство, пользовавшееся поддержкой трудящихся, проводившее радикальные социальные реформы, твердую политику в вопросе войны и мира и создававшее новые условия для российских национальных меньшинств. Но правительство было парализовано своим союзом с буржуазными националистами. Оно должно было уравнивать уступки правым такой же терпимостью по отношению к левому экстремизму. Иными словами, ему приходилось проявлять слабость на обоих фронтах.

Казалось, что уход из правительства четырех кадетов после украинского вопроса и отставка князя Львова из-за аграрной политики подтверждали правильность курса эсеро-меньшевистского большинства Совета. Церетели и Дан неохотно, но серьезно обдумывали вопрос создания нового правительства без участия кадетов. Чернов же просто не видел другого выхода. Наиболее дальновидные кадеты вроде Милюкова ясно понимали, что «коалиция была компромиссом, который парализовал нынешнее правительство изнутри, в то время как предыдущее было парализовано снаружи». 2 июля Центральный комитет кадетов заявил: «Сильное и единое правительство может быть создано либо с помощью большей однородности, либо если оно будет реорганизовано таким образом, что его составные части смогут решать фундаментальные воп-

росы не простым большинством голосов, а по взаимному согласию, направленному на решение первоочередных государственных задач». Поскольку второй вариант только узаконил бы пресловутый «паралич изнутри», он был категорически исключен. Оставался лишь первый.

Левые круги приняли идею «повышения однородности» правительства с большим удовольствием, но имели в виду однородность не правую, а левую. Однако июльские дни едва не заставили их отказаться от идеи такой реорганизации. Во-первых, многие лидеры считали это капитуляцией перед буйной, разношерстной и изменчивой толпой. Это означало бы уступку требованиям не народа, не организованных рабочих, а уличного сброда. Это означало бы возникновение новой преторианской гвардии, которая создавала бы правительства и свержала их с помощью кулаков и прикладов винтовок. Совет не хотел, чтобы у нового правительства была такая ненадежная основа. Его пугала мысль о более однородном правительстве, к созданию которого подталкивал сам ход событий. Он охотнее призвал бы остальную Россию против мятежного большевистского Петрограда, который хотел навязать всей стране свою волю, на поверку являвшуюся волей большинства частей разложившегося Петроградского гарнизона.

Вместо того чтобы воспользоваться июльским фиаско большевиков, Совет вернулся к отправной точке. Он снова начал крутить старую шарманку, пытаясь восстановить окончательно прогнившую коалицию. Собственно, Керенский никогда не отказывался от этой попытки, в то время как Совет придерживался тактики *laissez faire, laissez passer* [невмешательства (фр.). — Примеч. пер.]

Большевизм потерял значительную часть своей силы благодаря частичному разоружению его Красной гвардии и исчезновению вождей, ушедших в подполье. Это было расплатой за непоследовательность и полный провал его политики во время июльских событий. Но его стремление к борьбе сломлено не было. В лучшем случае произошло небольшое отступление. В целом эксперимент оказался успешным: несмотря на полное отсутствие организации, несмотря на стихийность движения, большевики владели Петроградом двое

суток, оставив правительству роль беспомощного наблюдателя.

Однако у большевиков (а особенно у тех, кто слышал громогласное «долой!», реявшее над толпой) возникла серьезная проблема: если они попытаются вести толпу, не кончится ли это тем, что из ее вождей они превратятся в ее рабов?

В этот трудный для принятия нравственных и политических решений момент выяснилось громадное значение, которое имел для партии Ленин. Тем, кто боялся авантюриности такой тактики, он противопоставил свою непреклонную решимость, силу воли и преданность идее. Для него июльские дни стали нечаянным переходом Рубикона. Перед Центральным комитетом большевиков стояла проблема: стоит ли Ленину и Зиновьеву предстать перед судом и следствием, или им лучше скрыться? После недолгих колебаний выбрали второе решение. Легальный путь был закрыт, а нелегальный требовалось пройти до конца. Нужно было достичь поставленной цели: восстать, свергнуть Временное правительство и захватить власть.

Ленин прекрасно понимал, что во всей остальной России большевизм не так силен, как в Петрограде и Москве. Но он рассчитывал, что в провинции восстание будет хотя и меньшим по масштабам, однако не менее эффективным. Горючего материала было всюду хоть отбавляй. Неспособность левых воспользоваться этим материалом только открыла бы дорогу авантюристам и мелким местным диктаторам. Этот материал вспыхнул бы сам по себе и вызвал бы бессмысленные и ненужные местные пожары.

Народ устал от революционных бурь и жаждал сильного правительства. Эта жажда стала причиной появления абсурдных карликовых республик с абсолютной властью случайных диктаторов. Ленин пришел к выводу, что левым нужно без промедления захватить власть над всей Россией, иначе ее с помощью армии захватят правые и, возможно, восстановят самодержавие. Способность реакционных демагогов и случайных людей управлять невежественной и неорганизованной толпой стала для Ленина аргументом, с помощью которого он убедил большевиков в необходимости еще более искусной и

безответственной демагогии и выдвижения упрощенных лозунгов, доступных даже самым примитивным умам. В качестве примера можно привести его знаменитый призыв: «Грабь награбленное».

Однако Ленин не забыл и того, чему научился в школе марксизма. Он понимал, что толпа ненадежна, непостоянна и изменчива: она полезна как сила, но требует сильного и сплоченного ядра. Эту роль он отводил пролетариату. Если бы в России анархо-синдикализм был развит так же, как в довоенной Франции, Ленин пошел бы на союз с ним; хотя русский анархизм обеих столиц был пестрым и рассредоточенным, Ленин без колебаний пошел бы на союз большевистской Красной гвардии с Черной гвардией безответственных анархистов. Но русский анархизм не был популярен в профсоюзах. В профсоюзах преобладали меньшевики, которые пользовались поддержкой эсеров.

Однако изобретательный ум Ленина нашел решение даже здесь. Он противопоставил профсоюзам движение фабрично-заводских комитетов. Фабзавкомы, поддерживаемые некавалифицированными рабочими, требовали прямого, немедленного и децентрализованного контроля над производством. Старые большевистские лидеры вроде Рязанова пришли в ужас: для них фабричные комитеты были всего-навсего местными органами профсоюзов; их противопоставление профсоюзам выглядело открытым и беспардонным уничтожением последних. Но на Ленина это не произвело никакого впечатления. Ему требовалось сокрушить профсоюзные твердыни меньшевиков. «Восстание фабзавкомов» против централизованных профессиональных союзов казалось ему замечательной идеей. Центральные органы профсоюзов можно захватить позже, после уничтожения меньшевизма; затем твердой рукой будет наведен порядок, и фабзавкомы подчинятся профсоюзам. Не говоря обо всем остальном, Ленин был искусным тактиком. Он пользовался принципом профсоюзов как хотел, чтобы получить сиюминутное преимущество. В его мозгу уже созрела идея: после захвата власти большевиками нужно будет созвать Всероссийский съезд фабрично-заводских комитетов, которые станут основой экономической жизни страны. Как большин-

ство мыслей Ленина о будущем, она не имела реального содержания, но в качестве тактического маневра с «прагматическими» целями была великолепна. Она возбуждала честолюбие, усиливала коллективный «организационный патриотизм» пионеров движения фабзавкомов и рыла яму меньшевистским профсоюзам, прочно удерживавшим контроль над фабриками.

Первая конференция фабрично-заводских комитетов, открывшаяся 30 мая, не привлекла внимания меньшевиков и эсеров, не считавших это движение «самодостаточным». Напротив, большевики направили на нее своих вождей Ленина, Свердлова и Зиновьева. Возможно, величайшую услугу оказала большевикам речь министра труда Скобелева. Он говорил официальным оптимистическим тоном и вопреки действительности заявил, что «в настоящий момент нет причин говорить о безработице»; там, где безработица все же есть, она является «результатом неравномерного снабжения». Далее он говорил, что «мы находимся на буржуазном этапе революции», что передача фабрик рабочим «не является его целью», что «русский капитализм слишком молод», военные расходы слишком велики, а потому его ресурсов для этого недостаточно¹⁸. Ничего другого большевикам и не требовалось. Резолюция Зиновьева была принята 297 голосами против 21 при 44 воздержавшихся. Большевизм сделал новый важный шаг на пути отрыва рабочих масс от меньшевизма.

Ленин прекрасно понимал, что, как бы он ни рекламировал фабзавкомы с их лозунгом государственного контроля производства рабочими снизу, как бы ни называл их «новой формой рабочего движения», чисто русской и уникально революционной, на самом деле значение этих органов весьма сомнительно. Главным для него было совсем другое: превращение самой большевистской партии в сверхцентрализованную организацию с военной дисциплиной, напоминающую не столько демократическую, самоуправляющуюся, открытую для всех партию западноевропейского типа, сколько средневековый орден рыцарей-монахов. Это было необходимо для ведения борьбы за власть, но еще больше — для удержания и использования этой власти.

Июльские дни показали, что коалиционное правительство, «парализованное изнутри», ничуть не сильнее предыдущего правительства либеральной буржуазии, которое было «парализовано снаружи». Петроградом могла овладеть даже абсолютно неорганизованная толпа. Ленину пришлось рассеять сомнения собственных последователей: если большевики возьмут власть, то смогут ли они ее удержать? Ответ был коротким и радикальным:

«После революции 1905 года Россией управляли 130 000 землевладельцев, управляли, совершая бесконечное насилие над 150 000 000, обрекая подавляющее большинство народа на каторжный труд и полуголодное существование.

Говорят, что Россия не может управляться 240 000 членов большевистской партии, не может управляться в интересах бедных против богатых. Но сейчас на стороне этих 240 000 по крайней мере 1 000 000 голосов взрослого населения; такая пропорция членов партии и избирателей ценится как в Европе, так и в России; например, так было на августовских выборах в Петроградскую думу. Следовательно, мы уже имеем правительственный аппарат из 1 000 000 человек, преданных социалистическому правительству».

Это было дерзко. Сделать собственную партию с ее ближайшим окружением аппаратом, напрямую управляющим страной... Такой план не имел прецедентов в истории, кроме разве что иезуитско-коммунистического правительства Парагвая.

Да, это было дерзко, нахально, но практично и даже прозаично. Россия, за спиной которой были века абсолютистского режима, пыталась стать современной демократией европейского типа, но ей предстояло решать социальные проблемы в духе самых передовых идей века. Она пыталась сделать это, стиснутая кольцом войны, когда быстро приближавшаяся экономическая разруха вызывала взрывы недовольства и невежественного, неудовлетворенного, постоянно нищающего населения.

Демократы типа Керенского, люди с «узким кругозором», приходили в отчаяние и патетически восклицали: «Кто вы, свободный народ или бесформенные толпы мятежных рабов?»

Короли российской промышленности неохотно принимали политическую демократию, но мысль о том, что к ней может

прибавиться «промышленная демократия», а права на собственность и капитал перейдут к трудящимся, приводила их в ужас. Они были готовы бежать со своим капиталом за границу или поддержать любого, кто стальной рукой «остановит революцию».

Генералы с сильной волей вроде Корнилова отвечали на этот «социальный заказ» и тянулись к власти, маскируя свое стремление к реставрации старого режима клятвенными обещаниями привести Россию «к Учредительному собранию, предварительно одержав победу над чужеземным врагом».

Партии большинства Совета, объединенные стремлением расширить политическую и экономическую демократию, безнадежно расходились в своих оценках возможности этого. Столкнувшись с мятежной стихийной силой, они боялись, что слишком большая дерзость восстановит против них образованные высшие классы России, которые не смогут расстаться с цензурой демократией и поддержать революционное правительство.

Предупреждения о том, что чрезмерная осторожность в стране, поднявшейся на дыбы, рискованна, что нерешительность демократии трудящихся в осуществлении их *собственной* программы и постоянное нежелание отказаться от бесплодных и пустых союзов и компромиссов есть самый эффективный способ лишить массы иллюзий и толкнуть их в объятия большевизма, были «гласом вопиющего в пустыне».

Большевистская партия упростила свою задачу одним ударом. Она не стала предлагать стране, которая веками жила при абсолютизме, превратиться в свою демократическую противоположность с помощью перерождения и образования. Вместо этого она предложила ей новый, благосклонный, просвещенный абсолютизм, дружески относящийся к рабочим и способный завершить «революцию сверху». Взамен иллюзорной свободы, которая была чужда диктаторской власти, присвоившей себе громкий титул «диктатуры пролетариата», она предложила стране экономическое равенство и всеобщее процветание.

Эти заманчивые лозунги, резко контрастировавшие с бесплодностью усилий Временного правительства, и предопределили победу большевиков.

Эпилог

ДУХ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Дух русской революции — это дух максимализма, который часто называют корнем зла, поставившим крест на всех попытках провести постепенное переустройство общества. Его вдохновители и подстрекатели известны. Их отождествляют с большевизмом. И наоборот, большевизм описывают как *reductio ad absurdum* духа русской революции и русской интеллигенции.

Но существовал и другой максимализм: максимализм русской контрреволюции, «большевизм правых». Он был не менее требовательным, не менее опьяненным своей заветной мечтой, но смотрел в прошлое, а не в будущее.

Таковы два лица максимализма русской жизни и русской истории.

Похоже, странам, сильно отставшим в развитии, где нерешенные проблемы копились веками, природа, которая, судя по всему, не признает перепрыгивания через исторические этапы, оставляет только один выход: отчаянные «сальто-мортале».

Непреодолимое отвращение к прошлому заставляет людей разрубать надвое гордые узы политических и экономических проблем даже тогда, когда их можно просто развязать.

Это наша сила и наша слабость. Сила — потому, что в области духа, в области чистой мысли нет места для компромисса. Тронуть умы и души можно лишь идеей, которая бесстрашно марширует к своему логическому заключению. А слабость — потому, что для возведения здания одного проекта мало; набросок архитектора — это ничто без знания окружающей среды, почвы, свойств материалов, доступной рабочей силы и общей суммы, в которую обойдется строительство.

Духовная история русской интеллигенции изобилует непримиримыми противоречиями. Интеллигенцию часто упрекали в том, что она порывала с древними историческими традициями и не имела «духовного отечества». Ее обвиняли в самовлюбленности и самоуверенности, граничащей с безумной гордыней.

В этом обвинении есть доля истины. Русская интеллигенция пережила чрезвычайно сильный и полный духовный разрыв с

прежним культурным классом. Старая русская культура была культурой дворянства. Когда она вступала в соприкосновение с интеллектуальной жизнью Запада, то откликалась на все ее течения, в том числе самые передовые (которые сильно опережали свое время даже на Западе, не говоря о России). Дворянская Россия породила Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Льва Толстого, Александра Герцена и Михаила Бакунина. Именно дворяне и даже титулованные аристократы стали предшественниками революции, декабристами.

Но даже в самые критические моменты дворянство никогда не перерезало нить, которая связывала его авангард с общественным классом, давшим последнему жизнь. Эта хрупкая духовная связь долго делала возможным примирение и во время самых жестоких конфликтов. Появление нового плебейского класса интеллигенции означало решительное разделение «по обе стороны баррикад». Это разделение завершилось периодом революционного народничества.

Социализм стал для народников религией. Но любая религиозная волна во время своего подъема неизбежно становится максималистской. С точки зрения суровой плебейской революционной эстетики Писарева эпикурейская поэзия Пушкина была прекрасной, но лишней. Поскольку героями романов Льва Толстого являлись представители высших классов, последователи Писарева отвергали будущего апостола опрощения.

Для духовных отпрысков старой культуры новые интеллигенты были апостолами чистого разрушения.

Наиболее характерной чертой последних было то, что когда-то называлось «нигилизмом».

Теорию «перманентной революции» создал тоже не русский, а француз, Огюст Бланки. Но только в России она смогла дожить до наших дней. Только в России революционная мысль не сошла с ума, а была упорядочена прозаической экономикой марксистской школы.

На все эти течения падает тень мощной фигуры Михаила Бакунина. Когда он заявлял, что дух разрушения является духом созидания, когда он утверждал, что *организация* революции — это логическое противоречие, потому что она сущит и

убивает саму душу революции, энтузиазм вольного уничтожения старого и вольного принятия нового; когда он призывал людей «доверять вечному Духу, который все разрушает только потому, что содержит в самом себе бессмертные ростки жизни и творчества», в нем говорила одержимость свободой. Свободой с большой буквы, Свободой абсолютной, которая возникает только в абсолютистской стране, полностью ее отрицающей.

В этом отношении абсолютизм русской интеллигенции и русской революции были глубоко национальным явлением. Максимализм интеллигенции являлся плотью от плоти и кровью от крови максимализма народа.

История примитивной народной мысли, долгое время скованной стальными кандалами религиозных форм, история свободной религиозной мысли и сектантства среди простонародья изобилует трагическими примерами такой же «храбрости отчаяния», которую часто проявляла русская интеллигенция.

Люди, простые люди превращали комедию пустякового расхождения с церковью о том, двумя или тремя перстами следует креститься и следует ли писать «Иисус» или «Исус», в героический эпос. Под ледяной коркой бунта русских староверов против реформ Петра Великого кипела ненависть к растущему бремени налогов, вводимых вновь созданным агрессивным государством. В русскую историю была вписана глава об «отступлении» раскольников и массовых поисках «дикой свободы» за защитным барьером непроходимых лесов и болот.

Народное сознание 1870—1880 гг. способствовало созданию секты так называемых ненашистов — стихийных анархистов и индивидуалистов. Эти сектанты называли все основы современной жизни «чуждыми», «не нашими»: семью, государство, школу, суд, налоги, собственность — и отвергали их словом и делом. Они отказывались от всех контактов с миром, даже самых отдаленных и внешних. Какие бы преследования им ни грозили, они считали своим священным долгом постоянное и ежедневное проявление собственной веры, выражающейся в презрении ко всему «не нашему», пассивное, но упрямое неподчинение его требованиям даже в мелочах.

В начале XX в. на Урале возникла новая секта иеговистов. В отличие от ненашистов, иеговисты оказывали государству

активное сопротивление. Для них весь мир делился на два лагеря — иеговистов и сатанистов; это было русским парафразом на тему вечной борьбы между Ормуздом и Ариманом. Все священники государственной церкви, гражданские и военные правительственные чиновники, обладатели земель и денег были сатанистами, а потому их следовало уничтожить. Иеговисты были готовы взорвать все основы современного государства и церкви.

Русские духоборы принесли эту ненасытную жажду духовного мятежа даже в мирную Канаду. Новая секта «Сыновей свободы» противопоставила изумленному канадскому государству максималистский лозунг «все или ничего»: «Либо дайте нам жить так, как велит наше сердце, либо заберите у нас все и оставьте нас голыми на голой земле».

В «земных» вопросах происходило то же самое, что и в «небесных». Не случайно во время мировой войны русские революционеры с таким жаром откликнулись на призыв порвать с войной и удалиться на Авентинский холм Циммервальда и Кинталя; не случайно толстовская идея непротравления злу насилем была доведена в России до своего неумолимого логического завершения. Естественно, в России существовала и ее полная противоположность: терроризм как система, как организованный метод борьбы с тиранией. Моральное отвращение, невероятная ненависть к любому виду насилия выражались в самой крайней форме сопротивления — с револьвером и бомбой. Психология революционного террориста была посвящением, с энтузиазмом принимавшимся ради блага народа, но она была отравлена сознанием того, что политическая необходимость не может быть оправдана с моральной точки зрения: ни человек, ни государство не имеет права отбирать то, что нельзя восстановить — жизнь. Не случайно Россия дала миру трех величайших анархистов: писателя Льва Толстого, философа Петра Кропоткина и политика Михаила Бакунина.

Стоит ли удивляться тому, что русская революция стала выражением всех существующих форм максимализма? Существовал пацифистский максимализм солдата, жаждавшего воткнуть штык в землю и обняться с бывшим врагом. Существовал пролетарский максимализм, требовавший, чтобы его

Советы не имели ничего общего с буржуазией: «Да здравствует уничтожение буржуазии как класса!» Конечно, существовал и националистический максимализм, готовый во что бы то ни стало порвать с Россией, только вчера бывшей «тюрьмой народов». Существовал наивный деревенский максимализм мужика, рвавшегося самочинно, не дожидаясь сложной государственной аграрной реформы, разделить помещичьи земли между жителями соседних деревень и хуторов. И каждому из этих «максимализмов» противостоял свой «контрмаксимализм», проявлявшийся по другую сторону баррикад.

Для всей русской истории характерны две тенденции развития. Первая из них — тенденция усиления государственного гнета из-за необходимости повышения обороноспособности страны. Россия, подвергавшаяся миграции и успешным вторжениям орд кочевников с Востока и давлению более цивилизованных и политически организованных народов с Запада, зажатая между цивилизацией и варварством, была вынуждена форсировать развитие государственности несмотря на собственное варварство. Бремя государственной «настройки» было слишком тяжелым для ее примитивного экономического и социального базиса. Поскольку Русское государство не было результатом органического развития снизу, выражавшегося в укреплении общественных связей внутри самого населения, оно казалось людям сетью, наброшенной на страну сверху, и было им настолько чуждо, что фольклорная традиция объясняла возникновение государства «призывом варягов». Более поздняя история сомневается в подобном происхождении российской государственности, но, даже если это всего лишь легенда, она убедительно доказывает древность расхождения интересов русского народа и его государства.

Вторая тенденция — рост количества русских поселений на Восточно-Европейской равнине. В Средние века существовал прямой тракт с Востока на Запад через Сибирь, Среднюю Азию и Россию, но после усиления обороноспособности России путь на Восток ей был заказан.

Историки определяют прошлое России как «историю колонизации». Однако эта колонизация была вызвана не столько

нехваткой земли, сколько давлением со стороны властей. Невыносимый гнет крепостного права заставлял людей двигаться по пути наименьшего сопротивления — на север и восток. Там они находили короткую передышку и могли разогнуть спины, согнутые подневольным трудом. Но государство шаг за шагом следовало за «русскими землепроходцами» как неизбежная черная тень, показывая, что от собственной тени не убежишь. Непреодолимое стремление к свободе заставляло обоих добраться до горных кряжей Тибета и Монголии, Великой Китайской стены и берегов Тихого океана. Идти дальше было некуда. Тогда народ наконец обернулся, сверг самодержавие и снес стены, ограждавшие частную собственность дворянства. «Черный передел» является одной из наиболее характерных черт русской истории.

В Центральной и Западной Европе растущая плотность населения медленно, но верно приводила к концентрации людей в том или ином месте. Крестьянин привыкал вкладывать в свой участок земли труд и капитал. Соответствующим образом росла и способность территории прокормить все большее количество людей. Развитие городов и промышленности сильно способствовало этой тенденции, создавая спрос на продукцию сельского хозяйства.

Напротив, Россия оставалась страной экстенсивного земледелия.

Когда о России говорили как о колоссе на глиняных ногах, то вольно или невольно имели в виду, что грандиозная надстройка Русского государства находилась в пугающем противоречии со своим примитивным экономическим базисом.

Стоимость содержания этой надстройки была несопоставима с национальным доходом¹. Бремя налогов, добавлявшееся к другим видам частной эксплуатации, мешало накоплению капитала в крестьянской экономике, а без такого накопления внедрение новой агротехники и применение более совершенной организации труда было невозможно. Распространение колонизации на Восток усиливало тенденцию к экстенсивному, а не к интенсивному ведению сельского хозяйства. Огромные открытые пространства позволяли легко решить проблему роста народонаселения. Но это явление

долго мешало государству понять, что необходимо переходить к интенсификации сельскохозяйственного производства, поскольку невозможно брать у деревни до бесконечности, никак не компенсируя причиненный ей ущерб.

Понимание того, что на отсталой деревне лежит тяжелое бремя не только государственной надстройки, но и лихорадочно развивавшейся капиталистической промышленности, финансируемой правительством, а также страх, что крестьянство поймет это и сделает опасные политические выводы, заставляло власть намеренно сохранять невежество, безграмотность и культурную отсталость села, где единственной отдушиной для трудящегося крестьянина был кабак, который благодаря государственной монополии на спиртные напитки являлся еще одним способом опустошения мужицкого кармана.

Все пути перехода к более высокому уровню производства были для деревни закрыты. Нараставшее истощение почв во многих черноземных губерниях заставляло людей забрасывать свои участки.

Вековая любовь крестьянина к земле становилась все более безнадежной. Он не переставал любить землю и жаждать ее всей душой. Но этой землей был не его жалкий участок. Мужика как магнитом тянула земля помещичья, которую, по воспоминаниям его отца и деда, отобрали у крестьян и передали помещику после отмены крепостного права. Крестьяне чувствовали эту несправедливость почти физически. «Мы ваши, но земля наша», — говорили они дворянам. Деревня отказывалась отделять право на землю от права на крестьянский труд; это неразрывное единство существовало при крепостном праве и могло быть похоронено вместе с крестьянством.

После того как крестьяне разделили общинные земли либо по числу работников, либо по числу едоков, идея устранить несправедливость, выражавшуюся в помещичьем землевладении, становилась все более и более определенной. Крестьяне требовали передела земли. Всю страну следовало превратить в одну огромную общину с равными правами на землю только для тех, кто поливал ее своим потом.

К одержимости свободой добавлялась одержимость разделения земельной собственности. Лучшее будущее крестьянин

представлял себе не как результат технического развития и повышения продуктивности. Проблема продуктивности казалась мелочью по сравнению с проблемой равного распределения земли. От этого решения ждали чуда: люди считали его магическим средством достижения крестьянского счастья и процветания.

Революция привлекла деревню на свою сторону двойным лозунгом: «Земля и свобода». Этот лозунг сам по себе не был социалистическим и стал им лишь потому, что социалистическая партия (партия социалистов-революционеров) решительно насаждала его до тех пор, пока он не овладел всеми тысячами и надеждами деревни.

Но пробудили сознательность крестьянства не только недоение, бедность и нищенское удовлетворение его нужд. Нужды — понятие относительное. Мизерность нужд характерна для низкого культурного уровня. Счастье дикаря заключается в отсутствии всяких нужд. Подлинная движущая сила социальных движений — это не столько неудовлетворенность низким уровнем жизни и прямой эксплуатацией, сколько степень социальных контрастов, поражающая воображение масс. Атмосфера революции была создана не столько пониманием материальных и экономических классовых интересов, сколько иррациональным ощущением, что дальше так жить нельзя. Революция казалась массам карающей рукой беспристрастного языческого божества мести и справедливости, метнувшей гром и молнию в головы земных врагов человечества; теперь это божество поведет униженных и оскорбленных в рай, а угнетателей и насильников отправит в геенну огненную.

В этом свете легко понять чувство одиночества и беспомощности, парализовавшее землевладельцев.

Безбрежная евразийская степь была равниной не только в географическом смысле слова. Ее необычный классовый состав тоже напоминал степь.

«Вместо высокого, узкого, многоэтажного, сложного классового здания западноевропейского стиля перед нами предстает странная пирамида с низким, широким и разлапистым основанием в виде крестьянства, над которым расположены тонкие слои среднего и высшего классов, а на самом верху нахо-

дится высокий и громоздкий купол самодержавия» (К. Кочаровский).

Падение этого купола должно было неминуемо увлечь за собой и средние слои. «Социальная степь» угрожала поглотить все, что возвышалось над ее уровнем. Во время революции был момент, когда даже промышленный пролетариат, который возвышался, по крайней мере, над социальной степью аграрной России, начал бежать с затихших, парализованных фабрик в деревню, чтобы снова стать крестьянством.

В степи ничто не мешает бушевать вьюгам и бурям.

Буря революции раскрыла истинный «цвет и вкус» души русского народа, всю ее силу и слабость, как лучшие черты национального характера, так и его дикие страсти и пороки, порожденные историей.

Тот, кто идеализирует революцию, видит только половину правды. Глашатаи революционного максимализма с радостью отдают дань уважения иррациональному фактору революции, «тому неизвестному, которое не в состоянии высчитать ни один счетовод, взвесить ни один политический аптекарь и проанализировать ни один политический химик». Революция привлекает их необузданной игрой страстей, которая превращает здравомыслящих людей в безумцев и делает безумие хозяином духа. Эти романтики чувствовали в народном духе брожение, дыхание «гения революции». Последнего достаточного, чтобы привести толпу в состояние «революционного экстаза», распространяющееся как эпидемия, а все остальное «утрясется само собой». Это очень опасная концепция; дальше начинается «предательский уклон», который ведет напрямик к безудержной демагогии.

Во время первой русской революции 1905 г. максималисты красноречиво описывали, как в атмосфере революции возрастает впечатлительность масс, с какой скоростью распространяются в толпе новые чувства и стремления, как в ней рождается непривычная и оттого еще более опьяняющая вера в собственную силу, толкающая ее на дерзкие подвиги. Старый лозунг Дантона «Дерзость, дерзость и еще раз дерзость» всегда воскресает во время конвульсивных содроганий народного организма. Те, кто следует ему, отчасти правы. Массы,

оторванные от рутины повседневного существования, потрясенные шумом событий, охотно впитывают в себя новое учение. Чем меньше тонкостей и ограничений в этом учении, чем проще, категоричнее и прямее его призывы, тем жаднее они его пьют. Именно в этом заключается один из секретов успеха большевиков. Массы хотят, чтобы некий «научный авторитет» пусть не слишком понятно, но впечатляюще вдруг объяснил им их собственные неосознанные интересы, смутные чувства и стремления. Внезапно у них возникает фанатичная и гипнотическая вера в эти формулы. Именно эта вера позволяет достичь ближайших целей революции — естественно, отрицательных. Но у революции есть и положительные цели. А качества, которые требуются для их достижения, не рождаются в результате революционного урагана.

Творческие силы, привычка к организации, способность к экономическому самоуправлению, к ответственному руководству производством, к перестройке экономики не зависят от взрыва эмоций. Их начинают ценить тогда, когда революция осознает необходимость полностью решить свои задачи. Они развиваются в «органические», а не в «критические» моменты истории. Этот капитал накапливается медленно. «Восприимчивость», «впечатлительность», «глубина чувств», «электрические заряды силы воли» оказывают на них очень небольшое влияние, причем далеко не всегда положительное. Когда рабочий класс дорастает до понимания своей особой исторической «миссии», он строит свою коллективную жизнь совсем по-другому. Его классовые организации становятся не только оружием защиты и нападения, укрепленным лагерем, траншеями и бастионами. Нет, он видит в них нечто большее: зародыш нового экономического порядка. Вокруг классовых организаций возникают все виды институтов, которые разрабатывают новый стиль жизни, новое рабочее законодательство, новую культуру рабочего класса. Именно этим определяется значение новой тенденции в рабочем движении, требующей приоритета созидательных задач над разрушительными.

В России зародыш нового порядка еще не созрел, но отвлечение к старому порядку уже достигло предела.

Это объясняется особенностями русской истории.

К тому времени, когда Россия добралась до революции, большинство европейских стран уже миновало эту стадию. Эти революции были разными по содержанию и исторической функции. Их большинство было, если так можно выразиться, «революциями одного элемента»: революция против церкви, или Реформация; крестьянская, аграрная, антифеодальная революция вроде восстания Уота Тайлера в Англии, Жакерии во Франции, Крестьянской войны в Германии, пугачевского бунта в России; буржуазная антифеодальная революция третьего сословия во Франции; демократическая революция, приносящая политическое освобождение от самодержавия; антибуржуазная, антикапиталистическая революция вроде восстания парижского пролетариата в 1848 г. или Парижской коммуны.

Великая французская революция стоит особняком как революция универсального типа, одновременно антимоноархическая, антиклерикальная, антифеодальная, буржуазная и аграрно-крестьянская, с зародышем пролетарского восстания, выразившимся в «заговоре равных» Бабёфа.

Этот универсальный характер был в еще большей степени присущ Великой русской революции.

Потенциальные революционные силы и страсти, не нашедшие выхода в достижениях частных революций, громоздились друг на друга. Все нерешенные проблемы, сложные и запутанные, угодили в одну кучу со всеми формами зла, катастроф, угнетения и эксплуатации.

Дореволюционная история страны закончилась, когда конфликт между свободой и тиранией достиг своего пика. Власть пыталась защитить прежние привилегии и монополии. После этого под знамя свободы собрались все униженные, оскорбленные, угнетенные и эксплуатируемые.

Небывалая доселе концентрация антагонистических сил вскормила и довела до прямого столкновения два максимализма абсолютно противоположных социальных и политических чувств: максимализм правых и максимализм левых.

Они выросли на почве, подготовленной всей предыдущей историей, и сделали свое дело.

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава 1

- ¹ Красный архив. 1923. Т. 2.
- ² *Витте* С.Ю. Воспоминания. Т. 1. С. 245.
- ³ Красный архив. Т. 49. С. 102.
- ⁴ *Lloyd George. War Memories. Vol. 3. P. 469.*

Глава 2

- ¹ *Семенников И.В.* Романовы и германские влияния. 1914—1917. Б. м., 1929.
- ² Текст этого документа, о котором упоминает Морис Палеолог, был найден в личном архиве бывшего царя и опубликован в указанной книге Семенникова на с. 37—38.
- ³ *Деникин А.И.* Очерки русской смуты. Т. 1. Ч. 1. С. 17.
- ⁴ *Семенников И.В.* Политика Романовых накануне революции. Б. м., 1927. С. 12—19.
- ⁵ Реакционно-пауцифистский меморандум шефа тайной полиции *Дурново* // *Былое*. 1922. № 19. С. 161—176.
- ⁶ *Лемке Б.* Двести шестьдесят дней в царской Ставке. Пг., 1920.

Глава 3

- ¹ *Родзянко М.В.* Государственная Дума и февральская революция // *Архив русской революции*. Т. 6. С. 13—14.
- ² *Шульгин В.* Дни. Белград, 1925. С. 133—134.

³ Отчет директора Московского департамента тайной полиции от 1 августа 1916 г. // *Сборник полицейских документов*. Центрархив. С. 81, 82, 83.

⁴ Там же. С. 62—63.

⁵ Там же. С. 76.

⁶ Там же. С. 147—148. В целом отчеты и донесения жан-дармерии и охраны очень односторонни. Но если в этих документах сообщается об отвращении к революции «наблюдаемых» и «подозреваемых», такие свидетельства обладают несомненной ценностью.

⁷ Записка // *Архив русской революции*. Т. 5. С. 339.

⁸ Протокольные записи тайных заседаний Совета министров с 16 июля по 2 сентября 1915 г., сделанные заместителем начальника канцелярии Яхонтовым и опубликованные в восемнадцатом томе «Архива русской революции» (с. 114—115).

⁹ Там же. С. 59, 63, 74, 77, 91.

¹⁰ *Андреев Н.* Революция 1917 года: Хроника событий, I. М., 1923. С. 18, 23, 25.

¹¹ *Сборник полицейских документов*. Центрархив. С. 186.

¹² *Шульгин*. Указ. соч. С. 148.

¹³ *Миллюков П.Н.* История второй русской революции. Т. 1. Ч. 1. С. 35—36.

¹⁴ *Блок А.* Последние дни старого режима // *Архив русской революции*. Т. 4. С. 22.

¹⁵ *Деникин А.И.* Очерки русской смуты. Т. 1. Ч. 1. С. 37—39.

Глава 4

- ¹ *Шульгин*. Дни. С. 158, 163, 184.
- ² *Суханов Н.* Записки о революции. Т. 1. С. 244.
- ³ *Ломоносов Ю.В.* Воспоминания о мартовской революции 1917 года. Стокгольм; Берлин, 1921. С. 56.
- ⁴ Семейная переписка Романовых // *Красный архив*. 1925. Т. 4. С. 215—220.
- ⁵ *Шульгин*. Указ. соч. С. 271.
- ⁶ *Деникин*. Очерки... Т. 1. Ч. 1. С. 54.
- ⁷ *Суханов*. Указ. соч. Т. 1. С. 278—279.
- ⁸ *Миллюков*. История... Т. 1. Ч. 1. С. 52.
- ⁹ Там же. С. 54.

¹⁰ Шульгин. Указ. соч. С. 297—298.

¹¹ Родзянко. Государственная Дума и февральская революция. С. 61—62.

¹² Шульгин. Указ. соч. С. 305.

¹³ Ломоносов. Указ. соч. С. 63.

Глава 5

¹ Сборник полицейских документов. Центрархив. С. 130—131.

² Суханов. Записки о революции. Т. 1. С. 19.

³ Там же. Т. 2. С. 279.

⁴ Швиттау Г. Революция и народное хозяйство.

⁵ Суханов. Указ. соч. Т. 2. С. 278. Мариинский дворец был резиденцией Временного правительства.

Глава 6

¹ Подробное изложение этой концепции см.: Чернов В.М. Конструктивный социализм. Прага, 1925. Т. 1.

² Наиболее полно и глубоко эта теория описана в брошюре Троцкого «Перманентная революция».

³ Шульгин. Дни. С. 147.

⁴ Суханов. Записки о революции. Т. 1. С. 234, 235, 261.

⁵ Шульгин. Указ. соч. С. 124.

⁶ Отчет о трех лекциях Керенского, составленный его другом И.Н. Коварским и опубликованный в близком Керенскому по политическим взглядам периодическом издании «Родина». 1920. № 5.

⁷ Миллюков. История... Т. 1. Ч. 1. С. 91—92.

⁸ Отчет, опубликованный в периодическом издании «Дни», редактируемом Керенским (1930. 7 декабря. № 118. С. 9).

Глава 7

¹ Сторожев В. Правовые основы Особого совещания // Новости Московского военно-промышленного комитета. 1915. 30 августа. № 27.

² Суханов. Записки о революции. Т. 2. С. 306—307.

Глава 8

¹ 1917 год в деревне. М.: Госиздат, б. г. С. 301.

² Газета «Земля и воля». 1917. № 3.

³ 1917 год в деревне. С. 40.

⁴ Там же. С. 64.

Глава 9

¹ Лукомский А.С. Воспоминания. Т. 1. С. 53. Генерал Ю.Н. Данилов более откровенен: «В начале мобилизации беспорядки среди рекрутов затопили волной многие области России... Чтобы подавить их, пришлось применить суровые меры, включая вооруженную силу... Видимо, патриотические демонстрации и взрывы энтузиазма были лишь дешевым фасадом... Русский народ не был готов к войне. Подавляющее большинство крестьян вообще не понимало, зачем их призывают... Они шли на войну, потому что привыкли выполнять все требования правительства, терпеливо, но пассивно неся свой крест» (Россия в мировой войне. Б. м., 1924. С. 111—112).

² Максимов Н. Годы войны // Летопись революции. Т. 1. С. 246.

³ Станкевич В.В. Воспоминания, 1914—1919 гг. Берлин, б. г. С. 18.

⁴ Данилов. Указ. соч.

⁵ Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 г. на русском фронте. С. 141, 143, 152, 155, 378.

⁶ Hesse K. Der Feldherr Psychologos; Der grosse Krieg, 1914—1918, herausgegeben von M. Schwarte; General Francois, Marneschlacht und Tannenberg.

⁷ Головин. Указ. соч. С. 79.

⁸ Там же. С. 33, 36—37.

⁹ Там же. С. 207, 215, 226, 255.

¹⁰ Лукомский. Указ. соч. Т. 1. С. 36, 37, 58, 84.

¹¹ Там же. Т. 1. С. 106.

¹² Данные заимствованы из книги генерала А. Верховского «Россия на Голгофе».

¹³ Деникин. Очерки... Т. 1. Ч. 1. С. 30.

¹⁴ Верховский. Указ. соч. С. 36. Генерал Данилов в книге «Россия в мировой войне» также отмечает, что несправедливо

винить солдат, поскольку «техническое превосходство врага было недоступно воображению наших частей и подавляло их боевой дух».

¹⁵ Родзянко М.В. Крушение империи, записки // Архив русской революции.

¹⁶ Верховский. Указ. соч. С. 60.

Глава 10

¹ Миллюков. История второй русской революции. Т. 1. Ч. 1. С. 73.

² Земельный вопрос в деятельности Временного правительства // Записки Института изучения России. Т. 2. С. 346.

³ Пешехонов А.В. О предотвращении анархии в сфере земельных отношений // Дело народа. 1917. 23 марта.

⁴ Сельский вестник. 1917. 3 марта.

⁵ Наш голос (газета Самарской организации Российской социал-демократической рабочей партии). 1917. 2 июня.

⁶ Миллюков. Указ. соч. Т. 1. Ч. 1. С. 65.

Глава 11

¹ Миллюков. История... Т. 1. Ч. 1. С. 84. Как именно Миллюков «подчеркивал пацифистские цели», показывает его газетное интервью от 22 марта, где он критикует «мир без аннексий и контрибуций» как «германскую формулу, которую кое-кто пытается подсунуть международным социалистам».

² Там же. С. 86.

³ Там же. С. 87.

⁴ Шидловский С.И. Воспоминания. Т. 2. С. 129.

⁵ Миллюков. Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 112.

Глава 12

¹ Авербах В.А. Революционное общество по личным воспоминаниям // Архив русской революции. Т. 14. С. 13—14.

² Рабочее движение в 1917 году. М.: Госиздат, 1926.

³ Панкратова А. Фабзавкомы России. М.: Госполитиздат, 1923. С. 202.

⁴ Архив русской революции. Т. 18. С. 66.

⁵ Авербах. Указ. соч. С. 34—35.

Глава 13

¹ Труды второй сессии Главного земельного комитета. Пг., 1917.

² Лутохин А. Земельный вопрос в деятельности Временного правительства // Записки Института изучения России. Т. 2. С. 355.

³ Алавердова А. Очерк аграрной политики Временного правительства // Социалистическое хозяйство. 1925. Т. 2. С. 163.

⁴ Телеграмма Балашовского уездного земельного комитета (архив Временного правительства).

⁵ См. статьи Чернова в парижской «Жизни» и женеvской «Мысли», собранные в брошюре «Действительные и мнимые поражения».

⁶ Лутохин. Указ. соч. С. 360.

⁷ Там же. С. 361.

⁸ Lenin V.I. A new deception of the peasants by the socialist revolutionary party // Collected works. New York, 1932. Vol. 21, Bk 2. P. 141.

⁹ Каценеленбаум Ц.С. Финансовая сторона земельной реформы // Русские ведомости. 1917. № 123, 130.

¹⁰ 1917 год в деревне. С. 193—194.

¹¹ Из материалов министерства земледелия, впервые опубликованных в газете «Дело народа» в августе 1917 г.

¹² Земля и воля. 1917. 5 октября; там же. 14 апреля.

¹³ Красный архив. Т. 14. С. 205.

¹⁴ Шидловский. Воспоминания. Т. 2. С. 122—123.

¹⁵ 1917 год в деревне. С. 70—71.

¹⁶ Там же. С. 185.

¹⁷ Там же. С. 174.

Глава 14

¹ 1917 год на Киевщине / Под ред. В. Манилова. Киев: Истпарт, б. г. С. 26.

² Маклаков В. Из прошлого // Современные записки. Т. 44. С. 442.

Глава 15

- ¹ *Набоков К.Д.* Испытания дипломата. Стокгольм, 1921. С. 98—99.
- ² *Милюков.* История... Т. 1. Ч. 1. С. 178.
- ³ Беседа Карлотты с Бьюкененом, пересказанная Соннино // Красный архив. Т. 5(24). С. 155—156.
- ⁴ *Милюков.* Указ. соч. Т. 1. Ч. 1. С. 167.
- ⁵ Третий съезд партии социалистов-революционеров: Стенографический отчет. Пг., 1917. С. 194.
- ⁶ *Станкевич.* Воспоминания. С. 146.
- ⁷ *Деникин.* Очерки... Т. 1. Ч. 2. С. 160.
- ⁸ Дело Корнилова. С. 15.
- ⁹ *Станкевич.* Указ. соч. С. 160.
- ¹⁰ *Лукомский.* Воспоминания. Т. 1. С. 225.

Глава 16

- ¹ *Деникин.* Очерки... Т. 1. Ч. 1. С. 73, 77.
- ² *Деникин.* Указ. соч. С. 11, 15—16.
- ³ *Станкевич.* Воспоминания. С. 178, 182.

Глава 17

- ¹ *Верховский А.И.* Россия на Голгофе. С. 108.
- ² *Станкевич.* Воспоминания. С. 224.
- ³ *Деникин.* Очерки... Т. 1. Ч. 1. С. 77; Т. 1. Ч. 2. С. 189—190.
- ⁴ *Савинков Б.В.* К делу Корнилова. Париж, 1919. С. 5.
- ⁵ *Керенский А.* Из воспоминаний // Современные записки. Т. 39. С. 232.
- ⁶ *Деникин.* Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 192.
- ⁷ *Брусиллов.* Мои воспоминания. С. 215; *Деникин.* Указ. соч. Т. 1. Ч. 1. С. 174; *Лукомский.* Из воспоминаний // Архив русской революции. Т. 2. С. 42—43; Из дневника генерала Алексева // Русский исторический архив. Т. 1. С. 35.
- ⁸ *Керенский.* Из воспоминаний. С. 232—234.

⁹ *Винберг Ф.* В плену у обезьян: Записки контрреволюционера. Рукопись отсутствует; известны лишь выписки из нее, сделанные П.Н. Милюковым в Киеве.

- ¹⁰ *Лукомский.* Воспоминания. Т. 1. С. 232.
- ¹¹ *Чаадаева О.* Корниловщина. М., 1930. С. 30—31.
- ¹² *Деникин.* Указ. соч. Т. 2. С. 27.
- ¹³ *Шидловский.* Воспоминания. Т. 2. С. 141.
- ¹⁴ *Милюков.* История... Т. 1. Ч. 2. С. 113.
- ¹⁵ *Деникин.* Указ. соч. Т. 2. С. 31. Напротив, Милюков, намек на которого содержится в этой цитате, утверждает, что во время долгой беседы с Корниловым он предупредил генерала о возможности решительной борьбы против Керенского и не услышал серьезных возражений. Кто из них прав, Маклаков или Милюков, мог бы ответить только Корнилов, если бы он не умолк навсегда. Касаясь этой темы, Деникин пишет: «В таких деликатных вопросах документальные следы остаются редко, но со временем все же находятяся».

¹⁶ *Савинков.* Указ. соч. С. 18.

¹⁷ Там же.

¹⁸ *Набоков В.Д.* Временное правительство // Архив русской революции. Т. 1. С. 46.

¹⁹ Иностранцы дипломаты о революции 1917 года // Красный архив. Т. 5 (24). С. 152—154.

²⁰ Телеграмма № 396: «Сюда следовало бы приехать Алексею Аладьину, члену второй Думы, который долго жил в Англии. С ним можно было бы посоветоваться о приезде остальных».

²¹ *Чаадаева.* Указ. соч. С. 65.

²² *Vichbanan George, sir.* My mission to Russia and other diplomatic memories. Boston, 1923. Vol. 2. P. 175, 182, 185.

²³ *Деникин.* Указ. соч. Т. 2. С. 63.

²⁴ *Милюков.* Указ. соч. Т. 1. Ч. 2. С. 116, 126, 148.

²⁵ *Чаадаева.* Указ. соч. С. 51—54.

Глава 18

¹ Предисловие В.А. Маклакова к книге «La chute du tsarisme» («Падение царизма»). Paris, 1927.

² *Лукомский.* Воспоминания. Т. 1. С. 259.

Эпилог

¹ В очень ценной работе В.И. Покровского «К вопросу об успехах активного баланса русской внешней торговли» говорится, что в 1894 г. национальный доход на душу населения составлял в России 73 рубля в год. В «Промышленности и благосостоянии народов» Малколма (1896) этот доход оценивался в 74 рубля, в то время как в Германии он составлял 184, во Франции — 233, в Великобритании — 273, в Соединенных Штатах — 346, а в Австралии — 374 рубля в год.

Глава 20

- ³ Там же. С. 261.
⁴ 1917 год в воспоминаниях и документах: Разложение армии / Под ред. Н. Какурина. Документы № 146—149.
⁵ Кротошкин П. Сочинения. М., 1919. Т. 2. С. 407, 421, 290, 465.
⁶ Родина. 1920. № 5.

- ¹ Иностранные дипломаты о революции 1917 года // Красный архив. Т. 5 (24). С. 114.
² Суханов. Записки о революции. Т. 2. С. 209; см. также: Андреев Н. Революция 1917 года: Хроника событий.
³ Андреев. Указ. соч. С. 119—130.
⁴ Блок левых и правых // Бюллетень оппозиции. 1930. № 17/18. С. 24.
⁵ Игнатов Е. Московский Совет рабочих депутатов в 1917 году. М., 1925. С. 29—30.
⁶ Суханов. Указ. соч. Т. 1. С. 93—95.
⁷ Там же. С. 255.
⁸ Игнатов. Указ. соч. С. 85, 89.
⁹ Речь идет о Каменеве, Сталине и Муранове; см.: Шляпников. Семнадцатый год. М., 1925. Т. 2.
¹⁰ Тяжелые дни: Секретные заседания Совета Министров по записям управдела А. Яхонтова // Архив русской революции. Т. 18. С. 32—33, 37.
¹¹ Бонч-Бруевич В. На боевых постах февральской и октябрьской революции. С. 83.
¹² Ленин В.И. Уроки кризиса // Правда. 1917. 23 апреля.
¹³ Правда. 1917. 5 июля. № 99.
¹⁴ Доклад Сталина на Шестом съезде партии большевиков; см. также: Шелавин. 1917 год: Очерки русской революции. Б. м., 1923. Т. 1. С. 140.
¹⁵ Доклад Н. Подвойского от 16 июля 1917 г. на Второй общегородской конференции петроградских большевиков.
¹⁶ Известия Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. № 47.
¹⁷ Шелавин. Указ. соч. С. 56.
¹⁸ Первая рабочая конференция фабрично-заводских комитетов. Пг., 1917. С. 14.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Крах династии	7
Глава 2. Последователи Распутина и сепаратный мир	33
Глава 3. Думская оппозиция	55
Глава 4. Дума против революционной бури	76
Глава 5. Советская демократия	97
Глава 6. Позиция социалистических партий.....	108
Глава 7. Революция и рабочие	124
Глава 8. Крестьяне и революция	138
Глава 9. Трагедия русской армии.....	149
Глава 10. Временное правительство	164
Глава 11. Временное правительство и его внешняя политика	184
Глава 12. Конфликт в промышленности	200
Глава 13. Правительство и аграрный конфликт	222
Глава 14. Тупик в национальной политике	250
Глава 15. Тупик во внешней политике	273
Глава 16. Армия и революция	291
Глава 17. Контрреволюция и генерал Корнилов	304
Глава 18. Мятеж и его последствия	341
Глава 19. Партия социалистов-революционеров	369
Глава 20. Сползание к большевизму	379
Эпilog. Дух русской революции	409
Примечания	420

Чернов Виктор Михайлович

ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Воспоминания председателя

Учредительного собрания

1905—1920

Ответственный редактор *А.И. Глебовская*

Художественный редактор *И.А. Озеров*

Технический редактор *Н.В. Травкина*

Корректор *А.В. Максименко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.12.2006
Формат 84×108¹/₈. Бумага газетная пухлая. Гарнитура «Лазурского».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,68.
Уч.-изд. л. 22,89 + 1 альбом = 23,32.
Тираж 3000 экз. Заказ № 966.

ЗАО «Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@DOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
<http://www.uralprint.ru>, e-mail: book@uralprint.ru